Марк Твен

2

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман «Налегке» — книга воспоминаний Марка Твена о годах бродяжничества по Дальнему Западу во времена «серебряной лихорадки».

- Марк Твен
  - ОТ АВТОРА
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ГЛАВА I
    - ГЛАВА II
    - ГЛАВА III
    - ГЛАВА IV
    - ГЛАВА V
    - ГЛАВА VI
    - ГЛАВА VII
    - ГЛАВА VIII
    - ГЛАВА IX
    - ГЛАВА X
    - ГЛАВА XI
    - ГЛАВА XII
    - ГЛАВА XIII
    - ГЛАВА XIV
    - ГЛАВА XV
    - ГЛАВА XVI
    - ГЛАВА XVII
    - ГЛАВА XVIII
    - ГЛАВА XIX
    - ГЛАВА XX
    - ГЛАВА XXI
    - ГЛАВА XXII
    - ГЛАВА XXIII
    - ГЛАВА XXIV
    - ГЛАВА XXV
    - ГЛАВА XXVI
    - ГЛАВА XXVII
    - ГЛАВА XXVIII
    - ГЛАВА XXIX
    - ГЛАВА XXX
    - ГЛАВА XXXI
    - ГЛАВА XXXII
    - ГЛАВА XXXIII
    - ГЛАВА XXXIV

- ГЛАВА XXXV
- ГЛАВА XXXVI
- ГЛАВА XXXVII
- ГЛАВА XXXVIII
- ГЛАВА XXXIX
- ГЛАВА XL
- ГЛАВА XLI

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- ГЛАВА I
- ГЛАВА II
- ГЛАВА III
- ГЛАВА IV
- ГЛАВА V
- ГЛАВА VI
- ГЛАВА VII
- ГЛАВА VIII
- ГЛАВА IX
- ГЛАВА X
- ГЛАВА XI
- ГЛАВА XII
- ГЛАВА XIII
- ГЛАВА XIV
- ГЛАВА XV
- ГЛАВА XVI
- ГЛАВА XVII
- ГЛАВА XVIII
- ГЛАВА XIX
- ГЛАВА XX
- ГЛАВА XXI
- ГЛАВА XXII
- ГЛАВА XXIII
- ГЛАВА XXIV
- ГЛАВА XXV
- ГЛАВА XXVI
- ГЛАВА XXVII
- ГЛАВА XXVIII
- ГЛАВА XXIX
- ГЛАВА XXX
- ГЛАВА XXXI
- ГЛАВА XXXII
- ГЛАВА XXXIII
- ГЛАВА XXXIV
- ГЛАВА XXXV
- ГЛАВА XXXVI

        - ГЛАВА XXXVII
        - ГЛАВА XXXVIII
    - ПРИЛОЖЕНИЯ
        - А. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ МОРМОНОВ
        - Б. РЕЗНЯ НА ГОРНОМ ЛУГУ
        - В. О НЕКОЕМ СТРАШНОМ УБИЙСТВЕ, КОТОРОЕ ТАК И НЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО
        - НЕСОМНЕННЫЙ СЛУЧАЙ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ УБИЙСТВА
        - ВАШЕ ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ
        - КОГДА ЖЕ ЗАМКНЕТСЯ КРУГ
        - ЛОВУШКА РАССТАВЛЕНА
        - ЛОВУШКА ПОЧТИ ОБНАРУЖЕНА
        - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
        - В ЛОВУШКЕ
        - НАШ ХОЗЯИН
        - СТРАТЕГИЯ И МЕСМЕРИЗМ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26

- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70

- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75

Марк Твен
Налегке

Кэлвину Х. Хигби, честному человеку, веселому товарищу и верному другу, посвящает эту книгу автор в память о том удивительном времени, когда мы с ним в течение десяти дней были миллионерами.

ОТ АВТОРА

Эта книга — не исторический очерк и не философский трактат, а всего лишь рассказ о пережитом. Я описал в ней несколько бурных лет моего бродяжничества, и цель ее — развлекать читателя в часы досуга, но отнюдь не томить его метафизикой и не раздражать ученостью. Все же из книги можно и узнать кое-что: например, о любопытнейшей главе в истории Дальнего Запада, главе, которую не написал ни один из тех, кто был на месте в то время и видел все своими глазами. Я говорю о начале, росте и разгаре серебряной лихорадки в Неваде, о явлении в некотором смысле чрезвычайно интересном, единственном в своем роде для того края; ничего подобного там прежде не бывало и, вероятно, не будет и впредь.

Да, в общем и целом в моей книге немало полезных сведений. Меня это очень огорчает, но, право же, я тут ничего поделать не могу: видимо, я источаю фактические данные так же естественно, как ондатра — драгоценный мускус. Иногда мне кажется, что я отдал бы все на свете, лишь бы удержать при себе свои знания, но это невозможно. Чем усерднее я конопачу все щели, чем туже завинчиваю крышку, тем обильнее из меня сочится мудрость. Поэтому я не смею оправдываться перед читателем, а только прошу его о снисхождении.

Марк Твен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(Перевод В.Топер)

ГЛАВА I

Я назначен помощником Секретаря Невады. — Предел желаний. — Недолгие сборы. — Мечты и видения. — На реке Миссури. — Первоклассный пароход.

Моего брата только что назначили Секретарем территории Невада; это была поистине грандиозная должность, объединявшая в одном лице звания и полномочия казначея, ревизора, государственного секретаря и заместителя губернатора в отсутствие оного. Тысяча восемьсот долларов в год и титул «господин Секретарь» придавали этому высокому посту неслыханный блеск и великолепие. Я был молод, неискушен и от души завидовал брату. Мало того, что на его долю выпали богатство и власть, — он отправится в долгий, дальний путь, узнает новый, неизведанный мир. Путешествовать! Я еще ни разу не уезжал из дому, и для меня в этом слове таилось неотразимое очарование. Скоро брат мой уже будет в сотнях и сотнях миль отсюда, среди равнин, пустынь и гор Дальнего Запада. Он увидит индейцев и бизонов, луговых собачек и антилоп. Сколько у него будет приключений — быть может, его повесят или скальпируют, — и как это будет весело, и он напишет обо всем домой и прослывет героем! И еще он увидит золотые и серебряные прииски, и как-нибудь под вечер, управившись с делами, он на горном склоне наберет два-три ведерка блестящих самородков золота и серебра. И со временем он страшно разбогатеет, и воротится на родину морем, и будет походя говорить о Сан-Франциско, об океане, о «перешейке»[1], точно видеть воочию все эти чудеса — сущая безделица.

Что я выстрадал, думая о привалившем ему счастье, не описать пером. И когда он с полным хладнокровием, словно речь шла о пустяке, предложил мне должность личного секретаря, я не сомневался, что небо и земля прейдут и небосклон свернется, точно свиток! Это был предел моих желаний. О большем я и мечтать не мог. В какие-нибудь два часа я собрался в путь. Много времени на сборы не требовалось — нам предстояло ехать от границы штата Миссури до Невады в почтовой карете, и пассажирам разрешалось иметь при себе лишь небольшую поклажу. В те добрые старые времена, лет десять — двенадцать назад, не существовало Тихоокеанской железной дороги — ни одного рельса еще не было проложено.

Я намеревался пробыть в Неваде три месяца — у меня и в мыслях не было оставаться там дольше. Мне хотелось увидеть как можно больше нового, неведомого, а потом, не задерживаясь, вернуться домой и заняться делом. Я никак не ожидал, что моя трехмесячная прогулка затянется на шесть-семь необычайно долгих лет!

Всю ночь я грезил об индейцах, пустынях, серебряных слитках, а на другой день, в положенный час, мы в Сент-Луисе сели на пароход, шедший вверх по реке Миссури.

От Сент-Луиса до Сент-Джозефа мы плыли шесть дней; и таким скучным, дремотным и однообразным было это плавание, что оно не оставило и следа в моей памяти, — словно оно длилось не шесть долгих дней, а всего-навсего шесть минут. Я лишь смутно припоминаю страховидные коряги, которые мы хладнокровно приминали то одним колесом, то другим; и подводные камни, на которые мы сначала наскакивали, а потом отступали и перебирались в каком-нибудь другом месте; и песчаные отмели, где мы порой застревали и, посидев немного, при помощи багров продвигались дальше. Собственно говоря, наш пароход мог бы с таким же успехом проделать путь до Сент-Джозефа по суше, ибо он по большей части, можно сказать, шел пешком, терпеливо и настойчиво карабкаясь на подводные камни и перешагивая через коряги. Шкипер говорил, что пароход — первый класс, надо бы только больше напора и покрупнее колеса. Я лично считал, что ему не помешали бы ходули, но у меня хватило ума не сказать этого вслух.

ГЛАВА II

В Сент-Джозефе. — Мы прощаемся с лайковыми перчатками и фраками. — Вооружены до зубов. — Покидает Штаты. — Наша карета. — Нечто среднее между ухмылкой и землетрясением.

В тот радостный вечер, когда мы наконец сошли на берег в Сент-Джозефе, мы первым делом разыскали почтовую контору и заплатили по сто пятьдесят долларов за места в почтовой карете до Карсон-Сити, Невада.

На другое утро спозаранку, наскоро позавтракав, мы поспешили к станции. Тут возникло непредвиденное препятствие, а именно: оказалось, что тяжелый дорожный сундук никак не может сойти за двадцать пять фунтов багажа, — по той простой причине, что он весит гораздо больше. А нам полагалось только по двадцать пять фунтов на билет — и все. Итак, пришлось срочно открывать сундуки и второпях отбирать самые необходимые вещи. Мы сложили наши законные дважды двадцать пять фунтов в один чемодан, а сундуки отправили обратно в Сент-Луис. Это было грустное расставание, ибо мы очутились без фраков и белых перчаток, в которых думали щеголять на индейских раутах в Скалистых горах; не осталось у нас и высоченных цилиндров, и лакированных штиблет, — словом, ничего из тех предметов, кои необходимы в мирной и спокойной жизни. Мы перешли на военное обмундирование. Каждый из нас надел костюм из грубого плотного сукна, шерстяную солдатскую рубашку и сапоги, а в чемодан мы сунули несколько сорочек, исподнее белье и тому подобное. Брат мой, Секретарь территории Невада, прихватил фунта четыре законов, действующих в Соединенных Штатах, и шесть фунтов Полного толкового словаря, ибо мы — несчастные простаки, — не знали, что и то и другое продается в Сан-Франциско с доставкой в Карсон-Сити в течение одних суток. Я вооружился до зубов при помощи маленького семизарядного Смит-и-Вессона, пули которого напоминали гомеопатические пилюли, и только выпустив все семь зараз, можно было получить дозу, потребную для взрослого мужчины. Но это меня не смущало. Я считал, что обладаю вполне действенным оружием. У него оказался только один изъян: попасть из него в цель было совершенно невозможно. Один из наших кондукторов стрелял из моего револьвера в корову, и пока

она стояла смирно, ничто ей не угрожало; но потом она начала двигаться, и тут-то кондуктор, уже нацелившийся на что-то другое, и всадил в нее заряд.

У моего брата, господина Секретаря, на поясе висел небольшой кольт для защиты от индейцев, и во избежание несчастных случаев он оставил его незаряженным. Спутника нашего звали мистер Джордж Бемис. Это была поистине грозная личность. Мы видели его впервые в жизни. У него на поясе висел допотопный пистолет системы Аллен, именуемый зубоскалами «перечницей». Система эта отличалась необыкновенной простотой. Стоило оттянуть курок — и пистолет стрелял; когда курок оттягивался, ударник поднимался, а барабан поворачивался, затем ударник опускался, и пуля вылетала вон.

Прицелиться из Аллена поверх поворачивающегося барабана и попасть в мишень — этот фокус, вероятно, еще не удавался никому на свете. Но все же револьвер Джорджа был надежным оружием, ибо, как сказал впоследствии один из наших кучеров, «если пуля не попадет куда надо, она попадет в другое место». И так оно и случилось. Однажды, когда Джордж навел пистолет на прибитую к дереву двойку пик, пуля угодила в мула, стоявшего в тридцати ярдах левее. Бемис не притязал на мула, но тем не менее хозяин его, появившись с двустволкой в руках, убедил Бемиса купить мула. Забавная это была штука — пистолет Бемиса. Иногда все шесть зарядов вылетали зараз, и тогда негде было укрыться от пуль — разве только спрятавшись у Бемиса за спиной.

Мы захватили с собой два-три одеяла на случай морозной погоды в горах. Роскоши мы себе никакой не позволили — взяли только трубки и пять фунтов курительного табаку. У нас было две больших фляги для запаса воды в прериях между станциями и маленький мешочек с серебром для текущих расходов — на завтраки и обеды.

К восьми часам мы в полной готовности уже были на другом берегу реки. Мы вскочили в карету, кучер щелкнул бичом — и мы умчались, оставив Штаты позади. Утро выдалось чудесное, все вокруг сверкало под летним солнцем, дышало свежестью и прохладой. Мы радовались избавлению от всех забот и обязанностей, и нам уже казалось, что годы, проведенные в душном, знойном городе, где мы трудились в поте лица своего, были растрачены зря. Мы мчались по Канзасу, и не прошло и двух часов, как мы довольно далеко углубились в прерии. Местность здесь волнистая; насколько хватал глаз, перед нами расстилалась бескрайняя равнина, на которой гряды холмов плавно чередовались с впадинами, — словно грудь океана, колеблемая

ровным дыханием после пронесшейся бури. И повсюду виднелись квадраты кукурузных полей, выделяясь более темной зеленью среди необъятного простора зеленеющих лугов. Но вскоре этот океан на суше перестал «волноваться» и на семьсот миль простерся ровной, словно паркет, гладью!

Наша карета представляла собой громоздкую тряскую колымагу чрезвычайно внушительного вида — огромная люлька на колесах. Везла ее шестерка резвых лошадей, и рядом с кучером восседал кондуктор — особа, облеченная всей полнотой власти, ибо на нем лежала обязанность заботиться о почте, багаже, посылках и пассажирах. На этот раз, кроме нас троих, пассажиров не было. Мы расположились внутри кареты, на заднем сиденье. Все остальное пространство было заполнено тюками — мы везли с собой копившуюся три дня почту. Тюки, почти касаясь наших колен, отвесной стеной поднимались до самой крыши. Кроме того, груды посылок лежали на империале и оба багажника были полны до отказа. В общей сложности, по словам кучера, с нами ехало две тысячи семьсот фунтов почты: «Немного для Бригема, для Карсона и для Фриско[2], но больше всего для индейцев, а они и так уж обнаглели, что же это будет, когда они начитаются всякой всячины?» Так как при этом лицо его страшно исказилось, словно он хотел лукаво ухмыльнуться, но ему помешало землетрясение, — мы догадались, что замечание это — шутка и что, по всей вероятности, мы сбросим почти весь груз на дороге через прерии, где его подберут индейцы или еще кто-нибудь.

Лошадей мы меняли каждые десять миль в течение всего дня и буквально летели по укатанной ровной дороге. На каждой остановке мы выскакивали из кареты, чтобы размять ноги, и поэтому вечер застал нас свежими и бодрыми.

После ужина в карету села женщина, жившая в пятидесяти милях дальше по тракту, и нам троим пришлось по очереди ехать на козлах рядом с кучером. По всей видимости, это была особа неразговорчивая. Она сидела молча в сгущающихся сумерках, устремив неподвижный взор на комара, впившегося в ее руку, медленно поднимала другую руку и, нацелясь, хлопала по комару с такой силой, что зашаталась бы и корова; потом она с явным удовлетворением рассматривала трупик насекомого. Она ни разу не промахнулась, это был первоклассный стрелок с короткой дистанции. Трупы она не сбрасывала, а оставляла для приманки. Я следил за этим кровожадным сфинксом, следил до тех пор, пока мертвых комаров набралось штук тридцать — сорок, и все ждал, что она скажет хоть слово, но она упорно молчала. Наконец я сам вступил в разговор. Я сказал:

— Как много здесь комаров, сударыня.

— Еще бы!

— Что вы изволили сказать, сударыня?

— Еще бы!

Потом лицо ее прояснилось, она повернулась ко мне и заговорила:

— Лопни мои глаза, я уж думала, вы, ребята, глухонемые какие-то. Право слово. Сижу я тут, сижу, шлепаю комарей — и никак не пойму, что с вами такое. Сперва так и думала, что вы глухонемые, а потом кумекаю: может, захворали или ума решились? Да поглядела я на вас, поглядела — и вижу, что просто-напросто дурачки вы и говорить-то не умеете. Издалека ли едете?

Сфинкс уже не был сфинксом! Разверзлись источники великой бездны, и лил дождь сорок дней и сорок ночей — дождь из всех частей речи, — и нас захлестнули воды пошлой болтовни, не оставив нам ни уступа, ни вершины, за которую мы могли бы ухватиться и молвить слово среди этого бурного потока безграмотного вздора!

Какой это был ужас, ужас, ужас! Время шло час за часом, а она все тараторила, и я горько раскаивался, что своим замечанием о комарах вызвал ее на разговор. Она не умолкала ни на минуту всю дорогу, пока не добралась до цели своего путешествия; выходя из кареты, она растолкала нас (мы все-таки задремали) и сказала:

— Вот что, ребята, вы слазьте в Коттонвуде и пару дней задержитесь там, а я завтра к вечеру подъеду, и мы с вами малость поболтаем. Про меня говорят, будто я больно разборчива и нечего заноситься такой деревенщине, как я, ну а я, верно, всякую шушеру до себя не допускаю, иначе пропадешь, но ежели наскочу на подходящих людей, со мной еще водиться можно.

Мы решили не задерживаться в Коттонвуде.

ГЛАВА III

Лопнувшая скрепа. — Почта, сданная по адресу. — Беспокойный сон. — Полынь. — Пальто как предмет питания. — Печальная участь верблюда. — Предостережение неосторожным читателям.

Часа за полтора до рассвета, когда мы плавно катили по дороге — так плавно, что наша люлька лишь слегка покачивалась и мы, убаюканные мерным движением, стали забываться сном, — под нами вдруг что-то треснуло! Мы, разумеется, заметили это, но интереса не проявили. Карета остановилась. Мы слышали, как переговаривались кучер и кондуктор, как они искали фонарь и чертыхались, не находя его, — но у нас не было ни малейшего желания узнать, что же случилось; напротив, мы чувствовали себя особенно уютно оттого, что эти люди хлопочут и возятся в потемках, а мы укрылись в теплом гнездышке за спущенными шторами. Но, судя по доносившимся снаружи звукам, карета подверглась осмотру, а затем голос кучера произнес:

— Ах, черт! Скрепа лопнула!

Сон мигом слетел с меня — как всегда бывает, когда, еще не зная, в чем дело, чувствуешь, что стряслась беда. «Скрепа, — сказал я самому себе, — это, вероятно, часть лошади; и, очевидно, весьма существенная часть, потому что в голосе кучера явно слышалась тревога. Может быть, жила на ноге? Но как могла лопнуть жила у лошади на такой ровной дороге? Нет, что-то не то. Это просто невозможно, разве только она хотела лягнуть кучера. Что же это за штука — скрепа у лошади? Ну, что бы там ни было, признаваться в своем невежестве я не намерен».

Одна из шторок приподнялась, в окне показалось лицо кондуктора, свет фонаря упал на нас и на стену из почтовых тюков. Он сказал:

— Прошу публику ненадолго выйти. Скрепа лопнула.

Мы вылезли; было холодно, моросил дождь, и мы сразу почувствовали себя бесприютными и несчастными. Когда я узнал, что «скрепой» называют массивное приспособление, состоящее из ремней и рессор, я сказал кучеру:

— В жизни не видел, чтобы скрепа до такой степени износилась. Как это могло случиться?

— Очень просто. Не может одна карета везти почту за три дня. Вот так и случилось, — ответил он. — Кстати, тут самое то

место и есть, куда отправлены мешки с газетами для индейцев, чтобы они читали, а не безобразничали. Счастье еще, что скрепа лопнула, не то я, пожалуй, впотьмах мимо бы проскочил.

Я знал, что он опять силится родить лукавую ухмылку, хоть и не мог видеть его лица, потому что он стоял нагнувшись; я мысленно пожелал ему благополучно разрешиться от бремени и стал помогать остальным вытаскивать увесистые тюки. Когда все было вытащено, на обочине дороги выросла внушительная пирамида. Скрепу починили, и мы снова заполнили оба багажника, но крышу не нагрузили совсем, а внутри кареты сложили значительно меньше того, что там было при выезде. Кондуктор опустил спинки сидений и нагрузил карету до половины во всю длину. Это вызвало решительный протест с нашей стороны, ибо теперь нам не на чем было сидеть. Но кондуктор оказался мудрее нас: он внушил нам, что лежать лучше, чем сидеть, и что при таком устройстве скрепы дольше выдержат. После этого мы охотно отказались от сидений. Удобное ложе было несравненно приятней. Я провел много увлекательных часов, растянувшись на нем, за чтением свода законов или Толкового словаря, с волнением следя за судьбой героев.

Кондуктор заявил, что с ближайшей станции пошлет человека подобрать оставленную почту, и мы покатили дальше.

К этому времени совсем рассвело; мы разлеглись на тюках, с наслаждением вытянули онемевшие ноги и смотрели в окна кареты, любуясь зеленым простором, подернутым утренним росистым туманом, вглядываясь в светлеющий восток с чувством полного, ничем не омраченного блаженства.

Карета быстро мчалась по дороге, шторки и наши пальто, висевшие в кожаных петлях, лихо развевались на ветру. Мы покачивались на мягких рессорах; стук копыт, щелканье бича, крики «Н-но, ходи веселей!» музыкой звучали в наших ушах; земля поворачивалась к нам, деревья кружились, словно молча приветствуя нас, а потом застывали на месте и глядели нам вслед не то с любопытством, не то с завистью; а мы полеживали на тюках, курили трубку мира и, сравнивая нашу теперешнюю роскошную жизнь с серењким существованием в стенах города, где мы провели столько лет, пришли к выводу, что есть только одно истинное и полное счастье на свете, и это счастье мы обрели.

Мы позавтракали на какой-то станции — название я забыл, — а потом все втроем взобрались на крышу и сели позади кучера, предоставив кондуктору наше ложе, чтобы он мог немного вздремнуть. Когда солнце разморило меня, я улегся ничком на

крышу кареты и, держась за шаткие перильца, проспал еще целый час. Вот до чего хороши там дороги! Невзирая на то, что лошади бежали со скоростью восьми-девяти миль в час, ничто не мешало человеку спокойно спать, покачиваясь на рессорах, а если карету встряхивало на кочках или ухабах, он инстинктивно хватался за перила. Кучера и кондукторы иногда спали на ровной дороге по тридцать, сорок минут, не слезая с козел. Я своими глазами это видел. И ни разу ни один из них не свалился: не было случая, чтобы спящий не ухватился за перила, когда карету подкидывало. Нелегкий труд возить почту через прерии, и никто не мог бы проделать весь путь, не вздремнув хоть немного.

Вскоре мы миновали Мэрисвилл, переправились через реки Биг-Блу и Литл-Санди; еще миля — и мы въехали в штат Небраска. Потом, покрыв еще милю, добрались до Биг-Санди: от Сент-Джозефа нас отделяли уже сто восемьдесят миль.

Когда начало смеркаться, мы увидели первый образец той породы животных, которая водится среди гор и пустынь и на протяжении двух тысяч миль — от Канзаса до Тихого океана — известна под названием «ослиные уши». Меткое название. Заяц этот почти ничем не отличается от своих собратьев, но он на одну треть, а то и вдвое крупнее их, и ноги у него — по отношению к туловищу — длиннее, а уши просто неправдоподобные: таких в самом деле не найдешь ни у кого на свете, кроме как у осла. Когда он сидит смирно, перебирая в памяти свои грехи, или погружен в раздумье, или чувствует себя в безопасности, его мощные уши торчат высоко над головой; но стоит хрустнуть сломанной ветке, как он, перепуганный насмерть, слегка откидывает их и пускается наутек. С минуту вы видите только вытянутое в струнку серое тело, скользящее в кустах полыни; голова поднята, глаза устремлены вперед, чуть отогнутые назад уши — словно кливер на паруснике — не дают вам потерять его из виду. Время от времени он делает огромный скачок, взлетая над кустарником на длинных задних ногах, — такому прыжку позавидовала бы скаковая лошадь. Потом он переходит на более плавную крупную рысь и вдруг, точно по волшебству, скрывается из глаз. Значит, он притаился за кустом и будет ждать там, весь дрожа и тревожно прислушиваясь, а как только вы подойдете к нему на расстояние шести футов, он опять побежит. Но для того чтобы такой заяц показал всю свою прыть, нужно разок выстрелить в него. Тут уж он себя не помнит от страха, и, закинув за спину длиннющие уши, сжимаясь и расправляясь, словно пружина, при каждом скачке, он покрывает милю за милей с легкостью поистине изумительной.

Общими усилиями мы «завели», — по выражению

кондуктора, — повстречавшегося нам длинноухого зайца. Сначала Секретарь выстрелил из своего кольта; потом я брызнул всеми семью пилюлями моего Смит-и-Вессона; в ту же секунду допотопный Аллен открыл оглушительную пальбу. И переполошился же бедный зверек! Он опустил уши, задрал хвост и стрелой помчался прямо в Сан-Франциско — только мы его и видели! Еще долго, после того как он исчез, мы слышали свист рассекаемого воздуха.

Не помню, где именно впервые появились кусты полыни, но раз уж я упомянул о них, могу описать их и здесь. Сделать это нетрудно: пусть читатель представит себе старый вечнозеленый дуб, низведенный до размеров кустика в два фута вышины, но с такой же шершавой корой, с такими же листьями и искривленными ветвями — все, как полагается, — и он в точности будет знать, каков куст полыни. Сколько раз в часы безделья я лежал на земле, спрятав голову под кустик полыни, и развлечения ради воображал, что мошкара в его листве — крохотные пичужки, а муравьи, снующие взад-вперед между корней, — крохотные стада и отары, а сам я — великан из страны Бробдингнег, на досуге подстерегающий малюсенького человечка, дабы съесть его.

В общем, можно сказать, что куст полыни — это тот же могучий царь лесов, но только в миниатюре. Листья у нее зеленовато-серые, и там, где она растет, пустыни и горы словно окрашены в этот цвет. Пахнет она так же, как обыкновенный шалфей, и настойка из нее такая же на вкус, как столь знакомая всем мальчишкам настойка из шалфея. Полынь необычайно выносliва, она может жить в глубоком песке и на голых скалах, где не вздумалось бы расти никому, кроме одной «пучковой травы»[3]. Кусты полыни — с промежутками от трех до шести-семи футов — сплошь покрывают пустыни и горы Дальнего Запада до самых границ Калифорнии. На сотни миль здесь тянется пустынная голая земля, без единого дерева, — только полынь и ее сородич — солянка, столь схожая с нею, что о различии между ними и говорить не стоит. Ни согреться у костра, ни приготовить горячий ужин нельзя было бы на этих пустынных равнинах без дружественного содействия полынного куста. Ствол его толщиной с запястье подростка (а иногда и взрослого мужчины), кривые ветки наполовину тоньше; древесина плотная, твердая, крепкая, почти как у дуба.

Когда путники разбивают лагерь, первым делом рубят кусты полыни; и уже несколько минут спустя обильный запас топлива заготовлен. Выкапывают яму шириной в фут, глубиной и длиной в два фута и жгут в ней мелко нарубленный кустарник, пока она

не наполнится до краев раскаленными углями, — тогда можно начинать стряпать; и так как нет дыма, то никто не чертыхается. Такой костер держит жар всю ночь, если изредка подбрасывать топливо; сидеть вокруг него очень уютно, и при свете его даже самый фантастический случай из жизни рассказчика кажется правдоподобным, поучительным и чрезвычайно занятным.

Итак, полынный кустарник — превосходное топливо, но в пищу он, безусловно, не годится. Ни одно живое существо не станет питаться им, кроме осла и мула, — его незаконнорожденного чада. Но на свидетельство этих животных полагаться нельзя, ибо они охотно поедают сосновые наросты, куски антрацита, медную стружку, свинцовые трубы, пустые бутылки — словом, все что попало, и вид у них при этом такой ублаготворенный, как будто они лакомятся устрицами. Мулы, ослы и верблюды обладают аппетитом, который временно можно обмануть чем угодно, но утолить нельзя ничем. Однажды в Сирии, у истоков Иордана, пока мы ставили палатки, верблюд занялся моим пальто. Сперва он критическим оком осмотрел его со всех сторон, словно намереваясь заказать себе такое же; после того как он основательно изучил его с точки зрения пригодности для носки, верблюд, видимо, решил испытать его пригодность в пищу: поставив на пальто ногу и ухватив зубами край рукава, он принялся усердно жевать, — и жевал до тех пор, пока не сожрал весь рукав; при этом он в поистине религиозном экстазе то закрывал, то открывал глаза, всем своим видом показывая, что в жизни не едал ничего вкусней мужского пальто. Потом он почмокал губами и потянулся ко второму рукаву. После этого он лизнул бархатный воротник и улыбнулся довольной улыбкой, давая понять, что именно бархатный воротник он почитает самой лакомой частью всякого пальто. За воротником последовали полы вкупе с пистонами, леденцами от кашля и константинопольским инжиром. А потом из кармана выпала рукопись — корреспонденция, написанная мною для американских газет; верблюд отведал и этой пищи. Но тут он ступил на опасный путь: ему стали попадаться куски неудобоваримой мудрости, камнем ложившейся на желудок; некоторые остроты так потрясали его, что он начинал стучать зубами; дело принимало дурной оборот для бедного верблюда, но он, не теряя надежды, держался стойко, пока наконец не наткнулся на сообщение, которое даже верблюд не мог безнаказанно проглотить. Задыхаясь, он разинул рот, глаза его вылезли из орбит, передние ноги разъехались, и четверть минуты спустя он уже лежал на земле недвижимый, как столярный верстак; вскоре он умер в страшных мучениях. Я подошел к нему и вытащил рукопись из его зева; оказалось, что

чувствительное животное погибло, подавившись одним из самых безобидных и мирных сообщений, какие мне доводилось преподносить доверчивым читателям.

Я отвлекся от своего предмета и потому не успел сказать, что полынный куст бывает пяти-шести футов высоты, и тогда, соответственно, он и ветвистей, и листья у него крупнее; однако обычный его рост — два, два с половиной фута.

ГЛАВА IV

Прибытие на станцию. — Странное местоположение палисадника. — Наш почтенный хозяин. — Изгнанник. — Бурда-мура. — Обеденный этикет. — Мексиканские мулы. — Езда на почтовых и по железной дороге.

Когда солнце село и повеяло вечерней прохладой, мы стали устраиваться на ночь. Мы разобрали жесткие кожаные сумки для писем и тюки с выпирающими углами и обложками журналов, книг и посылок. Потом мы опять сложили всю почту, стараясь, чтобы ложе наше получилось как можно ровней. Отчасти нам это удалось; однако, невзирая на усердные труды наши, оно походило на маленькое море, по которому ходят бурные волны.

Затем мы извлекли свои сапоги из тайников между тюками, куда они запрятались, и надели их. После этого мы облачились в сюртуки, жилеты, брюки и теплые шерстяные рубашки, предварительно вытащив их из кожаных петель, где они болтались целый день, — ибо, поскольку особ женского пола не было ни на станциях, ни в карете, а погода стояла жаркая, мы, не стесняясь, уже в девять часов утра сняли с себя всю одежду, кроме исподней. Закончив таким образом приготовления, мы убрали подальше громоздкий словарь, чтобы не мешал, а фляги с водой и пистолеты положили поближе, чтобы можно было нащупать их впотьмах. Потом каждый из нас выкурил последнюю трубку, рассказал последнюю историю, после чего мы засунули трубки, кисеты и деньги в укромные местечки среди тюков и задернули все шторки, так что стало темно, «как у коровы в желудке», — по образному выражению нашего кондуктора. Несомненно, темнее и быть не могло — разглядеть что-нибудь, хотя бы и смутно, не было никакой возможности. И наконец мы свернулись, как шелковичные черви, закутавшись каждый в свое одеяло, и мирно отошли ко сну. Когда карета останавливалась для смены лошадей, мы просыпались, пытаясь — не без успеха — вспомнить, где мы находимся; через две минуты карета уже опять катила по дороге, а мы опять засыпали. Теперь мы ехали по местности, кое-где прорезанной ручейками. Берега у них были высокие, крутые, и каждый раз, как мы скатывались с одного берега и взбирались на другой, мы валились друг на друга. Сперва мы все трое, сбившись в кучу, съезжали к передку кареты в полусидячем положении, а в следующую секунду оказывались в другом конце

ее, стоя на голове. Вдобавок мы брыкались и размахивали руками, ограждая себя от тюков и сумок, грозивших обрушиться на нас; а так как из-за всей этой возни столбом подымалась пыль, то мы хором чихали и по очереди корили друг друга, не всегда соблюдая правила учтивости: «Уберите свой локоть!», «А нельзя ли полегче?»

Каждый раз, когда мы перекатывались с одного конца кареты в другой, Полный толковый словарь следовал за нами; и каждый раз по его вине случалась беда. Для начала он саданул Секретаря по локтю, потом он въехал мне в живот, и наконец так своротил нос Бемису, что тот, по его словам, мог заглянуть себе в ноздри. Пистолеты и мешочки с деньгами вскоре улеглись на полу, но трубки, чубуки, кисеты и фляги с грохотом летели за словарем, как только он бросался в атаку, и всячески содействовали ему, засыпая нам глаза табаком и заливая воду за воротник.

Но все же в общем и целом мы отлично провели ночь. Тьма постепенно рассеивалась, и наконец серый предутренний свет проник сквозь щели сборчатых шторок; мы полежали еще немного, сладко зевая и потягиваясь, затем сбросили с себя коконы и почувствовали, что отлично выспались. По мере того как встающее солнце согревало землю, мы снимали один предмет одежды за другим, после чего стали готовиться к завтраку — и в самое время, потому что пять минут спустя кучер разбудил зеленые просторы зловещим гласом почтового рожка и вдали показались два-три строения. И вот под громкий стук колес, цоканье копыт нашей шестерки и отрывистую команду кучера мы на предельной скорости с шиком подкатили к станции. Чудесная это была штука — стародавняя езда на почтовых!

Мы выскочили из кареты в чем были — полуодетые. Кучер, бросив вожжи, слез с облучка, потянулся, разминая онемевшие члены, скинул толстые кожаные рукавицы — все это не спеша, с нестерпимым высокомерием, не удостаивая взглядом подбежавших к карете станционного смотрителя и нескольких конюхов — заросших волосами полудикарей, которые с живейшим участием справлялись об его здоровье, подобострастно шутили и, всячески выражая свою готовность услужить, проворно выпрягали наших лошадей и выводили из конюшни свежую упряжку, — ибо тогдашний кучер почтовой кареты смотрел на станционных смотрителей и конюхов как на существа низшего разряда: они, несомненно, приносят пользу и обойтись без них было бы трудно, но тем не менее значительному лицу не пристало якшаться с ними. В глазах же смотрителя и конюхов, наоборот, кучер был героем — могущественным сановитым вельможей, гордостью и славой народа, баловнем всего мира.

Обращаясь к нему, они безропотно сносили его оскорбительное молчание, — именно так ведь и должен вести себя великий человек; а когда он открывал рот — с благоговением ловили каждое его слово. (Он никогда не заговаривал с кем-нибудь в отдельности, но дарил свое внимание и лошадям, и конюшне, и окружающему пейзажу, а кстати, и человеческой мелкоте.) Когда он отпускал обидную шутку по адресу одного из конюхов, тот целый день чувствовал себя именинником; когда он произносил свою единственную остроту — старую, грубую, пошлую, плоскую, которую он повторял слово в слово и в присутствии тех же слушателей, сколько бы раз карета ни останавливалась на этой станции, — все угодливо прыскали от смеха, хлопали себя по ляжкам, словно в жизни ничего уморительней не слыхали. А как они мчались со всех ног, когда он требовал таз для воды, или флягу с водой, или огня, чтобы раскурить трубку! Но если бы подобное желание дерзнул выразить пассажир, в ответ на свою просьбу он получил бы только презрительный отказ. Примером им служил в таких случаях тот же кучер, ибо не подлежит сомнению, что кучер почтовой кареты презирал своих пассажиров ничуть не меньше, чем конюхов.

Что касается кондуктора, то, хотя именно он обладал подлинной властью, смотритель и конюхи только отдавали ему долг вежливости, а преклонялись и трепетали они единственно перед кучером. С каким восхищением взирали они на него, когда он, восседая на высоком облучке, с небрежным видом натягивал рукавицы, в то время как сияющий конюх держал наготове вожжи, терпеливо дожидаясь, чтобы кучер соизволил взять их в руки! И какими восторженными возгласами они разражались, когда он, щелкнув длинным бичом, пускал лошадей вскачь!

Почтовые станции тех времен помещались в длинных низких строениях, сложенных из высушенного на солнце бурого кирпича (так называемого самана). Крыши, почти не имевшие ската, были соломенные, а сверху покрыты толстым слоем земли, на которой довольно густо росли трава и сорняк. Мы впервые в жизни увидели палисадник не перед домом, а на крыше его. Станция состояла из сараев, конюшни на двенадцать-пятнадцать лошадей и трактира для приезжающих. Тут же спали смотритель и один-два конюха. Здание трактира было такое низенькое, что на стреху можно было облокотиться, а в дверь входили нагнув голову. Вместо окна в стене зияло квадратное отверстие без стекла, в которое с трудом пролез бы взрослый мужчина. Пол был земляной, но утоптан плотно. Печи не имелось, впрочем, ее с успехом заменял очаг. Не было ни полок, ни шкафов, ни кладовых. В одном из углов стоял открытый мешок муки, а у

подножия его примостилось несколько почерневших допотопных кофейников, жестяной чайник, фунтик соли да свиной окорок.

Перед дверью в конуру смотрителя, на земле, стояли жестяной таз и ведро с водой и лежал кусок желтого мыла; с крыши свисала синяя шерстяная рубаха, заменявшая смотрителю полотенце, и только двум лицам — кучеру и кондуктору почтовой кареты — дозволялось пользоваться им. Однако ни тот ни другой этого не сделали: второй — из скромности, а первый потому, что не желал поощрять авансы какого-то смотрителя. У нас имелись полотенца — на дне чемодана, — и проку от них было столько же, как если бы они оказались в Содоме и Гоморре. Мы (и кондуктор) утерлись платками, а кучер прибег к помощи штанин и рукавов. Внутри, возле двери, висела ветхая рама, в углу которой сохранилось два осколка зеркала. Отражение в них получалось весьма забавное, ступенчатое: одна половина лица дюйма на два возвышалась над другой. К раме привязан был обломок гребешка, — но если бы мне предложили либо описать эту реликвию, либо умереть, я немедля заказал бы себе гроб. Гребень, видимо, принадлежал еще Исаву и Самсону[4], и за долгие годы на нем накопилось изрядное количество волос и грязи. В одном углу комнаты было сложено несколько ружей и мушкетов, а также рожки и сумки с патронами. Смотритель щеголял в плотных домотканых штанах с нашитыми сзади и на внутренней стороне икр кусками оленьей кожи, которые заменяли ему краги при езде верхом; поэтому штаны были наполовину синие, наполовину желтые и эффектны до чрезвычайности. Костюм его дополняли высокие сапоги, украшенные внушительными испанскими шпорами, железные колесики и цепочка звякали при каждом его шаге. Борода у него была до пояса, усы густые, шляпа старая, с обвисшими полями, рубашка синяя шерстяная — ни подтяжек, ни жилетки, ни сюртука; на поясе висел длинный флотский пистолет в кожаной кобуре, а из голенища торчала роговая рукоять охотничьего ножа.

Убранство трактира не отличалось ни пышностью, ни обилием. Качалки и мягкие диваны отсутствовали, да их здесь никогда и не бывало, а обязанности их исполняли два колченогих табурета, сосновая скамья длиной в четыре фута и два пустых ящика из-под свечей. Обеденным столом служила засаленная доска, положенная на козлы, а что касается скатерти и салфеток, то они не появились, — да их никто и не ждал. Каждый прибор состоял из обшарпанной жестяной миски, ножа, вилки и жестяной кружки, но перед кучером поставили еще фаянсовое блюдце, знававшее лучшие дни. Разумеется, этот вельможа восседал во главе стола. Среди предметов сервировки выделялся один,

который являл собой трогательное зрелище былого величия. Я имею в виду судок. Он был из мельхиора, перекореженный и ржавый, но до такой степени не на своем месте здесь, что казался оборванным королем-изгнанником, который очутился среди дикарей и в самом падении своем еще окружен ореолом высокого сана. Из бутылочек сохранилась только одна — без пробки, засиженная мухами, с разбитым горлышком; в уксусе, налитом до половины, плавали вверх лапками законсервированные мухи, явно сожалея о том, что сунулись сюда.

Смотритель поставил стоймя каравай недельной выпечки, формой и величиной напоминавший большой круг сыра, и отрубил от него несколько ломтей, столь же прочных, как камни мостовой, только что помягче.

Потом он отрезал каждому по куску солонины; однако есть ее отважились одни старые, закаленные работники станции, ибо эта солонина, предназначенная для гарнизонов, была отвергнута правительством Соединенных Штатов, не пожелавшим кормить ею своих солдат, а компания, коей принадлежал почтовый транспорт, купила ее по дешевке для своих пассажиров и служащих. Быть может, нас потчевали забракованной армейской солониной не именно на этой станции, а где-нибудь подальше, но что нас ею потчевали — факт неопровержимый.

В заключение смотритель налил нам некоего пойла, которое он не без остроумия называл «бурда-мура». Собственно говоря, выдавало оно себя за чай, но в нем содержалось слишком много мочалки, песку и прогорклого шпига, чтобы мало-мальски сообразительный пассажир мог обмануться. К чаю не дали ни молока, ни сахару, — даже ложки не дали, так что нечем было перемешать его составные части.

Мы не стали есть ни хлеба, ни мяса и не отведали «бурды-муры». А глядя на жалкую бутылку с уксусом, я вспомнил анекдот (старый-престарый анекдот, даже для того времени) о путешественнике, севшем за стол, на котором не было ничего, кроме макрели и баночки горчицы. Он спросил трактирщика, нет ли еще чего-нибудь.

— Еще чего-нибудь! Да разрази меня гром, этой макрели хватит на шестерых!

— Но я не люблю макрель.

— Ах вот что! Ну так кушайте горчицу.

Меня всегда очень смешил этот анекдот, но сейчас в нем было столь удручающее правдоподобие, что мне вовсе не хотелось смеяться.

Глаза наши видели приготовленный для нас завтрак, но зубы наши бездействовали. Отведав еды и понюхав чай, я выразил

желание выпить кофе. Смотритель застыл на месте и в немом изумлении уставился на меня. Наконец, опомнившись, он отворотился и сказал таким тоном, каким окончательно сбитый с толку человек разговаривает с самим собой:

— Кофе! Ну и ну! И повернется же язык!

Есть мы не могли, беседа тоже не завязывалась — погонщики скота и конюхи, сидевшие за одним столом с нами, не разговаривали между собой. Они только иногда по-приятельски обращались друг к другу с просьбой, выраженной кратко и энергично. Сначала их манера выражаться поразила и заинтересовала меня чисто «западной» свежестью и новизной; но вскоре она наскучила мне своим унылым однообразием:

«Дай сюда хлеб, скунсов сын!» Нет, я ошибся — не «скунсов», а что-то другое; насколько мне помнится, словцо, было еще покрепче, я даже уверен в этом, но оно выскочило у меня из головы. Впрочем, не беда — оно, вероятно, все равно не годилось бы для печати. Но оно послужило вехой в моей памяти, отметившей тот пункт нашего путешествия, когда я впервые узнал сочный, образный язык, присущий обитателям западных гор и равнин.

Отказавшись от дальнейших попыток насытиться, мы заплатили по доллару с головы, разлеглись на тюках в карете и в виде утешения закурили трубки. Здесь нас постигла первая перемена к худшему в нашей доселе роскошной езде: нашу шестерку благородных коней выпрягли и заменили шестеркой мулов. Однако это были дикие мексиканские мулы, и пока кучер усаживался и натягивал рукавицы, возле каждого стоял конюх и крепко держал его под уздцы. А когда кучер взял в руки вожжи и гикнул, конюхи отскочили в сторону, и карета умчалась прочь от станции так стремительно, словно вылетела из пушки. Как бешено скакали буйные животные! Ни на минуту не убавляя шагу, они неслись ожесточенным, яростным галопом, пока не покрыли десять-двенадцать миль и не остановились перед хибарками и конюшнями следующей станции.

Так мы летели сломя голову весь день. В два часа пополудни вдали показалась узкая полоска леса на берегу Северного Платта, которая отмечает его извилистый путь по просторам Великих равнин. В четыре часа пополудни мы пересекли рукав реки, а в пять — самую реку и очутились в форте Карни, проделав путь от Сент-Джозефа — триста миль! — за пятьдесят шесть часов.

Такова была езда на почтовых по бескрайним прериям лет десять — двенадцать тому назад, когда едва ли два десятка людей во всей Америке надеялись увидеть еще на своем веку, как вдоль этого тракта до самого океана протянется железная дорога.

Но железная дорога уже построена, и сколько картин встает в моей памяти, сколько контрастов поражает меня, когда я читаю напечатанный в «Нью-Йорк таймс» нижеследующий очерк о поездке по тому же почти маршруту, по которому следовал и я в описываемом путешествии. Мне трудно даже представить себе новое положение вещей.

ЧЕРЕЗ КОНТИНЕНТ

В воскресенье, в четыре часа двадцать минут пополудни, поезд отошел от вокзала в Омахе; так началась наша длительная прогулка на Запад. Несколько часов спустя нам объявили, что готов обед — немаловажное событие для тех из нас, кто еще не испытал, что значит пообедать в пульмановском отеле на колесах; итак, перейдя по ходу поезда в вагон, примыкающий к нашему спальному дворцу, мы очутились в вагоне-ресторане. Этот наш первый в пути воскресный обед был для нас сущим откровением. И хотя мы обедали таким образом четыре дня кряду и сверх того завтракали и ужинали, мы не уставали восхищаться этим нововведением и радоваться комфорту, который он нам доставлял. Среди покрытых белоснежными скатертями столиков, на которых сверкало массивное серебро, сновали темнокожие слуги в белой, без единого пятнышка одежде, и перед нами, словно по волшебству, появлялись яства, коих не постыдился бы сам Дельмонико[5]; и право же, в некоторых отношениях этому прославленному кулинару трудно было бы тягаться с нашим меню, ибо, помимо всего, что обычно составляет первоклассный обед, нам ведь подавали отбивные из антилопы (тот, кто не отведал этого блюда, — ах, что он понимает в лукулловском пире!), чудесную речную форель, отборные фрукты и ягоды — и наконец пикантная приправа, какой не купишь и за миллион: благоуханный, возбуждающий аппетит воздух прерий! Можете не сомневаться, что мы отдали должное этим лакомым кушаньям, не забывая пополнять бокалы искристым вином; и так как вдобавок мы мчались со скоростью тридцати миль в час, то и пришли к выводу, что столь головокружительной жизни еще никогда не вели. (Однако через два дня мы побили этот рекорд, покрыв двадцать семь миль в двадцать семь минут, причем ни одна капля не пролилась из наших полных до краев бокалов шампанского!) После обеда мы перешли в салон-вагон, и так как вечер был воскресный, то мы спели несколько старинных торжественных гимнов — «Славен господь, дарующий нам…», «Сияющий брег», «Венец творения» и так далее, и мужские и женские голоса,

сливаясь, стройно звучали в вечернем воздухе.

А между тем наш поезд мчался в неведомую даль, и его единственное око, точно огромный горящий глаз Полифема[6], прорезало густой мрак, окутавший бескрайние прерии. Потом мы улеглись в свои роскошные постели и почивали сном праведников, а проснувшись наутро (в понедельник) в восемь часов, обнаружили, что мы находимся у переправы через Северный Платт, в трехстах милях от Омахи, — и это за пятнадцать часов и сорок минут!

ГЛАВА V

Новые знакомства. — Койот. — Собачий опыт. — Разочарованный пес. — Сородичи койота. — Трапезы, вкушаемые далеко от дома.

Вторая ночь прошла, как и первая, — часы мирного сна сменялись суетой остановок. Но утро наконец настало. И опять пробуждение принесло нам отраду свежего ветерка, широкого простора зеленеющих лугов, яркого солнца, торжественного безмолвия; ни живой души, ни признака человеческого жилья, а воздух такой прозрачный, что деревья, удаленные на три мили с лишним, казались растущими у самой дороги. Мы опять сняли с себя лишнюю одежду, но крепко привязали шляпы, чтобы волосы не унесло ветром, — и уселись на крыше кареты, свесив ноги через край, да так и ехали, время от времени покрикивая на резвых мулов, отчего они откидывали назад уши и мчались еще быстрее, и жадно вглядываясь в расстилавшийся перед нами необъятный, как мир, зеленый ковер, каждое мгновение ожидая увидеть что-нибудь новое и интересное. По сей день сладостная дрожь пробирает меня, стоит мне вспомнить такое упоительное утро в пути, когда от радостного ощущения необузданной свободы кровь плясала в моих жилах!

После завтрака, в течение примерно часа, нам повстречались первые норы луговых собачек, первая антилопа и первый волк. Если мне память не изменяет, это был койот — луговой волк западных пустынь, и в таком случае я могу сказать с уверенностью, что ни красотой, ни респектабельностью он не отличался; я могу судить о нем со знанием дела, ибо впоследствии близко познакомился с его породой. Это длинное тощее существо, несчастное и больное на вид, в серой волчьей шкуре, с хвостом довольно пушистым, но неизменно поджатым, что придает всей его фигуре выражение крайнего уныния и безысходной тоски; взгляд у него увертливый и злобный, морда вытянутая и острая, приподнятая верхняя губа не закрывает зубов. Весь он какой-то вороватый.

Койот — живое воплощение нужды. Он всегда голоден. Он всегда беден, незадачлив и одинок. Самая последняя тварь презирает его, и даже блохи предпочли бы ему велосипед. Он так смирен и труслив, что, хотя зубы у него угрожающе оскалены, вся морда словно просит простить его за это. А какой урод! —

костлявый, худющий, щетинистый и жалкий. Увидев вас, он приподымает верхнюю губу и скалит зубы, потом слегка сворачивает со своего пути, втягивает голову и пускается крупной неслышной рысью сквозь заросли полыни, время от времени оглядываясь на вас через плечо, пока не уйдет так далеко, что пуля догнать его не может; тогда он останавливается и внимательно рассматривает вас; делает он это через равные промежутки: пробежит пятьдесят ярдов и остановится; еще пятьдесят ярдов — и опять остановится; и наконец серая окраска его скользящего тела сливается с серым цветом полыни, и койот исчезает. Все это при условии, что вы ничем ему не угрожаете; в противном же случае он проявляет несравненно большую прыть, мчится, словно наэлектризованный, и между ним и вашим оружием оказывается столько недвижимого имущества, что к тому времени, когда вы взведете курок, вы убеждаетесь в необходимости иметь винтовку Минье; прицелившись, уже понимаете, что вам нужна пушка; а когда вы спускаете курок, для вас совершенно ясно, что догнать его могла бы только необычайно выносливая молния. Но самое потешное — это пустить в погоню за койотом быстроногую собаку, особенно если она высокого мнения о себе и привыкла считать, что резвостью ее никто превзойти не может. Койот, по обыкновению, рысит мягко, плавно, будто и не спеша, и время от времени оглядывается через плечо, улыбаясь коварной улыбкой, чем пуще раззадоривает собаку, так что она еще ниже опускает голову, еще дальше вытягивает шею, еще больше задыхается, прямее выставляет хвост, с яростным ожесточением все быстрее перебирает лапами, а за ней вздымается туча песку — все шире и шире, выше и гуще, — отмечая ее долгий след по пустынной равнине!

А койот неуклонно бежит впереди собаки на расстоянии каких-нибудь двадцати футов от нее, и она, хоть убей, не может понять, почему это расстояние не сокращается; она начинает злиться, ее бесит, что койот бежит так легко, не обливается потом, не перестает улыбаться, собаку охватывает неистовый гнев: как нагло провел ее этот незнакомец, и какой подлый обман эта размеренная, плавная, бесшумная рысь! Собака замечает, что очень устала и что койот, чтобы не убежать от нее совсем, замедляет ход, — и тут-то выросшая в городе собака окончательно выходит из себя, она плачет, бранится, в исступлении месит лапами песок и, собрав последние силы, кидается за койотом. После этого броска только шесть футов отделяют ее от ускользающего врага, но две мили — от друзей. И вдруг, в то самое мгновение, когда глаза собаки загораются новой надеждой, койот еще раз поворачивается к ней, приветливо

улыбается, словно хочет сказать: «Ну что же, придется мне покинуть тебя, дружок, — дело есть дело, не могу я целый день прохлаждаться с тобой», раздается шорох, треск, свистит рассекаемый воздух — и уже собака одна-одинешенька среди безмолвной пустыни.

У нее голова идет кругом. Она останавливается, озирается по сторонам, взбегает на ближайший песчаный пригорок и всматривается вдаль, задумчиво мотает головой и, не проронив ни слова, поворачивает и трусит обратно к своему каравану, где смиренно забивается под самый задний фургон, чувствуя себя несчастной и униженной, и потом неделю ходит с поджатым хвостом. И еще целый год, всякий раз когда поднимается крик и улюлюканье, эта собака лишь равнодушно глянет в ту сторону, явно говоря про себя: «И совсем мне это ни к чему».

Койот обитает преимущественно в самых безлюдных, самых глухих пустынях, наряду с ящерицей, длинноухим зайцем и вороной, и ведет весьма необеспеченную жизнь, с трудом добывая скудное пропитание. Видимо, кормится он только трупами волов, и мулов, и лошадей, отставших от переселенческих караванов, всякой падалью, а подчас и тухлым мясом, полученным в наследство от белых путников, достаточно богатых, чтобы обойтись без забракованной армейской солонины. Он поедает решительно все, чем не брезгают его ближайшие родичи — индейцы, кочующие в пустынных прериях, — а те едят все, что можно куснуть. Удивительное дело: индейцы — единственные известные истории существа, которые в состоянии отведать нитроглицерина и — если не умрут — попросить еще.

Койоту пустынь по ту сторону Скалистых гор живется особенно трудно, ибо его родня, индейцы, не хуже его самого умеют распознать соблазнительный запах, приносимый ветерком, и пуститься на поиски издохшего вола, от коего сей аромат исходит; в таких случаях он волей-неволей довольствуется тем, что сидит на почтительном расстоянии и смотрит, как люди, вырезав и отодрав все годные в пищу куски, уходят со своей добычей. А затем он вместе с поджидающими воронами обследует скелет и обгладывает кости. По общему мнению, кровное родство койота с этой зловещей птицей и с индейцами пустынь не подлежит сомнению потому, что все они населяют безлюдные пустынные земли, причем живут между собой в мире и согласии, дружно ненавидя все остальные живые существа и мечтая принять участие в их похоронах. Койоту ничего не стоит отправиться завтракать за сотню миль, а обедать — за полтораста; ведь он отлично знает, что от одной трапезы до другой пройдет не меньше трех-четырех дней, так не лучше ли

повидать свет и полюбоваться красотами природы, чем бездельничать и увеличивать бремя забот своих родителей?

Мы очень скоро научились различать отрывистый, злобный лай койота, который доносился по ночам с погруженных во мрак прерий, нарушая наш сон среди почтовых тюков; и, вспоминая его жалкий вид и горестную судьбу, мы желали ему — за неимением лучшего — провести для разнообразия хоть один удачливый день, а наутро оказаться владельцем необъятного склада припасов.

ГЛАВА VI

Начальник участка. — Кондуктор. — Кучер. — Наглядные уроки. — Наш старый друг Джек и паломник. — Бен Холлидэй по сравнению с Моисеем.

Наш новый кондуктор (только что сменивший прежнего) не спал двадцать часов кряду, — отнюдь не редкость в те времена. От Сент-Джозефа, штат Миссури, до Сакраменто, штат Калифорния, почти тысяча девятьсот миль, и почтовая карета зачастую проделывала этот путь в пятнадцать дней (теперь поезд идет четыре с половиной дня), но, помнится, по контракту с почтовым ведомством и согласно расписанию полагалось восемнадцать или девятнадцать суток, потому что всегда могли случиться непредвиденные задержки из-за зимних заносов или буранов или еще по какой-нибудь причине. Компания разработала отличную систему перевозок и строго ее придерживалась. Почтовый тракт был разбит на участки в двести пятьдесят миль, и над каждым участком поставлен начальник, облеченный немалой властью. Он покупал лошадей, мулов, упряжь, припасы для людей и корм для скота и время от времени по своему усмотрению снабжал этим почтовые станции. Он возводил станционные здания и рыл колодцы. Он выплачивал жалованье смотрителям, конюхам, возницам и кузнецам и увольнял их, когда ему заблагорассудится. Это был могущественный, очень могущественный человек на своем участке — нечто вроде Великого Могола, властителя Индии, в присутствии которого обыкновенные смертные почтительно молчали и вели себя тише воды ниже травы; в сиянии его царственного величия даже блистательная слава почтового кучера казалась тусклым пламенем сальной свечи. На почтовом тракте через прерии таких властителей в общей сложности имелось восемь.

Вторым по рангу и положению лицом после начальника считался кондуктор. Длина его участка составляла те же двести пятьдесят миль. Сидел он рядом с кучером и (в случае необходимости) проделывал этот ужасающе длинный путь без отдыха, без сна, сутками не слезая с крыши быстро несущейся кареты, где лишь урывками удавалось вздремнуть. Подумать только! На нем одном лежала вся ответственность за почту, посылки, пассажиров и карету, покуда он не сдаст их под

расписку сменившему его кондуктору. Поэтому он должен был обладать умом, мужеством и изрядной долей распорядительности. Большинство кондукторов отличалось ровным, приветливым нравом, они добросовестно исполняли свои обязанности и держались по-джентльменски. Что касается начальников, то для них джентльменство не было обязательным, и они частенько обходились без него. Но распорядительностью они обладали в полной мере, а мужеством и цепкостью не уступали бульдогу — иначе командование оравой буйных подчиненных не принесло бы им ничего, кроме оскорблений и угроз, и неизбежно к концу первого же месяца их ждала бы пуля и ранняя могила. Кондукторов на пути через прерии было шестнадцать или восемнадцать, так как почту везли ежедневно в обоих направлениях и на каждую карету полагалось по кондуктору.

Следующим после кондуктора по рангу и положению, и официально и фактически, был мой любимец — кучер почтовой кареты. Однако мы уже видели, что в глазах толпы кучер так же высоко стоял над кондуктором, как адмирал флота над капитаном флагманского судна. На долю кучера приходилось много езды по дороге и мало сна на почтовых станциях, и если бы не всеобщее преклонение, он вел бы жизнь тяжкую, безрадостную и скучную. Кучера наши сменялись ежедневно или еженощно, и ездили они взад-вперед все по одному и тому же перегону, поэтому мы никогда не успевали сойтись с ними так близко, как с нашими кондукторами; да и почти никто из них не удостоил бы внимания каких-то несчастных пассажиров. Все же при каждой смене мы очень волновались, ибо каждый раз нам либо не терпелось избавиться от неприятного субъекта, либо жаль было отпускать симпатичного малого, с которым у нас уже завязалась дружба. И как только карета подъезжала к станции, где предстояла смена кучеров, мы первым делом спрашивали кондуктора: «Который этот самый?» Вопрос звучал не очень грамотно, но мы тогда не могли знать, что он со временем попадет в книгу. В общем, кучеру почтовой кареты, пересекающей прерии, жилось неплохо, покуда не нарушался заведенный порядок; но стоило его товарищу внезапно захворать, как дело принимало для него скверный оборот: почтовая карета должна продолжать путь, и вот сей вельможа, который провел ночь на своем высоком посту, в темноте, под дождем и ветром, и уже готовится сойти на землю, мечтая всласть поспать и отдохнуть, вынужден остаться на месте и заменить больного. Однажды в Скалистых горах я заметил, что кучер крепко спит, сидя на козлах, а мулы мчатся, как всегда, сломя голову; но кондуктор

сказал мне, что это не беда, никакой опасности нет, а кучер, мол, работает вторую смену — проехал семьдесят пять миль в одну сторону, а теперь без передышки ведет нашу карету в обратном направлении. Сто пятьдесят миль — и непрерывно сдерживать шестерку разъяренных мулов, не давая им лезть на деревья! Это кажется невероятным, но точно помню цифру, названную кондуктором.

Станционные смотрители, конюхи и прочие, как уже говорилось, были люди грубые, неотесанные; и немалое число их — от западной части Небраски до Невады — смело могло быть отнесено к разряду преступников: нарушители закона, скрывающиеся от правосудия, уголовники, которым надежным убежищем служил этот край, где даже для видимости не существовало законов. Когда начальник участка отдавал приказ одному из своих подчиненных, он отлично знал, что, быть может, ему придется прибегнуть к своему флотскому шестизарядному пистолету, и потому ради поддержания порядка он никогда не расставался с оружием. Ему случалось всадить пулю в голову какого-нибудь конюха, хотя при иных обстоятельствах и в иных условиях он легко добился бы требуемого с помощью дубинки. Но тамошние начальники участков были люди решительные, энергичные: если они находили нужным преподать урок подчиненному, они свою науку накрепко вбивали ему в голову.

Изрядная доля этого огромного предприятия — сотни людей и карет, тысячи мулов и лошадей — находилась в руках мистера Бена Холлидэя. Он владел всей западной половиной тракта. Здесь уместно вспомнить об одном эпизоде моего путешествия по Палестине, и я слово в слово привожу рассказ о нем, записанный в моем тогдашнем путевом дневнике.

> *Кому не известно имя Бена Холлидэя — человека несокрушимой энергии, который на бешеной скорости мчал через весь континент пассажиров и письма в своих почтовых каретах, — две тысячи миль в пятнадцать дней, по часам! Но здесь речь пойдет не про Бена Холлидэя, а про юного жителя Нью-Йорка, по имени Джек, совершившего вместе с нами путешествие в Святую Землю (а за три года до этого он ездил в Калифорнию на почтовых мистера Холлидэя, о чем вспоминал с неизменным восхищением). Джек был очень милый девятнадцатилетний юноша, приветливый и добросердечный; вырос он в Нью-Йорке, и, хотя отличался живым умом и знал уйму полезных вещей, в его сведениях по части священного писания имелось столько пробелов,*

что, по правде сказать, вся история Святой Земли оставалась для него тайной, а все библейские имена, никогда не искушавшие его девственного слуха, — неразрешимой загадкой. Зато другой наш спутник, пожилой паломник, в противовес Джеку оказался большим знатоком и почитателем библии. Он служил нам ходячей энциклопедией, и мы не уставали слушать его разъяснения, а он — давать их. По поводу любого прославленного города или селения — от Васона до Вифлеема — он произносил целую речь. Однажды, когда мы расположились близ развалин Иерихона, он разразился такой тирадой.

— Посмотри, Джек, вон на ту горную цепь, замыкающую долину Иордана! Это Моавитские горы, Джек! Вдумайся хорошенько, сынок, — древние Моавитские горы, прославленные в священной истории. Мы стоим перед их знаменитыми ущельями и вершинами, и — кто знает? (тут он благоговейно понизил голос) — быть может, именно сейчас наши взоры устремлены на то самое место, где находится неведомая могила Моисея! Вдумайся в это, Джек!

— Моисея? А по фамилии как?

— По фамилии! И не стыдно тебе, Джек? Это же просто возмутительное невежество. Ну можно ли не знать, кто такой Моисей, бесстрашный предводитель, воин, поэт, законодатель древнего израильского народа! Джек, вот отсюда, где мы стоим, вплоть до Египта, на триста миль протянулась грозная пустыня, — и вот через эту пустыню великий пророк вел сынов Израилевых, вел целых сорок лет, с неиссякаемой мудростью, по зыбучим пескам, меж неприступных гор, пока наконец на этом самом месте не открылась перед ними земля обетованная, и здесь они вошли в нее, радуясь и воссылая богу хвалу! Это был подвиг, великий подвиг, Джек! Подумай только!

— Сорок лет? Каких-нибудь триста миль? Фью! Бен Холлидэй доставил бы их за тридцать шесть часов.

У Джека не было никакого злого умысла. Он не знал, что так говорить нехорошо и бестактно. Поэтому никто его не выбранил, никто не оскорбился, только человек, совершенно лишенный великодушия, мог бы рассердиться на опрометчивое суждение простодушного юнца.

На пятый день нашего путешествия, в полдень, мы уже

достигли «Переправы через Южный Платт», или «Джулсберга», или «Оверленд-Сити» — четыреста семьдесят миль от Сент-Джозефа, — такого чудного, удивительного и странного западного города, на какой нам, неискушенным путникам, еще не доводилось взирать.

ГЛАВА VII

Оверленд-Сити. — Переправа через Платт. — Охота на бизонов. — Нападение бизона на Бемиса. — Лошадь Бемиса сходит с ума. — Цирковой номер. — Гениальное средство спасения.

Нас поражало уже одно то, что мы снова в городе после столь долгого, как нам казалось, пребывания среди глубокой, неподвижной, почти мертвой и безлюдной тишины! Очутившись на оживленной улице, мы почувствовали себя словно существа с другой планеты, невзначай свалившиеся в чуждый им неведомый мир. Добрый час мы с таким вниманием приглядывались к Оверленд-Сити, как будто сроду не видали ни одного города. А этот досужий час выдался потому, что нам пришлось сменить нашу карету (на менее роскошный экипаж, именуемый «мокровоз») и перегрузить почту.

Затем мы снова тронулись в путь. Вскоре показался мелководный, мутно-желтый Южный Платт, его низкие берега, песчаные отмели и крохотные островки; эта неказистая река медлительно ползет посреди необъятной плоской низменности, и если бы не деревья, словно часовые, редким строем стоящие на обоих берегах, то никто не мог бы различить ее невооруженным глазом. Нам сообщили, что Южный Платт поднялся; и мне очень захотелось посмотреть, каков он, когда вода в нем падает, — неужели еще более хилый и жалкий? Нам сообщили также, что сейчас переправа через него очень опасна, ибо при первой попытке пересечь его вброд плывуны способны поглотить карету вкупе с лошадьми и пассажирами. Но почта должна быть доставлена, и мы решились на эту попытку. Раза два на самой середине реки колеса столь угрожающе увязали в илистом дне, что мы уже готовы были поверить, будто мы всю жизнь трепетали и сторонились моря только для того, чтобы под конец потерпеть крушение в «мокровозе» посреди пустыни. Но мы благополучно выбрались на берег и покатили дальше, вослед заходящему солнцу.

На другое утро, перед самым рассветом, когда между нами и Сент-Джозефом уже легло пятьсот пятьдесят миль, наш «мокровоз» сломался. Остановка предстояла долгая, часов пять-шесть, поэтому мы приняли приглашение повстречавшихся нам охотников и, наняв лошадей, поехали вместе с ними стрелять

бизонов. Хорошо было скакать во весь опор по равнине свежим росистым утром, но для нас охота окончилась позорным провалом, ибо раненый бизон целых две мили гнался за нашим спутником Бемисом, после чего тот покинул свою лошадь и взобрался на дерево. В течение ближайших суток Бемис хранил угрюмое молчание, но потом мало-помалу отошел и наконец заговорил:

— Ничего смешного в моем положении не было, и очень глупо, что это дурачье так потешалось надо мной. Они ужасно разозлили меня. Я чуть было не всадил пулю в того долговязого увальня, которого они звали Хенком, но только я побоялся, что изувечу еще человек шесть, — мой старый Аллен, черт бы его побрал, такой неугомонный! Хотел бы я посмотреть на этих бездельников, если бы они сидели на дереве, — небось, не стали бы смеяться. Будь еще у меня стоящая лошадь — так нет, как только бизон повернулся к ней и заревел, она взвилась на дыбы. Седло заскользило подо мной, и я обхватил руками ее шею и принялся молиться. Потом она стала на передние ноги и задрала задние; и можете себе представить — даже бизон остановился и перестал реветь, так поразило его это зрелище. Потом он подскочил ко мне и взревел над самым моим ухом, а лошадь совсем очумела и начала невесть что выкидывать; честное слово, она простояла на голове не меньше пятнадцати секунд, и при этом из глаз ее текли слезы. Она окончательно помешалась, уверяю вас, и сама не понимала, что делает. Потом бизон бросился на нас, и лошадь, став на все четыре ноги, начала чудить сызнова: целых десять минут она непрерывно кувыркалась, да так быстро, что бизон растерялся и не знал, куда всадить рога; он топтался на месте, вздымая тучи песку, чихал и, наверно, думал, что на завтрак ему попался цирковой конь в полторы тысячи долларов. Ну, а я сперва лежал на шее — на лошадиной, не на бизоньей, — потом очутился под брюхом, потом на крупе — то вверх ногами, то головой; признаюсь, приятного в этом было мало — проделывать такие фокусы, можно сказать, на волосок от смерти. Потом бизон разинул пасть и отхватил что-то — кажется, кусок хвоста моей лошади, — впрочем, я не уверен в этом, потому что был занят другим; так или иначе, но что-то побудило ее искать уединения. Вы бы видели, как эта старая костлявая кляча на паучьих ногах помчалась галопом! А бизон пустился за нею вслед — пригнув голову, высунув язык, задрав хвост; как он ревел, как подминал траву, взрыхлял землю, вихрем кружил песок! Ну и гонка, доложу я вам! И я и седло съехали на круп, я зажал поводья в зубах и обеими руками держался за луку. Сначала мы оставили позади

собак; потом мы обогнали зайца; потом опередили койота и уже настигали бегущую впереди антилопу, как вдруг прогнившая подпруга лопнула, я отлетел влево шагов на тридцать, седло съехало с крупа лошади, и она так наддала задними ногами, что оно взвилось в воздух ярдов на четыреста, — лопни мои глаза, коли вру! Я упал у подножия единственного на девять соседних округов дерева (в чем каждый мог убедиться невооруженным глазом); в ту же секунду я впился всеми ногтями и зубами в кору, а в следующую уже сидел верхом на самом толстом суке и так богохульно радовался своему спасению, что во рту у меня запахло серой. Я перехитрил бизона, — если только его не осенит одна мысль. Этого я боялся, очень боялся. Конечно, бизон мог не подумать об этом, — а вдруг все-таки подумает? Я стал прикидывать, какие меры приму, если такая мысль придет ему в голову. От сука, на котором я сидел, до земли было сорок футов с лишним. Я осторожно размотал лассо с луки моего седла…

— Седла? Вы что же, захватили с собой седло, когда лезли на дерево?

— Захватил седло? Какой вздор! Конечно, нет. Никто бы не сумел этого сделать. Седло просто зацепилось за дерево, когда падало.

— А-а, понятно.

— То-то же. Я размотал лассо и прикрепил один конец к суку. Лассо было лучшего качества, из зеленой сыромятины — тонны могло выдержать. На другом конце я сделал петлю, а потом свесил его вниз, чтобы измерить длину. Его хватило на двадцать два фута, столько же оставалось до земли. Потом я зарядил двойным зарядом все стволы Аллена. Теперь я был спокоен. Я говорил себе, что ежели бизон не подумает о том, чего я боюсь, — отлично; а ежели все-таки подумает, тоже не беда — я приготовился. Но вы же знаете, что с человеком всегда случается именно то, чего он боится. Это уж непременно. Я следил за бизоном, следил в таком страхе, какого не понять тому, кто не попадал в мое положение и не чувствовал, что ему ежеминутно грозит смерть. И тут-то глаза бизона вспыхнули, и я прочел его мысли. Так я и знал, сказал я себе. Ну, теперь держись, иначе ты погиб. Разумеется, он сделал в точности то, чего я боялся, — полез на дерево…

— Кто? Бизон?

— Ну, конечно. Кто же еще?

— Но бизон не может влезть на дерево.

— Ах, вот как? Не может? А вы почем знаете? Вы сами-то видели, как он лезет?

— Нет! Я даже вообразить этого не могу.

— Тогда зачем же вы спорите? Если вы чего-нибудь не видели — это еще не причина, что такого не бывает.

— Ну ладно, рассказывайте дальше. Что же вы сделали?

— Бизон полез на дерево, и сначала дело у него ладилось, но на высоте десяти футов он споткнулся и соскользнул вниз. Я вздохнул с облегчением. Он опять полез — взобрался немного повыше — и опять соскользнул. Однако он снова попробовал, и на этот раз действовал осмотрительно. Он карабкался все выше, а у меня душа уходила все ниже. Так он и лез — дюйм за дюймом, а глаза горят, язык высунул. Подтянется, зацепит ногой сучок, да и смотрит на меня: попался, мол, приятель. И опять лезет — выше и выше; и чем ближе ко мне, тем сильней его разбирает. И вот уж он в десяти футах от меня. Я глубоко перевел дух, сказал себе: теперь или никогда! Свернутое лассо я держал наготове; я стал медленно разматывать его, и, когда петля очутилась над головой бизона, быстро затянул ее вокруг его шеи. Потом мгновенно выхватил свой Аллен и всадил весь заряд ему в морду. Раздался оглушительный грохот — бизон, должно быть, перепугался насмерть. Когда дым рассеялся, я увидел, что он висит в воздухе, в двадцати футах от земли, и сводит его судорога, да так быстро раз за разом, что и не сосчитать! Ну, я не стал задерживаться — считать его корчи, а мигом съехал по стволу вниз и пустился наутек.

— Скажите, Бемис, все это вправду так было, как вы рассказываете?

— Лопни мои глаза, провалиться мне на этом месте!

— Да нет, зачем же? Мы вам верим. Но, знаете, будь у вас какие-нибудь доказательства…

— Доказательства? А я принес с собой лассо?

— Нет.

— А лошадь я привел обратно?

— Нет.

— А бизон вам повстречался?

— Нет.

— Ну чего же вам еще? В жизни не видел, чтобы человек так придирался из-за пустяков.

Я решил про себя, что если Бемис не врун, то очень смахивает на такового. Кстати, о врунах — мне вспоминается один случай, который произошел много лет спустя, во время моего краткого посещения Сиама. Среди европейцев, проживавших в маленьком городе неподалеку от Бангкока, был англичанин по фамилии Эккерт, который врал так много, вдохновенно и убедительно, что прославился на всю округу. Такая способность лгать казалась просто сверхъестественной; все

неустанно повторяли самые знаменитые выдумки Эккерта и не упускали случая похвалиться им в присутствии чужих; но это не всегда удавалось. Дважды его приглашали в тот дом, где я гостил, но ничто не могло выжать из него мало-мальски интересную ложь. Наконец некий Баском, весьма влиятельный плантатор, человек самолюбивый и несколько раздражительного нрава, предложил мне вместе поехать к Эккерту. По дороге он предупредил меня:

— Знаете, в чем причина неудач? Нельзя давать Эккерту повода к подозрениям. Он всегда начеку, и как только его начинают подзуживать, он, конечно, умолкает, и слова из него не вытянешь. Это вполне естественно. Но мы возьмемся за дело более тонко. Пусть он говорит о чем ему угодно, пусть обрывает разговор или заводит новый. Лишь бы он видел, что никто не хочет что-то выудить из него. Мы его предоставим самому себе. Тут-то он и забудется и пойдет врать, как заведенный. А вы не торопитесь — помалкивайте и ждите, уж я его обломаю. Он у меня заговорит. Надо быть дураком, чтобы не понимать таких простых вещей.

Эккерт принял нас очень радушно и оказался чрезвычайно приятным и любезным хозяином. Мы просидели целый час на веранде, потягивая английский эль, беседуя о короле, о священном белом слоне, о «спящем Будде» и о всякой всячине; при этом мой спутник ни разу сам не начинал разговора и не направлял его, а только следовал за Эккертом, сохраняя полную невозмутимость и ничем не выдавая своего нетерпения. Его тактика вскоре возымела действие. У Эккерта развязался язык; он уже непринужденно болтал с нами, откровенничал. Так прошел еще час, и вдруг Эккерт сказал:

— Да, кстати! Чуть не забыл. Я могу показать вам кое-что. Это нечто поразительное — ручаюсь, что ни вы и никто другой даже и не слышали о таком. У меня есть кошка, которая ест кокосовые орехи! Обыкновенные зеленые орехи. И не только ест их, но выпивает молоко. Правда, правда — даю вам слово.

Баском быстро глянул на меня, я понял этот взгляд и сказал:

— Ну и ну, отродясь не слышал. Бросьте, этого быть не может.

— Я знал, что вы так скажете. Сейчас притащу кошку.

Он вошел в дом. Баском сказал мне:

— Ну, что я вам говорил? Вот как надо обходиться с ним. Я его не понукал, не подзуживал — и он забыл о своих подозрениях. Очень хорошо, что мы приехали сюда. Вы всем расскажете про кошку, когда мы воротимся. Жрет кокосовые орехи, ах ты господи! И всегда-то он так — наврет с три короба, а

потом начинает выкручиваться. Кошка да чтобы ела кокосовые орехи! Дурень он, и больше ничего.

Но тут явился Эккерт со своей кошкой.

Баском улыбнулся, потом сказал:

— Дайте мне кошку, а вы принесите орех.

Эккерт расколол кокосовый орех и срезал несколько ломтиков. Баском украдкой мигнул мне и поднес кошке один ломтик. Она выхватила его, с жадностью проглотила и потребовала еще!

Обратный путь мы проделали молча, держась подальше друг от друга. Вернее, молчание хранил я, ибо Баском нахлестывал лошадь и ругательски ругал ее, хотя она вела себя примерно. Когда я, попрощавшись, сворачивал к дому, Баском сказал мне:

— Лошадь пусть останется у вас до утра. И знаете что — не надо никому рассказывать про эту… глупость!

ГЛАВА VIII

Резвая почта. — Пятьдесят миль без передышки. — «Едет!» — Щелочная вода. — Верхом на обвале. — Бой с индейцами.

Прошло немного времени, и вот уже все мы вытягиваем шею, стараясь получше рассмотреть «верхового» — неутомимого гонца, который мчит письма через континент, покрывая в восемь дней тысячу восемьсот миль от Сент-Джозефа до Сакраменто! Подумать только — каково это для бренного тела коня и человека! Такой верховой почтальон обычно представлял собой существо низкорослое и худощавое, однако энергии и выносливости в нем было хоть отбавляй. В какое бы время дня или ночи ни наступал его черед, будь то летом или зимой, шел ли дождь, снег или град, вела ли по его участку прямая ровная дорога или неистово петляла горная тропа, извиваясь среди расселин и пропастей, лежал ли его путь через мирные места, или кругом кишели враждебные индейцы, — ему надлежало в любую минуту вскочить в седло и умчаться с быстротой вихря! Тут уж не помедлишь, не передохнешь. Пятьдесят миль кряду при свете дня, луны или звезд, а то и в непроглядной тьме, как придется.

Лошадь под ним резвая, не хуже скаковой, по-барски кормленная и выхоленная; десять миль она несется галопом, затем на ближайшей станции, где два конюха еле удерживают свежего скакуна, почтальон вместе с почтой в мгновение ока пересаживается, и вот уже улетели конь и всадник, скрылись из глаз, прежде чем кто-либо успел хоть мельком взглянуть на них. Оба они — и лошадь и человек — путешествовали налегке. Почтальон носил тонкую, плотно облегающую одежду: недлинная куртка, круглая шапочка, штаны, заправленные в сапоги, как у жокея. При нем не было оружия, не было ничего, кроме самого необходимого, ибо и так уже оплата словесного груза, который он вез, составляла пять долларов с письма. Нечасто в его сумку попадали досужие послания — по большей части он доставлял деловую переписку. Лошадь его тоже не обременяли лишней тяжестью.

Седло ее — в виде небольшой лепешки — напоминало жокейское, потник если и был, то незаметный для глаза. Подковы весили немного, или их вовсе не было. Маленькие плоские сумки, прикрепленные к седлу и приходившиеся под ляжками почтальона, смогли бы вместить разве что букварь школьника.

Однако они вмещали целые пачки деловой и газетной корреспонденции: все письма ради экономии места и уменьшения тяжести писались на почти невесомой и тонкой, как фольга, бумаге.

Почтовая карета покрывала за день (вернее, за сутки) от ста до ста двадцати пяти миль, верховой почтальон — около двухсот пятидесяти. Не меньше восьмидесяти всадников постоянно, день и ночь, непрерывной вереницей мчались между штатами Миссури и Калифорния — сорок на восток, сорок на запад; четыреста резвых коней обеспечивали им огромный заработок и возможность ежедневно любоваться красотами природы.

С самого начала нашего путешествия мы сгорали от желания увидеть верхового почтальона, но почему-то получалось так, что обгоняли они нас или скакали навстречу непременно ночью, и потому мы лишь слышали свист и окрик, и неуловимый призрак пустынных прерий исчезал во мраке, прежде чем мы успевали высунуться в окошко. Но теперь мы с минуты на минуту ждали одного из них, и не ночью, а в ярком свете дня. И вот кучер наш крикнул:

— Едет!

Все шеи вытянулись еще дальше, все глаза раскрылись еще шире. Далеко-далеко, за бескрайней плоской равниной, на горизонте появилось черное пятнышко, и ясно видно, что оно движется. И как движется! Уже спустя две секунды оно превращается во всадника, он несется вскачь — раз-два, раз-два, все ближе и ближе, его видно все яснее, все отчетливее, — еще ближе, и с крыши кареты гремит наше приветственное «ура», в ответ почтальон молча машет нам рукой, и вот уже всадник пролетел мимо наших пылающих от волнения физиономий и унесся вдаль, словно запоздалый порыв ветра!

Все это произошло так молниеносно, что казалось вспышкой разгоряченного воображения, и если бы не белые хлопья пены, которые пузырились и оседали на тюке с почтой, после того как исчезли на миг мелькнувший всадник и его конь, мы, пожалуй, решили бы, что это нам просто померещилось.

Вскоре мы перевалили через Скотс-Блафс и где-то здесь впервые увидали на дороге неподдельную щелочную воду, что было встречено нами с восторгом, — и мы уже предвкушали, как напишем об этой диковине домой и поразим наших невежественных дикарей. От щелочной воды дорога была точно в мыле, а в некоторых местах казалась выбеленной известью. Мы восхищались этой водой не меньше, чем другими чудесами, уже встретившимися нам на пути, и я отлично помню, как весело стало у нас на душе, как довольны мы были и собой и всем

миром: еще один феномен в списке удивительных вещей, которые нам довелось увидеть, а другим-то вот не довелось! В сущности, мы недалеко ушли от тех простаков, что без нужды взбираются на грозные вершины Монблана и Маттергорна, не испытывая при этом ни малейшего удовольствия, но утешаясь мыслью, что лишь немногие способны на такой подвиг. А бывает и так, что один из них вдруг оступится и съезжает на собственном сиденье по крутому склону, а позади него дымится снежный наст, и его швыряет из стороны в сторону, с уступа на уступ, при каждом ударе о землю под ним трещит лед, целые айсберги наваливаются на него, платье изорвано в клочья, но он летит все дальше, в тщетной надежде спастись, хватаясь за встречные деревья, — и вывернутые с корнем стволы несутся вместе с ним, вниз катятся сначала камни, потом обломки скал, потом сплошные глыбы льда и снега, вперемешку с небольшими рощами, — и все летит быстрей и быстрей, пока, наконец, он не домчится во всем этом великолепии до края пропасти глубиной в три тысячи футов, после чего, помахав шляпой, торжественно въедет в бессмертие верхом на грохочущем, рассвирепевшем обвале!

Все это очень мило, но не будем увлекаться, а лучше трезво рассудим, что подумает о своем приключении сей герой на другой день, когда шесть или семь тысяч футов льда и всякой всячины, наваленные на него, охладят его пыл?

Мы пересекли гряду песчаных холмов вблизи того места; где в 1856 году индейцы совершили ограбление почты, причем погибли кучер, кондуктор и все пассажиры, кроме одного, — так по крайней мере предполагали; но, очевидно, то была ошибка, потому что я лично в разное время знавал на Тихоокеанском побережье не менее ста тридцати трех человек, раненных при нападении и спасшихся только чудом. Не верить этому я не мог — они сами так говорили. Один из них рассказал мне, что еще лет семь спустя находил в своем теле наконечники стрел; а другой поведал о том, как он был буквально засыпан стрелами, и после ухода индейцев, когда он встал и посмотрел на себя, слезы так и брызнули у него из глаз, потому что костюм его оказался безнадежно испорченным.

Однако наиболее достоверное преданье гласит, что только один человек, некий Бэббит, уцелел после побоища; тяжело раненный, он ползком (одна нога была сломана) тащился несколько миль до почтовой станции; на это ушло почти две ночи, а днем он лежал притаившись и в течение сорока часов изнемогал от голода, жажды и нестерпимой боли. Индейцы унесли все, что находилось в почтовой карете, включая немалую сумму казенных денег.

ГЛАВА IX

Среди индейцев. — Нечестная игра. — Оружие вместо тюфяка. — Полночное убийство. — Месть уголовников. — Опасный, но ценный гражданин.

Мы миновали форт Ларами ночью и наутро седьмого дня нашего путешествия очутились в Черных холмах. Пик Ларами высился у нас под боком (по видимости), большой, одинокий и очень темно-синий — так хмуро старый исполин глядел из-под нависших на его чело грозовых туч. На самом деле до него было миль тридцать — сорок, но казалось, что он стоит сейчас же за низкой горной грядой, справа от нас. Мы позавтракали на станции «Подкова» — шестьсот семьдесят шесть миль от Сент-Джозефа, — а днем миновали станцию Лапарель. Теперь мы находились в стране враждебных индейцев, и пока мы подъезжали к станции, мы успели насладиться пренеприятной уверенностью, что чуть ли не за каждым деревом, мимо которого мы проносились на расстоянии вытянутой руки, прячется один, а то и два индейца. В прошлую ночь притаившийся таким образом индеец прострелил куртку верхового почтальона, но тот продолжал свой путь, потому что почтальону запрещено останавливаться и расследовать такие случаи, если только он не убит. Пока в нем теплится жизнь, он обязан держаться в седле и скакать дальше, хотя бы индейцы поджидали его целую неделю и уже всякое терпение потеряли. Часа за два до нашего прибытия на станцию Лапарель смотритель четыре раза стрелял в индейца, но тот, как он сообщил нам с обидой в голосе, «уж так-то сигал во все стороны, что все дело испортил, а ведь патронов тоже не густо». Судя по тону, каким это было сказано, смотритель искренне считал, что индеец нарушил правила честной игры. В передней стенке нашей кареты зияло круглое отверстие — память о последнем путешествии по этой местности. Пуля, пробившая стенку, слегка ранила кучера, но он не жаловался. Он говорил, что это сущий пустяк; вот в прежнее время — до того как компания стала гнать почту по северной дороге, — вот тогда, на юге, среди апачей, в самом деле бывало жарко. Он говорил, что апачи не давали ему ни минуты покоя, и он чуть не умер с голоду, невзирая на всяческое изобилие, потому что они так изрешетили его пулями, что «съестное не удерживалось в нем». Надо сказать, что далеко не все принимали на веру сообщаемые

этим кучером факты.

В ту первую ночь пути по неприятельской территории мы наглухо задернули шторки и подложили под себя оружие. Мы немного поспали, но по большей части просто лежали на нем. Разговаривать тоже не хотелось, мы молчали и прислушивались. Ночь была темная-претемная, иногда моросил дождь. Со всех сторон нас обступали леса и горы, скалы и ущелья — мы были словно заперты в своей карете, и сколько мы ни вглядывались в щель между шторками, ничего не могли различить. Кучер и кондуктор на империале — как все люди, которым грозит невидимая опасность, — тоже помалкивали, лишь изредка переговариваясь. Мы прислушивались к стуку дождевых капель по крыше, к скрипу колес по мокрому щебню, к унылому вою ветра; и как всегда бывает, когда едешь ночью в карете с плотно задернутыми шторками, нас ни на минуту не покидало нелепое ощущение, что мы стоим на месте, — вопреки толчкам, тряске, цоканью копыт и скрипу колес. Мы подолгу прислушивались, напрягая слух, затаив дыхание; если один из нас давал себе волю — глубоко, с облегчением переводил дух и начинал что-то говорить, кто-нибудь другой неизменно останавливал его внезапным «слышите?» — и он тут же умолкал и опять настораживался. Медленно тянулись минуты и часы этой тоскливой ночи, пока наконец переутомленное сознание не начало туманиться, и мы забылись сном, — если только можно так выразиться, когда спишь под охраной взведенного курка. Это был сон, в котором обрывки кошмарных видений свивались в дикий, гнетущий хаос. И вдруг наш сон и сонные грезы спугнул громкий выстрел, и в угрюмую тишину ночи ворвался долгий, душераздирающий, отчаянный вопль. Потом мы услышали в десяти шагах от кареты:

— Помогите! Помогите! (То был голос нашего кучера.)

— Убей его! Пусть околеет, как собака!

— Убивают! Дайте кто-нибудь револьвер!

— Берегись! Держи его, держи!

Два револьверных выстрела; разноголосый гул и топот множества ног — словно целая толпа собралась и сгрудилась вокруг одного предмета; несколько тяжелых глухих ударов, вероятно дубиной; умоляющий голос: «Не убивайте, господа, пощадите!». Потом слабый стон, еще удар — и карета умчалась во тьму, оставив позади нас зловещую тайну.

Как мы взволновались! Все произошло в какие-нибудь восемь секунд, быть может, даже в пять. Мы только успели кинуться к одной из шторок и неловкими от нетерпения пальцами наполовину отстегнуть ее, как уже щелкнул бич над головой, и

мы под громыханье кареты и стук копыт неслись под крутой уклон.

Таинственное происшествие занимало нас всю ночь — вернее, остаток ночи, ибо уже близился рассвет. Нам так и не удалось найти разгадку, — в ответ на наши вопросы мы не услышали от кондуктора ничего, кроме заглушаемых стуком колес двух слов, означавших, видимо: «Скажу утром!».

Тогда мы, закурив трубки и отогнув угол шторки, чтобы выходил дым, снова улеглись в темноте, и каждый рассказал о том, что он испытал, сколько тысяч индейцев, осадивших нашу карету, сперва померещилось ему, какие он запомнил звуки и какова, по его мнению, была их последовательность. Мы выдвигали разные предположения, но ни одно из них не могло объяснить, почему голос нашего кучера раздался не с империала, а с земли и почему кровожадные индейцы так чисто говорили по-английски, если, конечно, это в самом деле были индейцы.

Так мы покуривали и рассуждали до утра, чувствуя себя очень уютно, ибо безотчетная тревога, томившая нас всю ночь, рассеялась точно по волшебству, как только появился вполне реальный повод для беспокойства.

Мы так и не узнали всю правду об этой темной истории. Из отрывочных сведений, которые нам удалось собрать утром, мы поняли только, что это случилось на станции, где сменился наш кучер; что он имел неосторожность ругать уголовников, от которых житья нет в этой местности («Здесь нет ни единого человека, чья голова не была бы оценена и который осмелился бы сунуть нос в поселенье», — сказал кондуктор); а раз он поносил уголовников, то и должен был, «подъезжая к станции, держать револьвер под рукой, возле себя на сиденье, и стрелять первым, — ведь каждый дурак мог сообразить, что они поджидают его».

Вот и все, что нам удалось узнать, и мы ясно видели, что ни кондуктора, ни нового кучера отнюдь не тревожит совершившееся на их глазах убийство. Они явно не питали уважения к человеку, который имел глупость столкнуться с оскорбленными им людьми, не приготовившись «подкрепить свое суждение о них», — что на их языке означало убийство любого ближнего своего, недовольного этим суждением. К тому же что, кроме презрения, мог внушить им глупец, который отважился раздразнить таких отчаянных головорезов, как эти уголовники. И кондуктор добавил:

— Поверьте мне, на такое не пойдет и сам Слейд.

Эти слова круто повернули мое любопытство в другую сторону. Я мгновенно забыл об индейцах и даже потерял интерес

к убийству кучера. Слишком сильно волновало меня это магическое имя — Слейд! Днем ли, ночью ли, я всегда готов был бросить все, лишь бы узнать что-нибудь новое про Слейда и его кровавые подвиги. Еще раньше, чем мы добрались до Оверленд-Сити, мы уже слышали о Слейде и его участке (ибо он был начальником участка); а после того, как мы выехали из этого города, наши кондукторы и кучера говорили только о трех предметах — о Калифорнии, о серебряных приисках Невады и о разбойнике Слейде. Причем больше всего говорили именно о нем. Мало-помалу мы составили себе понятие о Слейде как о человеке, чье сердце, душа и руки пропитаны кровью людей, задевших его честь; человеке, который беспощадно мстит за все оскорбления и обиды, за каждую насмешку или непочтительное слово тут же на месте, если это удастся, а если нет, то при первом удобном случае, хотя бы он представился лишь много лет спустя; человеке, который день и ночь снедаем ненавистью, пока месть не утолит ее — и не какая-нибудь заурядная месть, а полная и окончательная гибель врага, не иначе; человеке, чье лицо озарялось дьявольским злорадством, когда он застигал недруга врасплох и чувствовал, что тот у него в руках. Занимая высокий пост и верно служа компании, закоренелый преступник и гроза всех преступников вокруг него, Слейд пользовался славой самого кровожадного, самого опасного и в то же время самого ценного гражданина этого дикого горного края.

ГЛАВА X

Биография Слейда. — Встреча с Джулсом. — Рай для преступников. — Слейд — начальник. — Слейд — палач. — Слейд — пленник. — Храбрая жена. — Дружба со Слейдом.

Поистине с того самого дня — накануне нашего приезда в Джулсберг — кондукторы и кучера только и говорили, что о Слейде. Для того чтобы читатели восточных штатов могли отчетливо представить себе, что такое головорез Скалистых гор, достигший высшей стадии своего развития, я сведу все несметное множество местных сплетен о нем к одному бесхитростному рассказу и изложу его так:

Слейд родился в штате Иллинойс, в почтенной семье. Двадцати шести лет он в драке совершил убийство и бежал из родных мест. В Сент-Джозефе, штат Миссури, он примкнул к одной из первых партий переселенцев, направлявшихся в Калифорнию, и был поставлен во главе каравана. Однажды в прериях он повздорил с подчиненным ему возницей фургона, и оба выхватили пистолеты. Но возница оказался проворнее и первым взвел курок. Тогда Слейд заявил, что жаль отдавать жизнь из-за такой безделицы и не лучше ли бросить оружие и разрешить спор в кулачном бою. Доверчивый возница согласился и кинул пистолет на землю, после чего Слейд, весело смеясь над простаком, застрелил его!

Ему удалось бежать, и некоторое время он вел кочевую жизнь, воюя с индейцами и скрываясь от шерифа, которого прислали из Иллинойса, чтобы арестовать Слейда за первое убийство. Говорят, что в одном бою он своими руками убил трех индейцев, потом отрезал им уши, каковые и послал в виде подарка вождю племени.

Слава о бесстрашии и решимости Слейда быстро распространилась, и этого было достаточно, чтобы назначить его на должность начальника участка в Джулсберге вместо уволенного мистера Джулса. За последнее время шайки уголовников все чаще задерживали почтовые кареты и уводили лошадей, причем не допускали и мысли, что у кого-нибудь хватит смелости сердиться на них. Однако Слейд рассердился. Уголовники вскоре узнали, что новый начальник участка не боится ни единой живой души на свете. С преступниками разговор у него был короткий. Нападения на почту прекратились,

имуществу компании ничто не грозило, и кареты на участке Слейда беспрепятственно совершали свой путь, что бы ни случилось и кто бы при этом ни пострадал. Правда, ради столь благотворных перемен Слейду пришлось убить несколько человек (кто говорит, троих, кто — четверых, кто — шестерых), но мир от этого только выиграл. Первая серьезная стычка произошла между Слейдом и бывшим начальником участка Джулсом, который и сам прослыл человеком бесстрашным и отчаянным. Джулс ненавидел Слейда за то, что тот занял его место, и только и ждал удобного случая, чтобы подраться. Для начала Слейд не побоялся принять на службу работника, когда-то уволенного Джулсом. Затем Слейд захватил упряжку почтовых лошадей, утверждая, что Джулс увел их и припрятал для собственного пользования. Итак, война была объявлена, и в ближайшие два дня оба они ходили по улицам с оглядкой, подстерегая друг друга: Джулс — вооруженный двустволкой, а Слейд — своим уже легендарным пистолетом. Наконец, Слейд однажды вошел в лавку, и, едва он переступил порог, Джулс, прятавшийся за дверью, выпустил в него весь заряд из своего ружья. Слейд мгновенно ответил несколькими выстрелами и тяжело ранил противника. Потом оба упали, и, когда их развозили по домам, оба клялись, что в следующий раз уже промаха не будет. Оба долго пролежали в постели, но Джулс оправился первый, собрал свои пожитки, навьючил их на мулов и бежал в Скалистые горы, чтобы там в безопасности набраться сил для окончательного сведения счетов. Много месяцев о нем не было ни слуху ни духу, и наконец все забыли его — все, кроме самого Слейда. Не такой это был человек, чтобы забыть о своем недруге. Напротив: по общему утверждению, Слейд обещал награду за поимку Джулса — живого или мертвого.

Некоторое время спустя почтовая компания, убедившись, что благодаря энергичным действиям Слейда мир и порядок восстановлены на одном из самых беспокойных участков дороги, перевела его на другой участок — в Роки-Ридж, расположенный в Скалистых горах, — надеясь, что и там он сотворит такое же чудо. Этот новый участок был сущим раем для уголовников и головорезов. Даже намека на законность там не существовало. Произвол стал общим правилом, сила — единственной признаваемой властью. Даже мелкие недоразумения улаживались на месте при помощи пистолета или ножа. Убийства совершались непрестанно и притом среди бела дня, но никому и в голову не приходило расследовать их. Считалось, что, если кто-нибудь совершил убийство, значит, у него имелись на то свои причины, и всякое постороннее вмешательство показалось бы неделикатным.

Этикет Скалистых гор требовал от свидетеля убийств только одного: пособить убийце зарыть подстреленную им дичь — иначе ему припомнят его нелюбезность, как только он сам убьет кого-нибудь и будет нуждаться в дружеской помощи для предания земле своей жертвы.

Слейд тихо и мирно обосновался в самой гуще этого улья конокрадов и убийц, и в первый же раз, как один из них похвастался при Слейде своими подвигами, Слейд застрелил его. Он устроил облаву на уголовников и в необычайно короткий срок положил конец разграблению имущества компании, отыскал и вернул много уведенных лошадей, убил нескольких самых отчаянных головорезов в округе и такого нагнал страху на остальных, что они прониклись уважением к нему, восхищались им, боялись его и слушались беспрекословно! Он добился столь же блистательных успехов, какими была отмечена его деятельность в Оверленд-Сити. Он изловил двух грабителей, похитивших имущество компании, и собственноручно повесил их. На своем участке он был и верховным судьей, и советом присяжных, и палачом, — карал он не только за деяния, причинявшие ущерб его хозяевам, но и за преступления против переселенцев. Как-то раз партия переселенцев осталась без припасов — не то их украли, не то они сами потеряли их, — и они пожаловались Слейду, случайно посетившему лагерь. Недолго думая, Слейд сам-друг с одним-единственным спутником поскакал на ранчо, владельцев которого он заподозрил в краже, и, распахнув двери, начал палить, причем троих убил, а четвертого ранил.

Привожу выдержку из очень милой кровожадной книжицы о территории Монтана[7] :

> *На почтовом тракте власть Слейда не имела границ. Прискакав на какую-нибудь станцию, он врывался в дом, затевал ссору, выкидывал в окно всех обитателей и всячески издевался над ними. Жаловаться было некому, и несчастные жертвы Слейда вынуждены были своими силами справляться с постигшей их бедой. Говорят, что именно при таких обстоятельствах он убил отца Джемми, славного мальчика-метиса, которого он усыновил и который после казни Слейда остался жить у его вдовы. Рассказы про то, как Слейд своими руками вешал людей, про бесчисленные драки, перестрелки, избиения и убийства, в которых главную роль неизменно играл Слейд, составляют существенную часть легенд, созданных о езде на почтовых через прерии. Что же*

касается более мелких ссор и перепалок, то подробное жизнеописание Слейда, несомненно, явилось бы сплошным, нескончаемым перечнем таких происшествий.

Из своего флотского пистолета Слейд стрелял без промаха. Легенда гласит, что однажды утром в Роки-Ридж, находясь в отличном расположении духа, Слейд, увидев приближающегося к нему человека, который за несколько дней до этого оскорбил его — какова память на обиды! — вытащил пистолет и сказал: «Джентльмены, дистанция — двадцать ярдов, если не больше. Я попаду в третью пуговицу его куртки». Что он и сделал. Очевидцы были восхищены. Потом все дружно присутствовали на похоронах.

Другой случай: человек, торговавший спиртными напитками на почтовой станции, чем-то вызвав гнев Слейда, тут же пошел и составил завещание. День или два спустя Слейд явился к нему и потребовал бренди. Хозяин ларька стал шарить под стойкой (видимо, нащупывая бутылку, а быть может, и что другое), но Слейд улыбнулся своей обычной в таких случаях довольной улыбкой, в которой люди, знавшие его, давно научились читать свой смертный приговор, и сказал: «И не думай! Доставай самый дорогой сорт». Итак, несчастный торговец волей-неволей подставил Слейду спину и достал бутылку бренди с полки; когда он опять повернулся к нему лицом, то увидел дуло нацеленного пистолета. Еще через секунду (весьма образно заключил рассказчик) «мертвее его не было человека на всем белом свете».

Кучера и кондукторы почтовых карет сообщили нам, что Слейд иногда месяцами не трогал ненавистного врага, не замечал его и не говорил о нем — по крайней мере раза два так было. Одни высказывали мнение, что делал он это для того, чтобы усыпить бдительность своей жертвы и захватить ее врасплох; другие же считали, что Слейд откладывает расправу так же, как школьник сберегает пирожное, — чтобы продлить удовольствие, наслаждаясь предвкушением его. Так он поступил, например, с одним обидевшим его французом. Ко всеобщему удивлению, Слейд не убил его на месте и долгое время не трогал. Однако в конце концов он поздней ночью явился к своему врагу, постучал в дверь и, когда француз отворил ее, убил его наповал, пинком втолкнул тело за порог, поджег дом и спалил убитого и вдову с тремя детьми! Эту историю я слышал от нескольких людей, и, видимо, все они были убеждены в ее истинности. Быть может, это правда, быть может, — нет. Известно, что стоит ославить человека — и о нем уже поверят чему угодно.

Случилось однажды, что Слейд попал в руки людей,

решивших линчевать его. Они его обезоружили, заперли в крепком бревенчатом доме и приставили к нему сторожа. Слейд попросил, чтобы послали за его женой и дали ему возможность проститься с ней. Она была храбрая, любящая и решительная женщина. Вскочив в седло, она помчалась стрелой к своему мужу. Ее впустили в дом, не обыскав; и, прежде чем за ней захлопнулась дверь, она выхватила два пистолета, и супруги беспрепятственно вышли на волю. Потом, отстреливаясь от своих врагов, они оба сели в седло и ускакали прочь!

Спустя некоторое время клевреты Слейда захватили его давнего врага Джулса, который скрывался в глухом горном ущелье, добывая охотой скудное пропитание. Они притащили его, связанного по рукам и ногам, в Роки-Ридж и поставили спиной к столбу посреди скотного двора. Говорят, когда Слейду сообщили об этом, лицо его осветилось такой дьявольской радостью, что страшно было смотреть. Он оглядел своего врага, удостоверился что тот крепко связан, и улегся спать, отложив до утра предстоящее удовольствие. Джулс провел ночь на скотном дворе, а ночи в тех краях холодные. Наутро Слейд начал с того, что поупражнялся в стрельбе из пистолета, превратив Джулса в живую мишень; он то тут, то там вырывал кусочки мяса из тела своей жертвы, время от времени отстреливая по одному пальцу, а Джулс умолял сразу убить его и не мучить больше. Наконец, Слейд перезарядил пистолет, подошел вплотную к Джулсу, сказал несколько теплых слов и пристрелил его. Тело полдня пролежало на месте, потому что никто не решался дотронуться до него без приказаний Слейда, а затем он распорядился относительно похорон и даже сам присутствовал на них. Но прежде чем тело опустили в могилу, он отрезал оба уха покойника, положил их в карман и так носил их при себе некоторое время с явным удовлетворением. Все это я слышал из многих уст и читал в калифорнийских газетах. Не сомневаюсь, что основные факты в точности соответствуют действительности.

В положенное время наша карета подкатила к очередной станции, и мы уселись завтракать в полудикарской, полуцивилизованной компании вооруженных бородатых горцев, фермеров и станционных служащих. Во главе стола, рядом со мной, сидел самый благородный с виду, самый степенный и любезный из всех должностных лиц почтовой компании, встреченных нами в пути. И как же я затрепетал, как впился в него глазами, когда услышал, что его имя СЛЕЙД!

Вот она — живая романтика, лицом к лицу со мной! Я смотрю на нее, касаюсь ее, даже беседую с ней! Здесь, под боком у меня, сидит тот самый людоед, который в драках, стычках и

разными иными путями лишил жизни двадцать шесть человек, — не могли же поголовно все возводить на него напраслину! Думается, такой беспредельной гордости, какая переполнила мое сердце, не испытывал ни один юнец, пустившийся в странствия, дабы увидеть чужие края и необыкновенных людей.

Он держался так дружелюбно, так мило беседовал с нами, что я невольно почувствовал к нему приязнь, невзирая на его страшную биографию. Трудно было поверить, что этот обходительнейший человек и есть гроза уголовников, кровожадный убийца, которым матери в горных селениях пугают своих детей. И по сей день я не могу припомнить ничего необычного в Слейде, кроме разве того, что лицо у него было довольно широкое, скулы почти не выдавались, а губы очень тонкие и прямые. Но и это оставило яркий след в моей памяти; и с тех пор стоит мне увидеть лицо со сходными чертами, как у меня мелькает мысль, что обладатель его — человек опасный.

Кофе на всех не хватило. Когда его осталось ровно столько, чтобы наполнить одну жестяную кружку, Слейд, уже взявшийся за кофейник, вдруг обнаружил, что моя кружка пуста. Он вежливо предложил наполнить ее, и, хотя мне очень хотелось кофе, я так же вежливо отказался. Кто его знает, может быть, за это утро он еще никого не убил и нуждается в развлечении. Однако Слейд все так же вежливо, но решительно настаивал на своем, говоря, что я провел в дороге всю ночь и поэтому в большей степени заслужил глоток кофе, чем он, — и, не слушая возражений, преспокойно вылил остаток до последней капли в мою кружку. Я поблагодарил его и выпил кофе, но чувствовал себя неважно: а вдруг он пожалеет, что уступил мне кофе, и вздумает убить меня, дабы отвлечь свои мысли от понесенного урона? Но ничего подобного не случилось. Когда мы расставались с ним, на его счету по-прежнему значилось только двадцать шесть убитых, и я уехал, весьма довольный собой, ибо сумел так благоразумно обойтись с тем, кто занимал первое место за столом, что избежал неприятной участи занять двадцать седьмое место в упомянутом списке. Слейд проводил нас до кареты, приказал переложить тюки с почтой, чтобы нам было удобней, и мы распрощались с ним, уверенные, что когда-нибудь еще о нем услышим, — вопрос только в том, что именно.

ГЛАВА XI

Слейд в Монтане. — Кутеж. — В суде. — Нападение на судью. — Задержан виджилантами. — Выступление рудокопов. — Казнь Слейда. — Был ли Слейд трусом?

И верно — года два-три спустя мы опять услышали о Слейде. На Тихоокеанском побережье стало известно, что комитет виджилантов Монтаны (куда Слейд перебрался из Роки-Ридж) повесил его. Я нашел описание этого события в увлекательной книжке, откуда я привел отрывок в предыдущей главе: «Виджиланты Монтаны; достоверный отчет об аресте, судебном процессе и смертной казни пресловутой банды Генри Пламмера, проф. Томаса Дж. Димсдейла, Вирджиния-Сити, территория Монтана»[8]. Главу из книги мистера Димсдейла стоит прочесть, она хорошо рисует, как на Западе расправляются с преступниками, когда законный суд не выполняет своего назначения. О Слейде мистер Димсдейл высказывает два замечания, причем оба очень точно характеризуют его, а второе до чрезвычайности выразительно: «Тот, кто наблюдал Слейда только в обычном состоянии, не задумываясь объявил бы его хорошим мужем, радушным хозяином и джентльменом с головы до пят; тот же, кто видел его обезумевшим от вина, окруженным шайкой вооруженных злодеев, сказал бы, что это дьявол во плоти». И далее: «К западу от форта Карни его боялись куда больше, чем господа бога». На мой взгляд, во всей литературе не найти фразы, равной этой по сжатости, простоте и силе выражения. Привожу полностью рассказ мистера Димсдейла. Курсив повсюду мой.

> *После того как 14 января пятеро преступников были казнены, виджиланты считали свою работу почти законченной. Основательно очистив округу от грабителей и убийц, они решили за отсутствием законной гражданской власти учредить народный суд, где преступников судили бы с участием присяжных заседателей.*
>
> *Это было наиболее близкое подобие общественного порядка, возможное в местных условиях, и хотя этот суд, строго говоря, не имел законной власти, все признавали его авторитет и уважали его приговоры.*

Заметим, кстати, что последней ступенькой роковой лестницы, приведшей Слейда на плаху, явилось то обстоятельство, что Слейд разорвал в клочья и топтал ногами постановление народного суда, после чего самолично арестовал судью Александра Дэвиса, предъявив вместо ордера пистолет системы Дерринджер.

Дж.А.Слейд, как нам сообщили, сам принадлежал к виджилантам; он открыто хвастал этим и утверждал, что все, что известно им, известно и ему. Его ни разу не обвинили — и даже не заподозрили — в убийстве или грабеже, совершенном на этой территории (в грабеже его вообще ни разу не обвинили), но все знали, что Слейд убил нескольких человек в других местностях, и когда он наконец был взят под стражу за вышеупомянутые действия, его дурная слава в немалой степени предопределила смертный приговор. После возвращения с Милк-Ривер он стал все чаще предаваться пьянству, причем обычным развлечением для него и его приятелей служило «брать город приступом». Нередко можно было видеть, как Слейд с кем-нибудь из его сподвижников скачут на одном коне, оглашая воздух криками, выстрелами и т.п. Иногда он, не слезая с седла, врывался в лавки, ломал мебель; выбрасывал за дверь весы и оскорблял всех присутствующих.

Перед самым арестом он до полусмерти избил одного из своих клевретов; но таково было влияние этого человека на окружающих, что избитый горько плакал, стоя у виселицы, и от всей души молил пощадить жизнь осужденного. Никого уже не удивляло, что, когда Слейд «гулял», жители города, опасаясь его буйных выходок, запирали лавки и тушили огни. За испорченный товар и сломанную мебель Слейд, протрезвившись, всегда готов был заплатить, если у него имелись деньги, но многие считали, что плата — недостаточное возмещение за нанесенный ущерб, и эти люди становились личными врагами Слейда.

Время от времени кто-нибудь из приближенных Слейда, пользовавшихся его полным доверием, предостерегал его, что все это добром не кончится. В последний месяц перед его арестом люди ежеминутно ждали вестей о каком-нибудь новом кровавом злодеянии. Только ужас, который внушало имя Слейда, да еще шайка сопровождавших его вооруженных головорезов обеспечивали ему безопасность, ибо все знали, что

малейшая попытка остановить его неминуемо привела бы к убийству или увечьям.

Слейд неоднократно подвергался аресту по распоряжению вышеописанного суда и всегда безропотно подчинялся ему, смиренно выплачивая часть штрафа и обещая заплатить остальное, когда разживется деньгами; но в случае, приведшем к катастрофе, он забыл об осторожности, бешенство, ненависть ко всякой узде взяли верх, и он очертя голову кинулся в объятия смерти.

Накануне Слейд напился пьян и «кутил» всю ночь. Он и его сподвижники превратили город в сущий ад. Утром шериф мистер Фокс нашел Слейда, задержал его, отвел в суд и начал читать приказ о привлечении его к ответу. Слейд пришел в ярость, выхватил приказ, разорвал его, бросил на пол и начал топтать ногами. В ту же минуту щелкнули затворы пистолетов в руках его приятелей, стычка казалась неминуемой. Но шериф не делал попыток отправить Слейда в тюрьму и, будучи по меньшей мере столь же осторожным, сколь и храбрым, уступил победу, оставив его хозяином положения, отдав в его руки суд, закон и законодателей. Итак, война была объявлена, в этом никто не сомневался. Комитет виджилантов понял, что решать вопрос об общественном порядке и господствующем влиянии в городе добропорядочных граждан нужно немедленно. Члены комитета хорошо знали, на что способен Слейд, и поэтому действовать можно было только в двух направлениях: либо безропотно подчиниться его власти, либо применить к нему такие меры, которые лишили бы его возможности отомстить комитету, — иначе ни один из членов его не мог бы оставаться в Монтане, не подвергаясь опасности быть убитым или искалеченным, и даже за ее пределами его подстерегала бы гибель от руки друзей Слейда, окрыленных победой и уверенных в своей безнаказанности. Накануне, во время пьяного дебоша, Слейд въехал верхом в лавку Дорриса и, когда ему предложили убраться оттуда, выхватил пистолет и направил его на посетителя, высказавшего это пожелание. Потом он ввел свою лошадь в кабачок, купил бутылку вина и пытался влить вино в глотку лошади. Но это показалось всем довольно безобидной забавой, потому что обычно, когда Слейд появлялся в кабаках, он стрелял в лампы, обращая посетителей в паническое бегство.

Один из видных членов комитета разыскал Слейда и

сказал ему спокойно и веско, как говорят люди, сознающие значительность своих слов: «Слейд, немедля садись в седло и скачи домой, иначе плохо будет». Слейд поднял голову и пристально посмотрел своими темными проницательными глазами в лицо говорившего. «Что это значит?» — спросил он. «Ты не имеешь права спрашивать, что это значит, — последовал невозмутимый ответ. — Немедля садясь в седло и помни, что я сказал тебе». Слейд помолчал с минуту, однако обещал исполнить приказание и даже сел в седло; но так как он все еще не протрезвился, то стал сзывать своих друзей и под конец, забыв, видимо, о полученном предостережении, опять начал буянить, выкрикивая имена двух виджилантов, возглавлявших, по его мнению, комитет, вместе с именем одной известной проститутки, — очевидно, с целью оскорбить их; а может быть, он просто хотел покуражиться. Впрочем, надо думать, он все же смутно помнил о предостережении; он решил доказать, что оно свежо в его памяти, но, к несчастью, доказал это крайне опрометчивым поступком. Он отправился к судье Александру Дэвису, вытащил пистолет со взведенным курком, приставил его к голове судьи и объявил, что берет его заложником ради его же безопасности. Так как судья стоял не шевелясь и не пытался оказать сопротивление, никаких дальнейших враждебных действий со стороны Слейда не последовало. Уже до этого случая ввиду создавшегося положения состоялось заседание комитета, на котором наконец-то было постановлено арестовать Слейда. Вопрос о смертной казни не подымался и, если бы даже подымался, несомненно, был бы решен отрицательно. В Неваду отправили нарочного, чтобы поставить в известность обо всем руководителей тамошних виджилантов, — комитет стремился показать, что относительно судьбы Слейда царит полное единодушие.

Невадские рудокопы выступили почти поголовно: оставив работу, шестьсот человек, вооруженные до зубов, построились о колонну и зашагали к Вирджинии. Предводитель их хорошо знал мнение своих людей о Слейде. Он верхом опередил колонну и, срочно созвав членов комитета, прямо заявил им, что рудокопы шутить не любят и не станут дожидаться, когда друзья Слейда начнут убивать их на улицах города, — они намерены захватить его и повесить. Заседание было

малолюдным — вирджинский комитет пытался увильнуть от решительных действий. Сенсационное сообщение о том, как настроены рудокопы, было сделано перед горсткой людей, заседавших под прикрытием фургона позади одной из лавок на Главной улице.

Члены комитета сперва никак не соглашались на крайние меры. Все сделанное ими до сих пор казалось детской игрой по сравнению с тем, что им предстояло; но надо было принимать решение, и принимать немедля. В конце концов было решено, что если рудокопы считают нужным повесить Слейда, то это дело комитет предоставляет им. Невадец тут же во весь опор поскакал обратно и занял свое место во главе колонны.

Слейд узнал о грозящей ему опасности, и хмель мигом соскочил с него. Он пошел в лавку П.С.Пфаута, где находился Дэвис, и принес ему извинения, пообещав загладить свою вину.

Между тем голова колонны уже вошла в город, и люди скорым шагом двигались по Уоллес-стрит. У дверей лавки уполномоченный комитета вышел вперед, арестовал Слейда, тут же объявил ему об ожидающей его участи и спросил, нет ли у него каких-либо дел, которые он желал бы уладить перед смертью. Об этом же спрашивали его и другие; но он оставался глух ко всем вопросам — все мысли его были сосредоточены на отчаянном положении, в котором он очутился. Он умолял пощадить его и просил свидания с женой. Эта несчастная женщина, нежно любившая Слейда и так же нежно любимая им, жила в то время на их ранчо на берегу реки Мадисон. В ней было много привлекательного: высокая, статная, приятная в обращении, она, кроме всего, была первоклассной наездницей.

Гонец, посланный Слейдом, поскакал к ней с вестью об аресте мужа. Не медля ни минуты, она вскочила в седло и со всей энергией, удесятеренной любовью и отчаянием, на которую способно было ее сильное тело и пылкая душа, она гнала своего скакуна по неровной каменистой дороге все двенадцать миль, отделявшие ее от предмета ее беззаветной страсти.

В это время несколько человек, вызвавшиеся сделать необходимые приготовления, уже закончили свою работу в овраге, по дну которого протекал ручей. Пониже каменного здания, где помещалась лавка Пфаута и Рассела, был загон для скота с высокими крепкими

столбами ворот. На них положили перекладину, привязали веревку, а помостом служил ящик из-под галантереи. Сюда и привели Слейда под охраной — такого многочисленного и блестяще вооруженного отряда еще не знавала территория Монтана.

Несчастный смертник так ослабел от слез, жалоб и причитаний, что едва держался на ногах. Он горестно восклицал: «Боже мой! Боже мой! Неужели я должен умереть? Жена, жена моя!»

Когда команда добровольцев возвращалась из овражка, к ним подошли друзья Слейда — почтенные и добропорядочные граждане, члены комитета виджилантов, но лично питавшие к Слейду теплые чувства. Узнав о смертном приговоре, один из них, человек отнюдь не мягкосердечный, достал носовой платок и отошел в сторону, плача, как ребенок. Слейд все еще слезно просил свидания с женой, и трудно было отказать ему в его просьбе; однако это все же пришлось сделать, ибо ее присутствие, ее мольбы и уговоры, несомненно, привели бы к попытке спасти Слейда, а значит, к неизбежному кровопролитию. Несколько видных граждан, за которыми послали, пришли к Слейду, чтобы поддержать его в последние минуты его жизни, и один из них (судья Дэвис) обратился с краткой речью к толпе; но говорил он так тихо, что слышали его только те, кто стоял рядом с ним. Один из друзей Слейда, исчерпав всю силу убеждения, на какую был способен, скинул с себя сюртук и объявил, что прежде, чем повесить Слейда, им придется убить его. Мгновенно сотня ружей нацелилась на него, и он, повернувшись, бросился бежать; однако его заставили воротиться, надеть сюртук и дать обещание впредь вести себя посмирнее.

Почти никто из видных граждан Вирджинии не пожелал присутствовать при казни, хотя очень многие примкнули к рядам конвоя, когда Слейда арестовали. Все скорбели о том, что суровая необходимость потребовала столь жестокой кары.

Все было готово для казни, прозвучала команда: «Выполняйте, свой долг», — и ящик выхватили из-под ног осужденного; смерть наступила почти мгновенно.

Веревку перерезали, тело доставили в Вирджиния-отель. Не успели его положить в затемненной комнате, как несчастная спутница жизни покойного примчалась на взмыленном коне и узнала, что все кончено и что она

стала вдовой. Ее безутешное горе, ее душераздирающие крики с жестокой ясностью показали, сколь глубокую привязанность она питала к своему покойному мужу, и немало времени прошло, прежде чем она опомнилась и овладела собой.

Есть одна совершенно непонятная черта в характере головорезов — во всяком случае, она кажется непонятной, — а именно: подлинный головорез обладает великолепной отвагой, и вместе с тем он готов на любую подлость по отношению к своему врагу; свободный, с оружием в руках, он сражается против сонма врагов до тех пор, пока пули не изрешетят его, а с петлей на шее, со связанными за спиной руками он молит о пощаде и плачет, как малый ребенок. Слова дешевы, и ничего не стоит назвать Слейда трусом (всех осужденных на казнь, которые не храбрятся перед смертью, легкомысленные люди не задумываясь называют трусами), и, когда мы читаем про Слейда, что «он так ослабел от слез, жалоб и причитаний, что едва держался на ногах», презрительное слово напрашивается само собой; однако Слейд неоднократно бросал вызов целым разбойничьим шайкам в Скалистых горах, убивая их предводителей и рядовых членов, и ни разу не убоялся их мести, ни разу не бежал и не прятался, поэтому Слейд, несомненно, был человек огромного мужества, ни один трус не осмелился бы на это. С другой стороны, нередки случаи, когда люди, известные своей трусостью, люди с мелкой душонкой и притом жестокие, грубые, опустившиеся, недрогнувшим голосом говорили свое слово перед казнью и взлетали в вечность с удивительным спокойствием, что, казалось, свидетельствовало об их незаурядном мужестве; принимая во внимание низкий уровень развития таких субъектов, мы вправе предположить, что дело здесь не в силе духа. А если для того, чтобы бестрепетно идти на казнь, требуется не сила духа — то что же? Какого качества недоставало Слейду, этому смельчаку, этому жестокому, отчаянному головорезу с изысканными манерами джентльмена, который любезно предупреждал каждого из своих самых беспощадных врагов, что непременно убьет его, когда и где бы им ни случилось встретиться? Думается мне, что над этой загадкой стоит поломать голову.

ГЛАВА XII

Сердце Скалистых гор. — Южный перевал. — Разлученные ручьи. — Спуск под гору. — Заблудились в потемках. — Вооруженные силы США и индейцы. — Великолепное зрелище. — Среди ангелов.

Сейчас же за станцией, где мы завтракали, мы обогнали поезд мормонов-переселенцев, состоявший из тридцати трех фургонов: по дороге, вперемежку с коровами, тащились усталые, в грубой одежде, путники — мужчины, женщины и дети; так они шли день за днем в течение восьми долгих недель и покрыли семьсот девяносто восемь миль — столько же, сколько мы проехали в карете за восемь суток и три часа! Они были в пыли, нечесаные, простоволосые, в лохмотьях — и какие измученные лица!

После завтрака мы искупались в Конском ручье — быстрой и прозрачной (до нашего купанья) речушке; эту роскошь мы не часто могли себе позволить, ибо остановки нашего стремительного экипажа редко длились достаточно долго. За сутки мы меняли лошадей — вернее, мулов — десять — двенадцать раз, и продолжалось это каждый раз не больше четырех минут. Дело шло без задержки: как только наша карета подкатывала к станции, из конюшни проворно выбегала шестерка мулов, и в мгновение ока наших мулов выпрягали, новых впрягали, и карета уже опять мчалась по дороге.

Днем мы миновали Пресноводный ручей, Скалу Независимости, Чертовы ворота и Чертово ущелье. Природа здесь была дикая, суровая и чрезвычайно живописная — мы забрались в самое сердце Скалистых гор. Особенно ясно мы ощутили, какой далекий путь проделали по лицу земли, когда, миновав Солончаковое, или Содовое, озеро, мы узнали от кучера, что мормоны часто приезжают сюда из Солт-Лейк-Сити за питьевой содой. Кучер сказал, что на днях они накопали со дна озера (пересохшего) полных два фургона, и, когда привезут этот доставшийся им даром товар в свой город, они будут продавать его по двадцать пять центов за фунт.

Ночью мы проехали мимо одной достопримечательности, о которой за последние дни нам прожужжали уши и которую нам не терпелось увидеть. Это оказалось нечто вроде естественного хранилища льда. Дело было в августе, и дни стояли удушливо знойные, а на одной из станций, стоило только поскрести землю

на горном склоне под нависшим скалистым гребнем, и на глубине шести дюймов можно было вырезать глыбы чистого льда — твердого, плотного и прозрачного, как хрусталь.

На рассвете мы снова двинулись в путь, и, пока мы, подняв шторки на окнах, попыхивали первой утренней трубкой и любовались великолепием встающего солнца, которое заливало светом длинную вереницу горных вершин, озаряя и золотя утес за утесом, складку за складкой — словно незримый Творец делал смотр своим седым ветеранам и они приветствовали его улыбкой, — на горизонте показался Город Южного перевала. Содержатель гостиницы, почтмейстер, кузнец, мэр города, констебль, шериф, именитый гражданин и крупнейший землевладелец — все вышли нам навстречу и приветливо поздоровались с нами; и мы тоже пожелали ему доброго утра. Он сообщил нам новости об индейцах и о Скалистых горах, а мы в ответ поделились новостями о прериях. Затем он снова замкнулся в своем одиноком величии, а мы продолжали подъем среди суровых скал и клочковатых туч. Город Южного перевала состоял из четырех бревенчатых хижин — одна еще достраивалась; а носитель такого множества званий, занимающий такое множество должностей, был самым видным из десяти граждан, в них обитающих. Подумать только! Содержатель гостиницы, почтмейстер, кузнец, мэр, констебль, шериф и первый гражданин, объединенные в одном лице, втиснутые в одну шкуру! Бемис сказал, что «у него больше званий, чем зарядов в револьвере Аллена». И добавил, что если со смертью этого человека умрет почтмейстер, или кузнец, или даже и почтмейстер и кузнец, то город еще перенесет такую утрату, но если он умрет весь, со всеми своими должностями, это будет просто ужасно.

В двух милях от Города Южного перевала мы впервые увидели непостижимое чудо, о котором слышали все неискушенные в странствиях юнцы; и хотя никто не сомневался в существовании этого чуда, все же, увидев его своими глазами, невозможно было не изумиться: это чудо — снег в разгар лета. Мы уже высоко поднялись в поднебесье и хорошо знали, что вот-вот появятся горные вершины, одетые «вечным снегом», — по выражению, примелькавшемуся в книгах, — но когда я, памятуя, что сейчас август и сюртук мои висит на гвозде, потому что в нем слишком жарко, увидел вдали величественные снежные купола, искрящиеся под солнцем, я был так потрясен, словно никогда и не слышал о снеге в августе. Несомненно: «увидеть — значит поверить», и немало людей всю свою жизнь думают, что они верят в известные общепризнанные и прочно утвердившиеся истины, даже не подозревая, что, столкнувшись с ними лицом к лицу, они

сразу обнаружили бы, что до сих пор не верили в них по-настоящему, а только думали, что верят.

Все больше горных вершин, схваченных длинными лапами искрящегося снега, показывалось на горизонте; а там и сям на теневых склонах белело пятнышко снега, казавшееся не больше дамского носового платка, а на самом деле — величиной с городскую площадь.

И вот, наконец, мы достигли знаменитого Южного перевала и весело покатили вперед, высоко вознесенные над будничным миром. Мы взобрались на главный хребет Скалистых гор, к которому поднимались терпеливо и упорно, много дней и ночей подряд, и теперь вокруг нас собрались древние цари, природой помазанные на царство, ростом в десять, двенадцать, а то и тринадцать тысяч футов — величавые старцы, которым пришлось бы нагнуться, чтобы в сумерках разглядеть гору Вашингтон[9]. Мы парили в вышине над бескрылыми созданиями, населяющими землю, и когда утесы расступились перед нами, открывая горизонт, нам чудилось, что взоры наши беспредельно проникают вдаль и вширь и нам виден весь земной шар — его горные хребты, океаны, материки, окутанные таинственной дымкой летнего дня.

Строго говоря, Южный перевал больше походил на долину, чем на висячий мост в облаках, — за исключением одного только места. Здесь справа и слева от нас величавые лиловые купола на одну треть вздымались выше уровня дороги, а внизу, у их подножий, угадывался скрытый от глаз целый мир равнин, долин и гор; и нам казалось, что, подойдя к краю пропасти, мы могли бы увидеть его. Чело этих султанов горных твердынь обвивали, словно тюрбаном, плотные клочковатые тучи, которые время от времени расползались и уносились прочь — рваные, искромсанные, волоча за собой необъятные тени; потом, зацепившись за встреченный на пути утес, окутывали его и выжидали, и опять расползались и покидали лиловый утес, как покинули те лиловые вершины, припорошив его свежим, пушистым снегом. Эти огромные клочья облаков, проносясь над головой, свисают так низко, что обтрепанные края их чуть не задевают лицо, и невольно съеживаешься при их приближении. В том месте перевала, которое я описал, под ним виднелись скалы и ущелья, спускавшиеся ниже и ниже к смутно различимой равнине, где ниточкой бежала дорога и деревья казались пучками перьев, — мирный пейзаж, дремлющий под солнцем; но тьма уже подкрадывалась к нему, и все угрюмее становилась картина под дыханием надвигающейся бури; и меж тем как здесь, в вышине, ни намека на облачко или тень не омрачало полдневную синеву небес, там, внизу, разбушевалась гроза, молнии перескакивали с

гребня на гребень, проливной дождь хлестал по отвесным склонам ущелий, раскаты грома гремели и грохотали. Мы видели это зрелище; многим оно знакомо, но нам оно было в диковину.

Мы бодро катили вперед и вскоре на самой вершине (хотя, в сущности, мы уже ехали по самой вершине не меньше получаса) мы увидели истоки двух ручейков, расходившихся в разные стороны. По словам кондуктора, один из них именно отсюда на наших глазах пускался в путь на запад к Калифорнийскому заливу и Тихому океану, через сотни и даже тысячи миль безлюдной пустыни. А другой, покинув снежные вершины своей родины, отправлялся в такой же дальний путь на восток, и мы знали, что еще долго после того, как мы забудем эту немудреную речушку, она все так же терпеливо будет пробираться по горным склонам, по дну ущелий и порогам Йеллоустона, а потом примкнет к широкой Миссури и потечет по неведомым равнинам, по пустынным просторам и непроходимым дебрям; и совершит долгое хлопотливое путешествие среди коряг, обломков и наносов, и вольется в Миссисипи, омоет пристани Сент-Луиса, и двинется дальше по песчаным отмелям и каменистым рукавам, потом минует бесчисленные полноводные излучины, огороженные девственными лесами, потом, извиваясь, проскользнет скрытыми протоками и тайными переходами среди лесистых островов, потом — опять цепочки излучин, но окаймленных не хмурыми лесами, а широкими лентами сахарного тростника, потом — новый Орлеан и снова излучины; и наконец, после двухмесячных странствий, полных ежедневных и еженощных хлопот, препятствий, тревог и приключений, избежав гибели, которой грозили ей испарение, пересохшие глотки и водокачки, она оставит позади Мексиканский залив и найдет покой в лоне тропического моря, и никогда больше не увидит родных снежных вершин, и никогда не вспомнит о них.

Я сорвал листок с дерева, зафрахтовал его, нагрузил мысленным посланием к друзьям на родине и бросил в воду. Но я не удосужился наклеить марку, и где-то его задержали впредь до оплаты почтовых сборов.

Мы обогнали поезд переселенцев, состоявший из многих фургонов, многих усталых людей и многих понурых овец и коров. В насквозь пропыленном всаднике, возглавлявшем партию, я узнал Джона ***. Во всем мире не было человека, которого я меньше ожидал бы встретить здесь, на самой вышке Скалистых гор, в тысячах миль от дома. Мы вместе учились в школе и несколько лет были закадычными друзьями. Но одна моя мальчишеская выходка расстроила нашу дружбу, и она уже больше не возобновлялась. А выходка моя состояла в следующем.

Я частенько заглядывал к одному редактору, кабинет которого находился на третьем этаже, окнами на улицу. Как-то раз этот редактор дал мне арбуз, и я приготовился тут же съесть его; но, случайно выглянув в окно, увидел Джона; он стоял под самым окном, и я почувствовал непреодолимое желание бросить арбуз ему на голову, что я мигом и сделал. Проиграл на этом я, потому что арбуз погиб, а Джон не простил мне этой шалости; мы прервали всякие отношения и разошлись, казалось, навсегда, — и вдруг теперь опять встретились при столь необычных обстоятельствах.

Мы одновременно узнали друг друга и обменялись горячим рукопожатием, словно никогда между нами не наступало охлаждения, и ни он, ни я даже намеком не коснулись прошлого. Все обиды были похоронены, и уж одной встречи знакомого лица в этом глухом уголке мира, так далеко от дома, оказалось достаточно, чтобы мы, забыв о недоразумениях, вспомнили только хорошее и, расставаясь, от души пожелали друг другу всех и всяческих благ.

Много утомительных часов подряд взбирались мы по бесконечным уступам Скалистых гор — теперь мы начали спуск. И, надо сказать, спускались мы стремительно. Оставив позади снежные горы Уинд-Ривер и горный массив Юинта, мы мчались дальше по живописнейшей местности, но иногда по обочинам дороги тянулись длинные ряды побелевших костей — скелеты мулов и волов — памятники тех времен, когда началось безудержное движение на Запад, а там и сям вбитая в землю доска или кучка камней отмечала место упокоения более драгоценных останков. Какие одинокие могилы! Могилы в пустынном краю, отданном во власть койотам и воронам, — а что это как не синонимы запустения и тоски одиночества? В туманные, ненастные ночи эти разбросанные вдоль дороги кости излучали бледный зловещий свет, и казалось, что темная пустыня испещрена едва видимыми лунными бликами. Это светился фосфор, содержащийся в костях. И, вопреки всем научным объяснениям, дрожь охватывала каждого, кому случалось видеть этот призрачный свет, зная, что источник его — истлевающий череп.

В полночь пошел дождь — в жизни я не видел такого ливня; по правде говоря, я и его-то не видел, потому что было слишком темно. Мы опустили шторки и даже завесили окна своей одеждой, но тем не менее карету заливало. Спасения не было. Если один из нас вытаскивал ноги из лужи, он подставлял туловище под ливень, а если отодвигал туловище, то вода хлестала его еще по какому-нибудь месту. Если он выбирался из-под насквозь

промокшего одеяла и садился в постели, вода текла ему за воротник. Карета наша блуждала по долине, пересеченной глубокими оврагами, ибо кучер не видел ни зги и не мог держаться дороги, а ветер так бушевал, что удержать мулов на месте было невозможно. Как только немного поутихло, кондуктор отправился с фонарем искать дорогу и первым делом бухнулся в овраг глубиной около четырнадцати футов, а фонарь метеором полетел за ним вслед. Затем со дна оврага послышался предостерегающий крик:

— Не подходи!

На что кучер, заглядывая через край пропасти, в которой исчез кондуктор, ответил с обидой в голосе:

— Дурак я, что ли?

Прошло больше часа, прежде чем кондуктор нашел дорогу, и это очень ясно показало нам, как основательно мы заблудились и как рискованно было наше ночное путешествие. Кондуктор два раза видел следы наших колес в таких местах, где мы просто чудом избежали опасности. Я непрестанно радуюсь, что нас не убило в ту ночь. Не знаю почему, но радуюсь.

Утром, на десятый день пути, переправляясь через Грин-Ривер — красивую, широкую, прозрачную реку, — мы застряли, и нам пришлось ждать, пока в нашу карету впрягали еще мулов, чтобы вывезти нас на крутой берег, а вода стояла чуть выше тюков с почтой, на которых мы спали. Но вода оказалась приятная — ни теплая, ни холодная; кроме того, промокнуть мы уже не могли — на нас и так сухой нитки не было.

На ближайшей станции мы позавтракали: горячие лепешки, отбивные из антилопы и кофе; это была единственная сносная трапеза между Соединенными Штатами и Городом Соленого Озера — Солт-Лейк-Сити, — единственная, за которую мы поблагодарили, не кривя душой. Представьте же себе, до чего неизменно омерзительны были тридцать предыдущих трапез, если этот скромный завтрак словно башня возвышается в моей памяти по прошествии стольких лет!

В пять часов пополудни мы достигли форта Бриджер, в ста семнадцати милях от Южного перевала и в тысяче двадцати пяти милях от Сент-Джозефа. В пятидесяти двух милях от форта Бриджер, в начале каньона Эхо, мы повстречали шестьдесят солдат из военного лагеря Флойд. Оказалось, что накануне они открыли огонь по трем-четырем сотням индейцев, подозревая, что те собрались не с благими намерениями. Произошел бой, во время которого четверо индейцев попали в плен, а остальных отогнали на пять миль, но никого не убили. Это нам понравилось. Мы даже хотели выйти из кареты и примкнуть к солдатам, но,

сообразив, что их всего шестьдесят, а индейцев четыреста, решили ехать дальше и примкнуть к индейцам.

Длина каньона Эхо двадцать миль. Он похож на бесконечную ровную и узкую улицу с пологим спуском, зажатую между высоченными отвесными громадами, в иных местах достигающими четырехсот футов и увенчанными башенками, точно средневековые замки. Это была самая безупречная часть горной дороги, и наш кучер объявил, что «покажет класс», — что он и сделал; и если теперь экспресс Тихоокеанской дороги мчится здесь быстрее, чем мчались мы тогда в почтовой карете, я могу только позавидовать сидящим в нем пассажирам. Поистине колеса наши оторвались от земли и летели по воздуху, а вся почта взвилась кверху и держалась ни на чем! Я вообще не склонен к преувеличениям и потому прошу верить моим словам.

Однако время не ждет. В четыре часа пополудни, когда мир заливало великолепие заходящего солнца, мы добрались до вершины Большой горы, в пятнадцати милях от Города Соленого Озера, и вдруг перед нами открылась такая изумительная панорама горных пиков и вершин, какой нам еще не довелось любоваться. И смотрели мы на это величественное зрелище из-под арки сияющей радуги! Даже кучер почтового тракта осадил коней и загляделся!

Минут через сорок на станции, где меняли наших лошадей, мы попали на ужин к мормонскому «ангелу-мстителю». Насколько мне известно, «ангелы-мстители» — это «святые наших дней», как называют себя мормоны, на которых мормонская церковь возложила постоянную заботу об истреблении нежелательных граждан. Я очень много слышал об этих грозных «ангелах» и об их темных кровавых делах и не без трепета вошел в дом мормона, у которого нам предстояло поужинать. Но — увы! — вопреки нашим романтическим иллюзиям он оказался просто-напросто крикливым, вульгарным нахалом и сквернословом! Быть может, он был достаточно кровожаден и вполне оправдывал свое звание «мстителя», но допустимо ли, чтобы в ангеле, хотя бы и мстящем, не было и тени благородства? Можно ли примириться с ангелом в грязной рубашке и без подтяжек? Можно ли уважать ангела, который ржет, как лошадь, и чванится, как морской разбойник?

Были там и другие непристойные личности — собратья нашего хозяина. Среди них выделялся джентльменской наружностью и поведением только один — сын Хибера К.Кимбелла, высокий, стройный молодой человек лет тридцати. Множество неопрятных женщин торопливо сновало по комнате с кофейниками, нарезанным хлебом и другими принадлежностями

ужина. Нам сказали, что это жены хозяина — если не все, то некоторые. Так оно, конечно, и было; ибо, будь они служанками, они не потерпели бы такого потока брани и сквернословия по своему адресу даже от ангела с небес, а тем паче от этого исчадия ада.

Таково было наше первое знакомство со «своеобразным институтом» Запада, и, надо сказать, он не очень нам понравился. Мы не стали особенно приглядываться к нему, а спешно отправились в обитель «святых наших дней», цитадель пророков, столицу единственной в Америке абсолютной монархии — в Город Соленого Озера. С наступлением ночи мы нашли пристанище в гостинице «Соленое озеро» и распаковали свои вещи.

ГЛАВА XIII

Мормоны и язычники. — Горячительный напиток и его действие на Бемиса. — Город Соленого Озера. — Разительный контраст. — Врач-бродяга. — Беседа со святым. — Посещение короля.

Мы отлично поужинали свежим мясом, дичью и овощами; меню было разнообразное, порции — обильные. После ужина мы немного погуляли по городу, заглядывая в лавки и магазины и с тайным трепетом впиваясь глазами в каждого, кого мы принимали за мормона. Для нас этот город был в полном смысле слова сказочной страной — страной колдовства, злых духов и страшных тайн. Стоило нам встретить ребенка, как нас так и подмывало спросить его, сколько у него матерей и может ли он отличить одну от другой, и всякий раз, когда открывалась дверь какого-нибудь дома и в проеме мелькали чьи-то головы, спины и плечи, мы, сгорая от любопытства, вытягивали шею — нам не терпелось основательно разглядеть мормонскую семью, воочию убедиться в ее многочисленности, увидев, как располагаются все концентрические кольца обширного домашнего круга.

В тот же вечер помощник губернатора познакомил нас с другими «язычниками», и мы больше часу беседовали с ними. «Язычники» — это все люди, кроме мормонов. Наш спутник Бемис решил отделиться от нас и провести время по своему усмотрению, однако ничего хорошего из этого, видимо, не получилось, ибо около одиннадцати часов он ввалился к нам в номер очень веселый, невнятно выкрикивая что-то бессвязное и нечленораздельное и время от времени вытаскивая из себя с корнем какое-нибудь исковерканное слово, состоящее не столько из слогов, сколько из икоты. Потом он повесил свой сюртук на пол рядом со стулом, жилет — тоже на пол, но по другую сторону стула, а панталоны бросил на пол перед этим же стулом, после чего долго с суеверным страхом созерцал плоды трудов своих, потом заявил, что «их больно много», и улегся на кровать, позабыв снять сапоги. Все это навело нас на мысль, что он съел что-нибудь, повредившее ему.

Однако впоследствии оказалось, что повредило ему не съеденное, но выпитое. А именно — специально мормонский прохладительный напиток «дубитель».

Дубитель (по крайней мере один из видов его) — это сорт

виски или ближайший родич виски; изобрели его мормоны и производят его только в территории Юта.

Предание гласит, что изготовляется он из адского огня (импортированного). Если память мне не изменяет, Бригем Юнг запретил во всем своем королевстве открывать кабаки, да и в частных домах правоверным не разрешалось пить спиртное, кроме этого самого дубителя.

На другой день мы опять шатались по широким, прямым и ровным улицам и с интересом осматривали этот любопытнейший город, где насчитывается пятнадцать тысяч жителей — и не видно ни лодырей, ни пьяных, ни крикунов, где на каждой улице вместо грязной сточной канавы бежит веселый прозрачный ручей, где квартал за кварталом тянутся чистенькие домики, деревянные или сложенные из обожженного на солнце кирпича, а позади каждого домика раскинулся большой огород и цветущий плодовый сад, и между грядками и фруктовыми деревьями вьются, поблескивая, ручейки, отведенные от уличных канавок; и на всем вокруг, куда ни глянь, лежит печать опрятности, заботы, процветания и благоустройства. И везде видны мастерские, фабрики, представлены все промыслы, и повсюду кругом — сосредоточенные лица и неутомимые руки, а в ушах неумолчно звенит шум работы — стук молотков и деловитое жужжание маховиков и цилиндров.

Герб моего родного штата изображает двух подгулявших медведей[10], которые с обеих сторон держатся за дно старой бочки и очень к месту приговаривают: «Объединенные, мы выстоим (ик!), разъединенные — падем». Автору этих строк наш герб всегда казался слишком иносказательным. Мормонский герб легко расшифровывался. Он был прост, без претензий и попадал в самую точку. На нем красовался золотой улей, окруженный трудолюбивыми пчелами.

Город Соленого Озера расположен на краю равнины, широкой, как весь штат Коннектикут, и жмется к земле под нависшей над ним горной грядой, чьи вершины скрыты облаками, а на склонах все лето лежат остатки зимнего снега. Если смотреть на город с одной из этих головокружительных высот, отдаленных от него на двенадцать-пятнадцать миль, то он расплывается в тумане и кажется совсем крохотным — словно игрушечная деревня у подножия Великой Китайской стены.

В горах, к юго-западу от города, целые две недели ежедневно шли дожди, но в самом городе не упало ни одной капли. А поздней весной и ранней осенью, если стоят знойные дни, жители его, когда им надоест обмахиваться и ворчать на жару, могут насладиться прохладой, любуясь великолепным снежным

бураном. В эти времена года они каждый день видят издали такое зрелище, хотя ни на городских улицах, ни где-либо поблизости снег не идет.

Солт-Лейк-Сити — полезное, очень полезное для здоровья место. Жители его хвалятся, что во всем городе есть только один врач и того регулярно каждую неделю арестовывают и предают суду согласно закону о бродяжничестве, как не имеющего явных средств к существованию. Здешний народ вообще не скупится на такие достоверные сведения и отпускает их полной мерой и полным весом. Иногда слышишь самую, казалось бы, невесомую ходячую истину, а чтобы взвесить ее, понадобились бы товарные весы.

Мы собирались посетить знаменитое внутреннее море, «Мертвое море» Америки — огромное Соленое озеро, до которого от города семнадцать миль по верховой дороге; всю первую половину нашего путешествия мы мечтали о нем, думали о нем, говорили, жаждали увидеть его; но теперь, когда до него было рукой подать, мы вдруг потеряли к нему всякий интерес. И довольно неопределенно отложив поездку до завтра, больше уж к этой мысли не возвращались. Пообедали мы в одной гостеприимной семье язычников, потом осмотрели фундамент грандиозного будущего храма, потом долго беседовали с ловким янки из Коннектикута Хибером К.Кимбеллом (ныне покойным) — «святым» высокого чина и оборотистым дельцом. Мы посетили «Дом церковной десятины» и «Львиный дом» и не помню, сколько еще церковных и правительственных зданий всякого рода и с чудными названиями. Мы сновали взад и вперед по всему городу, отлично провели время, собирая уйму полезных сведений и забавного вздора, и вечером улеглись спать очень довольные.

На другой день мы познакомились с мистером Стритом (ныне покойным) и, надев белые рубашки, отправились с визитом вежливости к королю. Это оказался старый джентльмен лет пятидесяти пяти или шестидесяти, очень спокойный, приветливый, державшийся со светской непринужденностью и большим достоинством: глаза его глядели ласково, но в них — и, вероятно, недаром, — угадывалось беззлобное лукавство. Одет он был очень просто, и когда мы входили, он как раз снимал с головы самую обыкновенную соломенную шляпу. Он поговорил с моим братом и другими сопровождавшими нас правительственными чиновниками о Юте, об индейцах, о Неваде, об общих делах и вопросах, касающихся Америки. Но меня он упорно не замечал, невзирая на мои попытки выжать из него что-нибудь о политике федерального правительства и его, мистера Юнга, неподчинении воле конгресса. Мне казалось, что

некоторые мои замечания весьма удачны. Но он только изредка оглядывался на меня — так старая добродушная кошка лениво поворачивает голову, чтобы посмотреть, который из котят играет ее хвостом. Обозлившись, я замкнулся в негодующем молчании и так и просидел до конца приема, красный и распаренный, преисполненный лютой ненависти к королю и мысленно обзывая его неучем и дикарем. Но он отнесся к этому спокойно. Его беседа с присутствующими чиновниками текла тихо и мирно, нежно журча, словно летний ручеек. Когда аудиенция кончилась и мы встали, чтобы откланяться, его величество положил руку мне на голову, просиял умиленной улыбкой и сказал, обращаясь к моему брату:

— А это, верно, ваш отпрыск? Мальчик или девочка?

ГЛАВА XIV

Мормонские подрядчики. — Как мистер Стрит обставил их. — Суд Бригема Юнга и его решение. — Многоженство под новым углом зрения.

Мистер Стрит был очень занят — он прокладывал телеграфную линию; и так как провода приходилось тянуть на восемьсот — девятьсот миль по необитаемым кручам снеговых гор и безводным, безлесным, унылым пустыням, то нет ничего удивительного в том, что он в самом деле был очень занят. Столбы он тоже не мог с прохладцей заготовлять по обочинам дороги — их привозили на волах издалека, по пустынной местности, где от воды до воды пролегал иногда двухдневный путь. Подряд мистера Стрита был делом нешуточным, с какой стороны ни взглянуть на него; и однако, чтобы ясно понять, что означают слова «восемьсот миль горных круч и суровых пустынь», нужно самолично побывать там; никакое описание не может дать читателю точную картину мрачной действительности. К тому же самое страшное препятствие, на которое натолкнулся мистер Стрит, оказалось в то же время и самым непредвиденным. Наиболее трудные и тяжелые работы он передал мормонским подрядчикам, а те вдруг решили, что это им невыгодно, и преспокойно побросали уже готовые столбы в горах или в пустынях — смотря по тому, где эта мысль пришла им в голову — и, возвратясь восвояси, взялись за свои обычные занятия! Правда, ранее они подписали контракт с мистером Стритом, но это их нисколько не смущало. Они заявили, что хотели бы видеть, как язычник заставит мормона выполнить кабальный договор на землях Юты! И хохотали до слез. Стрит, от которого мы узнали об этой истории, сказал нам:

— Я был в отчаянии. Контракт обязывал меня выполнить подряд к определенному сроку, и такая задержка грозила мне разорением. Это был тяжелый удар; меньше всего я ожидал такой катастрофы и просто не знал, как мне быть. Я делец — всегда был и буду дельцом — и знать не знаю ничего, кроме деловых отношений. Можете себе представить, каково мне было, когда я очутился в стране, где письменные обязательства ни в грош не ставят! Где не считаются с контрактом — этой железной гарантией, якорем спасения, насущной необходимостью во всяком деле! Почва уходила у меня из-под ног. Заключать новые

контракты было бесполезно, это я хорошо понимал. Я поговорил кое с кем из видных горожан. Все сочувствовали мне, но как помочь — не знали. Наконец один язычник сказал: «Ступайте к Бригему Юнгу, а эта мелкая сошка ничего для вас сделать не может». Совет его не показался мне особенно толковым; уж если закон был бессилен помочь мне, чего мог я ожидать от человека, который не имел никакого касательства ни к изданию законов, ни к проведению их в жизнь? Быть может, он ревностный патриарх своей церкви и отличный проповедник слова божия, но для того чтобы обуздать сотню упрямых полудикарей, нарушивших контракт, требуются более крутые меры, чем благочестивые увещевания. Но что мне оставалось? Решив, что на худой конец мистер Юнг хоть посоветует мне что-нибудь путное, я пошел прямо к нему и изложил свое дело. Говорил он мало, но слушал меня с большим вниманием. Он подробно ознакомился с документами, и каждый раз, когда какое-нибудь условие или что-либо сказанное мной представлялось ему неясным, он возвращался к этому и терпеливо докапывался до самой сути. Потом он переписал фамилии подрядчиков и в заключение сказал:

— Мистер Стрит, все абсолютно ясно. Контракты составлены строго по закону, подписаны и утверждены по всем правилам. Эти люди, безусловно, знали, на что они идут. Здесь не к чему придраться.

Тут мистер Юнг обернулся к человеку, дожидавшемуся в дальнем конце комнаты, и сказал:

— Отдайте этот список такому-то, и пусть он вызовет сюда этих людей к такому-то часу.

И они явились минута в минуту. Пришел и я. Мистер Юнг задал им несколько вопросов, и ответы их подтвердили все изложенное мною. Тогда он спросил их:

— Вы подписали контракты и взяли на себя обязательства по доброй воле?

— Да.

— В таком случае вы должны выполнить их точка в точку, хоть бы вы стали нищими! Отправляйтесь!

И они отправились! Теперь они все в пустыне, трудятся, как пчелы. И ни единой жалобы я от них не слышу. Здесь есть целая куча губернаторов, и судей, и других чиновников, присланных из Вашингтона, и они поддерживают видимость республиканского управления, но на самом деле Юта — абсолютная монархия, и король ее — Бригем Юнг.

Мистер Стрит человек добропорядочный, и я верю его рассказу. Впоследствии я несколько лет водил с ним знакомство в

Сан-Франциско.

Мы пробыли в Солт-Лейк-Сити всего два дня и потому не успели, как положено, вникнуть в систему многоженства, собрать соответствующие фактические данные и сделать нужные выводы, чтобы затем лишний раз привлечь внимание всей нации к этому вопросу. Я очень хотел это сделать. Со всем пылом самонадеянной молодости я жаждал очертя голову ринуться в бой и одержать великую победу — пока не увидел мормонских женщин. Тут я смягчился. Сердце мое оказалось мудрее ума. Оно преисполнилось сострадания к этим убогим, нескладным и до жалости некрасивым созданиям, и, отворотясь, дабы скрыть великодушные слезы, увлажнившие мои глаза, я сказал себе: «Нет! Мужчина, который берет одну из них в жены, проявляет христианское милосердие и достоин не сурового осуждения, а искренних похвал всего человечества; тот же, кто берет в жены шестьдесят из них, совершает деяние столь высокой и бескорыстной самоотверженности, что народы земли должны обнажать головы перед ним и поклоняться ему в благоговейном молчании»[11].

ГЛАВА XV

Языческий вертеп. — Толки о многоженстве. — Внучка и бабушка. — Курятник для жен в отставке. — Детей надо метить. — Отеческая забота о подкидышах. — Семейная кровать.

Где еще услышишь столько увлекательных рассказов об умерщвлении непокорных язычников? Трудно представить себе что-нибудь более уютное, чем вечерок, который мы провели в Солт-Лейк-Сити, в вертепе одного язычника, покуривая трубки и слушая повесть о том, как Бэртон верхом на коне врезался в толпу умоляющих о пощаде беззащитных людей и, точно собак, расстреливал из пистолета мужчин и женщин. И как Билл Хикмен, «ангел-мститель», застрелил Драуна и Арнолда за то, что они через суд потребовали от него уплаты долга. И как Портер Рокуэл творил свои страшные дела. И как опрометчивые люди, приехав в Юту, порой неодобрительно отзываются о Бригеме Юнге, или о многоженстве, или еще о чем-либо, столь же священном, и уже наутро их находят распростертыми в каком-нибудь глухом переулке, где они терпеливо дожидаются похоронных дрог. Не менее интересно слушать разговоры язычников о многоженстве; тут можно узнать, как некий толстобрюхий боров, старейшина или епископ, женился на девочке — и ему понравилось; женился на ее сестре — понравилось, женился на второй сестре — понравилось, женился на третьей — понравилось, женился на ее матери — понравилось, женился на ее отце, дедушке, прадедушке, а потом, не насытившись, снова явился и попросил еще. И как нередко бойкая одиннадцатилетняя девчонка оказывается любимой женой, а ее собственная почтенная бабушка падает в глазах их общего супруга до последнего ранга и отсылается спать на кухню. И как мормонские женщины потому терпят такое безобразное положение вещей, при котором мать и дочери копошатся в одном гнилом гнезде и молоденькая девушка выше родной матери рангом и имеет большую власть, что, согласно их вероучению, чем больше у человека на земле жен и чем больше он вырастит детей, тем более высокое место всем им уготовано в будущей жизни, — быть может, не столь высокое, сколь жаркое, но об этом они ничего не говорят.

По словам наших друзей язычников, гарем Бригема Юнга

насчитывает от двадцати до тридцати жен. Часть из них будто бы достигла преклонного возраста и уволена с действительной службы, но они хорошо обеспечены и живут с полным комфортом в своем курятнике — или «Львином доме», как его почему-то называют. При каждой жене ее дети, в общей сложности — пятьдесят штук. Когда дети не шумят, в доме царит тишина и порядок. Все домочадцы едят в одной комнате; и, говорят, такая трапеза может служить образцом мирного счастья в семейном кругу. Ни одному из нас не довелось отобедать у мистера Юнга, но один язычник, по фамилии Джонсон, утверждал, что он как-то раз имел удовольствие позавтракать в «Львином доме». Он дал нам яркое описание «переклички» и других предварительных церемоний, а также кровопролитного боя, который разыгрался, когда подали гречневые оладьи. Но он несомненно приукрашивал. Если верить его рассказу, мистер Юнг повторил несколько острых словечек, принадлежавших кое-кому из его «двухлеток», заметив при этом не без гордости, что уже много лет снабжает такого рода материалом один журнал, издаваемый в восточных штатах; потом он пожелал показать мистеру Джонсону того ребенка, который отпустил последнюю удачную остроту, но никак не мог его найти. Он долго рассматривал лица ребят, но безуспешно. В конце концов он отступился и проговорил со вздохом: «Я думал, что признаю этого сорванца, да вот нет, не признал».

Потом, по словам Джонсона, мистер Юнг сказал, что жизнь — печальная, очень печальная штука, «потому что каждый раз, как человек вступает в новый брак, радость его обычно омрачают досадные похороны одной из предыдущих жен». И еще Джонсон рассказывал, что, пока они с мистером Юнгом мило беседовали, явилась одна из его супружниц и потребовала брошку, ссылаясь на то, что, как ей удалось узнать, он подарил брошку номеру шестому, и пусть он не воображает, что такая вопиющая несправедливость сойдет ему с рук без скандала. Мистер Юнг напомнил ей о присутствии постороннего. Миссис Юнг ответила, что, если постороннему не нравятся порядки в их доме, он может выйти вон. Мистер Юнг пообещал ей брошку, и она удалилась. Но через минуту явилась другая миссис Юнг и тоже потребовала брошку. Мистер Юнг начал было усовещевать ее, но миссис Юнг оборвала его на полуслове. Она сказала, что номер шесть получила брошку, а номеру одиннадцатому брошка обещана, и «пусть он не увиливает, свои права она знает». Он обещал, и она удалилась. Еще через минуту явились три супружницы, и на голову мистера Юнга обрушился ураган слез, упреков и настойчивых просьб. Им, мол, уже все известно про номер шесть,

номер одиннадцать и номер четырнадцать. Мистер Юнг пообещал подарить еще три брошки. Не успели они удалиться, как еще девять супружниц проследовали в комнату, и новый ураган забушевал вокруг пророка и его гостя. Еще девять брошек были обещаны, и воинственные жены проследовали обратно. Затем явилось еще одиннадцать, с плачем, воем и скрежетом зубовным. И снова мир был куплен ценой обещанных брошек.

— Вот вам наглядный пример, — сказал мистер Юнг. — Сами видите, что получается. Можете судить, какая у меня жизнь. Человек не может всегда поступать благоразумно. Забывшись на минуту, я совершил опрометчивый поступок: моей любимой номер шесть — простите, что я так называю ее, другое ее имя выскочило у меня из головы, — я подарил брошку. Она стоила всего-навсего двадцать пять долларов — то есть такова была ее видимая цена, — но я мог бы догадаться, что в конечном счете она обойдется мне много дороже. На ваших глазах цена ее выросла до шестисот пятидесяти долларов, и — увы! — это еще не предел! Ибо по всей территории Юта у меня имеются жены. Существуют десятки моих жен, чьи номера — не говоря уж об именах — я могу вспомнить, только заглянув в семейную библию. Они разбросаны по всем горам и долам моих владений. И заметьте, поголовно все они услышат об этой злополучной брошке и все от первой до последней умрут, но не отступятся. Брошка номера шестого будет стоить мне не двадцать пять, а две с половиной тысячи долларов. К тому же эти бесстыдницы начнут сравнивать подарки, и если окажется, что одна брошка чуть лучше остальных, они швырнут их мне обратно, и я должен буду заказать новую партию ради сохранения мира в моем семействе.

Вы, сэр, вероятно, и не заметили, а ведь все время, пока вы были с моими ребятишками, за каждым вашим движением зорко следили мои слуги. Попытайся вы дать одному из детей монетку, или леденец, или еще какой-нибудь пустяк, вас бы тут же выволокли за дверь, — если только это удалось бы сделать до того, как вы выпустили подарок из рук. Иначе вам надлежало бы в точности так же одарить всех моих детей — и, зная по опыту, сколь это важно, я сам позаботился бы о том, чтобы никто не остался обделенным. Однажды некий джентльмен подарил одному из моих детей жестяную свистульку — поистине измышление дьявола, которое внушает мне невыразимый ужас, да и вам, сэр, внушало бы, будь у вас в доме без малого сотня детей. Но дело было сделано, а злодей скрылся. Я знал, что мне предстоит, и жаждал мщения. Я выслал отряд ангелов-мстителей, и они погнались за ним в неприступные горы Невады.

Но они так и не изловили его. Я человек не жестокий, сэр, и

не злопамятный — кроме тех случаев, когда я глубоко уязвлен, — но если бы его изловили, сэр, Джозеф Смит мне свидетель, я запер бы его в детской и держал бы там, пока мои пострелята не засвистали его до смерти. Клянусь убиенным святым Парли Праттом[12] (да простит его господь!), ничего подобного еще не бывало на свете! Я-то знал, кто подарил свистульку, но ревнивые матери не верили мне. Они думали, что это сделал я, — и случилось то, что мог бы предвидеть каждый, в ком есть хоть капля разумения; мне пришлось заказать сто десять штук этих мерзких свистулек — помнится, тогда в доме было сто десять детей, теперь часть из них уехала учиться, — и отсохни мой язык, если вру, но мы все разговаривали только знаками, пока детям не надоела эта гадость. И если кто-нибудь опять дерзнет подарить моему ребенку свистульку и попадется мне в руки, он взлетит у меня выше Амана[13]! Вот вам и весь сказ! Спаси и помилуй меня Нефи! Вы, сэр, понятия не имеете, что такое семейная жизнь. Я богат, и все это знают. Я щедр, и все этим пользуются. У меня сильно развит отцовский инстинкт, и всех подкидышей стараются всучить мне.

Каждая женщина, которая желает добра своему дитяти, ломает голову над тем, как бы так устроить, чтобы ее сокровище попало в мой дом. Вообразите, сэр, однажды сюда явилась женщина с ребенком, у которого кожа была какая-то странная, словно неживая (да и у матери тоже), и клялась, что ребенок мой, а она моя жена, что я женился на ней в такое-то время, в таком-то месте, но она забыла свой номер, а я, естественно, не запомнил ее имени. Она обратила мое внимание на сходство между ребенком и мною, и в самом деле — он как будто походил на меня, — весьма частый случай в нашей территории; короче говоря, я сунул ребенка в детскую, а женщина ушла. И что же? О тень Орсона Гайда! Когда с ребенка смыли белила, он оказался краснокожим! Нет уж, как хотите, а вы и понятия не имеете, что такое семейная жизнь. Это собачья жизнь, сэр, просто собачья. Беречь деньги — никакой возможности. Я пытался завести один подвенечный наряд на все случаи. Не вышло. Сперва тебя венчают с существом, похожим на обмотанную ситцем жердь, а потом берешь водянку на двух ногах, и нужно наставлять платье остатками лопнувшего воздушного шара. Вот оно как. А счет от прачки (простите мне невольные слезы) — девятьсот восемьдесят четыре штуки белья в неделю! Нет, сэр, в таком хозяйстве, как мое, нечего и мечтать об экономии. Одних люлек сколько нужно — вы только подумайте! А глистогонного! А сиропа от колик! А колец, когда прорезываются зубки! А «папиных часов» для развлечения младенцев! А щеток и тряпок для чистки мебели! А серных

спичек, чтобы наглотаться, и осколков стекла, чтобы пораниться! Суммы, затрачиваемой на одно стекло, уж наверно хватило бы на содержание вашей семьи, сэр. Как ни жмись, как ни урезай расходы, не могу я быстро идти в гору, а ведь следовало бы, при моих-то возможностях! Скажу вам прямо, сэр, было время, когда я просто рвал на себе волосы оттого, что тысячи долларов лежат мертвым капиталом в семидесяти двух кроватях, на которых спят семьдесят две жены, а не отданы в рост, как полагается; и я взял да и продал всю партию, продал в убыток, сэр, и смастерил одну кровать семи футов длиной и девяноста шести футов шириной. Но это оказалось ошибкой, я глаз не мог сомкнуть. Мне казалось, что храпят все семьдесят две женщины сразу. Уши не выдерживали.

А как это было опасно! Я просто дрожал от страха. Все они одновременно вдыхали воздух, и я прямо видел, как стены втягивались внутрь, а при каждом выдохе они выпячивались наружу, и я слышал, как трещат стропила и скрипит черепица на крыше. Друг мой, примите совет старика, не обременяйте себя большой семьей — уверяю вас, ни к чему это. Только в маленькой семье, в тесном домашнем кругу вы найдете уют и тот душевный покой, который есть лучшее и наивысшее благо из всех уготованных нам в этом мире и утрату которого нам не возместят ни богатство, ни слава, ни власть, ни величие. Поверьте мне, десять — от силы одиннадцать — жен предостаточно для вас, не переступайте этой границы.

Не знаю почему, но этот Джонсон не внушал мне особенного доверия. Однако слушать его было интересно. И я сомневаюсь, удалось ли бы нам почерпнуть все эти ценные сведения из какого-либо другого источника. Во всяком случае, он выгодно отличался от неразговорчивых мормонов.

ГЛАВА XVI

Мормонская библия. — Доказательства ее божественного происхождения. — Плагиат. — Рассказ Нефи. — Примечательная битва. — Посрамление килкеннийских кошек[14].

Все знают понаслышке о мормонской библии, но лишь немногие, кроме «избранных», видели ее, а кто и видел, вряд ли потрудился ее прочесть. Я вывез один экземпляр из Солт-Лейк-Сити. По-моему, эта библия — редкостная диковина: сколько претензии, а какая она вялая, сонная! Трудно представить себе более пресную мешанину — хлороформ, а не книга. Если ее написал Джозеф Смит, то он совершил просто чудо — хотя бы тем, что не заснул, сочиняя ее. Если же, как гласит предание, он только перевел ее с покрытых таинственными письменами древних медных пластинок, которые, по его утверждению, были найдены им под камнем в какой-то глухой местности, тогда перевод этот тоже чудо, и по той же причине.

Насколько я могу судить, мормонская библия всего лишь бесталанный вымысел, состряпанный по образцу Ветхого завета и дополненный скучным пересказом Евангелия. Автор силился придать своим словам и оборотам речи то необычное, отдающее стариной звучание, которое отличает перевод священного писания на английский язык, сделанный по приказу короля Якова[15]; в итоге получился ублюдок — то современный бойкий язык, то древняя простота и торжественность. Последнее звучит тяжеловесно и натянуто, первое кажется естественным, но рядом с архаической речью — нелепо и смешно. Когда автор чувствует, что у него выходит слишком по-современному — а это на каждом шагу, — он всовывает какое-нибудь библейское выражение вроде «зело прогневался», «и случилось так» и тому подобное, и дело опять идет на лад. «И случилось так» — его излюбленное словечко. Не будь его, вся библия вышла бы не толще брошюрки.

На титульном листе начертано:

> *Мормонова книга: отчет, записанный на скрижалях рукой Мормона. Со скрижалей Нефи.*
>
> *Посему это является сокращенной историей народа Нефи, а также ламанитян; написано для ламанитян, кои суть остатки дома Израиля; а также к иудеям и*

язычникам; написано в качестве заповеди, а также в духе пророчеств и откровения. Написано и запечатано и скрыто у Бога, дабы не пропало и дабы обнаружилось даром и силой Господа в настоящем толковании; запечатано рукой Морони и скрыто у Бога, дабы обнаружилось в должное время через язычников; в настоящем толковании по дару Господа. А также краткое изложение книги Ефир; она же летопись народа Иареда, каковой рассеялся по лицу земли, когда Бог смешал язык, потому что люди строили башню, чтобы долезть до неба.

«По дару» — это хорошо. Хорошо и «посему», хотя зачем «посему»? Можно бы и проще сказать, — правда, тогда было бы непохоже на библию.

На первой странице читаем:

СВИДЕТЕЛЬСТВО ТРЕХ ОЧЕВИДЦЕВ

Да будет известно всем народам, коленам, языкам и людям, до коих дойдет сей труд, что мы милостью Бога-Отца и Господа нашего Иисуса Христа видели скрижали с этим отчетом, он же есть летопись народа Нефи, а также ламанитян, его братьев, а также народа Иареда, пришедшего от башни, о коей уже была речь, и мы также знаем, что вырезанное на скрижалях переведено даром и силой Господа, ибо глас его воззвал к нам; посему мы знаем доподлинно, что это не вранье. И мы также свидетельствуем, что видели вырезанное на скрижалях и что они явлены были нам силой Божией, а не человеческой. И мы подтверждаем со всем здравомыслием, что ангел Божий сошел с неба и принес и положил пред наши очи, дабы мы узрели и видели скрижали и то, что вырезано на них; и мы знаем, что милостью Бога-Отца и Господа нашего Иисуса Христа мы видели их, и свидетельствуем, что это правда истинная, и мы дивуемся; но поскольку глас Божий повелел нам возвестить о сем, мы, покорные завету Божию, о сем и свидетельствуем. И мы знаем, что ежели будем верны во Христе, мы очистим одежды свои от крови всех людей и предстанем непорочными перед Христовым престолом и будем вечно пребывать с ним на небеси. И слава Отцу и

Сыну и Святому Духу, кои суть един Бог. Аминь.

Оливер Каудери, Дэвид Уитмер, Мартин Гаррис

Есть люди, которым требуются горы доказательств, прежде чем они найдут в себе силы хоть отчасти поверить чему-нибудь, но я, когда человек говорит мне, что он «видел письмена на скрижалях», и — мало того — при этом присутствовал ангел и видел, как он видел, и, вероятно, взял с него надлежащую расписку, — то я уже чувствую, что далеко ушел по пути безоговорочной веры, — пусть даже я никогда и не слыхивал об этом человеке и не знаю ни как зовут ангела, ни какой он национальности.

Далее следует:

А ТАКОЖЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОСЬМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Да будет известно всем народам, коленам, языкам и людям, до коих дойдет сей труд, что Джозеф Смит-младший, переводчик сего труда, показал нам скрижали, о которых шла речь и которые имеют вид золота; и все до единого листы, переведенные упомянутым Смитом, мы пощупали руками своими; и мы также видели вырезанные письмена, все они имеют вид старинной работы и редкостного художества. И мы свидетельствуем со всем здравомыслием, что упомянутый Смит показал их нам, ибо мы видели их, и прикинули их вес, и знаем доподлинно, что упомянутый Смит держит означенные скрижали у себя. И мы объявляем миру наши имена, свидетельствуя перед миром о том, что мы видели; и мы не солгали, в чем Бог нам свидетель.

Кристиан Уитмер, Джейкоб Уитмер, Питер Уитмер-младший, Джон Уитмер, Хайрам Пейдж, Джозеф Смит-старший, Хайрем Смит, Сэмюел Г.Смит

А когда я, уже далеко уйдя по пути безоговорочной веры, натыкаюсь на восьмерых очевидцев, которые сообщают мне — пусть не очень грамотно, — что они не только видели листы, но и «пощупали их», то для меня этого достаточно. Подпишись под этим свидетельством хоть весь род Уитмеров, я и то не проникся

бы столь глубокой и несокрушимой верой.

Мормонскую библию составляют пятнадцать «книг», а именно: книга Иакова, Эноса, Харама, Омни, Мосии, Зенифа, Алмы, Хеламана, Ефира, Морони, две книги Мормона и три — Нефи.

В первой книге Нефи имеется плагиат — списанный с Ветхого завета рассказ об исходе из Иерусалима детей Лехи, далее там рассказано о том, как они восемь лет блуждали в пустыне под водительством некоего Нефи, наделенного сверхъестественным даром. В конце концов они достигли «Страны изобилия» и расположились у моря. «По прошествии многих дней» — сказано, правда, по-библейски, но весьма неопределенно — Нефи было повеление свыше построить корабль и «перевезти народ через воды». Он пародировал Ноев ковчег, однако действовал согласно предписанию. Корабль он соорудил в один день, а братья его стояли тут же, насмехаясь над его работой, а кстати и над ним, говоря: «Наш брат глупец, ибо он мыслит, что может построить корабль». Не дожидаясь, пока дерево высохнет, все племя — или народ — назавтра пустилось в плавание. И тут-то обнаружился уголок истинной человеческой природы, о чем Нефи поведал чистосердечно, с библейской откровенностью, — они устроили кутеж! Они,

> *а также их жены предались веселью, стали плясать, петь и говорить зело непотребно, воистину они вознеслись до крайнего непотребства.*

Нефи пытался прекратить это безобразие, но они связали его, и разгульное веселье продолжалось. Но смотрите, как пророк Нефи перехитрил их с помощью невидимых сил:

> *И вот, после того как они связали меня, так что я двинуться не мог, компас, который был от Господа, перестал работать, посему они не знали, куда вести корабль; и поднялась буря, сделалось великое волнение, и нас отбрасывало назад по водам, — и так три дня; и они очень испугались, опасаясь, чтобы им не утонут в море; однако же меня не развязали. И на четвертый день ветер, гнавший нас обратно, сделался зело сильным.*
>
> *И случилось так, что нас чуть было не поглотила пучина морская.*

Тогда они развязали его.

> *И случилось так, что они развязали меня, я взял*

компас, и он заработал, как я пожелал. И я воззвал к Богу, и когда я воззвал к Богу, тотчас ветры утихли и стала великая тишина.

Обладание компасом, видимо, давало этим древним мореплавателям большое преимущество перед Ноем.

Путь они держали в «землю обетованную» — другого имени они ей не дали. Они благополучно добрались до нее.

Многоженство — недавний догмат мормонской религии, введенный Бригемом Юнгом уже после смерти Джозефа Смита. До этого многоженство считалось «мерзостью». Вот стих из главы второй книги Иакова в мормонской библии:

> *И вот говорит Господь: Народ сей погряз в беззаконии; он не разумеет священного писания, ибо он ищет оправдать своеблудодейство ссылками на царя Давида и сына его Соломона; верно, что Давид и Соломон имели множество жен и наложниц, и было сие мерзостью предо мною, — говорит Господь; — посему, — говорит Господь, — я вывел народ сей из земли Иерусалимской, рукою крепкою, дабы взрастить ветвь праведную от плода из чресл Иосифа. Посему я, Господь Бог, не потерплю, чтобы народ сей поступал по-старому.*

Однако план не удался — по крайней мере по части современных мормонов, — ибо Бригем «терпит» это. Вот еще стих из той же главы:

> *Говорю вам, ламанитяне: братья ваши, коих вы ненавидите за их распутство и за язвы, покрывающие их тело, праведнее, чем вы, — ибо они не забыли веления Господа, заповеданного их отцам, чтобы не иметь им жен, кроме одной; и наложниц не иметь им.*

Нижеследующий стих (из главы девятой книги Нефи) содержит сведения, вряд ли известные многим:

> *И случилось так, что Иисус вознесся на небо, толпа рассеялась, и каждый взял свою жену и детей и пошел восвояси.*
>
> *И случилось так, что наутро, когда толпа собралась, явился Нефи и брат его, которого он воскресил из мертвых, имя ему Тимофей, а также сын его, имя ему Иона, и Мафони, и Мафония, брат его, и Кумен, и Куменонхи, и Иеремия, и Шемнон, и Иона, и Зедекия, и*

Исаия; сие суть имена учеников, коих избрал Иисус.

Для того чтобы читатель мог убедиться, как эффектно и живописно (по утверждению мормонских апостолов) происходил один из самых трогательных эпизодов в жизни Спасителя — чего, по-видимому, никто, кроме них, не заметил, — привожу отрывок из той же книги Нефи:

> *И случилось так, что Иисус обратился к ним и повелел им встать. И они встали с земли, и он сказал им: Благословенны вы за веру вашу. И вот я преисполнен радости. И, сказав им эти слова, прослезился, и вся толпа свидетельствует о том, и он брал детей одного за другим, и благословлял их, и молился о них Отцу. И, помолившись, опять прослезился, и говорил к толпе, и сказал им: Взгляните на малых сих. И они взглянули на них и подняли глаза к небу — и увидели небеса отверстыми и ангелов, сходящих прямо с неба, как бы среди пламени; и ангелы сошли на землю и окружили детей, и они были окружены пламенем; и ангелы прислуживали им, и толпа слышала и видела и свидетельствовала о том; и они знают, что свидетельство их истинно, ибо все они видели и слышали, каждый человек в отдельности; а числом их было около двух тысяч пятисот душ; и состояло оно из мужчин, женщин и детей.*

А из чего, собственно, оно могло бы еще состоять?

Книга Ефир — это какая-то малопонятная каша «исторического» содержания, все больше про осады и битвы между народами, о которых читатель, вероятно, никогда не слыхал и которые населяли страну, не упомянутую в географии. Был там царь, носивший приметное имя Кориантумр, и воевал он с Шаредом, и с Либом, и с Шизом, и со многими другими на «равнинах Гешлон», и в «долине Гилгал», и в «пустыне Акиш», и в «краю Моран», и на «равнинах Агош», и «Огаф», и «Рама», и в «земле Корихор», и на «горе Комнор», и у «вод Риплианкума» и т.д., и т.п. «И случилось так», что после многих сражений Кориантумр подытожил свои потери, и оказалось, что «были убиты два миллиона сильных воинов, а также их жены и дети» — итого от пяти до шести миллионов, — «и он опечалился в сердце своем». Давно бы так! Тогда он написал Шизу, предлагая прекратить военные действия и уступить свое царство ради спасения народа. Шиз готов был согласиться, но только при одном условии: что Кориантумр предварительно явится к нему и

даст отрубить себе голову; но этого условия Кориантумр не принял. Война возобновилась на некоторое время, а потом в течение четырех лет обе стороны собирали войско для решающей схватки, а за сим воспоследовала битва, по-видимому, самая примечательная из всех известных историй, кроме разве сражения килкеннийских кошек, которое она отчасти напоминает. Вот описание военных приготовлений и самой битвы:

> *7. И тогда они собрали весь народ по всему лицу земли, всех, кто не были убиты, кроме Ефира. И случилось так, что Ефир видел все, что делал народ, и он видел, что те, кто был за Кориантумра, притекали к войску Кориантумра; и все, кто был за Шиза, притекали к войску Шиза; и так в течение четырех лет они собирали народ, дабы собрать всех по всему лицу земли и усилить свою мощь, как только могли ее усилить. И тогда все они собрались вместе, каждый в том войске, в каком пожелал, с женами и детьми; и все мужи, женщины и дети были вооружены оружием войны, щитами и нагрудниками и шеломами и облачены в одежды войны, и они вышли друг против друга на бой; и они бились весь день, но не победили. И когда настала ночь, они утомились и возвратились в свои станы, а возвратясь в свои станы, они подняли вопль и плач великий по убитым воинам своего народа; и такова была сила их стенаний, воплей и криков, что разрывался воздух. И когда настало утро, они снова пошли на бой, и день тот был великий и страшный; но они не победили, и когда опять настала ночь, их крики, жалобы и вопли по убитым воинам своего народа опять разрывали воздух.*
>
> *8. И случилось так, что Кориантумр вторично написал Шизу, прося его больше не идти на бой, но взять царство и пощадить жизнь народа. Но се — Дух Божий покинул их, и Сатана овладел сердцами народа, ибо отданы они были во власть жестокосердия своего и слепоты своей, дабы погибнуть им; и посему они опять пошли на бой. И сражались они весь тот день, и когда настала ночь, они уснули на мечах своих, и наутро они опять пошли в бой и сражались до ночи; и когда настала ночь, они опьянели от гнева, как человек пьянеет от вина; и опять они уснули на мечах своих; и наутро они сражались опять, и к ночи все они пали от меча; и осталось их пятьдесят два из народа Кориантумра и шестьдесят девять из народа Шиза. И спали они в ту ночь*

на мечах своих, а наутро опять сражались и бились друг с другом, соревнуясь в мощи мечей и щитов; и так весь день; и когда настала ночь, их было тридцать два из народа Шиза и двадцать семь из народа Кориантумра.

9. И случилось так, что они ели и спали и готовились наутро умереть. И были они мужи рослые и крепкие силою мышц. И бились они три часа и, потеряв много крови, обессилели. И когда воины Кориантумра набрались сил, они пустились наутек, но се — Шиз поднялся, и с ним войско его, и он поклялся в гневе своем, что умертвит Кориантумра либо погибнет от меча; итак, он преследовал их, к утру настиг, и они опять сражались. И случилось так, что когда все они пали, кроме Кориантумра и Шиза, Шиз обессилел, потеряв много крови. И тогда Кориантумр передохнул слегка, опершись на свой меч, и отрубил Шизу голову. И когда он отрубил Шизу голову, Шиз поднялся на руках, и упал, и, глотнув воздуха, умер. И тогда Кориантумр пал на землю замертво. И Бог сказал Ефиру, говоря: Иди. И он пошел и увидел, что сказанное Господом исполнилось; и он докончил свою летопись; и сотой доли ее я не написал.

Жаль, жаль, что Смит написал так мало и, наполнив предыдущие главы скучнейшей пошлостью, оборвал свой рассказ как раз на том месте, где он, чего доброго, мог бы стать занимательным.

Мормонская библия — глупая книга, и читать ее — нудное занятие, но в ее поучениях нет ничего зловредного. Против изложенного в ней кодекса морали возразить нечего: он «скатан» с Нового завета — даже без ссылки на источник.

ГЛАВА XVII

Три разные версии. — Всё — «четверть доллара». — Мелкая душа. — Переселенцы и белые рубашки не в чести. — Люди сорок девятого года[16]. — Подлинное счастье.

После двухдневного пребывания в Городе Соленого Озера мы покинули его, бодрые, отъевшиеся и очень довольные, самочувствие у нас было превосходное; однако что касается «мормонского вопроса», то, пожалуй, мы разбирались в нем не лучше, чем до нашего приезда. Разумеется, мы получили много новых сведений, но мы не знали, каким из них можно верить, а каким нет, потому что получили их от людей в сущности совсем чужих. Например, одни говорили, что чудовищная «Резня на Горном лугу» была делом рук только индейцев, а язычники самым подлым образом свалили вину на мормонов, другие говорили, что отчасти повинны индейцы, отчасти мормоны; третьи не менее положительно утверждали, что это низкое предательство, эта бесчеловечная бойня целиком на совести мормонов. Мы слышали все три версии, но о том, что именно третья версия соответствует действительности и что истинными виновниками злодеяния были мормоны, мы узнали только несколько лет спустя, когда вышла книга миссис Уэйт «Мормонский пророк», в которой описано, как судья Крэдлбо судил обвиняемых по этому делу. А те «достоверные» сведения, которые мы собрали сами, распадались на три версии, и поэтому я отказался от мысли, что в два дня могу разрешить «мормонский вопрос». Кстати, мне приходилось видеть, как репортеры справлялись с этим и в один день.

Покидая Солт-Лейк-Сити, я весьма смутно представлял себе, каково положение вещей в этом городе, а подчас спрашивал себя, существует ли там вообще какое-нибудь положение вещей. Но я тут же с облегчением вспоминал, что нам все-таки удалось узнать кое-какие мелочи, в достоверности которых можно было не сомневаться; значит, мы не совсем даром потратили два дня. Например, мы узнали, что наконец-то очутились в настоящей стране пионеров и увидели ее во всей непреложной, осязаемой доподлинности. Высокие цены на малейший пустяк красноречиво говорили о высокой стоимости перевозок и об ошеломляющей отдаленности отправных пунктов. На Востоке в те времена самой мелкой денежной единицей был цент, и такова же была цена

минимального количества любого имевшегося в продаже товара. К западу от Цинциннати самой мелкой ходячей монетой был серебряный пятицентовик, и меньше чем на пять центов товару не отпускали. В Оверленд-Сити, кажется, самой мелкой монетой был десятицентовик, но в Солт-Лейк-Сити в обращении, очевидно, не имелось денежной единицы ниже двадцатипятицентовика и меньше чем на эту сумму ничего не продавалось. Для нас самой мелкой финансовой операцией всегда был обмен пятицентовой монеты на товар соответствующей стоимости; но в Солт-Лейк-Сити, если покупаешь сигару, — выкладывай четверть доллара; трубку — четверть доллара; хочешь персик, свечу, газету, или побриться, или купить каплю языческого виски, чтобы натереть свои мозоли во избежание расстройства желудка и флюса — плати двадцать пять центов, не иначе. Поглядывая время от времени на наш мешок с серебром, мы готовы были обвинить себя в отчаянном мотовстве, однако после ознакомления с записью наших расходов оказывалось, что ни в чем таком мы не повинны. Но люди легко привыкают к крупным суммам и высоким ценам и даже любят их и кичатся ими — и наоборот, переход на мелкие монеты и низкие цены кажется им нестерпимым позором, с которым трудно примириться. После месячного знакомства с минимумом в двадцать пять центов обыкновенный смертный краснеет от стыда каждый раз, как вспоминает свое презренное пятицентовое прошлое. Когда в пышной Неваде мне вспоминался мой первый финансовый опыт в Солт-Лейк-Сити, лицо мое пылало, словно я обгорел на солнце. Оный случай произошел так (многие писатели любят слово «оный», и слово, правда, недурное, но я ни разу не слышал, чтобы хоть кто-нибудь так говорил). В гостинице наутро после нашего приезда юный метис, желтизной кожи напоминавший шершня, предложил почистить мне сапоги. Я согласился, и он почистил их. Затем я вручил ему серебряный пятицентовик с благосклонным видом человека, который дарует богатство и счастье своим нищим, страдающим братьям. Шершень взял монетку и, подавляя волнение — как мне думалось, — осторожно положил ее на широкую ладонь. Потом он воззрился на нее с таким вниманием, с каким ученый рассматривает в микроскоп комариное ухо. Несколько жителей гор, погонщиков скота, кучера почтовых карет и так далее подошли поближе, и все вкупе начали разглядывать монету с тем очаровательным пренебрежением к хорошему тону, которое отличает бесстрашных пионеров. Наконец шершень вернул мой пятицентовик и посоветовал мне держать деньги в кошельке, а не в душе — больно уж она мелка, много ли там поместится!

Каким грубым хохотом были встречены его слова! Я тут же на месте расправился с этим ублюдком, но, скальпируя его, я не мог удержать улыбки, ибо, что ни говори, а для индейца он сострил очень неплохо.

Да, мы научились платить высокие цены, ничем не выдавая внутренней дрожи, — ибо к тому времени мы уже твердо знали из подслушанных разговоров кучеров, кондукторов, конюхов и, наконец, жителей Солт-Лейк-Сити, что эти высшие существа презирают переселенцев. Мы не позволяли себе ни вздрагивать, ни ежиться, мы хотели, чтобы нас принимали за пионеров или мормонов, за метисов, погонщиков скота, кучеров, убийц беззащитных людей на «Горном лугу» — за кого угодно, кто пользовался уважением в прериях и в Юте, — но мы безмерно стыдились того, что мы переселенцы и что, к несчастью, мы носим белые рубашки и в присутствии дам можем сквернословить не иначе, как отворотясь в сторону.

Впоследствии, в Неваде, немало было унизительных случаев, когда нам напоминали о том, что мы переселенцы, а следовательно, существа низшей, неполноценной породы. Быть может, читатель сам недавно посетил Юту, Неваду или Калифорнию и с жалостью взирал на жителей этих стран, считая их отринутыми от того, что, по его мнению, есть «мир», и вдруг почувствовал, что крылья у него подрезаны, ибо — кто бы мог подумать — оказывается, это он достоин жалости, и поголовно все население, среди которого он очутился, готово сострадать ему; и он уже шагу не может ступить, не внушая жалости окружающим. Бедняга! Они потешаются над его шляпой, и над покроем его костюма, сшитого в Нью-Йорке, и над его уважением к грамматике, и над жалкими попытками сквернословить, и над его совершенно уморительным незнанием всего, что касается руды, шахт, штолен и многого другого, чего он никогда не видел и о чем не удосужился почитать. И в то время как он думает о печальной судьбе несчастных изгнанников, вынужденных жить в этом далеком краю, в этой глухой стороне, люди смотрят на него сверху вниз с уничтожающей жалостью — оттого что он переселенец, а не одно из блистательнейших и счастливейших на свете созданий, именуемых «люди сорок девятого года».

После отъезда из Солт-Лейк-Сити снова началась привычная жизнь в почтовой карете, и к полуночи нам уже казалось, что мы вовсе не покидали своего уютного жилья среди тюков с почтой. Однако было одно нововведение. Мы везли с собой такой обильный запас хлеба, ветчины и крутых яиц, словно нам предстояло проехать не шестьсот миль, а вдвое больше.

И как приятно было в последующие дни любоваться

величественной панорамой долин и гор, развернутой под нами, уписывая ветчину и крутые яйца и в то же время услаждая свою духовную природу созерцанием то радуги, то грозы, то несравненного заката. Ничто так не украшает живописные места, как ветчина и крутые яйца. Ветчина и крутые яйца, потом трубка — старая, прокуренная, чудесная трубка, — ветчина и крутые яйца и красивые виды, мчащаяся под гору карета, ароматный табак и душевный покой — вот в чем состоит счастье на земле. Вот цель, к которой стремились и стремятся люди во все времена.

ГЛАВА XVIII

Солончаковая пустыня. — Развеянные грезы. — Солончаковая пыль. — Действие ее на мулов. — Всеобщее благодарение.

В восемь утра мы достигли развалин того, что прежде было крупным военным лагерем Флойд, расположенным в сорока пяти — пятидесяти милях от Солт-Лейк-Сити. К четырем часам пополудни мы удвоили это расстояние и уже были от него милях в ста. Теперь мы въехали в разновидность пустыни, чье законченное безобразие далеко превосходило все пресловутые ужасы Сахары, а именно — в солончаковую пустыню. Она тянулась шестьдесят восемь миль подряд с одним-единственным перерывом. Да и перерыва, в сущности, никакого не было: просто на одной станции, посредине шестидесятивосьмимильного участка дороги, имелась вода. Если мне не изменяет память, воду брали не из колодца и не из ручья, а привозили издалека на волах или мулах. Станция находилась в сорока пяти милях от начала пустыни и в двадцати трех милях от конца ее.

Мы тащились, и плелись, и ползли по дороге всю ночь и к исходу этих пренеприятнейших полусуток одолели сорокапятимильный перегон, отделявший нас от станции с импортной водой. Солнце еще только всходило. Пересекать пустыню ночью, когда спишь, — дело несложное; а наутро радостно сознавать, что мы самолично побывали в безлюдной пустыне и впредь можем с полным знанием дела рассуждать о пустынях в присутствии непосвященных. Радовало и то, что это не какая-то никому не известная захолустная пустыня, а весьма знаменитая, так сказать — столица среди пустынь. Все это очень хорошо, очень утешительно и приятно, но теперь нам предстояло ехать по пустыне днем. Это замечательно — необыкновенно — романтично — настоящее приключение — воистину, ради этого стоит жить, стоит пускаться в путешествие! И как мы все это опишем в наших письмах к родным!

Наш энтузиазм, наша неутолимая жажда приключений в какой-нибудь час увяла под палящим августовским солнцем. Один короткий час — и нам уже стало стыдно за свой «телячий восторг». Вся поэзия была в предвкушении — действительность развеяла ее.

Вообразите широкий, недвижимый океан, скованный смертью и обращенный в пепел; вообразите эту бескрайнюю унылую гладь

с торчащими кое-где серыми кустами полыни; вообразите мертвую тишину и безлюдье, присущие пустынным просторам; вообразите почтовую карету, которая, словно жук, ползет посреди безбрежной равнины, вздымая крутящиеся клубы пыли, как будто этот жук передвигается при помощи пара; вообразите изматывающее однообразие томительной езды, час за часом, — а берега все не видно; вообразите мулов, кучера, карету и пассажиров, так густо облепленных пылью, что все они словно вымазаны одной тусклой краской; вообразите пыль, оседающую кучками над усами и бровями, точно снег, нарастающий на ветках деревьев и кустов. Вот что это оказалось в действительности.

Солнце палит убийственно, злобно, неумолимо; пот выступает из всех пор у людей и животных, но и следов испарины не видно на коже — плотный слой пыли поглощает ее; ни малейшего дуновения воздуха; ни единого спасительного облачка в сверкающей синеве небес; ни живой души кругом, как ни всматривайся в голую пустынную равнину, растянувшуюся на много миль по правую и левую руку; ни единого звука — ни вздоха, ни шопота, ни жужжания, ни шелеста крыльев, ни далекого птичьего писка, — ни даже стенаний погибших душ, которые, несомненно, населяют этот мертвый воздух. И когда во время передышки мулы чихают и грызут удила, то эти звуки, врываясь в гнетущую тишину, не рассеивают злых чар, а лишь усугубляют чувство одиночества и тоски.

Под действием крепкой ругани, ласковых уговоров и грозного щелканья бича мулы через правильные промежутки делали бросок и волочили карету сотню или две ярдов, подымая тучи пыли, которые, словно волны, откатывались назад и захлестывали колеса, а то и кузов кареты, и казалось, что это лодка, плывущая в тумане.

Потом наступала передышка, и мулы опять чихали и грызли удила. Потом опять бросок на сто ярдов, и снова передышка. Так, ни разу не напоив мулов и не сменив упряжки, мы ехали целый день. Во всяком случае, это продолжалось десять часов, — а в солончаковой пустыне, на мой взгляд, десять часов по всей справедливости надо считать за день. Мы мучились с четырех часов утра до двух часов пополудни. А какая стояла жара! Какая духота! И вода у нас вся вышла на полпути, а как нам хотелось пить! И как это было глупо, скучно и утомительно! А нудные, однообразные часы, словно назло, едва плелись! С какой жестокой медлительностью тащились они, прихрамывая, спотыкаясь, нехотя волоча ноги! Каково это — надолго оставить свои часы в покое, не тревожить их, а потом вытащить из кармана

и убедиться, что все это время они бездельничали и даже не подумали продвинуться вперед! Солончаковая пыль вонзалась нам в губы, терзала глаза, разъедала слизистую оболочку, так что кровь пошла у нас носом — и не только пошла, но и шла непрерывно, — и скажу по совести, вся романтика быстро исчезла, улетучилась, и странствие по пустыне явилось в своем настоящем виде — во всей своей алчущей, знойной, томительной, мерзкой реальности!

По две мили с четвертью в час в течение десяти часов — вот подвиг, который мы совершали. Мы так привыкли ездить со скоростью восьми, а то и десяти миль в час, что никак не могли освоиться с таким черепашьим шагом. Когда мы наконец добрались до станции на дальнем краю пустыни, мы впервые с удовлетворением подумали о том, что захватили с собой наш словарь, ибо ни в одном лексиконе, кроме полного, с иллюстрациями, мы не нашли бы нужных слов, чтобы выразить нашу радость. Но в целой библиотеке словарей не нашлось бы подходящих слов, чтобы описать, до какой степени устали наши мулы от этого двадцатитрехмильного перегона. А пытаться дать читателю понятие о мучившей их жажде значило бы уподобиться тем, кто «на золоте наводит позолоту иль белой краской лилию кропит»[17].

Теперь, когда я вставил эту цитату, мне кажется, что она пришлась некстати, — но все равно, пусть остается. Она мне очень нравится, и я много раз пытался привести ее в нужном месте, но это мне никак не удавалось. От таких попыток мысли разбегались, в голове стоял туман, и мое повествование иногда бывало отрывочным и бессвязным. Поэтому, пожалуй, лучше всего оставить ее там, куда я ее сунул, — так я хотя бы на время избавился от мучительных усилий «притянуть за волосы» эту в самом деле меткую и прекрасную цитату.

ГЛАВА XIX

Сравнение американских индейцев с африканскими бушменами. — Пища, образ жизни и характерные черты. — Вероломное нападение на почтовую карету. — Храбрый кучер. — Благородный индеец.

К утру шестнадцатого дня пути от Сент-Джозефа мы достигли входа в Скалистый каньон, расположенный в двухстах пятидесяти милях от Соленого озера. Здесь-то, в этом диком краю, где, кроме почтовых станций, не было ни одного жилища белых людей, нам повстречались человеческие существа, такие убогие и жалкие, каких мне еще не доводилось видеть. Я имею в виду индейцев племени гошут. Судя по тому, что мы видели и слышали, они стоят на еще более низкой ступени развития, чем даже пресловутые калифорнийские индейцы — так называемые «копачи»; чем все дикие племена нашего континента; чем жители островов Тиерра дель Фуэго; чем готтентоты и — в некоторых отношениях — чем даже африканские китчи. Я вынужден был насквозь просмотреть все объемистые тома «Нецивилизованных человеческих племен» Вуда, чтобы найти племя дикарей, которое можно было бы приравнять к гошутам. И этой сомнительной чести я мог удостоить только одну-единственную народность — южноафриканских бушменов. Те гошуты, которых мы видели на дороге и около станций, были низкорослы, костлявы, с такой же матовой черной кожей, как у большинства американских негров; бережно хранимая грязь, видимо, скоплялась на их руках и лицах в течение месяцев, лет и даже поколений, — в зависимости от возраста; они молчаливы, двигаются бесшумно, взгляд плутоватый, наблюдают украдкой, ничего не упуская, и, как все другие «благородные индейцы», о которых мы столько читали (вернее, не читали), сохраняют полную невозмутимость. Как все индейцы, они медлительны, долготерпеливы и упорны. Они неисправимые попрошайки; лишите индейца инстинкта попрошайничать, и он не сможет жить, как не могут идти часы без маятника; вечно голодные, они не отказываются от пищи, которой кормят свиней, но часто едят и то, от чего свинья отказалась бы; они охотники, но предел их охотничьей страсти — убить зайца, сверчка, кузнечика и съесть свою добычу или отобрать падаль у койотов и сарычей; если спросить этих дикарей, верят ли они, как большинство индейцев, в некого

высшего духа, на их лицах отразится что-то отдаленно напоминающее волнение, ибо им послышится, что речь идет о винном духе; этот очень немногочисленный, ничем не объединенный народец, эти почти голые темнокожие, с умом малого ребенка, ничего не производят, не имеют селений, не делятся на четко разграниченные родовые общины; единственным убежищем им служит тряпка, наброшенная на куст для защиты от снега, а пустыня, в которой они живут, такая каменистая, холодная, неприютная, какой, пожалуй, больше не сыщешь ни в нашей стране, ни в любой другой.

И бушмены и наши гошуты, по всем признакам, несомненно, происходят от той самой обезьяны, или кенгуру, или крысы, которую дарвинисты считают Адамом животного царства.

Казалось бы, скорее зайцы полезут в драку, чем гошуты, а между тем случалось, что они в течение нескольких месяцев мирно питались объедками и отбросами почтовой станции, а потом, когда никто не ожидал дурного, поджигали в темную ночь строения и убивали из засады всех, кто выбегал, спасаясь от огня. Однажды они напали ночью на почтовую карету, в которой ехал только один пассажир — окружной судья территории Невада, — и с первого же залпа (кроме стрел, были две-три пули) изрешетили шторки кареты, подбили лошадь и смертельно ранили кучера. И он и его пассажир оказались не из трусливых. По первому оклику кучера судья Мотт выскочил из кареты, вскарабкался на козлы, схватил вожжи и под градом стрел прорвался сквозь толпу скелетов, преградивших им путь. Когда кучера ранило, он сполз с козел на багажник, но вожжей не выпустил и сказал, что сумеет продержаться до смены. А после того как судья Мотт взял вожжи из его слабеющих рук, кучер лег, просунув голову между ногами Мотта, и стал спокойно указывать ему, как надо ехать; он сказал, что надеется умереть не раньше, чем они обгонят негодяев и оставят их позади, а если это удастся, самое трудное будет сделано; и если судья поедет дальше так-то и так-то (тут он дал указания об опасных местах на дороге и о направлении, которого нужно держаться), то он благополучно доберется до станции. Судья обогнал неприятеля и домчал карету до ближайшей станции; ночные страхи кончились, это он знал, но не было товарища, с которым он мог бы разделить радость победы, ибо мужественный кучер скончался.

Забудем на время все резкие слова, сказанные нами о кучерах почтовых карет. Отвращение, внушенное мне гошутами, — мне, ученику Фенимора Купера, поклоннику краснокожих, включая просвещенных дикарей из «Последнего из могикан», столь похожих на провинциалов, которые каждое предложение делят на

две равные части: одна половина изысканна, грамматически правильна и состоит из тщательно отобранных слов, а вторая — пародия на язык охотника или горца, достойная конторщика с Бродвея, проглотившего собрание сочинений Эмерсона Беннета[18] и две-три недели изучавшего жизнь на Диком Западе в театре Бауэри, — так вот, отвращение, которое я, будучи поклонником индейцев, чувствовал к гошутам, заставило меня усомниться в непререкаемости признанных авторитетов и поразмыслить: уж не слишком ли высоко я ставил краснокожих, глядя на них сквозь романтическую дымку? Открывшаяся мне истина развеяла очарование. Удивительно, как быстро с «благородного индейца» сошла мишура и позолота и обнаружилось создание коварное, неопрятное, убогое, и как быстро пришлось убедиться, что любое индейское племя — это те же гошуты, более или менее преображенные под влиянием обстоятельств и окружающей среды, но по существу все-таки гошуты. Они достойны жалости, бедняги! Я готов пожалеть их, но только издали. Вблизи никто их не жалеет.

Ходят слухи, что в правлении железнодорожной компании Балтимора — Вашингтон и среди ее служащих много гошутов, но это неверно. Есть, правда, некоторое сходство, которое может ввести в заблуждение непосвященных, но оно не обманет сведущих людей, наблюдавших оба племени. Нет, кроме шуток, распускать такие слухи не только неостроумно, но и дурно; ведь даже если это делается без злого умысла, все же они чернят доброе имя людей, которым, видит бог, и так уже несладко живется в безжалостных пустынях Скалистых гор! Пусть мы не находим в сердце своем сочувствия и христианского сострадания к этим несчастным голым дикарям, но по крайней мере не будем обливать их грязью.

ГЛАВА XX

Великая американская пустыня. — Бессточные озера. — Приключение Грили. — Хэнк Монк, знаменитый кучер. — Роковые последствия. — Анекдот с бородой.

На семнадцатый день пути мы миновали самую высокую вершину из всех виденных нами до сих пор, и хотя день выдался очень теплый, ночь, следовавшая за ним по пятам, оказалась по-зимнему холодная, и от наших одеял пользы было мало.

На восемнадцатый день мы встретились возле станции на реке Рис с продвигающимися на восток строителями телеграфа и послали телеграмму его превосходительству губернатору Наю в Карсон-Сити (до которого оставалось еще сто пятьдесят шесть миль).

На девятнадцатый день мы пересекли Великую американскую пустыню — сорок памятных миль по бездонному песку, в который колеса погружались на глубину от шести дюймов до одного фута. Почти всю дорогу мы передвигались своими силами. Иначе говоря, мы вылезали из кареты и шли пешком. Это было скучное, долгое и трудное путешествие, так как мы остались без воды. По всей пустыне, от края до края, дорога белела воловьими и лошадиными костями. Едва ли будет преувеличением, если я скажу, что мы могли бы пройти эти сорок миль, буквально на каждом шагу наступая на кость! Вся пустыня являла собой одно огромное кладбище. И почти так же густо, как костями, она была усеяна обрывками цепей, ободьями, полусгнившими обломками повозок. Я думаю, что цепей, ржавеющих в Американской пустыне, хватило бы на то, чтобы протянуть их через любой штат нашей страны. Разве не приоткрывают эти реликвии завесу над ужасающими муками и лишениями, которые выпали на долю первых переселенцев в Калифорнию? На краю пустыни лежит Карсон-Лейк, или впадина реки Карсон, — мелководное унылое озеро от восьмидесяти до ста миль в окружности. Река Карсон вливается в него и пропадает — таинственным образом уходит в землю и уж больше не появляется на свет божий, ибо озеро не имеет стока.

В Неваде несколько рек, и у всех у них такая же таинственная судьба. Они впадают в различные озера и котловины, и тут им и конец. Озера Карсон, Гумбольдт, Уолкер, Моно — все это обширные водные пространства, не имеющие видимых стоков.

Вода непрерывно вливается в них, но из них не вытекает ничего; однако уровень остается неизменным — они не мелеют и не разливаются. Куда они девают избыток воды — один бог ведает.

На западном краю пустыни мы сделали короткую остановку в местечке Рэгтаун. Оно состоит из одной бревенчатой хижины и не обозначено на карте.

Тут мне вспоминается один случай. Я сидел рядом с кучером, — мы только что выехали из Джулсберга на Платте, — и он сказал:

— Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал Хорэс Грили[19]. При выезде из Карсон-Сити он предупредил кучера, Хэнка Монка, что очень спешит, так как в Пласервилле назначена его лекция. Хэнк Монк щелкнул бичом и поскакал что есть мочи. Карета так неистово подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на сюртуке Хорэса, а потом он пробил головой крышу; тут он закричал благим матом и стал умолять Хэнка Монка ехать потише, уверяя, что больше не спешит. Но Хэнк Монк ответил: «Сиди смирно, Хорэс, а уж я привезу тебя вовремя». И будьте покойны, привез — все, что от Грили осталось.

Спустя два-три дня, на одном перекрестке, в нашу карету сел колорадец из Денвера, и он многое рассказал нам о своем штате и о тамошних золотых приисках. Он показался нам весьма занимательным собеседником, хорошо знающим, как обстоят дела в Колорадо. И вдруг он сказал:

— Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал Хорэс Грили. При выезде из Карсон-Сити он предупредил кучера, Хэнка Монка, что очень спешит, так как в Пласервилле назначена его лекция. Хэнк Монк щелкнул бичом и поскакал что есть мочи. Карета так неистово подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на сюртуке Хорэса, а потом он пробил головой крышу; тут он закричал благим матом и стал умолять Хэнка Монка ехать потише, уверяя его, что больше не спешит. Но Хэнк Монк ответил: «Сиди смирно, Хорэс, а уж я привезу тебя вовремя». И будьте покойны, привез — все, что от Грили осталось.

Несколько дней спустя в форте Бриджер к нам подсел военный — бравый кавалерийский старшина. За все время наших странствий мы ни от кого не получили столько сведений о военном деле, выраженных к тому же предельно кратко и последовательно. Нас приятно поразило, что в такой безлюдной глухой стороне нашелся человек, — и притом человек скромный, в невысоком чине, — столь досконально знающий все, что полезно знать на его поприще. Добрых три часа мы слушали его с

неослабевающим вниманием. Потом речь зашла о путешествиях через континент, и он сказал:

— Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал Хорэс Грили. При выезде из Карсон-Сити он предупредил кучера, Хэнка Монка, что очень спешит, так как в Пласервилле назначена его лекция. Хэнк Монк щелкнул бичом и поскакал что есть мочи. Карета так неистово подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на сюртуке Хорэса, а потом он пробил головой крышу. Тут он закричал благим матом и стал умолять Хэнка Монка ехать потише, уверяя его, что больше не спешит. Но Хэнк Монк ответил: «Сиди смирно, Хорэс, а уж я привезу тебя вовремя». И будьте покойны, привез — все, что от Грили осталось.

На почтовой станции, в восьми часах езды от Солт-Лейк-Сити, вместе с нами сел в карету мормонский проповедник, такой тихий, ласковый, славный — один из тех людей, к которым с первого взгляда чувствуешь симпатию. Никогда не забуду, с каким волнением, какими простыми словами говорил он о скитаниях всеми гонимых мормонов, о перенесенных ими муках. Ни одна проповедь с церковной кафедры, сколь бы красноречива она ни была, не могла бы так глубоко тронуть сердца слушателей, как повесть этого отверженного о первом паломничестве мормонов через прерии, о тяжком, горестном пути в страну изгнания, который они метили могилами и орошали слезами. Его слова так потрясли нас, что мы обрадовались, когда беседа вошла в более веселое русло, и мы заговорили об отличительных чертах этого любопытного края. Мы оживленно перескакивали с предмета на предмет, и наконец наш спутник сказал:

— Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал Хорэс Грили. При выезде из Карсон-Сити он предупредил кучера, Хэнка Монка, что очень спешит, так как в Пласервилле назначена его лекция. Хэнк Монк щелкнул бичом и поскакал что есть мочи. Карета так неистово подпрыгивала, что сначала отлетели все пуговицы на сюртуке Хорэса, а потом он пробил головой крышу. Тут он закричал благим матом и стал умолять Хэнка Монка ехать потише, уверяя его, что больше не спешит. Но Хэнк Монк ответил: «Сиди смирно, Хорэс, а уж я привезу тебя вовремя». И будьте покойны, привез — все, что от Грили осталось.

В десяти милях за Рэгтауном мы поравнялись с одиноким путником — бедняга лежал на земле и ждал смерти. Он шел по дороге, пока хватило сил, и наконец изнемог. Он умирал от голода и усталости. Было бы бесчеловечно не подобрать этого несчастного. Мы оплатили его проезд до Карсона и посадили его

в карету. Прошло некоторое время, прежде чем он начал подавать признаки жизни; мы растирали его, вливали ему бренди в рот и наконец привели в чувство. Потом мы дали ему немного поесть, и он стал, видимо, понимать, что произошло, потому что взгляд его засветился благодарностью. Мы как можно удобнее уложили его на почтовых тюках и соорудили подушку из наших сюртуков. Он явно был тронут нашими заботами. Немного погодя он поднял на нас глаза и проговорил слабым, прерывающимся голосом, в котором слышалось искреннее волнение:

— Джентльмены, я не знаю, кто вы такие, но вы спасли мне жизнь; и хотя я навсегда останусь в неоплатном долгу перед вами, все же я могу по крайней мере скрасить полчаса вашего долгого путешествия. Вы, очевидно, чужие здесь, но мне эта дорога хорошо знакома. Хотите послушать очень смешную историю? Однажды по этой дороге ехал…

Я сказал раздельно и внушительно:

— Страждущий путник, еще слово — и ты погиб. Ты видишь во мне печальный обломок цветущего здоровья и мужественной красоты. Что довело меня до этого? Та самая история, которую ты намерен рассказать нам. Медленно, но верно, этот затасканный старый анекдот иссушил меня, подточил мои силы, задушил во мне жизнь. Пожалей меня в моем бессилии. Пощади меня только на сей раз и расскажи мне хотя бы о юном Джордже Вашингтоне и его топорике[20].

Мы были спасены. Но нашему больному пришлось худо. Силясь удержать в себе злосчастный анекдот, он надорвался и умер у нас на руках.

Я сознаю теперь, что даже от самого дюжего обитателя всей этой области я не должен был требовать того, что потребовал от жалкой тени человека; ибо я прожил семь лет на Тихоокеанском побережье и доподлинно знаю, что не было случая, чтобы на почтовом тракте через прерии кучер или пассажир в присутствии постороннего лица утаил этот анекдот и остался жив. На протяжении шести лет я тринадцать раз пересек туда и обратно горный хребет между Невадой и Калифорнией и четыреста восемьдесят два раза слышал об этом бессмертном происшествии. У меня где-то хранится список всех выслушанных мною рассказчиков. Рассказывали кучера, рассказывали кондукторы, хозяева гостиниц, случайные попутчики, рассказывали даже китайцы и кочевые индейцы.

А как-то раз один и тот же кучер за полдня рассказал мне эту историю трижды. Я слышал ее на всех языках и наречиях, завещанных земле Вавилонской башней — сдобренную запахом виски, бренди, пива, одеколона, табаку, чеснока, лука,

кузнечиков, — словом, всего, что поедают и выпивают сыны человеческие. Ни одного анекдота я не нюхал так часто, как этот; ни один анекдот не обладал таким многоцветным букетом. И распознать его по запаху было невозможно, ибо каждый раз, когда я думал, что уже знаю, чем он пахнет, у него вдруг оказывался совсем новый аромат. Баярд Тейлор писал об этом древнем анекдоте, Ричардсон опубликовал его, так же как Джонс, Смит, Джонсон, Росс Браун и все остальные из пишущей братии[21], кому довелось ступить на почтовый тракт в любом месте между Джулсбергом и Сан-Франциско; говорят, он записан в талмуде. Я видел его в печати на девяти иностранных языках; я слышал, что им пользуется римская инквизиция; а недавно я с сожалением узнал, что его хотят положить на музыку. По-моему, нехорошо так поступать.

Время почтовых карет миновало, и кучера их — вымершее племя. Но как знать, — может быть, они завещали этот бородатый анекдот своим преемникам, железнодорожным тормозным и кондукторам, и те по-прежнему допекают им беспомощного пассажира, пока он, подобно многим путешественникам былых времен, не придет к выводу, что подлинные достопримечательности Тихоокеанского побережья — это вовсе не Йосемитский водопад, и не древние секвойи, а Хэнк Монк и его приключение с Хорэсом Грили![22]

ГЛАВА XXI

Солончаковая пыль. — Карсон-Сити. — Конец пути. — Резвящийся зефир. — Правительственные учреждения. — Наша хозяйка. — Француженка Бриджет О'Фланниган. — Зловещие слухи. — Землемерная съемка.

Мы приближались к концу нашего долгого пути. Было утро двадцатого дня. В полдень мы уже будем в Карсон-Сити — столице территории Невада. Но это нас не радовало, а огорчало. Мы совершили замечательную прогулку; каждый день мы открывали новые чудеса; мы вполне освоились с жизнью на почтовых, и она нам очень нравилась; мысль, что пришел конец движению и нам предстоит осесть в глухом городишке и влачить там серое, будничное существование, не только не веселила, но напротив — удручала нас.

Наше новое пристанище, по всей видимости, было пустыней, заключенной в кольце голых, покрытых снегом гор. Ни единого дерева, никакой растительности, только бесконечные кусты полыни и солянки. Весь пейзаж был окрашен ими в серое. Мы продвигались с трудом, густые тучи солончаковой пыли поднимались из-под колес и плыли над равниной, точно дым пожарища. Мы были обсыпаны ею, как мельник мукой; и не только мы — и карета, и мулы, и тюки с почтой, и кучер вкупе с полынью и всей окружающей природой были одинаково тусклого цвета. Когда вдали маячили длинные караваны фургонов и пыль столбом подымалась к небу — казалось, что это клубится дым в охваченных огнем прериях. Лошади, впряженные в фургоны, и погонявшие их возницы были единственными живыми существами, попадавшимися нам на глаза. По большей части мы продвигались вперед в полном одиночестве, окруженные гнетущей тишиной. Через каждые двадцать шагов на обочине дороги валялся скелет какого-нибудь вьючного животного с туго натянутой на ребрах пропыленной кожей. Иногда на черепе или на бедренной кости сидел угрюмый ворон, устремив бесстрастный, задумчивый взор на проезжающую мимо карету.

Наконец впереди, на краю обширной равнины, показался Карсон-Сити. Нас еще отделяло от него несколько миль, и с этого расстояния город казался просто скоплением каких-то белых пятен под сенью горного кряжа, чьи грозные вершины тянулись в небо, высоко вознесенные над землей и чуждые всему земному.

Мы прибыли на место, выгрузились, и карета покатила дальше. Карсон-Сити оказался деревянным городом с населением в две тысячи душ. Главная улица состояла из четырех — пяти кварталов, занятых белыми, обшитыми тесом лавчонками, слишком высокими, чтобы усесться на них, но недостаточно высокими для других целей; попросту говоря — очень низенькими. Они тесно лепились друг к другу, словно на этой огромной равнине не хватало места. Тротуар был деревянный, из плохо пригнанных досок, имевших обыкновение громыхать под ногами. В центре города, напротив лавок, находилась «плаца» — неотъемлемая принадлежность всех городов по ту сторону Скалистых гор — просторная, ровная неогороженная площадь с шестом свободы[23] посредине, чрезвычайно удобная для открытых торгов, продажи лошадей, многолюдных сборищ, а также для привала погонщиков скота. Кроме главной улицы, к плаце примыкали под углом еще два ряда лавок, контор и конюшен. В остальном Карсон-Сити был скорее разбросанным городом.

Нас познакомили с несколькими гражданами Карсон-Сити — и на почтовом дворе, и по пути из гостиницы к дому губернатора, — в частности с некиим мистером Гаррисом, восседавшим верхом на коне; он начал было что-то говорить, но вдруг прервал самого себя:

— Простите, одну минуточку, — вон там свидетель, который показал под присягой, что я участвовал в ограблении калифорнийской почтовой кареты. Наглое вмешательство в чужие дела, сэр, — я ведь даже незнаком с этим субъектом.

Он подъехал к свидетелю и стал укорять его при помощи шестизарядного револьвера, а тот оправдывался таким же способом. Когда все заряды были выпущены, свидетель вернулся к прерванному занятию (он чинил кнут), а мистер Гаррис, вежливо поклонившись нам, поскакал домой; из его простреленного легкого и продырявленного бедра струйки крови стекали по бокам лошади, что, несомненно, служило к ее украшению. Впоследствии, каждый раз, когда Гаррис при мне стрелял в кого-нибудь, я вспоминал свой первый день в Карсон-Сити.

Больше мы в тот день ничего не видели, — было уже два часа и, согласно обычаю, поднялся ежедневный «невадский зефир»; он гнал перед собой огромную тучу пыли, высотой с Соединенные Штаты, если поставить их стоймя, и столица территории Невада скрылась из глаз. Однако кое-что, не лишенное интереса для приезжих, все же удалось подсмотреть, ибо гигантская завеса пыли была густо усеяна предметами — одушевленными и

неодушевленными, — которым, строго говоря, не место в воздушном пространстве; они сновали взад-вперед, мелькали там и сям, то появляясь, то исчезая в бурлящих волнах пыли; шляпы, куры и зонты парили в поднебесье; чуть пониже — одеяла, жестяные вывески, кусты полыни и кровельная дранка; еще пониже — половики и бизоньи шкуры, затем — совки и ведерки для угля; уровнем ниже — застекленные двери, кошки и младенцы; еще ниже — рассыпанные дровяные склады, легкие экипажи и ручные тележки; а в самом низу, всего в тридцати — сорока футах от земли, бушевал ураган кочующих крыш и пустырей.

Это все-таки не мало. Я мог бы увидеть и больше, если бы пыль не запорошила мне глаза.

Кроме шуток, Невадский ветер — это далеко не пустяк. Он валит легкие строения, сдувает гонтовые крыши, а железные свертывает, как нотную бумагу, иногда опрокидывает почтовую карету и вытряхивает вон пассажиров; местное предание гласит, что здесь так много плешивых потому, что ветер вырывает волосы, пока люди следят за полетом своих шляп; в летние дни на улицах Карсон-Сити всегда царит оживление, ибо множество граждан скачет вокруг не дающихся в руки шляп, точно служанки, которые гоняются за пауком.

«Невадский зефир» — сугубо евангельский ветер, поскольку никто не знает, «откуда он приходит»[24]. То есть никто не знает, где он берет начало. А приходит он с запада, из-за гор; но если перевалить через хребет, то по ту сторону его нет и следа! Вероятнее всего, его нарочно изготовляют с этой целью на горной вершине, откуда он и пускается в путь. Это весьма пунктуальный ветер, по крайней мере летом. Его служебные часы с двух пополудни до двух часов ночи; и всякий, кто дерзнет выйти из дому в этот промежуток времени, должен учитывать силу ветра, иначе его отнесет на добрую милю в сторону от того места, куда он отправился. Но как только невадец попадает в Сан-Франциско, он первым делом жалуется на нестерпимый ветер с моря! Такова уж человеческая природа.

Пышный дворец, занимаемый губернатором территории Невада, оказался деревянным домиком в один этаж, разделенным на две тесные каморки, с навесом, подпертым столбами, над входной дверью; такое великолепие внушало гражданам уважение, а индейцам — благоговейный трепет. Резиденции недавно прибывших верховного судьи территории и его помощника, а также других представителей Вашингтона были менее роскошны. Все они снимали комнату со столом частным образом, и спальня служила им одновременно и приемной.

Мы с братом поселились на «ранчо» одной почтенной француженки по имени Бриджет О'Фланниган, верной соратницы губернатора. Она знавала его превосходительство в счастливую пору его жизни, когда он был главнокомандующим нью-йоркских полицейских сил, и не покинула его в несчастии, когда он стал губернатором Невады. Комната наша помещалась в первом этаже и выходила на площадь. После того как мы поставили там кровать, столик, два стула, казенный несгораемый шкаф и Полный толковый словарь, еще осталось место для одного, а то и двух посетителей, — если немного растянуть стены. Но стенам это не вредило — по крайней мере перегородкам, ибо они состояли просто-напросто из белой мешковины, протянутой из одного угла комнаты в другой. В Карсон-Сити это было общим правилом, перегородки другого образца — редким исключением. И если вы стояли в темной комнате, а у вашего ближайшего соседа горел свет — бывало, что тени на нашей стене выдавали преинтересные тайны! Зачастую для перегородки использовали несколько старых мешков из-под муки; в таком случае разница между простонародьем и аристократией заключалась в том, что стены первых не имели никаких украшений, стены же вторых блистали примитивной росписью, а именно — красными и синими клеймами мукомолов. Иногда высшие слои общества, заботясь об убранстве своего жилья, наклеивали на мешковину картинки, вырезанные из «Харперс уикли». А люди богатые и просвещенные даже обзаводились плевательницами и другими предметами обихода, свидетельствующими о склонности к роскоши и неге[25]. В нашей комнате был ковер и глазурованный таз для умывания. По этой причине остальные жильцы миссис О'Фланниган питали к нам лютую ненависть. Когда мы прибавили еще занавеску из крашеной клеенки, мы, можно сказать, рисковали жизнью. Во избежание кровопролития я покинул нашу комнату и обосновался наверху, среди плебеев без чина и звания, на одной из четырнадцати сосновых коек, которые стояли двумя длинными рядами в помещении, занимавшем весь верхний этаж.

Компания, в которую я попал, оказалась превеселой. По большей части это были люди, принадлежавшие к свите губернатора в Нью-Йорке и Сан-Франциско и добровольно последовавшие за ним сюда, рассудив, что в предстоящей драке за мелкие должности и крохи земных благ им кое-что, может быть, перепадет и дела их поправятся, а хуже не будет, потому что некуда. Они были широко известны под именем «Ирландская бригада», хотя ирландцев среди них насчитывалось всего лишь четыре или пять. К немалому огорчению его превосходительства,

человека по натуре очень доброго, его верные слуги вызывали много толков, особенно расстроился он, когда прошел слух, что это наемные убийцы, которых он привез с собой для того, чтобы в случае надобности без шума сократить число избирателей, голосующих за демократов!

Миссис О'Фланниган давала им стол и квартиру за десять долларов в неделю с каждого, и они весьма охотно давали взамен расписки. Их это вполне устраивало, но Бриджет вскоре обнаружила, что расписки, которые нельзя учесть ни в одном банке, — дело неподходящее для пансиона в Карсон-Сити. И она стала приставать к губернатору, чтобы он нашел занятие для членов бригады. Ее назойливые требования и их настойчивые просьбы наконец довели его до тихого отчаяния, и он призвал бригаду пред свои светлые очи. Затем он сказал:

— Господа, я решил поручить вам полезную и прибыльную работу — работу, которая обеспечит вам отдых на лоне природы и будет содействовать развитию ваших умственных способностей путем неустанных наблюдений и исследований. Я хочу, чтобы вы провели съемку для железной дороги на запад от Карсон-Сити до определенного пункта. Как только откроется сессия законодательного собрания, я проведу соответствующий закон и улажу вопрос о вознаграждении.

— Что? Железную дорогу через горы Сьерры-Невады?

— Ну, ведите съемку на восток до определенного пункта!

Он сделал из них землемеров, топографов и так далее и выпустил их в пустыню. Вот это был отдых так отдых! «Отдыхали» пешком, таща на себе цепи через пески и заросли полыни, под палящим солнцем, среди костей павших животных, в обществе койотов и тарантулов. «Романтическое приключение» — дальше ехать некуда! Они вели съемку очень медленно, очень осторожно, очень тщательно. Первую неделю они каждый вечер возвращались домой все в пыли, с натертыми ногами, усталые и голодные, но очень веселые. Они приносили с собой тарантулов — огромных волосатых пауков, — сажали их в банки с крышками и ставили на полку. Начиная со второй недели им пришлось ночевать в поле, так как они сильно продвинулись на восток. Они неоднократно просили уточнить местоположение «определенного пункта», но никаких разъяснений не получали. Наконец, в ответ на особенно настойчивый вопрос: «Как далеко на восток?» — губернатор Най прислал телеграмму:

«До Атлантического океана, черт вас возьми! Потом перекиньте мост и продолжайте!»

Это ускорило возвращение пропыленных тружеников — они послали рапорт и прекратили работу. Но губернатор остался

очень доволен; он сказал, что миссис О'Фланниган все равно взыщет с него деньги за содержание бригады, так по крайней мере он хоть потешится над ними; и добавил с милой улыбкой — как в былые времена, — что велит им проложить дорогу в Юту, а потом даст телеграмму Бригему, чтобы он их повесил за нарушение границ!

Бригада принесла с собой еще тарантулов, и, таким образом, на полках в нашей комнате разместился целый зверинец. Среди них были такие огромные, что своими волосатыми сильными ногами они могли обхватить блюдце, а когда они считали, что чувства их оскорблены или пострадала их честь, они глядели такими свирепыми головорезами, каких больше не сыщешь в животном царстве. Стоило чуть-чуть стукнуть по их стеклянной темнице, как они мгновенно вскакивали, готовые к драке. Гордые? Надменные? Да они подбирали соломинку и ковыряли в зубах не хуже любого члена конгресса. В первую ночь по возвращении бригады, как обыкновенно, дул яростный «зефир», и около полуночи с соседней конюшни сорвало крышу, и один угол ее продырявил стену нашего ранчо. Все разом проснулись, вся бригада вскочила, как по тревоге, в узком проходе между рядами коек все впотьмах налетали и валились друг на друга. В самом разгаре суматохи Боб Г***, спавший крепким сном, вдруг подпрыгнул, спросонья сбил головой полку и заорал во все горло:

— Берегись, ребята, — тарантулы повылезали!

Поднялась паника. Боясь наступить на тарантула, никто уже не покушался выбежать из комнаты. Все кинулись ощупью искать убежища — все влезли кто на сундучок, кто на койку. Затем наступила тишина — зловещая тишина, полная страха, ожидания, жути. Комната тонула в непроглядном мраке, и можно было только вообразить, как выглядели четырнадцать полуодетых мужчин, скорчившихся на койках и сундуках, ибо увидеть их никто не мог. Немного погодя тишина стала прерываться, слышались знакомые голоса, и по голосу можно было определить, куда кто забился, да и другие звуки, когда один из них шарил по одеялу или менял позу, выдавали местоположение страдальцев. Лишних слов никто не тратил — просто слышался тихий возглас «ой!», затем громкий стук, и всем было ясно, что данный джентльмен почувствовал прикосновение волосатого одеяла или еще чего-нибудь к своему голому телу и соскочил с койки на пол. Потом опять воцарялась тишина. Через минуту кто-нибудь произносил, заикаясь:

— Ч-ч-что-то ползет у меня по затылку!

Время от времени слышалась приглушенная возня и горестное «о господи!» — это означало, что кто-то удирает от

чего-то, что он принял за тарантула, и при этом не мешкает. Вдруг из угла комнаты донесся истошный пронзительный вопль:

— Поймал! Я поймал его! (Пауза и вероятная перемена декорации.) Нет, это он поймал меня! Неужто никто не догадается принести фонарь?

Фонарь явился в ту же минуту, и внесла его миссис О'Фланниган, которая, хоть ей и не терпелось поскорее узнать, велик ли урон, причиненный нахальной крышей, все же, встав с постели и засветив фонарь, благоразумно решила подождать немного и убедиться, кончил ли ветер свою работу наверху или взятый им подряд обязывает его к большему.

Зрелище, открывшееся взорам, когда фонарь осветил комнату, было безусловно живописно и, быть может, рассмешило бы кого-нибудь, но только не нас. Мы торчали в довольно странных позах — и в не менее странных туалетах — на ящиках, сундучках и койках, но мы были слишком перепуганы, слишком несчастны, чтобы видеть в этом смешное, и ни на одном лице не мелькнуло даже тени улыбки. Я уверен, что никогда больше не испытаю страданий горше тех, которые я перенес за эти несколько ужасных минут в полном мраке, среди кровожадных тарантулов. Я перескакивал с койки на койку, с ящика на ящик, охваченный смертельным страхом, и каждый раз, как я касался чего-нибудь ворсистого, мне казалось, что в меня впиваются ядовитые зубы. Лучше идти на войну, чем снова пережить этот ужас. Впрочем, никто не пострадал. Тот, кто думал, что тарантул «поймал» его, ошибался — просто он защемил палец между досками ящика. Ни одного из сбежавших тарантулов мы больше не видели. Их было штук десять. Мы зажгли свечи и гонялись за ними повсюду, но без успеха. Легли ли мы после этого обратно в постель? И не подумали. Даже за деньги мы не согласились бы это сделать. Остаток ночи мы провели, играя в криббедж и зорко следя, не появится ли где неприятель.

ГЛАВА XXII

Сын набоба. — Поход на озеро Тахо. — Чудесные виды. — Катание по озеру. — Под открытым небом. — Целительный климат. — Заявка на земельный участок. — Огораживание и стройка.

Стоял конец августа, погода была великолепная, на небе — ни облачка. В две-три недели новый край, в котором я очутился, так очаровал меня, что я на время отложил свое возвращение в Штаты. Мне очень нравилось щеголять в потрепанной шляпе с опущенными полями, синей шерстяной рубашке, заправленных в сапоги штанах, радуясь отсутствию сюртука, жилета и подтяжек. Я чувствовал себя отчаянным головорезом, «буяном» (как выражается историк Иосиф Флавий[26] в превосходной главе о разрушении храма). Что могло быть увлекательней и романтичней! И в довершение всего я стал правительственным чиновником, правда только для пущей важности. Должность моя оказалась чистейшей синекурой. Делать мне было абсолютно нечего, и жалованья я не получал. Я числился личным секретарем его величества Секретаря, но писанины на двоих не хватало. Поэтому мы с Джонни К. развлекались как могли. Джонни, сын набоба из штата Огайо, приехал сюда в расчете на отдых и сильные ощущения. Расчеты его оправдались. Так как все в один голос твердили нам о волшебной красоте озера Тахо, то нас наконец разобрало любопытство, и мы решили отправиться туда. Трое или четверо из членов бригады уже побывали на озере, приглядели лесные участки на его берегах и заготовили в своем лагере запас провианта. Итак, мы навьючили на себя одеяла, захватили по топору и пустились в путь с твердым намерением тоже приглядеть себе участок в лесу и разбогатеть. Шли мы пешком. Читатель, вероятно, предпочтет сопровождать нас сидя в седле. Нам сказали, что до озера одиннадцать миль. Сначала мы долго шли по ровной дороге, потом вскарабкались на гору высотой эдак в тысячу миль и поглядели вниз. Озера здесь не было. Мы спустились по противоположному склону, пересекли долину и опять влезли на гору, высотой уже в три — четыре тысячи миль, и опять поглядели вниз. Озера и там не было. Усталые, потные, мы присели отдохнуть и, наняв нескольких китайцев, препоручили им проклинать тех, кто нас обманул. Это нас освежило, и мы с удвоенной решимостью и энергией

зашагали дальше. Еще два — три часа нелегкого пути — и вот озеро внезапно открылось нашим взорам: водная гладь великолепной синевы, поднятая на шесть тысяч триста футов над уровнем моря, в кольце горных вершин, одетых в вечные снега и вознесенных еще на полных три тысячи футов выше. Озеро было громадное, овальной формы, и чтобы объехать его кругом, пришлось бы покрыть миль восемьдесят, а то и все сто. Я смотрел на его тихие воды, на четкие очертания отраженных в них гор, и думал о том, что такой красоты нигде в мире больше не увидишь.

Мы нашли ялик, принадлежавший бригаде, и пересекли глубокий залив, за которым, по всем приметам, лежал лагерь. На весла я посадил Джонни — не потому, что мне не хотелось грести, просто у меня кружится голова, когда я еду задом, да еще должен при этом работать. Зато я правил рулем. До лагеря было три мили, добрались мы туда уже в сумерки и вышли на берег измученные, голодные, как волки. В тайнике среди валунов мы разыскали съестные припасы и котелки, и, несмотря на смертельную усталость, я уселся на камень и стал надзирать за Джонни, пока тот собирал хворост и готовил ужин. Не много найдется людей, которые, измотавшись за день, как я, столь самоотверженно отказались бы от отдыха.

Ужин был чудесный — горячие лепешки, поджаренное сало и черный кофе. И безлюдье вокруг нас тоже было чудесное. На лесопилке, расположенной в трех милях от нас, работали несколько рабочих, но, кроме них, на пустынных берегах озера не набралось бы и полутора десятка людей. Мрак сгустился, в небе зажглись звезды и алмазами рассыпались по зеркальной глади, а мы еще долго сидели, задумчиво покуривая трубки, окутанные торжественной тишиной, забыв об усталости и лишениях. Потом мы расстелили одеяла на теплом песке между двумя валунами и улеглись спать, предоставив муравьям беспрепятственно проникать сквозь прорехи в нашей одежде и исследовать нас с головы до ног. Ничто не могло нарушить сковавший нас сон, ибо мы честно заслужили его, и если на нашей совести и были грехи, то угрызения нам волей-неволей пришлось отложить до утра. Дремота уже туманила сознание, когда поднялся ветерок, и мы уснули, убаюканные плеском волн о берег.

По ночам на озере Тахо всегда очень холодно, но у нас было много одеял, и мы не озябли. Мы спали так крепко, что ни разу не повернулись во сне, и, проснувшись на рассвете, сразу вскочили — отдохнувшие, полные сил и кипучей энергии. Нет более целительного лекарства, чем сон под открытым небом. В то утро мы могли бы одолеть десяток таких, какими мы были накануне, — а уж больных и подавно. Но мир медлителен, и люди

упрямо лечатся водами или моционом и даже отправляются искать здоровья в чужие страны. Три месяца лагерной жизни на озере Тахо — и даже египетская мумия восстановила бы свои первобытные силы, а уж аппетитом превзошла бы аллигатора. Разумеется, я имею в виду не самые древние, высохшие мумии, а те, что посвежей. Воздух поднебесья чист и упоителен, он укрепляет и бодрит. И как же может быть иначе? — ведь этим же воздухом дышат ангелы. Я убежден, что любую, даже безмерную усталость как рукой снимет после одной ночи, проведенной на прибрежном песке озера Тахо, — не под крышей, а под открытым небом: в летние месяцы там почти не бывает дождя. Я знал человека, который отправился туда умирать. Но он потерпел неудачу. Когда он приехал, это был просто скелет, он едва держался на ногах, ничего не ел и только и делал, что читал душеспасительные брошюрки и раздумывал о будущем. Три месяца спустя он спал не иначе как под звездами, ел до отвала три раза в день и для развлечения охотился в горах на высоте трех тысяч футов. На скелет он тоже больше не походил, а весил изрядную часть тонны. Это не досужий вымысел, а сущая правда. Болел он чахоткой. Я настоятельно рекомендую другим скелетам последовать его примеру.

С утра я опять надзирал за работой Джонни, а после завтрака мы сели в ялик, проехали вдоль берега мили три и причалили. Местность нам понравилась, мы выбрали участок в триста акров с лишком и прилепили нашу заявку к дереву. Это был густой сосновый бор, деревья достигали ста футов вышины и от одного до пяти футов толщины у подножия. Наши владения следовало огородить, иначе мы потеряли бы право на них. Другими словами — нужно было в разных местах повалить несколько деревьев с таким расчетом, чтобы они образовали нечто похожее на ограду (далеко не сплошную). Мы с Джонни срубили по три дерева, после чего так измаялись, что решили положиться на судьбу: если эти шесть поваленных стволов могут удержать нашу земельную собственность — очень хорошо; если нет — пусть она утекает через бреши в заборе; стоит ли, в самом деле, надрываться ради каких-нибудь трехсот акров. На другой день мы приехали опять, чтобы построить дом — ибо дом тоже был необходим для сохранения участка. Мы вознамерились сложить настоящий, солидный дом из толстых бревен, на зависть всей бригаде; но, когда первое дерево было срублено и обтесано, мы подумали, что это излишняя роскошь и отлично можно сложить дом из молодых деревцев. Но срубив и обтесав два деревца, мы пришли к выводу, что закон удовлетворится и более скромным сооружением, и поэтому решили обойтись шалашом из веток. За эту работу мы

принялись на другой же день, но у нас ушло столько времени на «раскачку» и споры, что до вечера мы успели только наполовину соорудить слабое подобие жилья, и то, пока один из нас рубил ветки, другой не спускал глаз с нашей стройки: если бы мы оба повернулись к ней спиной, то потом, пожалуй, и не нашли бы ее — уж больно разительно было ее семейное сходство с соседними кустами. Но мы остались очень довольны нашим домом.

Итак, по всем правилам захватив и освоив участок, мы стали законными владельцами его. Мы тут же решили переехать в свое поместье, дабы поскорей насладиться чувством неограниченной свободы, которое знакомо только тем, кто владеет собственной землей.

Назавтра, под вечер, после продолжительного отдыха, мы покинули лагерь, забрав с собой — или, скажем, позаимствовав — столько съестных припасов и кухонной утвари, сколько могли унести, и с наступлением темноты пристали к берегу у своего собственного причала.

ГЛАВА XXIII

Счастливая жизнь. — Озеро Тахо и его прихоти. — Прозрачность воды. — Стихийное бедствие. — Пожар! Пожар! — Снова без приюта. — Пускаемся по озеру. — Буря. — Возвращение в Карсон-Сити.

Может быть, и есть жизнь более счастливая, чем та, которую мы вели на своем лесном участке в ближайшие две — три недели, но я лучшей жизни никогда не знал — ни по книгам, ни по личному опыту. Мы не видели ни души, кроме самих себя, не слышали ни звука, кроме ветра и волн, дыхания сосен да изредка отдаленного грохота обвала. Бор вокруг нас был густ и прохладен, небо над головой безоблачно и лучезарно, широкое озеро перед нами — то гладко и прозрачно, как стекло, то подернуто рябью, то черно и бурно — в зависимости от прихоти природы; кольцо окрестных гор, одетых в леса, пересеченных оползнями, изрезанных ущельями и долинами, увенчанных сверкающим снегом, достойно обрамляло и завершало величественную картину. Красота ее неизменно восхищала, околдовывала, пленяла. Глаза никогда не уставали созерцать ее, днем или ночью, в ведро или ненастье; об одном только скорбели они: о том, что нельзя смотреть не отрываясь, а нужно иногда закрыться для сна.

Мы спали на песке у самой воды, между двумя валунами, защищавшими нас от порывов ночного ветра. Нам не требовалось снотворных средств, чтобы уснуть. При первых проблесках зари мы уже были на ногах и носились по берегу, не зная, куда девать избыток сил и жизнерадостности. Вернее — носился Джонни, но я держал его шляпу. После завтрака мы курили трубку мира, следя за тем, как загорались в лучах солнца вершины гор, расставленных вокруг, словно часовые, как всепобеждающий свет, низвергаясь с вышины, разгонял ночные тени и освобождал от тьмы плененные скалы и леса. Мы любовались зеркальной гладью озера, на которой все яснее и отчетливее выступали мягко окрашенные контуры пейзажа, пока вся картина — леса, вершины, пропасти — вплоть до мельчайших подробностей не отражалась в воде, являя законченное и совершенное чудо волшебницы природы. После этого мы принимались за «дело».

Дело наше заключалось в катании по озеру. Мы находились на северном берегу. Здесь подводные скалы либо серые, либо

белые. От этого вода кажется такой изумительно прозрачной, как ни в одной другой части озера. Обыкновенно мы отъезжали от берега ярдов на сто, ложились на банки и часами грелись в лучах солнца, предоставив ялику плыть куда ему вздумается. Разговаривали мы мало. Не хотелось нарушать торжественную тишину, рассеивать грезы, навеянные блаженным покоем и негой. В берег глубоко врезались заливы и бухточки, окаймленные узкими песчаными отмелями, а там, где кончался песок, крутые горные склоны, густо поросшие высокими соснами, вздымались к небу почти отвесной стеной.

Вода была до того чистая, что там, где глубина не превышала тридцати футов, мы отчетливо видели дно, и казалось — ялик плывет по воздуху. Да что! Даже при восьмидесяти футах глубины мы ясно различали каждый камушек, каждую пятнистую форельку, каждую полоску песка шириной в ладонь. Часто, лежа ничком, мы вдруг замечали гранитную глыбу величиной с часовню, которая, словно оторвавшись от дна, стремительно поднималась на поверхность, угрожая ударить нас по лицу, так что мы невольно хватались за весло, дабы предотвратить опасность. Но лодка спокойно скользила дальше, глыба снова опускалась на дно, и мы убеждались, что, когда мы проплывали над ней, нас отделяли от нее футов двадцать, а то и тридцать воды. В прозрачных глубинах озера вода была не просто чистая, она была ослепительно, сверкающе чиста и прозрачна. Все предметы, видимые сквозь нее, приобретали куда большую ясность и четкость не только очертаний, но и малейших деталей, чем если бы между ними и нашими глазами была не вода, а воздух. Ощущение, что под нами нет ничего, что мы высоко парим в воздушном пространстве, где-то между небом и землей, было так сильно, что мы называли эти прогулки «полетами на воздушном шаре».

Мы усердно рыбачили, но улов наш едва достигал одной рыбешки в неделю. Форели тысячами сновали в водных просторах под нами или дремали на песчаном дне, но клевать не желали, — может быть, они слишком ясно видели леску. Нередко, заранее облюбовав какую-нибудь форель, мы спускали леску на глубину восьми-десяти футов и долго, терпеливо держали наживку под самым носом у рыбы, но она только досадливо отмахивалась и поворачивалась на другой бок.

Купались редко, потому что вода была холодная, несмотря на жаркое солнце. Иногда мы отъезжали от берега на одну — две мили, в «синие воды». Там озеро было густо-синее — цвета индиго — из-за огромной глубины. По официальным данным, в середине озера глубина достигает тысячи пятисот двадцати пяти

футов!

Случалось, что мы, не покидая лагеря, целыми днями валялись на песке, покуривая трубки и читая старые романы. Вечером, при свете костра, мы для упражнения ума играли в карты, причем карты были до того засалены и стерты, что только благодаря тщательному изучению их в продолжение всего лета нам удавалось отличить туза треф от валета бубен.

Мы ни разу не ночевали в нашем «доме». Прежде всего потому, что эта мысль не приходила нам в голову; а кроме того, он был построен с определенной целью: закрепить за нами наши владения. Мы считали, что большего требовать от него нельзя.

Когда наши запасы истощились, мы отправились в старый лагерь, чтобы пополнить их. Это заняло целый день, и мы вернулись домой только к вечеру, очень усталые и голодные. Пока Джонни перетаскивал привезенный нами груз в наш «дом», я взял буханку хлеба, несколько ломтей сала, кофейник, сложил все это под деревом, развел костер и пошел обратно к лодке за сковородой. Вдруг я услышал отчаянный крик Джонни и, оглянувшись, увидел, что пламя моего костра скачет по всему берегу!

Джонни был по ту сторону огня. Он прорвался к озеру сквозь дым и пламень, и мы остались стоять у лодки, беспомощно взирая на разбушевавшуюся стихию.

Земля была устлана толстым слоем сухих сосновых игл, и они вспыхивали, как порох. С какой бешеной скоростью передвигалась стена пламени! Это было изумительное зрелище! Кофейник мой, хлеб, сало — все погибло. В одну минуту огонь охватил сухой кустарник мансаниты высотой в шесть — восемь футов, и тут пошел такой рев, треск и пальба, что нам просто страшно стало. Жар становился нестерпимым, и мы, спасаясь от него, забрались в лодку и оттуда, как зачарованные, любовались волшебным зрелищем.

За какие-нибудь полчаса все пространство перед нашими глазами превратилось в яростный, слепящий ураган пламени. Огонь взбегал по ближним склонам, накрывал вершину и исчезал в ущельях по ту сторону горы; потом возникал дальше, выше, на других кряжах, разгорался ярче и снова скрывался из виду, чтобы тотчас вспыхнуть опять; взбираясь все выше и выше, он высылал во все стороны свои передовые отряды, они далекими багровыми спиралями расходились по крепостным стенам, по уступам и расщелинам, и казалось — все горы от края и до края затянуло, словно сетью, перекрестными потоками красной лавы. Скалы на другом берегу до самых вершин были залиты алым светом, а в вышине, точно отблески геенны огненной, пылало зарево!

И все это в точности повторялось в сверкающем зеркале вод! Обе картины были величественны, обе прекрасны, но та, в озере, сияла таким волшебным богатством красок, что в ней было большее очарование и она сильнее пленяла взоры, нежели первая.

Добрых четыре часа просидели мы молча, не шелохнувшись. Мы забыли об усталости, забыли о голоде. Но к одиннадцати часам пожар ушел так далеко, что мы уже не видели пламени, и все вокруг снова погрузилось во мрак.

Теперь голод властно напомнил о себе, но есть было нечего. Припасы наши несомненно спеклись и зажарились, но мы не стали разыскивать их. Мы снова были бездомные бродяги — без земли, без собственности. Наш забор погиб, наш незастрахованный дом сгорел дотла, наш сосняк опалило огнем, сухостой пожрало пламя, наши обширные заросли мансаниты исчезли с лица земли. Однако наши одеяла, как обычно, лежали на прибрежном песке, и мы, завернувшись в них, уснули. Наутро мы сели в лодку и поехали обратно в старый лагерь, но в пути, когда до берега было еще далеко, нас застигла буря, и мы не решились пристать. Лодку заливало, поэтому я работал черпаком, а Джонни, налегая на весла, боролся с волнами, пока мы не очутились в трех — четырех милях от лагеря. Буря все усиливалась, и нам стало ясно, что уж лучше рискнуть и попытаться пристать к берегу, чем опрокинуться на такой страшной глубине; итак, мы поставили лодку поперек волны, я уселся на корме и стал править прямо вперед. Как только нос лодки ткнулся в берег, огромный пенистый вал перекатился через нее и в мгновение ока выбросил на сушу и экипаж и груз, что избавило нас от больших хлопот. До вечера мы зябли, пытаясь укрыться от ветра за валуном, и еще всю ночь напролет дрожали от холода. К утру буря утихла, и мы без промедления поехали вдоль берега в лагерь. Мы так изголодались, что уничтожили все, что оставалось от запасов бригады, а потом отправились в Карсон-Сити, дабы покаяться и вымолить прощение. Простить нас простили, однако убытки взыскали.

После этого мы еще не раз побывали на озере, не раз только чудом спасались от гибели и пережили немало леденящих кровь приключений, о которых никогда не расскажет история.

ГЛАВА XXIV

Решение купить лошадь. — Искусство верховой езды в Карсон-Сити. — Соблазн. — Дружеский совет. — Первая поездка верхом. — Брыкун, каких мало. — Попытки продать лошадь. — Цена опыта.

Я решил приобрести верховую лошадь. Нигде, кроме цирка, не видел я такой вольной, стремительной верховой езды, такого изумительного искусства, какое ежедневно на улицах Карсон-Сити показывали пестро разодетые мексиканцы, калифорнийцы и омексиканенные американцы. Как они ездили! Чуть наклонившись вперед, свободно и небрежно сидя в седле, в широкополой шляпе, спереди отогнутой кверху ветром, с длинным лассо, занесенным над головой, они как вихрь проносились по городу! А уже минуту спустя они скрывались из глаз, и только облачко пыли взлетало в далекой пустыне. Когда они ехали рысью, они сидели прямо, ловко и щеголевато, точно сросшись с конем, а не подпрыгивали в седле по дурацкой моде, принятой в школах верховой езды. Я быстро научился отличать лошадь от коровы и жаждал расширить свои знания. Я решил купить лошадь.

Эта мысль не давала мне покоя. И вот однажды на площадь выскочил аукционист на черном коне, который был весь в шишках и углах, точно одногорбый верблюд, и такой же красавец; но он шел за двадцать два доллара: «Конь, седло и уздечка — за двадцать два доллара, джентльмены!» Устоять было трудно.

Какой-то незнакомый мне человек (позже выяснилось, что это был брат аукциониста), подметив грусть в моих глазах, выразил мнение, что это очень низкая цена за такую отличную лошадь, и добавил, что одно только седло стоит этих денег. Седло было испанское, с увесистыми tapidores[27] и крытое уродливой подметочной кожей, носящей мудреное название. Я сказал, что не прочь поторговаться. После этого мне показалось, что мой собеседник пронзительно посмотрел на меня, словно прикидывая, что я за птица; но как только он заговорил, я отбросил все подозрения, ибо в голосе его звучали неподдельная искренность и простодушное чистосердечие. Он сказал:

— Я знаю эту лошадь, хорошо знаю. Вы, я полагаю, приезжий и потому, может быть, думаете, что это американская лошадь. Но уверяю вас, это не так. Ничего похожего. Без всякого сомнения —

простите, что я говорю шепотом, но нас могут услышать, — это чистокровный мексиканский одер.

Что такое чистокровный мексиканский одер, я не знал. Но, услышав, каким тоном это было сказано, я тут же поклялся себе, что, хоть умри, а чистокровный мексиканский одер у меня будет.

— А другие… э-э-э… достоинства у нее есть? — спросил я, стараясь не выдать своего волнения.

Незнакомец потянул меня указательным пальцем за нагрудный карман армейской рубашки и, отведя в сторонку, внушительно прошептал мне на ухо:

— Такого брыкуна не найдется во всей Америке!

— Два-дцать че-ты-ре с половиной доллара, джентльмены, раз, два…

— Двадцать семь! — гаркнул я во все горло.

— Продано, — сказал аукционист и передал мне чистокровного мексиканского одра.

Я был вне себя от восторга. Отдав деньги за покупку, я поместил лошадь в соседней конюшне, где ее ждал обед и отдых.

Под вечер я вывел своего коня на площадь, и пока одни граждане держали его за голову, а другие за хвост, я сел на него. Как только они его отпустили, он, сдвинув все четыре ноги, сначала поджал круп, потом внезапно вскинул его и подбросил меня вверх фута на четыре! Я опустился прямо на седло, мгновенно опять взлетел, опускаясь, чуть не угодил на высокую луку, снова подскочил и очутился на шее коня — все это в какие-нибудь три — четыре секунды. Потом он встал на дыбы, а я, судорожно цепляясь за его тощую шею, соскользнул вниз и уселся в седло. Он поставил передние ноги и немедленно начал брыкаться задними, да так, словно хотел достать до неба. Потом он поставил задние ноги и опять принялся за то, с чего начал, — стал подбрасывать меня кверху.

Когда я взлетел в третий раз, я услышал незнакомый голос:

— Ох, и здорово же подкидывает задом!

Пока я находился в воздухе, кто-то звонко хлестнул коня ремнем, и когда я вернулся на землю, чистокровный мексиканский одер исчез. Один молодой калифорниец погнался за ним, остановил его и попросил у меня разрешения прокатиться. Я доставил ему это удовольствие. Он сел на одра, взлетел один раз, но, опускаясь, всадил шпоры, и конь помчался со скоростью телеграммы. Он перепорхнул через три забора, словно птица, и скрылся из глаз на дороге в долину Уошо.

Я со вздохом уселся на камень, и одна моя рука инстинктивно потянулась к голове, а другая к животу. Думается, до тех пор я не понимал, насколько несовершенна человеческая

машина — ибо мне срочно понадобилось еще несколько рук, которые я мог бы прижать к другим местам. Пером не описать, до какой степени меня перетряхнуло. Воображение бессильно представить себе, как я весь разболтался, как я внутренне, наружно, весь насквозь был вывихнут, перемешан, изломан. Стоявшие кругом люди смотрели на меня с состраданием.

Наконец один из толпы — человек уже пожилой — сказал:

— Чужестранец, тебя обманули. Все здесь знают этого коня. Каждый ребенок, каждый индеец сказал бы тебе, что он бьет задом. На всем Американском материке нет второго такого брыкуна. Это черт, а не лошадь. Ты меня послушай. Я Карри. Старый Карри. Старый Эйб Карри. И вдобавок это настоящий, доподлинный, чистокровный мексиканский одер — прах его возьми! — да еще из самых подлых. Эх ты дурачок! Тебе бы выждать да притаиться — глядишь, и купил бы американского коня и заплатил бы только чуть больше, чем за эту дрянную заграничную рухлядь.

Я ничего не ответил, но про себя решил, что, если похороны брата аукциониста состоятся до моего отъезда из Невады, я отложу все другие удовольствия, чтобы присутствовать на них.

После шестнадцатимильной скачки юный калифорниец и чистокровный мексиканский одер примчались обратно в город, раскидывая хлопья мыла, словно тайфун, который гонит перед собой пенистые брызги, и, перемахнув напоследок через тележку и китайца, бросили якорь у дверей «ранчо».

Как он пыхтел и всхрапывал! Как раздувались и сжимались его красные ноздри, как дико сверкали его глаза! Но покорилось ли царственное животное? Отнюдь нет. Его милость председатель палаты представителей решил, что конь угомонился, и поехал на нем в Капитолий; но неуемный одер первым делом перепрыгнул через груду телеграфных столбов вышиной чуть ли не с церковь, а время, которое он показал на дистанции до Капитолия — одна и три четверти мили, — по сей день остается рекордным. Впрочем, он схитрил — пропустил милю и покрыл только три четверти. Другими словами, он поскакал прямиком по участкам, предпочитая заборы и рвы извилистой дороге; и когда председатель попал в Капитолий, он сказал, что почти весь путь проделал в воздухе, словно ехал на комете.

Вечером председатель палаты воротился пешком — для моциона, — а одра велел привести домой на буксире, привязав его к фуре с кварцем. На другой день я одолжил его письмоводителю палаты для поездки за шесть миль на серебряный рудник Дана, и вечером он точно так же воротился для моциона пешком, а лошадь велел привести. Кому бы я ни

одолжил одра, все неизменно возвращались пешком; иной вид моциона, очевидно, был им недоступен. Но я упорно продолжал одалживать его каждому, кто соглашался на это, в надежде, что мерзкая тварь сломает ногу и временный владелец вынужден будет оставить ее себе, или она убьется насмерть и я взыщу с него деньги. Но почему-то с одром никогда ничего не случалось. Он выкидывал такие штуки, какие любой лошади стоили бы жизни, но он был неуязвим. Он ежедневно пускался на эксперименты, которые до тех пор считались немыслимыми, и выходил из них целехонек. Иногда он допускал ошибку, и тогда худо приходилось седоку, но сам он ни разу не пострадал. Разумеется, я пытался продать его, но такая беспримерная наивность не встретила сочувствия. Аукционист вихрем носился на одре по улицам в течение четырех дней, разгоняя народ, нарушая торговлю, калеча детей, и ни разу никто не назвал цену — кроме одного заведомого лодыря без гроша в кармане, которого аукционист подрядил предложить восемнадцать долларов. Люди только посмеивались и мужественно обуздывали свое желание купить мою лошадь, если таковое у них имелось. Засим аукционист предъявил счет, и я снял одра с продажи. После этого мы пробовали обменять его, предлагая отдать в убыток себе за подержанные надгробья, железный лом, брошюры о вреде пьянства — за что угодно. Но владельцы этих товаров держались стойко, и мы опять ретировались. На своего коня я больше не садился. Ходить пешком — достаточный моцион для человека, который, как я, вполне здоров, если не считать переломов, внутренних травм и тому подобного. В конце концов я решил подарить его. Но и это не удалось. Люди говорили, что на Тихоокеанском берегу землетрясения и так всегда под рукой — к чему же обзаводиться собственным? Тогда я прибег к последнему средству — предложил губернатору взять его для бригады. Сначала губернатор весь просиял, но потом помрачнел и сказал, что это будет уж слишком прозрачно.

Тут хозяин конюшни предъявил счет за шестинедельное пребывание у него моего одра: стойло, занимаемое им, — пятнадцать долларов; сено — двести пятьдесят долларов. Чистокровный мексиканский одер съел тонну этого корма, и хозяин конюшни сказал, что он съел бы и сотню тонн, дай ему только волю.

Шутки в сторону — цена на сено в тот год и в начале следующего и в самом деле была двести пятьдесят долларов за тонну. В предыдущий год сено стоило пятьсот золотых долларов тонна, а еще годом раньше была такая нехватка его, что зимой небольшие партии продавали по восемьсот долларов в звонкой

монете. О последствиях можно догадаться и без моей подсказки: люди выгоняли свой скот, обрекая его на голодную смерть, и еще до наступления весны долины Игла и Карсона оказались буквально застланы скелетами животных! Любой из старожилов подтвердит мои слова.

Я кое-как расплатился с хозяином конюшни и в тот же день подарил чистокровного мексиканского одра проезжему переселенцу из Арканзаса, которого рок отдал в мои руки. Если эти строки когда-нибудь попадутся ему на глаза, он несомненно вспомнит о моем щедром даре.

Тот, кто имел счастье ездить на настоящем мексиканском одре, узнает лошадь этой породы по портрету, нарисованному мною, и не усмотрит в нем преувеличения; но люди непосвященные, быть может, сочтут себя вправе назвать эту главу плодом пылкой фантазии.

ГЛАВА XXV

Невадские мормоны. — Предыстория Невады. — Открытие серебра. — Новое правительство территории. — Инструкция и счета. — Дорожные сборы.

Первоначально Невада входила в территорию Юта и называлась округ Карсон; и не маленький это был округ. Долины его славились своими пастбищами, и туда потянулись небольшие партии мормонских скотоводов и фермеров. Несколько правоверных американцев тоже забрели туда из Калифорнии, но между этими двумя разрядами колонистов дружба не завязалась. Они мало, а то и вовсе не общались друг с другом; обе колонии жили особняком. Мормоны были в значительном большинстве, и вдобавок к ним особенно благоволило мормонское правительство Юты. Поэтому они могли позволить себе роскошь обращаться со своими соседями высокомерно и даже деспотически. Одно из преданий Карсонской долины хорошо рисует положение, сложившееся в те дни. В американской семье служила девушка — ирландка и католичка; но, ко всеобщему удивлению, она оказалась единственным человеком вне мормонской общины, который мог добиться чего-нибудь у мормонов. Она часто просила их об одолжении, и они никогда не отказывали ей. Для всех это было загадкой. Но вот однажды, когда она выходила за дверь, из-под ее передника выпал длинный охотничий нож, и на вопрос хозяйки, что это значит, она ответила: «Да к мормонам иду — спрошу, не дадут ли корыто!»

В 1858 году в округе Карсон открылись залежи серебра, и картина резко изменилась. Туда хлынули калифорнийцы, и очень скоро американцев стало куда больше, чем мормонов. Они отказались признать власть Бригема Юнга и правительство Юты и избрали временное правительство территории Уошо. Первым и единственным представителем новой власти был губернатор Руп. Позднее конгресс в Вашингтоне провел закон о создании «территории Невада», и президент Линкольн послал Ная сменить Рупа на посту губернатора.

К тому времени территория уже насчитывала не то двенадцать, не то пятнадцать тысяч жителей, и население ее быстро росло. На серебряных рудниках кипела работа, сооружались обогатительные фабрики. Коммерция всех видов процветала и день ото дня развивалась все более бурно.

Жители новой территории были очень довольны тем, что получили законное правительство; однако необходимость подчиняться чужакам, присланным из дальних штатов, мало радовала их, — что вполне естественно. По их мнению, должностных лиц следовало выбирать из их среды — из заслуживших право на высокие посты видных граждан, которые сочувствовали бы населению и хорошо знали бы нужды территории. Надо сказать, что рассуждали они здраво. Новые чиновники были для них «переселенцы», и уж по одной этой причине никто не мог питать к ним ни любви, ни уважения.

Новое правительство ожидал весьма холодный прием. Это был не только пришелец, незваный гость, но и бедняк. Даже обирать его не стоило — что с него возьмешь? Одной лишь мелкой сошке могла перепасть какая-нибудь грошовая служба. Все знали, что на содержание нового правительства конгресс отпустил всего двадцать тысяч долларов бумажками, — на эту сумму кварцевая дробилка с грехом пополам просуществовала бы один месяц. И все знали также, что деньги, ассигнованные на первый год, все еще находятся в Вашингтоне и получить их на руки можно будет только после долгой и нудной канители. Город Карсон был слишком осмотрителен и мудр, чтобы с неуместной торопливостью предоставить кредит какому-то доставленному невесть откуда сосунку.

Есть что-то трагикомическое в борьбе за существование, которую должно выдержать едва появившееся на свет правительство новой территории. Нашему пришлось особенно туго. Закон, утвержденный конгрессом, и «инструкция» государственного департамента предписывали, чтобы законодательный орган был избран к такому-то сроку и сессия его открылась в такой-то день и час. Законодателей найти оказалось нетрудно — даже за три доллара в сутки, хотя содержание стоило четыре с половиной, — ибо честолюбие не чуждо невадцам, как и всем прочим смертным, и среди них было сколько угодно безработных патриотов; но совсем иное дело — добыть помещение для законодательного собрания. Город решительно отказался дать ему приют безвозмездно или разрешить правительству снять помещение в долг.

Но когда об этом препятствии услышал Карри, он выступил вперед и один, своими силами, снял с мели государственный корабль и снова пустил его по волнам. Я имею в виду «Карри — старого Карри — старого Эйба Карри». Не будь его, законодателям пришлось бы заседать в пустыне. Он отдал безвозмездно свой просторный каменный дом, стоявший сразу за чертой города, и дар этот был с радостью принят. Потом он

проложил конку от города до Капитолия и возил законодателей даром. Он также обставил помещение сосновыми скамьями и стульями и посыпал пол свежими опилками — для замены одновременно и ковра и плевательниц. Не будь Карри, правительство умерло бы в младенческом возрасте. Холщовая перегородка стоимостью в три доллара сорок центов, отделяющая сенат от палаты представителей, была сооружена за счет Секретаря, но Соединенные Штаты отказались заплатить за нее. Когда им напомнили, что инструкция предусматривала довольно солидную сумму на оплату помещения и что эту сумму удалось сберечь для родины благодаря щедрости мистера Карри, Соединенные Штаты ответили, что это дела не меняет, а три доллара сорок центов вычтут из тысячи восьмисот долларов, составляющих жалованье Секретаря, — и вычли!

Другим препятствием на жизненном пути нового правительства с самого начала был вопрос печатания. Секретарь под присягой обязался подчиняться всем требованиям, содержащимся в объемистом томе инструкции, и особенно неукоснительно выполнять два из них, а именно:

1. Публиковать бюллетени сената и палаты представителей.

2. Оплачивать эту работу в размере одного доллара пятидесяти центов за «тысячу» набора и одного доллара пятидесяти центов — за двести пятьдесят оттисков, банкнотами.

Легко было обещать под присягой выполнять оба пункта, но выполнить больше одного из них оказалось невозможно. Когда бумажные деньги упали до сорока центов за доллар, типографии, как правило, взимали полтора доллара за «тысячу» набора и полтора доллара за двести пятьдесят оттисков золотом. Инструкция повелевала, чтобы Секретарь считал бумажный доллар, выпущенный правительством, равным по стоимости любому другому, выпущенному правительством, доллару. По этой причине печатание бюллетеней прекратилось. Тогда Соединенные Штаты сурово указали Секретарю на его недопустимое пренебрежение к инструкции и посоветовали исправиться. После этого он дал кое-что отпечатать и послал счет в Вашингтон, присовокупив сведения об общей дороговизне в Неваде и сославшись на печатный отчет о состоянии рынка, в котором сообщалось, между прочим, что сено стоит двести пятьдесят долларов тонна. В ответ на это Соединенные Штаты вычли сумму счета из многострадального жалованья Секретаря — и вдобавок без тени иронии заметили ему, что в инструкции он не найдет ни слова о том, что он должен покупать сено!

Нет в мире ничего, что было бы окутано столь непроницаемым мраком, как разумение инспектора казначейства

США. Даже вечный огонь преисподней разжег бы в его мозгу лишь слабое мерцание. В те времена, о которых я пишу, он никак не мог понять, почему двадцать тысяч долларов в Неваде, где на все товары установились баснословно высокие цены, не то же самое, что двадцать тысяч долларов в других территориях, где жизнь чрезвычайно дешева. Это был человек, которого преимущественно заботили мелкие расходы. Служебный кабинет Секретаря территории, как я уже говорил, помещался в его спальне; и он не требовал от Соединенных Штатов платы за наем, хотя инструкция предусматривала эту статью расхода (я бы на его месте не стал так деликатничать). Но Соединенные Штаты ни разу не похвалили его за такое бескорыстие. Напротив — мне кажется, моя родина считала, что несколько зазорно держать на службе столь непрактичного субъекта.

Пресловутая инструкция (мы каждое утро прочитывали из нее одну главу для умственной гимнастики и еженедельно несколько глав в воскресной школе, ибо в ней говорилось обо всем на свете и наряду с другими фактическими данными там можно было почерпнуть много ценных сведений из области религии), — итак, инструкция предписывала снабдить членов законодательного органа перочинными ножами, конвертами, перьями и писчей бумагой. Секретарь приобрел все эти предметы и распределил их. Перочинные ножи стоили три доллара штука. Один нож оказался лишним, и Секретарь отдал его письмоводителю палаты. Соединенные Штаты заявили, что письмоводитель не есть член законодательного собрания, и опять-таки изъяли эти три доллара из жалованья Секретаря.

Белые рабочие брали три-четыре доллара с воза за распилку дров на топливо. Секретарь предвидел, что Соединенные Штаты ни за что не согласятся платить такую цену; он нанял индейца, и тот распилил воз казенных дров за полтора доллара. Секретарь, как обычно, послал счет, но без подписи, а просто приложил письмо, в котором объяснил, что работу за полцены сделал индеец, и сделал очень исправно и хорошо, но документа подписать не сумел, за неимением способностей в данной отрасли. Эти полтора доллара Секретарю пришлось заплатить из своего кармана. Он думал, что Соединенные Штаты оценят его бережливость и честность — ведь он не только сторговался с индейцем за полцены, но не стал подделывать подпись под документом, — однако Соединенные Штаты отнеслись к этому иначе. Они так привыкли к не брезгующим полутора долларами ворам, состоящим у них на службе во всех ведомствах, что объяснения Секретаря они сочли явным вымыслом.

Но в следующий раз, когда тот же индеец пилил для нас

дрова, я научил его поставить крест внизу счета — крест шатался, словно целый год пил горькую, — я его «удостоверил», и все сошло гладко. Соединенные Штаты не возражали. Я очень жалел, что не догадался указать в счете тысячу возов вместо одного. Правительство моей родины не милует простодушную честность, но благоволит к ловкому обману, и я думаю, что если бы я год-другой пробыл на государственной службе, из меня вышел бы очень способный карманник.

Любопытное это было сборище правителей — первый законодательный орган Невады. Они взимали налоги в размере тридцати-сорока тысяч долларов, а смету расходов составили на миллион. Однако у них бывали периодические приступы экономии, как у всех органов подобного рода. Один из членов палаты внес предложение сберечь три доллара в день, отказавшись от священника. А именно этот опрометчивый грешник нуждался в священнике, быть может, больше всех остальных членов, ибо, как правило, во время утренней молитвы жевал сырую репу, задрав ноги на свою конторку.

Собрание заседало два месяца и только и делало, что раздавало частным лицам разрешения на постройку дорог с правом взимать дорожные сборы. Когда сессия закрылась, оказалось, что на каждого гражданина в среднем приходится по три лицензии, и, по общему мнению, для всех дорог не могло хватить места — разве что конгресс отпустит Неваде еще один градус долготы. Концы намеченных дорог, точно бахрома, повсюду болтались над пограничной чертой.

Объяснялось это просто: перевозка грузов стала такой насущной потребностью, и дело это расширялось так стремительно, что дорожная лихорадка охватила людей с не меньшей силой, чем серебряная.

ГЛАВА XXVI

Серебряная лихорадка. — Состояние рынка. — Серебряные слитки. — Слухи. — Едем на прииск «Гумбольдт».

Мало-помалу и я заразился серебряной лихорадкой. Каждый день партии разведчиков отправлялись в горы, находили содержащие серебро залежи и пласты кварца и столбили участки. Несомненно, это был верный путь к богатству. Когда мы приехали в Карсон-Сити, большой рудник «Гулд и Карри» ценился в триста — четыреста долларов за фут[28]; в два месяца ценность его поднялась до восьмисот. Еще год назад «Офир» стоил гроши, а теперь он шел чуть ли не по четыре тысячи за фут! Не оставалось ни одного рудника, который в короткий срок не достиг бы баснословной ценности. Кругом только и говорили, что о таких чудесах. Куда ни придешь, с утра до позднего вечера ничего другого не слышишь. Том такой-то продал свой пай в «Аманде Смит» за сорок тысяч долларов, а полгода назад, когда он открыл жилу, у него ни гроша не было за душой. Джон Джонс продал половину пая в «Плешивом орле и Мэри-Энн» за шестьдесят пять тысяч долларов в золоте и уехал в Штаты за семьей. Вдове Брюстер посчастливилось в «Золотом руне»: она взяла восемнадцать тысяч долларов за десять футов, — а ведь траурного чепца купить не могла прошлой весной, когда каторжник Том убил ее мужа на поминках по Лысому Джонсону. Владельцы «Последней надежды» наткнулись на зальбанд[29] из глинозема, предвещавший открытие богатой залежи, и вот уже каждый фут, шедший накануне за бесценок, сравнялся по стоимости с кирпичным домом; вчера им ни в одном кабаке по всей округе и рюмки не поднесли бы в долг, а нынче они уже вовсю дуют шампанское и вокруг них роем вьются закадычные друзья, — и это в городе, где они, за неимением приятелей, успели забыть, что такое поклон или рукопожатие. Джонни Морган, бездельник и лодырь, заночевал в канаве, — а утром проснулся обладателем ста тысяч долларов, так удачно для него решилась тяжба между рудниками «Леди Франклин» и «Теплая компания». И так далее и тому подобное — изо дня в день эти слухи жужжали вокруг нас, и общее возбуждение разгоралось все жарче.

Я был всего лишь человек — ни больше и ни меньше — и потому, как и все, потерял голову. Полные подводы серебряных

слитков величиной со свинцовые чушки каждый день прибывали с фабрик, и это зрелище подтверждало фантастические рассказы, которыми меня пичкали. Я не выдержал и распалился едва ли не пуще всех.

Каждые два-три дня распространялась весть об открытии нового месторождения; газеты немедленно начинали кричать об его богатствах, и все избыточное население города кидалось туда, чтобы урвать свою долю. К тому времени, когда болезнь прочно угнездилась во мне, слава «Эсмеральды» уже закатывалась, и властно требовало к себе внимания новое месторождение — «Гумбольдт». Газеты подняли истошный крик: «Гумбольдт» — наиновейший из новых, богатейший из богатых! «Гумбольдт» — чудо из чудес сереброносного края!» И вот уже на один газетный столбец об «Эсмеральде» приходится два о «Гумбольдте». Я совсем было собрался ехать на «Эсмеральду», но не устоял и отдал предпочтение «Гумбольдту». Для того, чтобы читатель мог понять, что повлияло на меня — и несомненно повлияло бы на него, будь он на моем месте, — я приведу одну из газетных заметок. Именно эта заметка и еще несколько других, написанных той же недрогнувшей рукой, укрепили мою веру. Я не стану пересказывать статейку, приведу лишь отрывок из нее — в том виде, как он появился на страницах «Дейли территориел энтерпрайз».

> *Что сказать о наших приисках? Я буду откровенен с вами. Я чистосердечно выражу свои мысли, основанные на тщательной проверке. Округ Гумбольдт — самый богатый минералами край на божьей земле. Все его горные кряжи просто лопаются от ценных пород. «Гумбольдт» — это подлинная Голконда*[30].
>
> *На этих днях проба одной только выходящей на поверхность породы показала четыре тысячи долларов на тонну! А недели две тому назад такая же поверхностная проба дала семь тысяч долларов на тонну! Наши горы так и кишат старателями. Каждый день, можно сказать — каждый час приносит новые поразительные открытия, свидетельствующие об изобилии богатств нашего благословенного края. Речь идет не только о серебре. Все указывает на то, что есть и золотоносные пласты. Недавно обнаружена киноварь. Менее ценные металлы найдены во множестве. Имеются указания на залежи битуминозного угля. Я всегда придерживался того мнения, что уголь — образование древесное. Некогда я говорил полковнику Уитмену, что в окрестностях*

Дейтона (Невада) нет признаков древесных залеганий ни древних, ни более поздних и что поэтому я не верю в его хваленые месторождения угля. То же самое я высказал окрыленным надеждой разведчикам в округе Гумбольдт. Я обсуждал этот вопрос с моим другом капитаном Бэрч. Мой скептицизм улетучился, когда я услышал от него, что именно в тех местах, о которых я говорил, он видел окаменелые деревья длиной в двести футов. Это бесспорно указывает на то, что некогда огромные лесные массивы осеняли этот глухой далекий уголок. Теперь я твердо уверовал в здешний уголь. Не сомневайтесь в минеральных богатствах округа Гумбольдт. Они колоссальны, неисчислимы.

Я позволю себе дать кое-какие разъяснения, дабы читателю легче было понять смысл этой статьи. В то время самым преуспевающим серебряным прииском в Неваде был наш сосед, «Золотой холм». Именно оттуда прибывало больше половины серебряных слитков. «Очень богатая» (и редкая) порода с «Золотого холма» давала от ста до четырехсот долларов на тонну, но обычно выход не превышал двадцати — сорока долларов; другими словами, каждые сто фунтов руды содержали серебра на один — два доллара. Но из приведенной выдержки читатель увидит, что в «Гумбольдте» содержание серебра составляло от четверти до половины общего веса. Другими словами, на каждые сто фунтов руды приходилось серебра на сумму от двухсот долларов до трехсот пятидесяти. Несколько дней спустя тот же корреспондент писал:

Я уже говорил о несметных, почти сказочных богатствах этого края, — они просто поражают. Наши горы битком набиты благородными металлами. Говорил я также о том, что наши горы по своему расположению самой природой предназначены для плодотворной разработки недр; и о том, что местность здесь, словно нарочно, создана для постройки фабрик. Но какова история «Гумбольдта»? Рудник «Шеба» принадлежит энергичным капиталистам из Сан-Франциско. Видимо, наше несовершенное местное оборудование недостаточно для выделения металла из руды. Но владельцы, как я уже упоминал, не только вкладывают свой капитал, они и трудятся. Они усердно ведут разведку. Уже проложена штольня длиной в сто футов. Предварительные пробы дали столь благоприятные результаты и так велика всеобщая вера в решимость владельцев продолжать

разработку, что акции рудника поднялись до восьмисот долларов. Я не стану уверять вас, что хотя бы одна тонна руды уже обращена в деньги. Но я знаю наверняка, что в нашем округе много месторождений, где руда содержит еще больше металла, чем на руднике «Шеба». Прислушайтесь к расчетам его инженеров. Они предлагают отправлять обогащенную руду в Европу. Перевозка от Стар-Сити (ближайший город) до Вирджиния-Сити должна стоить семьдесят долларов за тонну, от Вирджиния-Сити до Сан-Франциско — сорок долларов за тонну; оттуда до Ливерпуля — места назначения — десять долларов за тонну. Они высчитали, что стоимость выделенного металла окупит издержки по выемке руды, ее перевозке и обогащению и что, сверх того, им очистится тысяча двести долларов с каждой тонны. Допустим, что это преувеличение. Допустим, что их расчеты верны лишь наполовину, — и то это предвещает успех, какого еще не знала наша бурно развивающаяся территория.

По общему мнению, добыча многих наших рудников дойдет до пятисот долларовна тонну. Такое изобилие полностью затмит и «Гулд и Карри», и «Офир», и «Мексиканца», расположенных по соседству с вами. Я привел подсчеты только одного-единственного работающего предприятия. Ценность его подтверждается высоким курсом его акций. В округе Гумбольдт все помешаны на «футах». Города наши почти опустели. Они хиреют, как больная чахоткой девушка. Где же наши крепкие, мускулистые сограждане? Они рассыпались по ущельям и горным склонам. Следы их ведут во всех направлениях. Время от времени у нас появляется всадник. Конь его весь в мыле. Он соскакивает с седла у дверей своей мазанки, наскоро здоровается с соседями и мчится с образцами в пробирную контору, а оттуда к окружному инспектору. Наутро, обновив запас провианта, он снова пускается в путь по глухим нехоженым тропам. Он уже владеет тысячами футов! Он точно пиявка. У него ненасытная утроба акулы или удава. Он готов овладеть мирами металла.

Это нас доконало. Как только мы дочитали статью, четверо из нас решили ехать в Гумбольдт. И тут же стали собираться. А уж ругали мы себя за то, что так долго медлили! Вдруг — о ужас! — к нашему приезду уже откроют и разберут все богатые

месторождения, а нам достанутся одни тощие жилы, которые дадут каких-нибудь двести-триста долларов с тонны! Еще час назад я считал бы себя богачом, владей я десятью футами на «Золотом холме», где можно было взять двадцать пять долларов с тонны; а теперь я уже не желал мириться с мыслью, что мне достанется жила, которая на «Золотом холме» показалась бы кладом.

ГЛАВА XXVII

Сборы. — Дорожные приключения. — Приветливый, но слишком развязный соночлежник. — Мистер Баллу протестует. — Солнце из-за туч. — Благополучное прибытие.

Итак — скорей, скорей! Мы не теряли времени. В нашей партии было четверо: шестидесятилетний кузнец, два молодых адвоката и я. Мы купили фургон и пару престарелых кляч. Мы погрузили в фургон тысячу восемьсот фунтов провианта и старательского инструмента и в холодный декабрьский день выехали из Карсона.

Лошади наши были столь дряхлые и слабосильные, что очень скоро одному, а то и двоим из нас пришлось по очереди идти пешком. Это помогло, хотя и ненадолго. Потом пришлось идти пешком третьему. Это тоже помогло.

Оставшись в фургоне один, я вызвался править, невзирая на то, что никогда не держал в руках вожжи, и любой другой на моем месте считал бы себя в полном праве не браться за такое ответственное дело. Прошло немного времени, и выяснилось, что лучше всего и вознице слезть с козел и пойти пешком. Тут-то я и отказался от своей должности и уже больше не заступал ее. Прошел еще час, и мы убедились, что не только желательно, но совершенно необходимо, чтобы двое из нас, положив руки на задок фургона и увязая в песке, подталкивали его; таким образом, нашим хилым лошадкам работы оставалось не так уж много: от них требовалось только не мешать нам и поддерживать дышло. Всегда хорошо наперед знать свою участь, — тогда легче примириться с ней. Мы в первый же день поняли, что нас ожидает. Вне всяких сомнений, нам предстояло пройти пешком двести миль по песку, подталкивая фургон вместе с упряжкой. Мы приняли это как должное и с тех пор уже не садились в фургон. Мало того, добросовестно сменяя друг друга, мы почти без передышки подталкивали его всю дорогу.

Пройдя семь миль по пустыне, мы сделали привал. Клаггет (ныне член конгресса от Монтаны) распряг лошадей, накормил и напоил их; Олифант и я набрали хворосту, развели костер и принесли воды; а старик Баллу, кузнец, занялся стряпней. Такого разделения труда мы честно придерживались до конца путешествия. Палатки у нас не было, и мы ночевали под открытым небом, закутавшись в одеяла. Но мы так уставали за

день, что спали очень крепко.

Двести миль нашего пути мы покрыли в пятнадцать дней, точнее — в тринадцать, ибо мы сделали двухдневную остановку, чтобы дать отдых лошадям. Вообще-то говоря, мы добрались бы до цели и в десять дней, если бы догадались привязать лошадей сзади фургона; но это пришло нам в голову слишком поздно, и мы всю дорогу толкали и фургон и упряжку, тогда как могли наполовину облегчить себе работу. Старатели, попадавшиеся нам навстречу, советовали поместить лошадей внутри фургона, но никакой сарказм не мог пробить железную серьезность мистера Баллу, и он заявлял в ответ, что это может нанести урон нашим припасам, ибо лошади из-за долгого недоедания битуминозны. Читатель не посетует на меня за отсутствие перевода. Что имел в виду наш старик, когда произносил длинные слова, оставалось тайной между ним и его создателем. Среди людей, которым жизнь уготовила скромный жребий, трудно было бы найти более славного, более добросердечного человека. Он был само простодушие, отзывчивость и бескорыстие. Несмотря на то, что его годы вдвое превышали возраст самого старшего из нас, он никогда не важничал и не требовал для себя ни преимуществ, ни льгот. Трудился он наравне с молодыми, а в беседах и развлечениях принимал участие, не кичась своим возрастом и не презирая нас, по стариковскому обычаю, с высоты своих шестидесяти лет. Одна только странность водилась за ним: он питал пристрастие к звучным словам и произносил их ради звучности, нимало не считаясь со значением их и не заботясь о том, выражают ли они его мысль. Но он ронял эти пышные многосложные слова так легко и непринужденно, что совершенно обезоруживал слушателя. В его устах они звучали просто и естественно; и, каюсь, я частенько ловил себя на том, что принимаю витиеватые изречения старика за исполненные смысла сентенции, хотя на самом деле они не значили ровно ничего. Лишь бы слово было длинно, внушительно и звучно — большего не требовалось, чтобы он проникся к нему любовью и совал его в самые неподходящие места, и притом с таким удовольствием, как будто смысл его был лучезарно ясен.

Мы всегда расстилали все наши одеяла на мерзлой земле одно к другому и спали на них вповалку; обнаружив, что наш глупый длинноногий щенок обладает изрядной долей животного тепла, Олифант стал брать его в нашу постель; он укладывал его между собой и стариком Баллу и нежился, прижимаясь грудью к теплой собачьей спине. Но среди ночи щенок вдруг испытывал потребность потянуться и с довольным урчанием упирался лапами в спину старика; иногда, согревшись и чувствуя себя на

верху блаженства, песик просто от избытка благодарности начинал хвататься лапами за его спину, а если случится увидеть во сне охоту, то вцепится старику в волосы и тявкает прямо в ухо. В конце концов почтенный старец кротко пожаловался на столь развязное обращение, присовокупив, что такую собаку не следует пускать в постель к усталым людям, потому что она «слишком фигуральна в своих движениях и слишком органична в своих чувствах». Мы выгнали щенка.

Путешествие было трудное, тяжкое, утомительное — и в то же время приятное; ибо каждый вечер, после дневного перехода, утолив волчий аппетит горячим ужином, состоявшим из поджаренного сала, лепешек, патоки и черного кофе, мы сидели вокруг костра, курили, пели песни, рассказывали всякие истории; кругом стояла тишина безлюдной пустыни. И такое беспечальное, беззаботное житье казалось нам наивысшим благом и счастьем на земле. Бродячая жизнь таит в себе сильнейший соблазн для всякого, будь то горожанин или сельский житель. Мы происходим от арабских племен, кочевавших в пустыне, и тысячелетнее восхождение к вершинам цивилизации не вытравило в нас тяги к бродяжничеству. Никто не может отрицать, что одна мысль о ночлеге у походного костра исполнена для нас таинственного очарования. Однажды мы прошли за день двадцать пять миль, в другой раз — сорок (через Великую американскую пустыню) и дальше — еще десять миль — в общей сложности пятьдесят — за двадцать три часа, не останавливаясь ни для еды, ни для питья, ни для отдыха. Но лечь и уснуть, пусть даже на камнях или на мерзлой земле, после того как ты прошел пятьдесят миль, подталкивая фургон и пару лошадей, — это такое блаженство, что в ту минуту цена, которой оно куплено, не кажется слишком дорогой.

Мы сделали двухдневный привал у впадины реки Гумбольдт. Мы пробовали пить сильно щелочную воду, но из нашей затеи ничего не вышло: это было все равно что пить щелок, и притом неразбавленный. Вода была горькая и вообще отвратительна на вкус и вызывала пренеприятную изжогу. Мы добавили в воду патоки, но это мало помогло; потом положили соленый огурец, но и он не отбил противного вкуса щелочи, — она явно не годилась для питья. Когда же мы сварили кофе, получилась такая бурда, какой еще свет не видел. Это было нечто столь мерзкое, что даже просто вода показалась нам более сносной. Старик Баллу, творец и создатель сего напитка, счел долгом поддержать и одобрить его и поэтому выпил полкружки, между глотками неуверенно выражая свое удовольствие, но в конце концов выплеснул остаток и откровенно сознался, что такой кофе

«слишком технологичен для него».

Вскоре мы нашли ключ с чистой, прозрачной водой, и после этого ничто уже не омрачало нашего благополучия и никто не нарушал нашего блаженного покоя.

ГЛАВА XXVIII

Прибыли в горы. — Постройка хижины. — Моя первая золотая жила. — Я сообщаю новость своим спутникам. — Мыльный пузырь. — Не все то золото, что блестит.

Мы покинули впадину и некоторое время шли по берегу реки Гумбольдт. Люди, привыкшие к бескрайней ширине Миссисипи, обычно под словом «река» подразумевают величественные водные просторы. Поэтому такие люди испытывают некоторое разочарование, очутившись на берегу Гумбольдта или Карсона, очень похожих на канал Эри, с той, однако, разницей, что канал вдвое длинней и в четыре раза глубже. Для любителей гимнастики нет более приятного и укрепляющего силы упражнения, как прыгать с разбега через речку Гумбольдт, а затем, основательно разгорячившись, выпить ее досуха.

На пятнадцатый день мы закончили свой двухсотмильный поход и вошли в Юнионвилл, округ Гумбольдт, в лютую метель. Юнионвилл состоял из одиннадцати хижин и шеста свободы. Шесть хижин выстроились по краю глубокого ущелья, остальные пять — напротив них, через улицу. Ущелье замыкали голые крутые скалы, отвесной стеной поднимавшиеся в небо, и между ними поселок лежал словно на дне пропасти. Горные вершины встречали утреннюю зарю задолго до того, как рассеивался ночной мрак в Юнионвилле.

Мы сложили небольшую хижину у подножия горы, покрыли ее брезентом, оставив один угол открытым. Это отверстие заменяло нам печную трубу, и время от времени в него проваливалась скотина, жевала нашу мебель и нарушала наш сон. Погода стояла холодная, топлива не хватало. Индейцы приносили на спине вязанки хвороста, набранного за несколько миль от Юнионвилла; когда нам попадался такой навьюченный индеец, мы сидели в тепле, если же не попадался (что было не исключением, а правилом), мы мерзли и терпели.

Признаюсь без ложного стыда — я ожидал найти серебро, грудами валяющееся на земле. Я ожидал, что оно будет сверкать под солнцем на вершинах гор. Я молчал об этом, потому что смутно сознавал, что, быть может, надежды мои преувеличены и, если я поделюсь ими с кем-нибудь, меня поднимут на смех. Но в душе я ничуть не сомневался, что в день или два, на худой конец — в одну — две недели, я наберу достаточно серебра, чтобы стать

зажиточным человеком; и мысленно я уже прикидывал, как лучше истратить свои деньги. Улучив благоприятный момент, я с независимым видом вышел из хижины, краешком глаза следя за моими спутниками; каждый раз, как мне казалось, что они смотрят на меня, я останавливался и мечтательно созерцал небо; убедившись, что путь свободен, я бросился бежать со всех ног, словно вор, за которым гонятся, и только тогда замедлил шаг, когда очутился так далеко, что никто не мог ни видеть меня, ни окликнуть. Тут-то я и начал искать с лихорадочной поспешностью, не только надеясь на удачу, но почти уверенный в ней. Я ползал по земле, хватал осколки камня, разглядывал их, сдувал с них пыль, тер их о штаны и снова с трепетом впивался в них взглядом. Вскоре я нашел блестящий камушек, и сердце мое взыграло! Спрятавшись за валуном, я принялся полировать и рассматривать свою находку с таким радостным волнением, какого не могла бы вызвать даже полная уверенность в успехе. Чем дольше я изучал камушек, тем сильнее становилось мое убеждение, что я нашел ключ к богатству. Я отметил место и унес с собой образец. Я продолжал поиски вверх и вниз по каменистому склону все с большим рвением, радуясь тому, что приехал в Гумбольдт, и приехал вовремя. За всю свою жизнь я ни разу не испытал такого наслаждения, такого полного, ничем не омраченного счастья, как в то утро, когда я тайком от всех разыскивал скрытые сокровища Серебряного края. Я был словно в бреду. Наконец на дне мелкого ручейка я нашел гнездо блестящих желтых чешуек и чуть не задохся от восторга. Золотая жила! А я в простоте своей радовался какому-то пошлому серебру! Я совсем обезумел, и мне уже казалось, что разыгравшееся воображение обманывает меня. Потом я испугался: а вдруг кто-нибудь подглядывает за мной и разгадает мою тайну! Я обошел заветное место кругом, влез на пригорок и осмотрелся. Пустыня. Ни живой души. Я вернулся к своей находке, готовясь мужественно перенести разочарование, но мои страхи оказались напрасными: желтые чешуйки все так же поблескивали в воде. Я принялся вытаскивать их и добрый час усердно трудился, следуя за изгибами ручейка и очищая его дно от сокровищ. Наконец заходящее солнце возвестило о том, что пора кончать, и я пустился в обратный путь, унося с собой свое богатство. Всю дорогу я невольно улыбался, вспоминая, как я ликовал, найдя осколок серебра, когда более благородный металл был у меня, можно сказать, под носом. За этот короткий срок серебро так низко пало в моих глазах, что я чуть не выбросил свою первую находку.

За ужином товарищи мои, как всегда, уплетали за обе щеки,

но я почти ничего не ел. Говорить я тоже не мог. Я грезил, я витал в облаках. Разговор моих сотрапезников мешал мне предаваться мечтам, и это злило меня. Как скучно и обыденно было все то, о чем они говорили! Но досада моя скоро прошла — мне стало смешно. Вот они сидят тут, подытоживают свои скудные средства, вздыхают, предвидя всяческие лишения и невзгоды, а между тем в двух шагах от нашей хижины имеется золотая жила, и я могу в любую минуту показать ее. Смех душил меня. Трудно было устоять перед соблазном сразу все выпалить; но я устоял. Я решил сообщить радостную весть постепенно, каплю за каплей, сохраняя полное спокойствие и следя за произведенным эффектом с безмятежностью летнего утра. Я спросил:

— Где вы были?

— Ходили на разведку.

— Что вы нашли?

— Ничего.

— Ничего? А каково ваше мнение о здешних местах?

— Пока трудно сказать, — ответил старик Баллу. Он был опытный золотоискатель, да и на серебряных приисках немало поработал.

— Все-таки какое-то мнение вы себе, верно, составили?

— Да, кое-какое составил. Места неплохие, но перехваленные. Впрочем, содержание серебра на семь тысяч долларов — это вообще редкость. Руда на «Шебе», может, и очень богатая, но ведь она не наша. А кроме того, в ней столько примесей малоценных металлов, что никакой наукой ее не обработаешь. С голоду мы здесь не помрем, но и не разбогатеем.

— Значит, вы считаете, что особенно надеяться не на что?

— Вот именно.

— Так не лучше ли уехать обратно?

— Нет, зачем же? Мы сначала еще поищем.

— Ну, допустим, что — разумеется, это только предположение, — допустим, вы нашли бы пласт, который давал бы, скажем, сто пятьдесят долларов с тонны… Это бы вас устроило?

— Еще бы! — хором ответили все.

— Или допустим — опять-таки это только предположение — допустим, вы нашли бы пласт, который давал бы две тысячи долларов с тонны… Это бы вас устроило?

— Послушай, что ты хочешь сказать? Куда ты гнешь? Что за таинственность?

— Успокойтесь. Ничего я не хочу сказать. Вы отлично знаете, что здесь нет богатых месторождений. Ну, конечно, знаете. Вы ведь опытные люди и уже успели осмотреться. Всякий сведущий

человек может это понять. Но допустим — просто так, для разговора, — допустим, кто-нибудь сказал бы вам, что две тысячи долларов на тонну — это чепуха, безделица… понимаете, безделица… и что вот тут, рукой подать — груды чистого золота и чистого серебра… Да что груды. Моря, океаны… В двадцать четыре часа вы все будете богатыми. Ну, что вы скажете?

— Скажу, что это чушь! — воскликнул старик Баллу, не скрывая, впрочем, своего волнения.

— Джентльмены, — сказал я, — я ничего не утверждаю. Я, конечно, не могу похвалиться ни опытом, ни знаниями, но я только прошу вас взглянуть, к примеру, вот на это и сказать мне ваше мнение! — И с этими словами я выложил перед ними свои сокровища.

Все кинулись к ним, все склонились над ними в тусклом свете единственной свечи. Потом Баллу сказал:

— Мое мнение? По-моему, это всего лишь осколки гранита и никудышная слюда, которая и десяти центов за акр не стоит!

Так развеялись мои мечты. Так растаяло мое богатство. Так рухнул мой воздушный замок, повергнув меня в бездну отчаяния и скорби.

Немного погодя я философически заметил, что не все то золото, что блестит.

Старый кузнец посоветовал мне не останавливаться на этом, а пополнить мою сокровищницу знаний той истиной, что все, что блестит, не золото. Так я запомнил раз и навсегда, что золото от природы вещество тусклое и невзрачное и только неблагородные металлы вызывают восхищение невежд своим мишурным блеском. Однако, как и все смертные, я упорно пренебрегаю золотыми людьми и превозношу людей слюдяных. Выше этого заурядный человек не в силах подняться.

ГЛАВА XXIX

Разведка. — Наконец-то серебряная жила. — Мы добываем богатство кайлом и буром. — Тяжелый труд. — Миллионные заявки. — Каменистый край.

Что такое на самом деле поиски серебра, мы узнали очень скоро. Баллу повел нас на разведку. Мы карабкались по горным склонам, увязая в снегу, рыскали среди кустов и камней до полного изнеможения, но не нашли ничего — ни серебра, ни золота. И так изо дня в день. Время от времени мы натыкались на углубления, пробитые в склоне горы и, по-видимому, брошенные, а иногда около ямы еще возились один или два молчаливых старателя. Но серебра не было. Какие-то люди вырыли эти ямы, чтобы проложить штольню на глубине сотни футов в надежде когда-нибудь открыть потаенный сереброносный пласт. Когда-нибудь! Как это долго, скучно и нудно! День за днем мы маялись — лазали, карабкались, рыскали, и всем нам, кроме старика Баллу, этот бесполезный и тяжелый труд порядком опротивел. И вот однажды мы очутились под нависшим выступом скалы, уходящей высоко в небо. Баллу отбил молотком несколько кусков породы и принялся тщательно разглядывать их в маленькую лупу, потом бросил и отбил другие; он сказал, что это кварц, а кварц — именно та порода, которая содержит серебро. «Содержит»! А я-то думал, что серебро, вроде облицовки, будет плотным слоем покрывать поверхность! Баллу еще долго отбивал кусочки от скалы, вертел их в руках, облизывал языком и рассматривал в лупу. И вдруг он воскликнул:

— Есть!

Мы все всполошились. Порода в тех местах, где Баллу поработал молотком, была белая и чистая, и поперек нее вилась тоненькая голубая полоска. Он сказал, что в этой полосе есть серебро, смешанное с малоценными металлами — свинцом, сурьмой и всякой дребеденью, а кое-где даже вкраплено золото. С величайшим трудом мы разглядели несколько крохотных желтых пятнышек и подсчитали, что если набрать такой породы две — три тонны, то, пожалуй, получится один золотой доллар. Мы повесили нос, но Баллу сказал, что на свете бывают жилы и похуже этой. Он выбрал образец, который назвал «самым богатым», и сказал, что проба при помощи плавки установит его ценность. Потом мы окрестили наш прииск «Повелитель гор»

(скромность в выборе названий редко отличает золотоискателей), и Баллу прикрепил к нему нижеследующую заявку, сняв с нее копию, которую нужно было предъявить в городское приисковое управление для регистрации:

ЗАЯВКА

Мы, нижеподписавшиеся, делаем заявку на отвод трех участков по триста футов (кроме участка за открытие месторождения) на сереброносной кварцевой залежи, или жиле, к северу и к югу от места, обозначенного настоящей заявкой, включая все падения, а равно возвышения, ответвления, отклонения и изменения пласта, как и пятьдесят футов с каждой стороны — для разработки такового.

Мы приложили руку к этой заявке и пытались внушить себе, что приобрели богатство. Но, обсудив это дело со стариком Баллу, мы впали в уныние и расстройство. Он объяснил нам, что покамест мы видели только поверхностный слой кварцевой руды, а сама залежь, именуемая «Повелитель гор», уходит в глубь земли на сотни и сотни футов; толщина ее — около двадцати футов — почти не меняется на всем протяжении, и руда сохраняет свои свойства, отличающие ее от породы, в которую она заключена, как бы глубоко пласт ни уходил в недра земли и как бы далеко он ни тянулся по горам и долинам. Он может уходить в глубину хоть на милю, а в длину иметь до десяти миль — это никому не известно, и всюду, где бы ни рыть, на земле или под землей, мы будем находить в руде серебро и золото, но ничего не найдем в породе, окружающей ее. И еще Баллу сказал, что самое богатство под землей, и чем глубже залегает пласт, тем он богаче. Поэтому мы должны либо вырыть шахту глубиной, скажем, в сто футов, либо спуститься в долину и проложить штольню в склоне горы, — только так можно добраться до скрытых сокровищ. Ясно, что и то и другое потребует месяцев тяжелого труда, ибо за день мы могли в лучшем случае пробить пять или шесть футов. Но и это еще не все. Баллу сказал, что после того, как мы добудем руду, ее надо погрузить в фуры и доставить на отдаленную фабрику; там ее раздробят и путем длительного и дорогостоящего процесса извлекут из нее серебро. Вечность отделяла нас от богатства.

Однако мы взялись за работу. Решили прорыть шахту. Целую неделю, вооружившись кайлами, бурами, клиньями, ломами, заступами, жестянками с порохом и мотками шнура, мы влезали

на гору и трудились не жалея сил. Сначала дело у нас спорилось, потому что поверхностный слой состоял из мелко раскрошенной породы, и мы, взломав его кайлами, отваливали заступами. Но вскоре пошел сплошной камень, и мы пустили в ход ломы и клинья. Потом и этого оказалось недостаточно, и мы прибегли к пороху. Вот уж противная работа! Один из нас держал железный бур, а другой бил по нему восьмифунтовой кувалдой, точно вколачивая огромный гвоздь. Часа за полтора бур уходил вглубь на два — три фута, образуя дыру диаметром в несколько дюймов. Туда мы насыпали порох, вкладывали пол-ярда шнура, плотно заваливали его песком и гравием, потом поджигали шнур и удирали. Раздавался взрыв, камни взлетали в воздух, дым подымался к небу. После этого мы возвращались обратно и находили выброшенными на поверхность фунтов десять твердого, неподатливого кварца. И все. С меня хватило одной недели. Я отступился. Клаггет и Олифант последовали моему примеру. В нашей шахте было не больше двенадцати футов глубины. Мы решили, что это не годится и нам нужна штольня. Итак, мы спустились в долину и проработали там неделю; к концу ее мы проложили штольню такой глубины, что в ней свободно могла поместиться бочка, и рассудили, что этак футов через девятьсот мы доберемся до жилы. Я опять отступился, а остальные продержались еще один день. Мы решили, что штольня тоже не годится, а нам нужна уже разработанная залежь. Но таковой здесь не было.

Мы на время забросили «Повелителя гор». Между тем народу все прибывало, округ Гумбольдт, словно магнит, притягивал старателей. Мы тоже не избежали заразы и лезли из кожи вон, чтобы захватить как можно больше «футов». Мы ходили в разведку, открывали новые месторождения, прикрепляли к ним широковещательные заявки и давали им пышные наименования. Мы меняли свои участки и участки других владельцев. Вскоре мы уже были совладельцами таких приисков, как «Серый орел», «Колумбиана», «Филиал монетного двора», «Мария-Джейн», «Вселенная», «Умри, но добудь», «Самсон и Далила», «Сокровищница», «Голконда», «Султанша», «Бумеранг», «Великая республика», «Великий Могол», и с полсотни других «разработок», еще не тронутых ни кайлом, ни заступом. Нам принадлежало не менее тридцати тысяч футов на брата в «самых богатых в мире рудниках» — как их усердно рекламировали, — но мы задолжали мяснику. Нас била лихорадка, голова кружилась от счастья, горы будущих богатств грозили раздавить нас, мы с высокомерной жалостью взирали на миллионы несчастных тружеников, ничего не знающих о нашем волшебном ущелье, но в бакалейной лавочке

нам не отпускали в кредит.

Странная это была жизнь. Какая-то оргия нищих. Весь округ бездействовал — ничего не добывалось, не обрабатывалось, не производилось, не приобреталось, — и на всех приисках не нашлось бы денег на покупку сносного участка в восточных штатах, — а между тем со стороны могло показаться, что люди купаются в деньгах. С первым лучом рассвета они толпами выходили из поселка, а под вечер возвращались, таща на себе добычу, попросту говоря — камни. Карманы у всех были набиты ими, они усеивали пол в каждой хижине; снабженные ярлыками, они рядком красовались на полках.

ГЛАВА XXX

Бескорыстные друзья. — Как продавались «футы». — Мы больше не работаем. — Поездка в «Эсмеральду». — Мои спутники. — Индейское пророчество. — Потоп. — Наше убежище во время наводнения.

На каждом углу я встречал людей, которым принадлежали тысячи футов на неразработанных серебряных приисках и которые были убеждены, что каждый фут не сегодня-завтра будет стоить от пятидесяти до тысячи долларов, а покамест редко у кого из них нашлось бы и двадцать пять долларов. Каждый похвалялся своей новой заявкой и держал наготове «образцы»; при первом удобном случае он отводил вас в уголок и предлагал — не для своей, конечно, а для вашей пользы — уступить несколько футов «Золотого века», или «Сары-Джейн», или еще какого-нибудь богатейшего месторождения в обмен на стоимость сытного обеда. Но только, чур, никому не рассказывать о том, что он предлагал вам свои футы по столь убыточной цене, — ведь он идет на эту жертву ради чистой, бескорыстной дружбы. Тут он вытаскивал из кармана осколок камня и, опасливо озираясь, словно он ожидал, что при виде такого сокровища на него тотчас накинутся грабители, облизывал его языком, прикладывал лупу и восклицал:

— Гляньте-ка! Вон там, под красной пылью, видите? Видите крупинки золота? А прожилку серебра? Это с «Дяди Эйба». Там сто тысяч тонн такой руды прямо на поверхности. Понимаете, прямо на поверхности! А когда мы доберемся до коренной жилы, да это будет просто золотое дно! Вот, почитайте удостоверение! Я не прошу вас верить мне на слово, — почитайте!

И он вытаскивал из кармана замасленную бумагу, из которой явствовало, что подвергнутый испытанию образец содержит серебра и золота в соотношении стольких-то сотен или тысяч долларов на тонну. Я тогда еще не знал, что, по общепринятому обычаю, для пробы выбирали самый ценный образец. Сплошь да рядом в целой тонне пустой породы только один-единственный кусок величиной с орех содержал частицу металла, — и на основании этой частицы вычислялась средняя стоимость содержания золота и серебра!

Именно такая система вычисления и свела с ума округ Гумбольдт. Ссылаясь на результаты анализа, репортеры,

захлебываясь от восторга, уверяли, что порода стоит четыре, а то и семь тысяч тонна!

Помнит ли читатель отрывок из газетной статьи, приведенный в одной из предыдущих глав, где автор ее утверждал, что добытая руда будет отправлена в Англию, золото и серебро выплавлено и возвращено владельцам рудников в качестве чистой прибыли, ибо стоимость меди, сурьмы и других металлов, содержащихся в руде, с лихвой покроет издержки? Все обитатели округа бредили такими «расчетами» и окончательно теряли голову. Мало кто думал о том, сколько потребуется труда или наличных денег, — учитывали только чужой труд и чужие издержки.

Мы больше не притронулись ни к своей шахте, ни к штольне. Почему? Да потому, что, по нашему мнению, мы открыли подлинный секрет успеха на серебряных приисках, а именно: не добывать серебро в поте лица своего и силой рук своих, а продавать месторождения рабам, влачащим ярмо, — пусть они сами его добывают!

Перед моим отъездом из Карсона мы с братом приобрели у каких-то бродяг несколько паев в рудниках «Эсмеральда». Мы надеялись, что на нас незамедлительно посыплются золотые и серебряные слитки, но вместо этого с нас непрерывно требовали добавочных вкладов.

Наконец терпение наше лопнуло, и я решил лично проверить, как обстоят дела. Для этого мне нужно было съездить в Карсон, а оттуда в «Эсмеральду». Купив лошадь, я пустился в путь со стариком Баллу и одним джентльменом по фамилии Оллендорф, из пруссаков; но это был не тот Оллендорф, который принес столько страданий людям своими злосчастными учебниками иностранных языков, где до одури повторяются вопросы, немыслимые и неслыханные ни в одном человеческом разговоре. Почти три дня мы ехали верхами в метель и наконец прибыли на постоялый двор «Медовое озеро». Двухэтажное бревенчатое здание стояло на пригорке посреди обширной безлюдной низины, по которой уныло течет хилая речка Карсон. По соседству с постоялым двором находилась конюшня почтовой станции, сложенная из самана. Других строений не было на десятки миль в окружности. Под вечер подъехали возов двадцать сена; их поставили возле дома, а все возницы — компания в высшей степени неотесанная — пришли к нам ужинать. Кроме того, на постоялом дворе находились два кучера с почтовой станции и человек шесть бродяг и проходимцев; короче говоря, общество было многолюдное.

После ужина мы отправились в небольшой индейский

поселок, расположенный неподалеку. Индейцы почему-то отчаянно суетились, укладывали свои пожитки и спешно снимались с места. Коверкая слова, они кое-как объяснили нам, что «скоро много-много вода», знаками показывая, что будет наводнение. Погода стояла ясная, да и время года не сулило проливных дождей. В речушке уровень воды не превышал одного-двух футов, и была она не шире деревенского проулка; высота же берегов едва достигала человеческого роста. Так откуда тут взяться наводнению? Мы потолковали между собой и решили, что это хитрость, — по всей вероятности, у индейцев была другая причина, почему они так торопились уйти: кто же станет бояться наводнения в самое сухое время года?

В семь часов вечера мы улеглись спать в своей комнате на втором этаже, как всегда, не раздеваясь, и все трое на одной кровати, потому что двор был переполнен и постояльцы заняли не только все кровати, но и все кресла и все свободное пространство на полу. Час спустя нас разбудил сильный шум, и, выскочив из постели, мы с трудом пробрались к окнам между рядами спавших на полу людей. Удивительное зрелище открылось нам в лунном свете: подлая речка Карсон вздулась, вода, поднявшаяся вровень с берегами, мчалась как бешеная, бурля и пенясь на крутых поворотах и увлекая за собой дикий хаос бревен, вырванных с корнем кустов, всяческого мусора. Широкое углубление, где когда-то было старое русло, тоже быстро наполнялось, и кое-где вода уже перехлестывала через его края. Люди бегали взад и вперед, подтягивая скотину и возы поближе к дому; пригорок, на котором он стоял, был очень невелик — всего-то футов тридцать перед домом да футов сто позади. У старого русла реки стояла маленькая бревенчатая конюшня, и туда-то отвели наших лошадей. Вода прибывала так стремительно, что уже через несколько минут мимо конюшни с ревом несся поток, все выше и выше заливая бревенчатую стену. Мы вдруг сообразили, что наводнение — это не просто эффектная картина, а нешуточное дело и что может пострадать не только маленькая конюшня, но и почтовая станция, так как волны уже перекатывались на берег, бились о фундамент строений и заливали примыкающий к ним огороженный склад сена. Мы выбежали из дому и смешались с толпой встревоженных людей и перепуганных животных. По колено в воде мы добрались до конюшни и отвязали своих лошадей, а когда выводили их, вода уже была нам почти по пояс. Потом все ринулись к складу, стали растаскивать огромные стоги сена и вкатывать плотные охапки на пригорок, к постоялому двору. Между тем хватились Оуэнса — одного из кучеров почтовой станции; и его товарищ бросился к

конюшням, где вода доходила ему до края голенищ, нашел Оуэнса спящим, растолкал его и ушел. Но Оуэне еще не очнулся и опять задремал; однако спал он недолго: через две минуты, когда он повернулся на другой бок и рука его свесилась с койки, он попал пальцами в холодную воду, — она уже заливала тюфяк! Едва он успел, по грудь в воде, выбраться наружу, как саманные стены растаяли, словно сахар, и все здание в мгновение ока развалилось и было унесено потоком.

В одиннадцать часов вечера только крыша маленькой конюшни торчала над водой, а постоялый двор превратился в остров посреди океана. Безлюдная низина исчезла, и, насколько хватал глаз, вокруг расстилалась озаренная лунным сиянием водная ширь. Пророчество индейцев сбылось. Но как они узнали про наводнение? На этот вопрос я не берусь ответить.

Восемь дней и восемь ночей мы просидели взаперти вместе с другими постояльцами; с утра до вечера они бранились, резались в карты, а иногда для разнообразия затевали драку. Грязь, паразиты… но не будем вспоминать; такого изобилия и представить себе нельзя — да оно и к лучшему.

Среди постояльцев было двое… впрочем, эта глава и так уж достаточно длинна.

ГЛАВА XXXI

Постояльцы «Медового озера». — Воинственный пыл. — Жена хозяина. — Отъезд. — Переправа через Карсон. — На краю гибели. — Новый проводник. — Блуждание в снегу.

Среди постояльцев было двое, которые особенно мне докучали. Первый — низкорослый швед лет двадцати пяти, — видимо, знал только одну-единственную песню и не умолкая распевал ее. Весь день мы сидели в тесной, душной распивочной, и укрыться от его пения было некуда. Сквозь брань, пьяные выкрики и ссоры картежников непрерывно слышалась все та же назойливая, однотонная, нудная мелодия, и я дошел до того, что с радостью умер бы, лишь бы избавиться от этой пытки. Другой постоялец был рослый детина, прозванный «Арканзас», — с двумя пистолетами за поясом и охотничьим ножом за голенищем, вечно пьяный и вечно ищущий, с кем бы подраться. Но все так боялись его, что желающих не находилось. Он пускался на всевозможные хитрости, чтобы вынудить у кого-нибудь оскорбительное замечание, и когда ему казалось, что драка вот-вот завяжется, лицо его освещалось счастливой улыбкой; но намеченная жертва неизменно выскальзывала из ловушки, и он так искренне огорчался этим, что мне даже становилось жалко его. Наш хозяин Джонсон, безобидное, добродушное существо, сразу привлек внимание Арканзаса, и в течение нескольких дней он не давал ему покоя. На четвертое утро Арканзас напился и твердо решил не упускать случая. Вскоре в комнату вошел Джонсон, тоже успевший пропустить стаканчик виски, и с самым приветливым лицом сказал:

— А я так считаю, что выборы в Пенсильвании…

Арканзас предостерегающе поднял палец, и Джонсон умолк, Арканзас встал и, пошатываясь, подошел к Джонсону.

— Ш-што вы знаете о П-пенсильвании? — вопросил он, глядя в упор на Джонсона. — Отвечайте. Ш-што вы знаете о П-пенсильвании?

— Я только хотел сказать…

— Ах, вы только хотели сказать! Вот как! Вы только хотели сказать?.. А что вы хотели сказать? Вот именно. Это я и желаю знать. Я желаю знать, ш-што вы можете сказать о Пенсильвании (ик), раз уж у вас хватает нахальства! Отвечайте, я жду.

— Мистер Арканзас, разрешите мне…

— А кто вам запрещает? Прошу без намеков. И советую вам прекратить это безобразие: являетесь сюда, бранитесь, придираетесь, буйствуете. Я этого не потерплю. Если желаете драться — пожалуйста. С моим удовольствием. Валяйте!

Джонсон попятился в угол, Арканзас последовал за ним, грозно наступая на него.

— Мистер Арканзас, — пролепетал Джонсон, — я же ничего такого не сказал. Напрасно вы сердитесь. Я только хотел сказать, что через неделю в Пенсильвании будут выборы, только и всего, и ни словечка больше — провалиться мне на этом месте.

— Так почему же вы этого не сказали? Чего ради вы пыжитесь, устраиваете скандал?

— Мистер Арканзас, ничего я не пыжился, я только…

— А-а! Так значит, по-вашему, я вру, да? Вру?

— Мистер Арканзас, не надо… И в мыслях моих не было, вот сейчас помереть. Все знают, что я всегда хвалю вас, а уж уважаю, как никого другого из постояльцев. Спросите Смита. Верно ведь, Смит? Разве я не говорил вчера, что уж кто-кто, а Арканзас самый что ни на есть благородный джентльмен, как его ни поверни? Любой из моих уважаемых гостей может подтвердить, что это точные мои слова. Давайте, мистер Арканзас, выпьем с вами. Вот вам моя рука — и выпьем. Идите сюда, идите все! Я угощаю. Идите — и Билл, и Том, и Боб, и Скотти… Выпейте со мной и с Арканзасом, с моим другом Арканзасом, с моим сердитым другом Арканзасом. Дай руку, я хочу пожать ее. Нет, вы только посмотрите на него, ребята. Вот перед вами самый замечательный человек во всей Америке! И кто посмеет отрицать это, тот будет иметь дело со мной! Вот! Давай руку!

Они обнялись — хозяин с пьяным умилением, Арканзас сдержанно и холодно; ибо он, соблазнившись выпивкой, опять упустил добычу. Но неразумный хозяин от радости, что беда миновала, продолжал болтать, хотя ему следовало немедленно убраться. Не прошло и пяти минут, как Арканзас, грозно нахмурившись, перебил его:

— Будьте любезны повторить ваши последние слова, хозяин.

— Я говорил Скотти, что мой отец прожил больше восьмидесяти лет.

— И только?

— Да, и только.

— А больше ничего не говорили?

— Нет, ничего.

Наступило тягостное молчание.

Арканзас, лениво облокотившись на стойку, вертел в руках стакан. Потом он задумчиво почесал левую голень правым

сапогом. Зловещая тишина не прерывалась. Но вдруг он поднялся, подошел к печке; сердито растолкав гревшихся там людей, он занял их место, дал спящей собаке такого пинка, что та с воем забилась под скамью, после чего широко расставил свои длинные ноги и, подобрав полы сюртука, стал греть себе спину. Немного погодя он проворчал что-то, а затем медленно вернулся к стойке.

— Скажите на милость, хозяин, — заговорил он, — чего ради вы расхвастались? Что вы лезете с вашими покойниками? Может, вам наше общество не нравится? Так прямо и скажите. Может, нам лучше уйти отсюда? Этого вы добиваетесь? Так, что ли?

— Да господь с вами, Арканзас, я и не думал… Мой отец и моя мать…

— Вы опять за свое? Довольно! Если вам так уж хочется драться, надо сказать прямо (ик), а не тыкать в нос своей родней, которой и на свете-то нет. Мы люди тихие, смирные, пока нас не трогают. Чего вы взъелись? Просто понять не могу, что с вами творится сегодня?

— Я никого не хотел обидеть, Арканзас, поверьте мне, и если мои слова вам не по вкусу, я замолчу. Должно быть, я хватил лишнего, а тут еще наводнение, да полно постояльцев, всех накорми, за всеми пригляди…

— Ах вот оно что? Вот что вас грызет? Мы вам надоели. Нас слишком много. Вы хотите, чтобы мы взяли свои пожитки и пустились вплавь? Так я вас понял? Говорите!

— Успокойтесь, Арканзас, успокойтесь. Вы же знаете, не такой я человек, чтобы…

— Вы еще грозите? Мне? Да знаете ли вы, что еще не родился тот человек, который мог бы испугать меня? Это вы бросьте, голубчик, потому что я многое могу стерпеть, а уж этого не спущу. Выходи из-за стойки! Вот я поговорю с тобой! Так ты, пес ты этакий, задумал выгнать нас? Скажите, пожалуйста, — кричит, бранится, придирается, стращает! Я покажу тебе, как оскорблять джентльмена, от которого ты ничего, кроме добра, не видел!

— Пожалуйста, Арканзас, не стреляйте! Если прольется кровь…

— Вы слышите, джентльмены? Вы слышите, что он говорит? Крови захотел? Так я и знал, подлый убийца. Ты уже с самого утра замыслил убийство. И кого же ты хочешь убить? Меня? Да? Ну, попробуй, только ведь и я в долгу не останусь, сволочь, гадина, сукин сын! Где твое оружие?

Тут Арканзас начал палить, а хозяин прыгать через скамьи, через людей и другие препятствия, делая отчаянные попытки спастись бегством. Наконец, среди дикой суматохи он с грохотом

вывалился в застекленную дверь, а когда Арканзас ринулся за ним, на пороге появилась хозяйка, вооруженная ножницами. Она была просто великолепна! Высоко подняв голову, вперив в хулигана сверкающий гневом взор, она постояла с минуту, потом взмахнула ножницами и двинулась прямо на него. Застигнутый врасплох, Арканзас попятился. Она продолжала наступать. Шаг за шагом она оттеснила его на середину распивочной и здесь на глазах столпившихся вокруг восхищенных постояльцев так отчитала его, как, вероятно, еще не отчитывали ни одного смущенного и пристыженного хвастуна. Когда она умолкла и с торжеством удалилась, стены задрожали от грома рукоплесканий, и комната огласилась единодушным криком: «Ставлю выпивку на всех!»

Урок не прошел даром. Царство террора кончилось, и Арканзас утратил свое могущество. До самого последнего дня нашего заточения кто смиренно сидел в сторонке, не ввязываясь в споры, не похваляясь, безропотно снося оскорбления, которыми некогда раболепствовавшие перед ним постояльцы теперь щедро награждали его? Не кто иной, как Арканзас.

На пятый или шестой день вода начала спадать, но в старом русле еще бурлил глубокий и быстрый поток, и переправиться через него не было возможности. На восьмой день вода все еще стояла высоко, и пускаться в путь было отнюдь не безопасно, но жизнь на постоялом дворе из-за грязи, пьянства, драк и так далее стала едва переносимой, и мы решили попытать счастья. Несмотря на снежный буран, мы сели в лодку, захватив с собой седла и взяв лошадей на буксир за поводья. Пруссак Оллендорф работал веслом на носу, Баллу в середине, я сидел на корме и держал поводья. Когда лошади поплыли, Оллендорф испугался, как бы из-за них лодка не отклонилась от курса, и недаром: надо было причалить точно в определенном месте, иначе нас почти наверняка снесло бы течением в главное русло ручья, превратившегося в бурную реку. Это могло легко кончиться катастрофой, потому что нас либо увлекло бы во впадину, либо лодка опрокинулась бы, и волны поглотили нас. Мы предупреждали Оллендорфа, чтобы он не терял голову и действовал осмотрительно, но это не помогло; как только нос лодки ткнулся в берег, Оллендорф прыгнул, и в то же мгновение лодка перевернулась. Оллендорф ухватился за прибрежные кусты и вылез на сушу, а нам с Баллу пришлось плыть в теплых зимних пальто. Мы крепко держались за лодку, и хотя нас чуть было не занесло в реку, нам удалось достигнуть берега. С нас ручьями стекала вода, зуб на зуб не попадал от холода, но и мы и лодка были спасены. Лошади тоже переправились благополучно, зато

седла наши, конечно, погибли. Стреножив лошадей, мы оставили их на сутки в кустах полыни. Корм и попоны мы доставили им на лодке, сперва вычерпав из нее воду, сами же переночевали на постоялом дворе, отложив наше путешествие еще на один день.

Утром в снежную вьюгу мы снова переправились с нашими пожитками и новыми седлами. Мы сели на коней и поехали. Снег был так глубок, что и следа дороги не осталось, а снежные хлопья падали так густо, что в ста ярдах впереди уже ничего не было видно, и поэтому мы не могли определить направление по лежащим впереди горным кряжам. Дело явно принимало рискованный оборот, но Оллендорф сказал, что его чутье вернее всякого компаса и что он берется вывести нас к Карсон-Сити «как по струнке», самым прямым путем. Он уверял, что, случись ему отклониться хотя бы на пядь в ту или другую сторону, чутье станет язвить его, как нечистая совесть. Он поехал вперед, и мы, успокоенные его словами, бодро пустились вслед за ним. Сначала мы двигались довольно осторожно, но через полчаса мы увидели ямки от копыт в снегу, и торжествующий Оллендорф закричал:

— Говорил я вам, что мне можно верить, как компасу. Вот чьи-то свежие следы, и мы без всяких хлопот найдем по ним дорогу. Поедем побыстрей, догоним этих путников!

Мы пустили лошадей рысью, насколько это было возможно в глубоком снегу, и вскоре убедились, что догоняем наших предшественников, ибо следы становились все явственнее. Так мы ехали около часу, с удовлетворением отмечая, что ямки от копыт чем дальше, тем все глубже и свежей, однако — странное дело — число всадников, опередивших нас, видимо, неуклонно увеличивалось. Зачем такое множество путников скачет по снежной пустыне, да еще в самую вьюгу? Наконец мы решили, что это эскадрон из форта, и пришпорили коней, чтобы поскорей догнать его. Но следов становилось все больше и больше, — эскадрон каким-то чудом превратился в полк! По мнению Баллу, верховых уже было никак не меньше пятисот. Вдруг он осадил лошадь и сказал:

— Да это наши следы, ребята! Вот уже добрых два часа, как мы кружим на одном месте в этой проклятой пустыне. Ну и ну! Просто гидравлика какая-то!

И тут старика прорвало. Он, не стесняясь в выражениях, выложил Оллендорфу все, что думал о нем. Обозвал его мрачным кретином и в заключение ядовито заметил, что «такого дурака и среди логарифмов не сыщешь».

Сомнений не было — мы ехали по собственным следам. С этой минуты Оллендорф и его «чутье, которое вернее компаса» попали в немилость. Итак, после двухчасовой утомительной езды

мы снова очутились на берегу, а по ту сторону реки, сквозь снежную метель, смутно маячил постоялый двор. Пока мы раздумывали о том, что же нам теперь делать, неподалеку от нас причалила лодка, из нее вышел маленький швед и, затянув все ту же заунывную песню о «сестрице любимой» и «младенце в могиле родимой», пошел пешочком в сторону Карсон-Сити; через минуту он канул в белую бездну забвения, и никто больше о нем не слышал. Должно быть, он сбился с дороги и долго плутал по снегу, пока усталость не выдала его сну, а сон не отдал во власть смерти. Быть может даже, он кружил и кружил по нашим предательским следам до полного изнеможения и наконец упал, чтобы уже не встать.

Прошло еще несколько минут, и через быстро мелеющую реку вброд переправилась почтовая карета, совершая первый рейс после наводнения. Мы сразу повеселели и без колебаний последовали за ней, твердо веря в многоопытность кучера. Но наши усталые лошади не могли соперничать с хорошо отдохнувшей почтовой упряжкой. Очень скоро мы потеряли из виду карету; в этом еще не было беды: глубокие колеи, оставляемые колесами, указывали нам путь. Однако время уже подходило к трем часам пополудни, поэтому следовало ожидать скорого наступления темноты; она и наступила — и без долгих сумерек, а, как водится в этой стране, сразу, словно захлопнулась дверь подземелья. Снег валил все так же густо, и в пятнадцати шагах уже ничего нельзя было разглядеть; только справа и слева на ярко-белом снежном покрове виднелись маленькие холмики — засыпанные снегом кусты полыни, похожие на сахарные головы, да впереди темнели две едва приметные полоски, мы знали, что это след колес, но различать его нам становилось все труднее.

Кусты полыни были все одинаковы — фута три — четыре высотой; и росли они с равными промежутками — футов в семь — по всей обширной пустыне; куда ни повернись, всюду тянулись ряды совершенно одинаковых снежных холмиков, образуя что-то вроде аллей, как в умело разбитом фруктовом саду. Такая аллея, занесенная снегом, ничем по виду не отличалась от обыкновенной проезжей дороги — и ширина подходящая, и поверхность ровная, и края слегка приподняты. Но мы об этом не подумали. Легко себе представить, какой мороз подрал нас по коже, когда среди ночи мы вдруг сообразили, что давным-давно исчез последний намек на след почтовой кареты и что, быть может, мы едем между двумя рядами кустов, все дальше и дальше отклоняясь от дороги. Ледышка, сунутая за воротник, — одно удовольствие по сравнению с тем, что мы испытали. Вся кровь, мирно дремавшая последний час пути, всколыхнулась и

бросилась нам в голову, все силы души и тела пришли в движение. Мы сразу очнулись и опомнились. Ошеломленные, трясясь от страха, мы соскочили наземь и, согнувшись в три погибели, с тревогой стали разглядывать дорогу. Напрасный труд! Уж если мы с высоты четырех-пяти футов не могли различить ложбинку в снегу, то бесполезно было и пытаться это сделать, уткнувшись в нее носом.

ГЛАВА XXXII

Отчаянное положение. — Попытка разжечь костер. — Лошади покидают нас. — Перед лицом неизбежной смерти. — Отречение от пороков. — Трогательное прощание. — Забытье.

Мы предполагали, что находимся на дороге, но это еще ничего не доказывало. Чтобы удостовериться, мы разошлись в разные стороны; ровные ряды снежных холмиков и одинаковой ширины аллеи между ними убедили каждого из нас, что именно он нашел верный путь, а остальные ошиблись. Никаких сомнений — положение наше было отчаянное. Мы продрогли, измучились; лошади устали. Наконец мы решили развести костер и дождаться утра. Это было мудрое решение, ибо если мы сбились с пути и метель не утихнет и на другой день, то пагубнее всего для нас заехать еще дальше.

Мы все сошлись на том, что костер может явиться для нас спасением, и принялись за работу. Спичек у нас не нашлось, и мы попытались заменить их пистолетным огнем. Никто из нас никогда этого не делал, но никто не сомневался, что это можно сделать, и притом с легкостью, — ведь все мы столько раз читали такие описания и в простоте души верили им, так же как с детства привыкли верить в другую, столь же широко распространяемую книгами небылицу: что индейцы и заблудившиеся охотники добывают огонь трением одной сухой палочки о другую.

Мы стали на колени в глубоком снегу, а лошади сгрудились вокруг нас, склонив над нами свои кроткие морды. И пока пухлые снежные хлопья покрывали нас с ног до головы, превращая людей и животных в белую скульптурную группу, мы начали священнодействовать. Мы отламывали ветки кустарника и складывали кучкой на расчищенном месте, загораживая его собой. Десять минут спустя все было готово, разговоры прекратились, сердце у нас замерло, и Оллендорф, наставив пистолет, взвел курок и выстрелил. В ту же секунду все наше топливо исчезло с лица земли! Худшего провала и быть не могло.

Неудача потрясла нас, но мы мгновенно забыли о ней, когда с ужасом увидели, что нет лошадей! Держать поводья должен был я, но когда Оллендорф стрелял, я от волнения выпустил их из рук, и лошади, почуяв свободу, скрылись в снежном вихре. Не стоило и пытаться найти их: стука копыт не было слышно, и мы

не увидели бы их, пройдя мимо в двух шагах. Итак, мы махнули на них рукой и только еще раз выругали книги, которые нагло врут, будто лошади не покидают в беде своих хозяев и преданно защищают их.

Нам и до этого было не сладко, а уж теперь и вовсе стало тошно. Однако мы еще раз терпеливо, хотя и не обольщая себя надеждой, наломали прутиков, сложили кучкой, и опять Оллендорф уничтожил ее одним выстрелом. Видимо, разжечь костер при помощи пистолета — искусство, требующее навыка и опыта, а снежная пустыня, метель и ночь не время и не место для овладения этим мастерством. Мы отказались от пистолета и прибегли ко второму способу добывания огня. Каждый из нас вооружился двумя палочками и начал тереть их друг о друга. Через полчаса мы промерзли насквозь, кстати, промерзли и палки. Крепко досталось от нас и индейцам, и охотникам, и книгам, которые внушили нам такой вздор. В эту критическую минуту старик Баллу из какого-то забытого кармана вытащил вместе с трухой четыре спички. Четыре золотых слитка и то показались бы нам убожеством по сравнению с этой находкой! Даже трудно поверить, как хороши в иных случаях могут быть спички, — какие они милые, славные, а уж красивые — прямо какой-то неземной красотой! На этот раз мы разложили костер, окрыленные надеждой; а когда Баллу приготовился зажечь первую спичку, мы с таким судорожным вниманием следили за ним, что этого и на ста страницах не опишешь. Спичка весело горела с минуту, а потом погасла. Если бы так угасла человеческая жизнь, мы бы, кажется, с меньшим сокрушением вздохнули ей вослед. Вторая спичка зажглась и мгновенно потухла. Третью задул ветер в ту самую секунду, когда цель была почти достигнута. Мы еще поближе пододвинулись друг к другу и так и впились глазами в нашу последнюю надежду, которую старик Баллу тер о свою штанину. Спичка вспыхнула сперва слабым голубоватым огоньком, потом запылала ярким пламенем. Загораживая ее руками, старый кузнец медленно склонился, и за ним потянулись наши сердца — да и не только сердца, а мы сами, — кровь остановилась в жилах, дыхание сперло в груди. Наконец пламя лизнуло прутики, постепенно охватило их… помедлило… охватило сильнее… опять помедлило… замерло, не дыша, на пять мучительных секунд, потом тяжко, по-человечески, вздохнуло — и погасло.

Несколько минут мы безмолвствовали. Настала жуткая, зловещая тишина; даже ветер притаился и не шумел; беззвучно падали снежинки. Мало-помалу мы заговорили тихими, грустными голосами, и я вскоре понял, что никто из нас не

думает пережить эту ночь. А я так надеялся, что только я один пришел к такому выводу. Спокойные слова моих спутников о неминуемой гибели, ожидавшей нас, прозвучали для меня как грозный приговор. Оллендорф сказал:

— Братья, умремте вместе. И да не будет в сердцах наших вражды друг к другу. Забудем и простим прошлые обиды. Я знаю, вы гневались на меня за то, что я опрокинул лодку, что я зазнавался и водил вас кругом по снегу; но я не имел дурных намерений. Простите меня. Каюсь, я разозлился на мистера Баллу, когда он бранил меня и обозвал логарифмом, хотя я и не знаю, что это такое, но, видимо, в Америке это считается неприличным и постыдным, и меня это все время грызло, и мне было очень больно… но пусть, пусть, я от всего сердца прощаю мистера Баллу, и…

Бедный Оллендорф не выдержал и заплакал. Да не он один: слезы текли и у меня и у старика Баллу. Когда Оллендорф снова обрел дар речи, он простил мне все, что я говорил и делал. Потом он вытащил бутылку и объявил, что впредь, живой или мертвый, и капли в рот не возьмет. Он сказал, что уже не надеется на спасение и хотя плохо приготовился к смерти, однако со смирением покоряется своей участи; что он очень хотел бы еще немного пожить на свете, не из каких-нибудь себялюбивых побуждений, но чтобы исправиться; он стал бы усердно помогать бедным, ухаживать за больными и увещевать своих ближних, предостерегая их от греха невоздержания, — словом, явил бы молодому поколению благодетельный пример и наконец испустил бы дух, утешаясь мыслью, что прожил свою жизнь не напрасно. В заключение он сказал, что исправляться он начнет сию минуту, перед лицом смерти, поскольку ему не отпущено времени сделать это в назидание и во благо людям, — и с этими словами он далеко зашвырнул бутылку.

Баллу выразился в таком же духе и свое исправление перед лицом смерти начал с того, что выбросил замасленную колоду карт, которая одна только утешала нас и поддерживала в нас мужество, когда мы были узниками постоялого двора. Он сказал, что никогда не играл в азартные игры, но все равно, по его мнению, брать карты в руки пагубно, и только отрекшись от них, человек может достичь непорочной чистоты. «И потому, — продолжал он, — отрекаясь от них, я уже чую, как на меня нисходит благостная вакханалия, без которой немыслимо полное, беспардонное покаяние». Самые задушевные, но понятные слова не растрогали бы старика так, как это загадочное изречение, и он зарыдал хоть и горестно, но не без тайного самодовольства.

Мои собственные речи мало чем отличались от признаний

товарищей, и чувства, подсказавшие их, были искренни и чистосердечны. Все мы в ту минуту перед лицом неминуемой смерти говорили искренне, умиленно и торжественно. Я бросил в снег свою трубку, радуясь, что наконец избавился от ненавистного порока, который всю жизнь тиранически владел мною. И тут же я подумал: сколько добра я мог бы сделать на своем веку и чего только не сделал бы теперь, когда познал более чистые побуждения, более возвышенные цели, если бы судьба подарила мне еще хоть несколько лет. Эта мысль сразила меня, и я снова заплакал. И все трое, крепко обнявшись, мы стали ждать коварной дремоты, которая предшествует смерти от замерзания.

Вскоре нас начало клонить ко сну, и мы сказали друг другу последнее прости. Упоительный покой словно паутиной обволакивал мое покорившееся сознание, снежинки ткали легкий саван, окутывая обессиленное тело. Настало забытье. Битва жизни кончилась.

ГЛАВА XXXIII

Пробуждение. — Позорное открытие. — Почтовая станция. — Злость. — Плоды покаяния. — Воскресшие пороки.

Не знаю, долго ли длилось беспамятство, но мне казалось, что прошла целая вечность. Мало-помалу сознание мое стало проясняться, потом заломило руки и ноги, заныло все тело. Я содрогнулся. Мозг пронизала мысль: «Вот она, смерть, я уже на том свете».

Рядом со мной приподнялась белая горка, и сердитый голос произнес:

— Окажите любезность и поддайте мне в зад.

Это сказал Баллу, — или, во всяком случае, пухлая снежная фигура в сидячем положении говорила его голосом.

Я поднялся на ноги, глянул — и что же? В пятнадцати шагах от нас, в серой предрассветной мгле виднелась почтовая станция, а под навесом стояли наши лошади, оседланные и взнузданные!

Высокий снежный сугроб вдруг развалился, из него вылез Оллендорф, и мы все трое в глубоком молчании уставились на станционные строения. Да и что могли мы сказать? Нам оставалось только хлопать глазами. Мы попали в такое дурацкое, такое позорно нелепое положение, что слова были бессильны, да мы и не знали, с чего начать.

Грозная опасность миновала, но радость, вспыхнувшая в наших сердцах, была отравлена. По правде говоря, мы почти не чувствовали ее. Наоборот, мы сразу помрачнели и надулись; злясь друг на друга, на самих себя, на весь мир, мы сердито отряхнулись от снега и гуськом, как чужие, двинулись к лошадям, расседлали их и пошли искать приюта на станции.

Я не погрешил против истины, повествуя об этом забавном приключении. Все произошло почти в точности так. Мы действительно застряли в снежной пустыне во время бурана и, потеряв всякую надежду на спасение, уснули в пятнадцати шагах от гостиницы.

Добрых два часа мы просидели в разных углах, переваривая свое унижение. Ничего загадочного уже не было в бегстве наших лошадей, — они покинули нас по вполне понятным причинам. Конечно, они в несколько секунд добрались до навеса и, должно быть, не без удовольствия слушали наши исповеди и жалобы.

После завтрака мы повеселели и вскоре опять обрели вкус к

жизни. Мир снова засверкал всеми красками, земное бытие сулило блаженство. Вдруг я почувствовал смутное беспокойство… потом оно усилилось и властно овладело мной… Увы! Мое обновление не успело завершиться — мне мучительно хотелось курить! Я всеми силами противился соблазну, но плоть была слаба. Целый час бродил я в одиночестве, борясь с самим собой. Я вспоминал свои клятвы исправиться и укорял себя горько, убедительно, настойчиво. Но все было тщетно, — и вскоре я уже рыскал по сугробам в поисках моей трубки. Я нашел ее и, чтобы насладиться ею, спрятался за угол сарая. Меня терзала мысль, что сказали бы мои более стойкие, более сильные духом и верные своему слову товарищи, если бы увидели мое падение. Когда я наконец закурил, то почувствовал себя последним мерзавцем и негодяем. Мне стыдно было самого себя. Опасаясь, что убежище мое недостаточно надежно, я решил пройти дальше, к задней стене сарая. В то время как я огибал угол, попыхивая трубкой, из-за противоположного угла показался Оллендорф с прижатой к губам бутылкой виски, а между нами сидел Баллу и самозабвенно раскладывал пасьянс своими замасленными картами.

Всему есть предел — даже человеческой глупости. Мы пожали друг другу руки и условились больше не поминать об обетах и не являть пример грядущим поколениям.

Станция, куда мы забрели, находилась на краю Двадцатишестимильной пустыни. Если бы накануне мы подъехали к ней на полчаса раньше, мы услышали бы крики и пистолетные выстрелы: на станции ждали погонщиков с отарами овец, и, чтобы они не заблудились и не погибли, им подавали сигналы. Трое из погонщиков действительно прибыли еще при нас, полумертвые от усталости, но два остальных так и пропали без вести.

Добравшись до Карсона, мы решили отдохнуть, прежде чем ехать в Эсмеральду. На отдых и сборы в дорогу ушла целая неделя, и благодаря этой задержке нам посчастливилось присутствовать на разбирательстве тяжбы между Гайдом и Морганом — знаменитой тяжбы об оползне, память о которой жива в Неваде и по сей день. После нескольких необходимых разъяснений я изложу историю этого интереснейшего процесса в точности так, как она дошла до меня.

ГЛАВА XXXIV

Вокруг Карсон-Сити. — Генерал Банкомб. — По иску Гайда к Моргану. — Как Гайд лишился своего ранчо. — Тяжба об оползне. — Судебное разбирательство. — Мудрое решение. — Глубокомысленная поправка.

Горы вокруг долин Карсона, Игла и Уошо очень высокие и крутые — такие высокие и крутые, что весной, когда снега стремительно тают и земля, потеплев, становится мягкой и влажной, начинаются оползни. Читателю не понять, что такое оползни, если он не живет в тех краях и не видел своими глазами, как в один прекрасный день какой-нибудь горный склон весь целиком соскальзывает вниз и оседает в долине, оставив на круче огромную безлесную уродливую плешь, дабы все, кто живет в окружности семидесяти миль от места катастрофы, помнили об этом событии до самой смерти.

Среди товарных грузов, отправленных в Неваду, была и партия чиновников, и в их числе — генерал Банкомб, назначенный на пост прокурора Соединенных Штатов. Он был весьма высокого мнения о своих юридических талантах и жаждал проявить их, во-первых, из бескорыстного желания потешить свое самолюбие, а во-вторых, из-за скудости прокурорского жалованья в территории Невада (что означает последнюю степень скудости). Но уж так повелось, что старожилы любой новой территории взирают на остальной мир с тихой беззлобной жалостью, пока он им не мешает, а если помешает — щелкнут по носу. Иногда щелчок принимает форму далеко не безобидной шутки.

Однажды утром Дик Гайд подскакал к дому генерала Банкомба в Карсон-Сити и, даже не привязав лошадь, вломился в комнаты. Он прямо рвал и метал. Генералу он заявил, что поручает ему вести судебное дело и в случае победы заплатит пятьсот долларов. После этого, яростно размахивая руками и не стесняясь в выражениях, он поведал о своих обидах. Он сказал, что, как известно, уже несколько лет ему принадлежит ферма (или — пользуясь более привычным названием — ранчо) в округе Уошо, которая приносит хороший доход, и что опять-таки, как известно, ранчо расположено на дне долины, а вплотную над ним, на склоне горы, находится ранчо Тома Моргана. Но вот беда: случился такой-сякой оползень, и ранчо Моргана — и забор, и дом, и скот, и сарай — все как есть — съехало вниз и накрыло

его, Дика, ранчо, так что и следа не осталось, лежит теперь под землей на глубине тридцати восьми футов! А Морган хорохорится и не желает уходить, говорит, что занимает свой собственный дом и никого не трогает и что, мол, его дом стоит на той же земле, и на том же ранчо, где стоял спокон века, и желал бы он посмотреть, кто заставит его уйти.

— А когда я напомнил ему, — продолжал Гайд, заливаясь слезами, — что его участок сидит на моем ранчо и что он нарушил границы моих владении, этот мерзавец не постыдился спросить, почему я, увидев, что он наваливается на меня, не остался на своей земле и не защищал свои права. Почему я не остался! Повернется же язык сказать такое! Ну не сумасшедший ли? Как я услышал грохот да глянул вверх — точно весь божий мир покатился под гору — посыпались щепки, поленья, клочья сена, гром гремит, молния сверкает, снег, град, пыль столбом! Деревья летят вверх тормашками, камни с дом величиной подпрыгивают на тысячу футов и раскалываются на десять миллионов кусков, скотина выворачивается наизнанку, хвосты торчат между зубами! Все падает, все рушится, — а этот Морган, чтоб ему, сидит себе верхом на калитке и спрашивает, почему я не остался и не защищал свои права! Ах ты боже мой! Да я как глянул один разок — только меня и видели в нашем округе. Ну разве не обидно? Ведь этот растреклятый Морган не хочет уходить, говорит, что это его ранчо, да еще похваливает: здесь, мол, лучше, чем было, — пониже. Совсем спятил! Я так озлился, что два дня не мог добраться до города, кружил на голодное брюхо по зарослям… Нельзя ли выпить у вас чего-нибудь, генерал? Но теперь я здесь и буду судиться. Слово мое твердо.

Как возмутился генерал! Наверно, никто никогда так не возмущался. Он сказал, что в жизни своей не слыхал о такой наглости. И еще он сказал, что и судиться незачем — у Моргана нет решительно никакого права оставаться на ранчо, никто не поддержит его притязаний, ни один адвокат не возьмется за это дело, и ни один судья не станет слушать его. Гайд возразил, что генерал ошибается, — весь город на стороне Моргана: его дело ведет Хэл Брейтон, очень ловкий адвокат; а так как сейчас заседания суда прерваны на каникулы, то дело будет разбираться третейским судом, и даже назначен судья — бывший губернатор Руп, и слушание начнется в два часа пополудни, в большом общественном зале, неподалеку от городской гостиницы.

Генерал был поражен. Он сказал, что он и раньше подозревал, что жители территории дураки, а теперь убежден в этом. Но будьте покойны, сказал он, приведите свидетелей и не расстраивайтесь, считайте, что вы уже выиграли тяжбу. Гайд

вытер слезы и ушел.

В два часа пополудни судья Руп в присутствии шерифов, свидетелей и многочисленной публики открыл заседание; при этом лицо его выражало такую сугубую торжественность, что кое-кому из его друзей-заговорщиков стало не по себе и в душу их закралось сомнение, а вдруг да он все-таки не понял, что это только шутка? В зале стояла гробовая тишина, ибо при малейшем шорохе судья грозно рычал:

— Соблюдайте порядок!

И рык его тотчас подхватывали шерифы. Но вот появился генерал Банкомб, он проталкивался сквозь толпу зрителей, нагруженный сводами законов, и слуха его коснулся возглас судьи, в котором впервые прозвучало почтительное признание его высокого сана, сладостным трепетом отдавшееся в генеральском сердце.

— Пропустите прокурора Соединенных Штатов!

Начался допрос свидетелей, среди них были члены законодательного собрания, правительственные сановники, владельцы ранчо, рудокопы, индейцы, китайцы, негры. Три четверти свидетелей привел ответчик Морган, но тем не менее показания их неизменно шли на пользу истцу Гайду. Каждое новое свидетельство подтверждало всю нелепость притязаний Моргана, предъявлявшего права на чужую недвижимость только потому, что его ранчо съехало на нее. Потом адвокаты Моргана выступали с речами — с удивительно слабыми речами, в сущности никакого проку от них не было. А затем встал генерал Банкомб и заговорил страстно, вдохновенно: он стучал кулаком по столу, хлопал ладонью по сводам законов, он кричал, ревел, вопил, цитировал все и вся — тут были и стихи, и статистика, и история, и сарказм, и патетика, и эстетика, и брань, — и завершилось все это боевым кличем во славу свободы слова, свободы печати, свободы просвещения, могучего американского орла и незыблемых устоев справедливости! (Аплодисменты.)

Когда генерал сел на свое место, он не сомневался: если только неопровержимые улики, блестящая речь и выражение доверия и восторга на лицах окружающих что-нибудь значат, то дело мистера Моргана — труба. Бывший губернатор Руп подпер голову рукой и задумался, а публика в полной тишине ждала его решения. Через несколько минут он поднялся и, склонив голову, еще немного подумал. Потом начал ходить взад и вперед, медленно, размашисто, держась за подбородок, а публика все ждала. Наконец он подошел к своему креслу, воссел на него и заговорил внушительно:

— Господа, я понимаю, какая великая ответственность ныне

легла на мои плечи. Это не обыденная тяжба. Напротив, всякому ясно, что едва ли смертному приходилось выносить решение в столь неслыханном, в столь страшном деле. Господа, я внимательно слушал свидетельские показания, и я убедился, что большая часть их, подавляющая часть — в пользу истца. Я также с величайшим интересом выслушал адвокатов, и я хотел бы особенно отметить блестящую, неопровержимую логику в речи уважаемого джентльмена, поддерживающего иск. Но, господа, поостережемся! Допустимо ли, чтобы свидетельства смертных, доводы и соображения смертных, их понятия о справедливости влияли на нас в столь роковую минуту? Господа, смеем ли мы, ничтожные черви, посягать на волю провидения? Для меня ясно, что провидение в неисповедимой мудрости своей почло за благо переместить ранчо ответчика. Мы всего только создания творца нашего и должны покоряться. Если провидение ниспослало ответчику Моргану столь явную и необычную милость; если расположение недвижимости Моргана на склоне горы было ему неугодно и оно передвинуло ее на другое место, более удобное и выгодное для владельца, то нам ли, тварям земным, оспаривать законность этих действий или доискиваться причин, побудивших их? Нет! Провидение создало эти ранчо, и его неотъемлемое право перекраивать их, перетасовывать, передвигать с места на место как ему вздумается. А наше дело — подчиняться и не роптать. Вдумайтесь в то, что случилось; ни грешные руки, ни людские суетные мысли и слова не должны противиться сему. Господа, суд постановляет, что истец Ричард Гайд лишился своего ранчо в силу божьего испытания. Решение суда обжалованию не подлежит.

Генерал Банкомб подхватил свои своды законов и, пылая негодованием, выскочил из зала. Он обругал Рупа болваном, ослом, круглым идиотом. Вечером он сделал еще одну попытку доказать Рупу несуразность его решения и чуть не со слезами умолял его с полчаса походить по комнате и хорошенько подумать, нельзя ли хоть как-нибудь поправить дело. Руп наконец уступил его просьбам и зашагал взад и вперед. Прошагав два с половиной часа, он вдруг просиял и радостно объявил Банкомбу, что ведь старое ранчо под новым ранчо Моргана все еще принадлежит Гайду, что его право на эту землю бесспорно, и потому ничто не мешает ему откопать ее из-под…

Генерал не дослушал Рупа. Он вообще был человек нетерпеливый и раздражительный. Только спустя два месяца догадка о том, что над ним посмеялись, не без труда, словно Хусакский туннель[31], вгрызающийся в недра гор, пробила несокрушимую толщу его сознания.

ГЛАВА XXXV

Новый спутник. — Все полно. — Как капитан Най достал комнату. — Прокладка штолен. — Яркий пример. — Мы спекулируем на заявках и терпим неудачу. — На дне.

Когда мы наконец сели в седло и поехали в Эсмеральду, к нашей компании присоединился новый спутник — капитан Джон Най, брат губернатора. У него была отличная память и хорошо подвешенный язык. Эти два качества, соединенные в одном лице, — залог бессмертия дорожных разговоров. За все сто двадцать миль пути капитан ни разу не дал беседе оборваться или замереть. Но он показал себя не только неутомимым говоруном — у него обнаружились и другие ярко выраженные таланты. Во-первых, это был мастер на все руки, он умел делать решительно все: и проложить железную дорогу, и учредить политическую партию, и пришить пуговицу, подковать лошадь, поправить сломанную ногу или посадить курицу на яйца. Во-вторых, он отличался необыкновенной услужливостью, побуждавшей его брать на себя все нужды, затруднения и горести всех и вся во всякое и любое время и разделываться с ними с поразительной легкостью и быстротой, — а потому ему неизменно удавалось достать свободные койки в переполненных гостиницах и обильную пищу в самых опустошенных кладовых. И наконец, где бы он ни встретил мужчину, женщину или ребенка — в поселке, в гостинице или в пустыне, — всегда оказывалось, что если уж он лично незнаком с ними, то непременно знает кого-нибудь из их родственников. Такого второго спутника днем с огнем не найдешь. Не могу удержаться, чтобы не привести пример его умения преодолевать препятствия. На второй день пути, усталые и голодные, мы подъехали к убогому постоялому двору среди пустыни, но нам объявили, что двор переполнен, припасы все вышли и нечем кормить лошадей — нет ни сена, ни ячменя, так что ступайте дальше. Мы хотели тут же двинуться в путь, чтобы добраться до ночлега засветло, но капитан Джон уговорил нас немного повременить. Мы спешились и вошли в дом. Ни на одном лице не заиграла приветливая улыбка. Капитан Джон немедленно пустил в ход все средства обольщения и в каких-нибудь двадцать минут успел сделать нижеследующее: нашел среди погонщиков трех старых знакомых; обнаружил, что учился в школе вместе с матерью хозяина; узнал в его жене ту

всадницу, которой некогда в Калифорнии спас жизнь, остановив понесшую лошадь; починил сломанную игрушку и тем завоевал расположение матери ребенка — гостьи постоялого двора; помог конюху пустить кровь лошади и дал совет, как лечить другую лошадь, страдающую запалом; трижды угостил всех посетителей распивочной; вытащил из кармана самую свежую газету, какую здесь видели за последнюю неделю, и прочитал новости глубоко заинтересованным слушателям. В итоге произошло вот что: конюх нашел обильный корм для наших лошадей, мы поужинали форелью, отлично провели вечер в приятном обществе, выспались в мягких постелях, утром сытно позавтракали, — а когда мы собрались уезжать, все заливались горючими слезами! У капитана Джона были свои недостатки, но его выдающиеся достоинства с лихвой искупали их.

Прииск «Эсмеральда» во многих отношениях был вторым «Гумбольдтом», только несколько более передовым. Я увидел, что участки, за разработку которых мы выплачивали деньги, не имеют никакой цены, и мы от них отказались. На одном из них залежь выходила на поверхность у вершины пригорка высотой в четырнадцать футов, и предприимчивые члены правления пробивали под ним штольню, чтобы добраться до жилы. Штольня должна была иметь семьдесят футов в длину и дойти до жилы на том самом уровне, на котором ее достигла бы шахта глубиной в двенадцать футов. Существовала же компания за счет денег, взимаемых с пайщиков. (NB. — Это предостережение уже не может помочь некоторым нью-йоркским охотникам за серебром; они успели на собственной шкуре подробно ознакомиться с этим трюком.) Члены правления не имели ни малейшего желания добраться до пласта, зная, что серебра в нем не больше, чем в булыжнике. Такой же случай произошел с штольней Джима Таунсенда. Он делал взносы на прииск под названием «Делли», пока не остался без гроша. Напоследок с него потребовали деньги за прокладку штольни длиной в двести пятьдесят футов, и Таунсенд поднялся на гору — самому поглядеть, что к чему. Он обнаружил, что залежь выходит на поверхность у верхушки крутого остроконечного холма; несколько рабочих уже возились у начала предполагаемой штольни Таунсенд мысленно сделал подсчет. Потом он обратился к ним:

— Так вы подрядились проложить штольню в двести пятьдесят футов, чтобы добраться до пласта?

— Да, сэр.

— А вы знаете, что вы взяли на себя задачу, требующую таких непомерных расходов и трудов, как ни одно предприятие, когда-либо задуманное человеком?

— Да нет… А почему так?

— А потому, что этот пригорок всего только двадцать пять футов в поперечнике, и для двухсот двадцати пяти футов вашей штольни вам придется соорудить эстакаду!

Пути заправил серебряными рудниками чрезвычайно темны и извилисты.

Мы застолбили несколько участков и начали рыть шахты и штольни, но ни одной не довели до конца. Нам пришлось хоть немного поработать на каждом участке, иначе кто-нибудь другой по истечении десяти дней имел бы право завладеть нашей собственностью. Мы все время охотились за новыми заявками, а поработав немного, дожидались покупателя, но он никогда не показывался. Мы ни разу не наткнулись на руду, которая давала бы больше пятидесяти долларов с тонны; и так как фабрики брали пятьдесят долларов с тонны за обработку руды и выплавку серебра, то наши карманные деньги неуклонно таяли, а пополнить карманы было нечем. Поселились мы в тесной хижине, сами на себя стряпали; вообще жилось трудно, хотя и не безрадостно, — нас не покидала надежда, что вот-вот явятся покупатели и мы сразу разбогатеем.

Наконец, когда цена на муку достигла доллара за фунт и никто уже не давал денег взаймы иначе как из восьми процентов в месяц, и то под верный залог (а у меня и залога не было), я бросил старательство и подался в промышленность. Другими словами, я поступил простым рабочим на обогатительную фабрику — за десять долларов в неделю плюс харчи.

ГЛАВА XXXVI

Обогатительная фабрика. — Амальгамирование. — Грохочение хвостов. — Первая обогатительная фабрика в Неваде. — Анализ пробы. — Ловкий химик. — Я требую прибавки.

Я уже знал, как трудно, кропотливо и скучно рыться в недрах земли и добывать драгоценную руду; теперь я узнал, что это еще полдела, а вторая половина — нудное и утомительное извлечение серебра из руды. Мы начинали в шесть утра и работали до темноты. Наша фабрика была в шесть толчей, с паровым приводом. В железном ящике, называемом «толчейный стан», точно исполняя какой-то неуклюжий, грузный танец, по очереди ходили вверх и вниз шесть высоких железных стержней толщиной с мужскую лодыжку, подбитых в нижнем конце тяжелым стальным башмаком и скрепленных воедино наподобие ворот. Каждый из этих стержней — или толчей — весил шестьсот фунтов. Один из нас весь день стоял у стана, разбивая балдой содержащую серебро породу и ссыпая ее в ящик. Непрерывная пляска стержней толкла породу в порошок, а струйка воды, стекавшая в стан, превращала его в жидкую кашицу. Самые крохотные частицы пропускались сквозь мелкий проволочный грохот, плотно облегающий стан, и смывались в большие чаны, подогреваемые паром, — так называемые амальгаматоры. Измельченная масса в чанах все время перемешивалась вращающимися бегунами. В толчейном стане всегда находилось определенное количество ртути, которая схватывалась с выделившимися крупицами золота и серебра и держала их; в амальгаматоры каждые полчаса, тоже понемногу, подбавляли ртуть, пропуская ее через мешок из оленьей кожи. Иногда подсыпали также поваренную соль и медный купорос, чтобы разрушить простые металлы, покрывающие золото и серебро и препятствующие растворению их в ртути, и тем ускорить амальгамацию. Всю эту скучную работу надо было делать неустанно. Из чанов беспрерывно грязными потоками лилась вода и по широким деревянным желобам стекала в овраг. Трудно поверить, что крупинки золота и серебра могут плавать на поверхности воды глубиной в шесть дюймов, однако это именно так; чтобы собрать их, в желоба клали плотные одеяла или ставили поперек желоба планки, а между ними наливали ртуть.

Планки надо было чистить, а одеяла промывать каждый вечер, извлекая из них скопившиеся за день богатства, — и после всей этой бесконечной возни одна треть серебра и золота, содержащегося в тонне породы, уходила из желоба в овраг, чтобы когда-нибудь снова попасть в толчейный стан. Нет работы хуже, чем на обогатительной фабрике. Ни минуты передышки. Всегда что-нибудь надо было делать. Жаль, что Адам не мог отправиться из рая прямехонько на такую фабрику, — тогда он понял бы всю силу проклятия «в поте лица твоего будешь есть хлеб». Время от времени, в течение дня, мы выковыривали немного пульпы из чанов и промывали ее в роговой ложке, медленно, постепенно сливая воду через край, пока ничего не оставалось, кроме нескольких тусклых ртутных шариков на дне. Если они были мягкие, податливые, значит в чан, для пищеварения, надо добавить соли, или медного купороса, или еще какой-нибудь химической дряни; а если твердые и при нажиме сохраняли ямку — это значило, что они уже нагрузились всем золотом и серебром, которое способны связать и удержать, и, следовательно, амальгаматор нуждается в свежей порции ртути. Когда больше нечего было делать, в запасе всегда оставалось «грохочение хвостов». Другими словами, каждый из нас мог взять в руки лопату и кидать просохший песок, спущенный по желобам в овраг, в стоячий грохот, — для того, чтобы очистить его от мелких камней, прежде чем снова пустить в обработку. На разных фабриках применяли различные способы амальгамирования, и, соответственно, амальгаматоры и другие механизмы отличались одни от других, и шли жаркие споры о том, какое оборудование лучше; но как бы ни разнились между собой методы производства отдельных фабрик, не было ни единой, которая отказалась бы от «грохочения хвостов». Из всех удовольствий, существующих на свете, грохочение хвостов в жаркий день, при помощи лопаты с длинной рукоятью, — наименее соблазнительное.

В конце недели толчею остановили, и мы занялись «чисткой». То есть вынули пульпу из чанов и стана и терпеливо вымывали грязь, пока не осталась только скопившаяся за неделю ртутная масса вместе с плененными ею сокровищами. Из нее мы лепили тяжелые плотные снежки и складывали их для обозрения в роскошно поблескивающую груду. Эта работа стоила мне прекрасного золотого кольца — работа вкупе с невежеством, — ибо ртуть проникла в золото с такой же легкостью, с какой вода пропитывает губку, разъединила частицы, и кольцо раскрошилось.

Потом мы сложили нашу груду ртутных шаров в железную реторту, соединенную трубой с ведром воды, а затем нагрели ее

до температуры обжига. Ртуть превратилась в пар, прорвалась по трубе в ведро, и вода снова превратила ее в хорошую, полноценную ртуть. Ртуть очень дорога, и ее берегут. Открыв реторту, мы увидели плод наших усилий за целую неделю — ком очень белого, точно подернутого инеем серебра величиной с две человеческие головы. Вероятно, ком на одну пятую состоял из золота, но по цвету этого нельзя было определить, даже если бы он состоял из золота на две трети. Мы расплавили серебро, а потом, налив его в железную форму, изготовили крепкий сплошной брус.

Вот каким кропотливым и нудным способом делали серебряные слитки. Наша фабрика была только одна из многих, работавших в то время. Самую первую в Неваде соорудили у каньона Эган — маленькую, маломощную фабрику, которая и в сравнение не шла с громадными предприятиями, впоследствии открывшимися в Вирджиния-Сити и в других городах.

В пробирной конторе от наших брусков откололи по уголку и подвергли эти кусочки анализу для определения, сколько в руде содержится золота, серебра и простых металлов. Это очень любопытный процесс. Пробу расплющивают молотком в пластинку не толще бумаги и взвешивают на таких чувствительных весах, что если положить на них клочок бумаги величиной в два дюйма, потом написать свое имя мягким жирным карандашом и опять взвесить, то они покажут разницу. Потом в серебряную пластинку закатывают кусочек свинца (тоже взвешенный) и все вместе плавят при высокой температуре в маленьком сосуде — «пробирной чашке», которая отливается в стальной форме из спрессованной золы от пережженных костей. Простые металлы окисляются, и пористые стенки чаши всасывают их вместе со свинцом. Остается шарик чистейшего золота или серебра, и производящий анализ лаборант, отметив потерю в весе, определяет относительное содержание простых металлов в бруске. Затем он должен отделить золото от серебра. Шарик опять расплющивают в тонкую пластинку, помешают ее в печь и накаляют докрасна; немного погодя ей дают остыть, скатывают в трубочку и нагревают в стеклянном сосуде, содержащем азотную кислоту. Кислота растворяет серебро, остается чистое золото и уже как таковое кладется на весы. Потом подливают в сосуд соленой воды, и растворенное серебро снова становится осязаемым и падает на дно. Остается только взвесить его. Теперь относительный вес всех металлов, содержащихся в бруске, известен, и лаборант ставит на нем пробу.

Догадливый читатель, конечно, уже сам понял, что владелец рудника, выбирая образец породы для анализа (который помогает

ему сорвать большой куш за рудник), не имел обыкновения выискивать наименее ценный обломок на своих отвалах. Как раз наоборот. Я видел, как люди целый час рылись в куче почти ничего не стоящего кварца, пока не находили кусочек величиной с орех, богатый золотом и серебром, — и этот кусочек и сохраняли для анализа! Разумеется, анализ покажет, что тонна этого кварца приносит сотни долларов, — и на основании такого анализа продавались рудники, не представлявшие никакой ценности.

Анализы были выгодным делом, и потому ими нередко занимались люди, не имеющие для этого ни достаточных знаний, ни способностей. Один лаборант получал такие многообещающие данные из любой предъявленной ему пробы, что с течением времени сделался чуть ли не монополистом. Но, как и все преуспевшие люди, он стал предметом подозрений и зависти. Другие лаборанты составили против него заговор и в доказательство своих честных побуждений посвятили в тайну кое-кого из видных граждан. Потом они откололи кусочек от обыкновенного точила и попросили одно постороннее лицо отнести этот образец прославленному химику для анализа. Через час заключение было готово — согласно ему, тонна этой руды могла дать серебра на 1284 доллара и 40 центов, а золота — на 366 долларов и 36 центов!

Правдивое изложение всей этой истории появилось в местной газете, и прославленный химик покинул город в двадцать четыре часа.

Замечу мимоходом, что я пробыл на фабрике всего одну неделю. Я сказал хозяину, что без прибавки жалованья не могу дольше оставаться; что мне нравится толочь кварц, что я просто обожаю это занятие; что еще не было случая, чтобы я в такой короткий срок так страстно полюбил какое-нибудь дело; что, на мой взгляд, ничто не может дать такого простора для работы ума, как засыпка стана и грохочение хвостов, и ничто так благотворно не влияет на нравственность, как перегонка проб и стирка одеял, — однако я вынужден просить прибавки.

Он ответил, что платит мне десять долларов в неделю, и, по его мнению, это вполне приличная сумма. А сколько же я хочу?

Я сказал, что, принимая во внимание тяжелые времена, я не считаю возможным требовать больше, чем четыре тысячи долларов в месяц на хозяйских харчах.

Мне предложили выйти вон! И все же, оглядываясь на то время и вспоминая, какую непосильную работу я выполнял на фабрике, я жалею только об одном — что не потребовал с него семь тысяч долларов.

Вскоре после этого вместе со всем населением я начал сходить с ума из-за таинственного, волшебного «цементного прииска» и твердо решил при первом удобном случае отправиться на поиски его.

ГЛАВА XXXVII

Цементный прииск Уайтмена. — История его открытия. — Тайная экспедиция. — Ночное приключение. — На волосок от гибели. — Неудача и недельный отдых.

Волшебный прииск Уайтмена, по общему мнению, должен был находиться где-то поблизости от озера Моно. Время от времени сообщалось, что мистер У. украдкой, под покровом ночи, проехал через Эсмеральду переодетый, — и тогда мы все приходили в неистовое волнение, ибо это означало, что он отправился на свой тайный прииск и теперь самое время скакать за ним. Через три часа после рассвета все лошади, мулы и ослы, имеющиеся по соседству, бывали куплены, наняты или украдены, и половина жителей уже мчалась в горы, вослед Уайтмену. Но У. шатался по горным ущельям без видимой цели день за днем, пока у старателей не кончались запасы, и они волей-неволей возвращались домой. Я сам видел, как в большом приисковом поселке около одиннадцати часов вечера разносился слух, что только что здесь проехал Уайтмен, и уже два часа спустя тихие до тех пор улицы кишели животными и людьми. Каждый старался уехать тайком, но все же шепотом сообщал соседу о появлении Уайтмена. И задолго до рассвета — а дело было в разгаре зимы — в поселке не оставалось ни одного человека, все население сломя голову гналось за Уайтменом.

Согласно преданию, больше двадцати лет тому назад, в самом начале движения на запад, трое немецких юношей — три брата, уцелевшие после кровопролитного боя с индейцами в прериях, — пешком пошли через пустыню, избегая проезжих дорог и тропок, просто двигаясь на запад, в надежде добраться до Калифорнии, прежде чем умрут от голода и истощения. И вот однажды, в горном ущелье, где они присели отдохнуть, они вдруг увидели на земле необычную жилу цемента, испещренную зернами металла тускло-желтого цвета. Они поняли, что это золото и что здесь можно в один день обрести богатство. Жила была шириной дюймов в восемь и на две трети состояла из чистого золота. Каждый фунт волшебного цемента стоил не меньше двухсот долларов. Братья захватили по двадцати пяти фунтов, тщательно завалили жилу, сделали беглый чертеж ее местоположения и главных окрестных примет и двинулись дальше на запад. Но беды сыпались на них одна за другой.

Старший из братьев упал и сломал ногу, и двое других вынуждены были покинуть его в пустыне на верную смерть. Второй брат, изнуренный усталостью и голодом, потеряв последние силы, умер, но третий после двухнедельных мучительных скитаний добрался до калифорнийских поселений, истерзанный, больной, полупомешанный от перенесенных страданий. Он выбросил в пути почти всю руду, сохранив только несколько обломков; но этого было достаточно — началось повальное безумие. Однако он был сыт по горло пустыней и ни за что не соглашался вести партию разведчиков к жиле. Работа батрака на ферме вполне удовлетворила его. Но он вручил Уайтмену чертеж и по возможности точно описал открытое им месторождение, а заодно передал ему тяготевшее над кладом проклятие — ибо, когда я случайно увидел мистера У. в Эсмеральде, это был человек, который уже двенадцать или тринадцать лет охотился за потерянным богатством, терпя голод и жажду, нужду и невзгоды. Кое-кто считал, что он нашел месторождение, но почти никто этому не верил.

Я видел обломок руды величиной с кулак, который Уайтмен будто бы получил от молодого немца, и, надо сказать, выглядел он соблазнительно. Зерна чистого золота сидели в нем густо, как изюм в куске сладкого пирога. Разработка такой руды в течение одной недели на всю жизнь обеспечила бы человека с умеренными запросами.

Наш новый спутник, некий мистер Хигби, хорошо знал с виду Уайтмена, а один из наших друзей, мистер Ван-Дорн, был близко знаком с ним и даже заручился обещанием Уайтмена заранее предупредить об очередной экспедиции. Ван-Дорн дал нам слово, что известит об этом и нас. Однажды вечером Хигби пришел чрезвычайно взволнованный и объявил, что видел в городе Уайтмена, и хотя он переодет и прикидывается пьяным, это несомненно он. Через несколько минут прибежал Ван-Дорн и подтвердил новость. Тогда мы собрались в нашей хижине и, сдвинув головы, таинственным шепотом составили план действий.

Мы решили отправиться потихоньку, после полуночи, по двое, по трое, чтобы не привлекать внимания, и сойтись на рассвете у водораздела над озером Моно, в восьми-девяти милях от города. Ехать мы должны были без шума и ни в коем случае не разговаривать иначе как шепотом. Мы предполагали, что на этот раз присутствие Уайтмена никому в городе не известно и никто не подозревает о предстоящей экспедиции. Наше совещание закончилось в девять часов, и мы спешно, в глубочайшей тайне приступили к сборам. В одиннадцать часов мы оседлали коней,

привязали их около дома, потом вынесли окорок, мешок фасоли, пакет кофе, немного сахару, около ста фунтов муки, несколько жестяных кружек и кофейник, сковороду и еще кое-какую необходимую утварь. Всю поклажу мы взвалили на вьючную лошадь, — и пусть тот, кто не обучался у испанского знатока вьючного дела, не воображает, что он своим умом дойдет до этой науки. Это невозможно. У Хигби был небольшой опыт, но явно недостаточный. Он приладил вьючное седло (этакая штука, похожая на козлы для пилки дров), сложил на него вещи и стал опутывать их веревкой со всех сторон, время от времени закрепляя ее, а иногда, откинувшись назад, так сильно натягивал, что у лошади вваливались бока и она начинала задыхаться, — но как только ему удавалось туго завязать веревку в одном месте, она немедленно развязывалась в другом. Так мы и не укрепили по-настоящему поклажу, но она кое-как держалась, и мы наконец пустились в путь — гуськом, сомкнутым строем, в полном молчании. Ночь была темная, мы ехали шагом посредине дороги, между двумя рядами хижин; и каждый раз, когда на пороге появлялся кто-нибудь из старателей, я дрожал от страха, что он увидит нас в полоске света, падающего из дверей, и заподозрит неладное. Но все обошлось благополучно. Начался долгий извилистый подъем к водоразделу, и вскоре ряды хижин поредели, промежутки между ними все увеличивались, — я вздохнул свободнее и уже не чувствовал себя вором или убийцей. Я ехал последним, ведя за собой вьючную лошадь. По мере того как подъем становился круче, ей, видимо, все меньше нравилась ее ноша, и она то и дело натягивала лассо, замедляя шаг. Спутники мои почти скрылись из глаз в темноте. Я встревожился. Ласками и угрозой я заставил ее идти рысью, но тут жестяные кружки и сковороды на ее спине загремели, она испугалась и понесла. Лассо было обмотано вокруг луки моего седла, и когда вьючная лошадь поравнялась со мной, она стащила меня вместе с седлом на землю, и обе лошади бодро продолжали путь без меня. Но я был не один: развязавшаяся поклажа свалилась с лошади и упала рядом со мной. Все это произошло близ последней хижины. Из нее вышел человек и крикнул:

— Эй!

Я лежал в тридцати ярдах от него и знал, что ему меня не видно, — склон горы отбрасывал густую тень. Я промолчал. В освещенных дверях хижины появился еще один человек, и вдруг они оба направились ко мне. В десяти шагах от меня они остановились, и один из них сказал:

— Ш-ш! Слушай!

Будь я сбежавшим преступником, голова которого оценена, я

и то не чувствовал бы себя хуже. Потом они оба, видимо, уселись на камень, но я не мог хорошо разглядеть их и потому не знал в точности, что они делают. Один сказал:

— Я слышал шум, ясно слышал. По-моему, это где-то здесь…

Камень прожужжал у моей головы. Я распластался в пыли, словно почтовая марка, и подумал про себя, что если он прицелится чуть правее, то, вероятно, опять услышит шум. В душе я теперь проклинал тайные экспедиции. Я мысленно дал обет, что нынешняя будет последней, пусть даже окрестные горы лопаются от ценных руд. Потом один из старателей сказал:

— Знаешь, что? Уэлч вовсе не врал, когда говорил, что видел сегодня Уайтмена. Я слышал стук копыт — вот что это было. Я сию минуту иду к Уэлчу.

Они ушли, к великой моей радости. Мне было все равно, куда они идут, лишь бы ушли. Я ничего не имел против того, чтобы они посетили Уэлча, — напротив, чем скорей, тем лучше.

Как только за ними закрылась дверь хижины, из мрака выступили мои спутники; они изловили лошадей и дождались ухода посторонних. Мы снова взвалили поклажу на вьючную лошадь, поехали дальше и с рассветом добрались до водораздела, где встретились с Ван-Дорном. Потом мы спустились к озеру и, считая себя в полной безопасности, сделали привал для завтрака, ибо мы устали, проголодались и очень хотели спать. Три часа спустя все остальное население длинной вереницей перевалило через гору и, обогнув озеро, скрылось из виду!

Мы так и не узнали, было ли это следствием моего падения с лошади, но одно мы поняли ясно: тайна раскрыта, и Уайтмен на сей раз не станет искать свою залежь. Мы очень огорчились.

Мы держали совет и решили — нет худа без добра; и если уж так случилось, то почему бы нам не отдохнуть с недельку на берегу этого любопытного озера. Иногда его называют Моно, а иногда — Калифорнийское Мертвое море. Это одна из самых своеобразных прихотей природы, но о нем почти никогда не пишут, и редко кто сюда заглядывает, потому что оно расположено вдали от мест, обычно посещаемых путешественниками, и вдобавок до него так трудно добраться, что только люди, готовые на всяческие неудобства и тяжелые лишения, могут пуститься в столь рискованное предприятие. На другой день мы с утра перебрались в отдаленный и особенно глухой уголок на побережье, где в озеро с горного склона сбегал холодный прозрачный ручей, и там разбили лагерь по всем правилам. У владельца уединенного ранчо, лежавшего еще миль на десять дальше, мы взяли напрокат большую лодку и два дробовика и собрались наслаждаться комфортом и отдыхом.

Вскоре мы досконально ознакомились с озером и всеми его особенностями.

ГЛАВА XXXVIII

Озеро Моно. — Упрощенная головомойка. — Опрометчивый поступок нашей собаки и его последствия. — Не вода, а щелок. — Диковинная фауна озера. — Даровая гостиница. — Несколько преувеличенные сведения о климате.

Озеро Моно лежит в мертвой, голой, отвратительной пустыне, на высоте восемь тысяч футов над уровнем моря, и окружено горами высотой в десять тысяч футов, вершины которых всегда окутаны тучами. Это безмолвное, безлюдное, безотрадное озере — угрюмый житель самого угрюмого места на земле — не блещет красотой. Окружность его — миль сто, вода — скучного сероватого цвета; в середине торчат два острова, или, вернее, складки растрескавшейся, обгорелой, вспученной лавы, похороненные под пеленой пемзы и пепла, под серым саваном мертвого, угасшего вулкана, чей обширный кратер захвачен и пленен озером.

Глубина Моно — двести футов, и его ленивые воды так насыщены щелочью, что стоит — раза два окунуть в него и отжать самую заношенную рубашку, и она окажется не менее чистой, чем если бы побывала в руках искуснейшей прачки. Пока мы жили на его берегах, стирка не затрудняла нас. Мы привязывали накопившееся за неделю белье к корме нашей лодки, отъезжали на четверть мили — и дело с концом, оставалось только отжать его. Достаточно было смочить голову и слегка потереть, чтобы белая пена поднялась на три дюйма.

Вода эта не полезна для ушибов и ссадин. Пример тому — наша собака. На ее коже было много болячек — больше болячек, чем здоровых мест. В жизни не видел такого шелудивого пса. Однажды, спасаясь от мух, он прыгнул за борт. Но это оказалось ошибкой. С таким же успехом он мог бы кинуться в огонь. Щелочная вода впилась во все болячки сразу, и он на хорошей скорости двинулся к берегу. При этом он лаял, и повизгивал, и подвывал, — и к тому времени, когда он выбрался из воды, на нем не осталась живого места, ибо изнутри он весь облез от натуги, а снаружи его начисто ободрала щелочь, — и, вероятно, он горько сожалел, что ввязался в такое дело. Он бегал и бегал по кругу, и рыл когтями землю, и хватал лапами воздух, и кувыркался то через голову, то через хвост с поразительным искусством. Эта собака, вообще говоря, не отличалась

экспансивностью — напротив, нрав у нее был скорее степенный и уравновешенный, — и я еще ни разу не видел ее такой оживленной. В конце концов она пустилась через горы со скоростью, — как мы прикинули, — миль этак двести пятьдесят в час и, видимо, бежит и поныне. Это произошло девять лет тому назад. Мы каждый день поджидаем ее — не вернется ли хоть то, что от нее осталось.

Белый человек не может пить воду из озера Моно, потому что это — чистейший щелок. Говорят, что окресные индейцы иногда пьют ее. В этом нет ничего невероятного, ибо все они лгуны чистейшей воды. (За этот каламбур дополнительная плата будет взиматься только с тех, кому требуется объяснение его. Он получил высокую оценку нескольких умнейших людей нашей эпохи.)

В озере Моно нет ни змей, ни рыб, ни лягушек, ни головастиков — словом, ничего такого, что скрашивает человеку жизнь. Миллионы диких уток и чаек плавают на его поверхности, но ни одна живая тварь не дышит под нею, кроме перистого белого червя длиной в полдюйма, похожего на кусок разлохмаченной белой нитки. Если вытащить здесь галлон воды, в нем окажется до пятнадцати тысяч этих червей. Они придают воде серовато-белый оттенок. Есть еще мухи, похожие на наших комнатных мух. Они садятся на берег и поедают выброшенных водою червей; и в любое время можно видеть целый мушиный пояс шириной в шесть футов и толщиной в дюйм, который полностью охватывает все озеро, — мушиный пояс длиной в сто миль. Если бросить в них камень, то они взлетают таким густым роем, что кажутся плотной тучей без просветов. Их можно держать под водой сколько душе угодно — они не обижаются, напротив, гордятся этим. Когда их выпустишь, они выскакивают на поверхность сухие, как отчет бюро патентов, и удаляются столь невозмутимо, словно их нарочно обучили этому фокусу, дабы доставить человеку обогащающее ум развлечение. Провидение ничего не оставляет на волю случая. В хозяйстве природы все имеет свое надлежащее место, свою роль и свое дело: утки поедают мух, мухи поедают червей, индейцы — и первых, и вторых, и третьих, дикие кошки поедают индейцев, белые поедают диких кошек — и, таким образом, все чудесно на этом свете.

От озера Моно до океана сотня миль по прямой, и между ним и океаном не одна горная цепь, — и однако тысячи чаек каждый год прилетают сюда класть яйца и выводить птенцов. Появись они вдруг в Канзасе, мы, кажется, и то меньше удивились бы. И по этому поводу я хочу указать еще на один пример,

свидетельствующий о мудрости природы. Так как острова в этом озере всего лишь огромные глыбы застывшей лавы, занесенные пеплом и пемзой, без намека на растительность и без какого бы то ни было топлива, а яйца чаек абсолютно бесполезная вещь, пока их не сваришь, природа создала на том острове, что побольше, неиссякаемый источник крутого кипятка, и в четыре минуты можно приготовить яйца такие же крутые, как любое мое суждение за последние пятнадцать лет. В десяти шагах от горячего источника находится холодный ключ, вода его приятна на вкус и полезна для здоровья. Итак, на этом острове нам было обеспечено бесплатное питание и даровая стирка; и если бы природа пошла еще дальше и предоставила нам симпатичного портье американского отеля, который ворчит и огрызается и не знает ни расписания, ни маршрута поездов — не знает вообще ничего и очень гордится этим, — то о лучшем я бы и не мечтал.

С полдюжины горных ручейков вливаются в озеро Моно, но ни единой капли воды не вытекает из него. Уровень его никогда не повышается и не опускается, и куда оно девает излишек воды — это мрачная, кровавая тайна.

На побережье озера Моно всего лишь два времени года, а именно: конец одной зимы и начало следующей. Я много раз видел (в Эсмеральде), как в восемь часов знойного утра термометр показывал девяносто градусов[32], а к девяти часам вечера наваливало снегу на четырнадцать дюймов — и этот же термометр в помещении падал до сорока четырех. В городке Моно снег при благоприятных условиях идет в течение всего года по меньшей мере раз в месяц. Летом погода такая неустойчивая, что дама, которая, отправляясь в гости, хочет оградить себя от неприятных сюрпризов, берет в правую руку веер, а в левую — лыжи. Четвертого июля торжественное шествие обычно засыпает снегом, и будто бы когда заказывают порцию бренди, буфетчик откалывает ее топором и заворачивает в бумагу, точно сахарную голову. И еще говорят, что все старые пропойцы здесь беззубые, оттого что всю жизнь грызут коктейль из джина и пунш из бренди. Я не ручаюсь за достоверность этого сообщения — за что купил, за то и продаю, — но, по-моему, тот, кто способен не надорвавшись поверить ему, может купить его без опаски, хуже не будет. Другое дело — снегопад Четвертого июля: тут уж мне доподлинно известно, что это правда.

ГЛАВА XXXIX

Поездка на острова озера Моно. — Спасительный прыжок. — Буря на озере. — Избыток мыльной пены. — Неделя в горах Сьерры. — Странный взрыв. — «Куча печка ушел».

Однажды ясным знойным утром — лето было в полном разгаре — мы с Хигби сели в лодку и поехали обследовать острова. Мы давно уже хотели это сделать, но все откладывали, страшась непогоды: здесь сильные бури не редкость, и такой утлой гребной лодке, как наша, ничего не стоит опрокинуться, а это означало бы верную смерть даже для самого стойкого пловца, потому что ядовитая щелочь точно огнем выжгла бы ему глаза, да и внутренности выела бы, зачерпни он воды. Считалось, что до островов двенадцать миль прямиком, — путь долгий и жаркий; но утро было такое тихое и солнечное, а озеро такое зеркально гладкое и спокойное, что мы не устояли перед соблазном. Итак, мы наполнили водой две большие жестяные фляги (ибо мы не знали, где именно на большом острове находится ключ, о котором нам говорили) и отправились. Мускулистые руки Хигби быстро двигали лодку, но, добравшись до цели, мы почувствовали, что покрыли не двенадцать, а никак не меньше пятнадцати миль.

Мы пристали к большому острову и вышли на берег. Мы отхлебнули из обеих фляг, и оказалось, что вода протухла на солнце: она стала такая мерзкая, что мы не могли ее пить; тогда мы ее вылили и пошли искать ключ, — жажда быстро усиливается, как только обнаружишь, что утолить ее нечем. Остров представлял собой длинный, довольно отлогий холм, сплошь покрытый серым слоем пепла и пемзы, — мы увязали в нем по колено на каждом шагу, — а вершину грозной стеной окружали обгорелые уродливые камни. Взобравшись на вершину и очутившись внутри этой каменной ограды, мы увидели всего лишь вытянутую в длину неглубокую впадину, устланную пеплом, и кое-где полоски мелкого песку. Там и сям из трещин в камнях выбивались струйки пара, свидетельствующие о том, что хотя этот древний кратер ушел на покой, жар еще тлеет в его топках. Подле одной из таких струек стояло единственное на острове дерево — невысокая сосенка, очень красивая и безупречно симметричная; она была ярко-зеленая, оттого что пар, непрерывно обтекая ее ветви, давал им нужную влагу. Как

непохож был этот сильный, красивый чужак на окружающую его унылую, мертвую пустыню. Словно светлый дух в надевшем траур семействе.

Мы искали ключ повсюду: прошли весь остров в длину (две-три мили) и дважды в ширину, терпеливо карабкались на груды пепла, потом сидя съезжали вниз с другой стороны, вздымая густые тучи серой пыли. Но мы не нашли ничего, кроме одиночества, пепла и гнетущей тишины. Потом мы заметили, что поднялся ветер, и забыли про жажду — нам грозила куда более серьезная опасность: понадеявшись на тихую погоду, мы не потрудились привязать лодку. Мы кинулись к пригорку, откуда видно было место причала, и вот — но словами не опишешь охватившего нас ужаса — лодка исчезла! И, по всей вероятности, на всем озере другой лодки не сыщешь. Положение наше было не из приятных — по правде говоря, оно было отчаянным. Мы оказались пленниками на необитаемом острове; наши друзья, хоть и находились поблизости от нас, ничем пока не могли помочь; а больше всего нас пугала мысль, что у нас нет ни пищи, ни воды. Но тут мы увидели нашу лодку. Она медленно плыла ярдах в пятидесяти от берега, покачиваясь на пенистых волнах. Она плыла все дальше и дальше, не торопясь, но и не приближаясь к нам; мы шагали вровень с ней, поджидая, не смилостивится ли над нами судьба. Так прошел час, и наконец показался небольшой выступ берега, и Хигби побежал вперед и стал на самый край, готовясь к атаке. Если нас постигнет неудача — все пропало. Лодка теперь постепенно приближалась к берегу; но достаточно ли быстро она приближалась, чтобы нам успеть перехватить ее, — вот что было важнее всего. Когда между нею и Хигби осталось тридцать шагов, я так волновался, что положительно слышал биение собственного сердца; а когда, немного погодя, она медленно плыла на расстоянии какого-нибудь ярда от берега и казалось вот-вот пройдет мимо, — сердце мое замерло, когда же она поравнялась с нами и начала отдаляться, а Хигби все еще стоял неподвижно, точно каменный истукан, оно совсем остановилось. Но через мгновение он сделал огромный прыжок и очутился на корме лодки — и тогда мой ликующий клич огласил пустынные просторы.

Но Хигби тут же охладил мой восторг: он сказал, что его ничуть не тревожило, пройдет ли лодка достаточно близко для прыжка, лишь бы расстояние не превышало десяти ярдов; он просто закрыл бы глаза и рот и добрался до нее вплавь. А я-то, дурак, об этом и не подумал. Плохо кончиться могло только долгое плавание.

По озеру ходили волны, ветер усиливался. К тому же

становилось поздно — уже шел четвертый час. Пускаться в обратный путь было рискованно. Но жажда томила нас, и мы все же решили попытаться. Хигби сел на весла, а я взялся за руль. После того как мы с великим трудом покрыли одну милю, мы поняли, что дело наше дрянь, — буря разыгралась не на шутку: вздымались увенчанные пенистыми гребнями волны, черные тучи заволокли небо, ветер дул с яростной силой. Следовало бы возвратиться на остров, но мы не решались повернуть лодку: как только она стала бы вдоль волны, она бы тут же, разумеется, опрокинулась. Мы могли спастись, только ведя ее прямо вперед. Дело это было не простое — лодка шла тяжело, глубоко зарываясь в воду то носом, то кормой. Случалось, что у Хигби одно весло соскальзывало с гребня волны, и тогда другое весло поворачивало лодку на девяносто градусов, вопреки моему громоздкому рулевому устройству. Мы промокли насквозь от непрерывных брызг, и лодка иногда зачерпывала воду. Мой спутник обладал недюжинной силой, но и ему становилось невмоготу, и он предложил поменяться местами, чтобы ему немного отдохнуть. Однако я сказал, что это, невозможно: если я хоть на минуту, пока мы будем меняться местами, отпущу рулевое весло, лодка непременно станет вдоль волны, опрокинется, и не пройдет и пяти минут, как в наших внутренностях соберется сотня галлонов мыльной пены, и она пожрет нас с такой быстротой, что мы даже не поспеем на дознание о собственной гибели.

Но всему на свете приходит конец. Перед самым наступлением темноты мы с триумфом, носом вперед, вошли в порт. Хигби закричал «ура» и бросил весла, я тоже бросил свое, — волна подхватила лодку, и она перевернулась!

Боль, которую причиняет щелочная вода, попадая на ссадины, волдыри и царапины, нестерпима, и унять ее можно, только смазавшись жиром с головы до пят; но все же мы наелись, напились и отлично проспали ночь.

Описывая диковины озера Моно, нельзя не сказать о живописных, высоких, как башенки, глыбах беловатого крупнозернистого камня, похожего на застывший известковый раствор, которые встречаются на всем побережье озера; если отломать кусок от такой глыбы, то можно отчетливо увидеть глубоко сидящие в породе окаменелые яйца чаек, полностью сохранившие свою форму. Как они туда попали? Я просто констатирую факт — ибо это факт — и предоставляю читателю, сведущему в геологии, разгрызть на досуге сей орешек и найти разгадку по своему усмотрению.

Спустя неделю мы отправились в горы рыбачить и, разбив

лагерь под сенью снежного пика Замок, несколько дней успешно ловили форель в прозрачном озерке, десять тысяч футов выше уровня моря; в жаркие августовские дни мы находили прохладу, усаживаясь на снежные сугробы в десять футов высотой, а по краям сугробов зеленела нежная травка и цвели пышные цветы; ночью мы развлекались тем, что промерзали насквозь. Потом мы вернулись на озеро Моно и, убедившись, что до поры до времени погоня за цементом прекратилась, уложили вещи и перебрались обратно в Эсмеральду. Мистер Баллу немного поразведывал, но остался недоволен результатами и один уехал в Гумбольдт.

В это время произошел случай, интерес к которому никогда не остывал во мне по той простой причине, что благодаря ему чуть не состоялись мои похороны. В свое время жители Эсмеральды, опасаясь нападения индейцев, припрятали порох в надежных местах, но так, чтобы он был под рукой, когда понадобится. Один из наших соседей положил шесть банок пороху в духовой шкаф старой, пришедшей в негодность печки, которая стояла во дворе около открытого сарая, и с того дня и думать о нем забыл. Мы наняли полумирного индейца выстирать нам белье, и он расположился со своей лоханью под навесом сарая. Старая печка торчала в шести футах от него, перед самыми его глазами. Глядя на нее, он решил, что стирать в горячей воде лучше, чем в холодной, поставил на нее котел с водой и развел огонь под забытым пороховым складом. Затем он вернулся к своей лохани. Вскоре и я вошел под навес, подбросил индейцу еще несколько штук белья и уже открыл было рот, чтобы заговорить с ним, как вдруг печка с грохотом взорвалась и исчезла, не оставив после себя ни осколочка. Обломки ее упали на улице, в добрых двухстах ярдах от нас. Крыша над нашими головами на три четверти обвалилась, и одна дверца печки, расколов пополам небольшой столбик у самых ног индейца, прожужжала между нами и врезалась в заднюю стенку сарая, почти пробив ее насквозь. Я побледнел, как полотно, обессилел, как котенок, и не мог выговорить ни слова. Но индеец не выказал ни тревоги, ни страха, ни даже замешательства. Он только бросил стирать, с минуту, подавшись вперед, разглядывал чистое, гладкое место, оставленное печкой, а затем изрек: «Пф! Куча печка ушел!» — после чего как ни в чем не бывало опять взялся за стирку, словно печке так и полагалось вести себя. Для ясности сообщаю, что «куча» на англо-индейском жаргоне значит «весь». Читатель оценит предельную для данного случая меткость этого выражения.

ГЛАВА XL

Прииск «Вольный Запад». — Разведка Хигби. — Слепая жила. — Стоит миллионы. — Наконец-то разбогатели. — Планы на будущее.

Теперь я расскажу об одном весьма любопытном случае — пожалуй, самом любопытном из всех, которыми до сей поры была отмечена моя праздная, беспечная и никчемная жизнь. На горном склоне, в окраинной части города, высоко выходил на поверхность пласт красноватого кварца — открытый гребень сереброносной жилы, которая, без сомнения, уходила далеко под землю. Месторождение принадлежало компании «Вольный Запад». От гребня вниз была прорыта шахта шестидесяти — семидесяти футов глубины, и все знали цену добываемой там руде: содержание серебра приличное, но не более того. Замечу мимоходом, что новичку все кварцевые залежи одного участка кажутся одинаковыми, но приисковый старожил с первого взгляда на груду смешанной породы может определить происхождение каждого обломка с такой же легкостью, с какой кондитер разбирает сваленную в кучу конфетную смесь.

Внезапно неистовое волнение охватило весь город: «Вольному Западу», по выражению старателей, «привалило». Все бегали смотреть на новоявленное богатство, и в течение нескольких дней вокруг шахты толпилось столько народу, что непосвященный приезжий непременно принял бы это сборище за многолюдное собрание под открытым небом. Только и разговоров было, что об удаче компании, и никто ни о чем другом не помышлял и не грезил. Каждый уносил с собой пробу, дробил ее в ступе, промывал в роговой ложке и, онемев от восхищения, глядел на сказочный результат. Порода была нетвердая — черный рыхлый камень, который, если сжать его в руке, крошился, как печеный картофель; если же рассыпать его на бумаге, то отчетливо видны были густо вкрапленные песчинки золота и крупицы самородного серебра. Хигби принес в нашу хижину целую горсть кварца, сделал промывку и пришел в неописуемый восторг. Акции «Вольного Запада» подскочили до небес. По слухам, многочисленные покупатели, предлагавшие тысячу долларов за фут, получили решительный отказ. У нас у всех бывали приступы хандры — этакая серенькая тоска, — но теперь я впал в черную меланхолию, потому что не имел доли в

«Вольном Западе». Мир казался мне пустым, жизнь — несчастьем. Я потерял аппетит, и ничто не могло расшевелить меня. И я вынужден был оставаться там и слушать, как ликуют другие, ибо уехать с прииска мне было не на что.

Компания «Вольный Запад» запретила уносить с собой пробы — и не удивительно: одна горсть этой руды уже представляла собой довольно крупную сумму. Чтобы показать, как высоко ценилась эта руда, приведу такой пример: партия в тысячу шестьсот фунтов была продана на месте, у выхода шахты, по доллару за фунт; и тот, кто приобрел ее, навьючил руду на мулов и повез за полтораста или двести миль, через горы, в Сан-Франциско, уверенный, что все его труды и издержки окупятся с лихвой. Компания также наказала своему десятнику не пускать в рудник никого, кроме рабочих, ни днем ни ночью и ни под каким видом. Я по-прежнему пребывал в унынии, а Хигби в задумчивости, но мысли у него были иные, чем у меня. Он подолгу изучал руду, разглядывал ее в увеличительное стекло, вертел в руках, чтобы свет падал на нее с разных сторон, и каждый раз после этого, обращаясь к самому себе, высказывал одно и то же неизменное мнение, облеченное в одну и ту же неизменную формулу:

— Нет, эта руда не с «Вольного Запада»!

Он стал поговаривать о том, что намерен забраться в шахту, — пусть хоть стреляют в него. На душе у меня кошки скребли, и мне было наплевать, заберется он в шахту или нет. Он попытался сделать это днем — безуспешно; попытался ночью — опять неудача; встал ни свет ни заря, опять попытался — снова неудача. Тогда он устроился среди кустов полыни и лежал в засаде час за часом, дожидаясь, когда рабочие — два — три рудокопа — вылезут из шахты и усядутся перекусить в тени камня; поднялся было, но слишком рано — один из рабочих вернулся за чем-то; рискнул еще раз и уже подобрался к шахте, но тут другой рабочий встал из-за камня и внимательно поглядел кругом, — а Хигби тотчас пал на землю и притаился; потом он на четвереньках дополз до входа в шахту, бросил быстрый взгляд вокруг, ухватился за веревку и спустился по ней. Он скрылся в темном забое в ту самую минуту, когда над краем шахты появилась чья-то голова и раздался окрик «эй!», на который Хигби предпочел не отозваться. Больше никто ему не мешал. Час спустя он влетел в нашу хижину, красный, потный, готовый взорваться от волнения, и проговорил театральным шепотом:

— Я знал, знал! Теперь мы богаты! Это слепая жила!

Подо мной точно закачалась земля. Сомнения — убежденность — снова сомнения — надежда, радость, восторг,

вера, неверие — дикий хаос противоречивых чувств захлестнул мое сердце и мозг, и я не мог вымолвить ни слова. Эта душевная буря длилась минуты две, после чего я встряхнулся и проговорил:

— Скажи еще раз!

— Слепая жила.

— Кэл, давай… давай спалим дом… или убьем кого-нибудь! Выйдем на улицу и покричим «ура»! Впрочем, к чему это? Такого ведь не бывает.

— Это слепая жила! Миллионы стоит! Висячий бок — лежачий бок — зальбанд из глинозема — все точка в точку!

Он подбросил вверх свою шляпу и прокричал троекратное «ура», а я пустил все сомнения по ветру и заорал еще громче, чем он. Ибо я стал миллионером, и плевать я хотел на все приличия!

Но, пожалуй, мне следует кое-что разъяснить. «Слепая жила» — это такая жила, или залежь, которая не выходит на поверхность. Старатель не знает, где искать слепую жилу, но он часто натыкается на нее, когда прокладывает штольню или роет шахту. Хигби досконально изучил породу «Вольного Запада», и чем дольше он следил за новыми разработками, тем сильнее убеждался, что добываемая руда иного происхождения. И ему одному на всем прииске пришла мысль, что в шахте залегает слепая жила, о чем сами заправилы компании еще не подозревают. Он оказался прав. Спустившись в шахту, он увидел, что слепая жила, прорезающая пласт компании по диагонали, залегает отдельно от него, между четко очерченными слоями породы и глинозема. А значит, эта жила — общественная собственность. Обе жилы были так отчетливо видны, что любой старатель мог определить, какая из них принадлежит «Вольному Западу», а какая нет.

Мы рассудили, что хорошо бы заручиться крепкой поддержкой, и потому в тот же вечер привели к себе в хижину десятника и открыли ему нашу тайну. Хигби сказал:

— Мы вступим во владение этой жилой, сделаем заявку, получим право собственности и тогда запретим компании добывать нашу руду. Вы своим хозяевам ничем не поможете — да и никто не поможет. Я спущусь вместе с вами в шахту и докажу вам, что это без всяких сомнений слепая жила. Так вот — предлагаем вам войти с нами в долю и сделать заявку от лица всех троих. Что вы на это скажете?

Что мог сказать на это человек, которому нужно было только протянуть руку, чтобы завладеть богатством, и притом ничем не рискуя, никого не обижая и никак не пачкая свое доброе имя? Он мог только сказать: «Согласен».

В тот же вечер мы сделали заявку и еще до десяти часов ее по

всем правилам занесли в регистрационную книгу. Владение наше было скромное — по двести футов на брата, итого шестьсот футов, — самое маленькое и самое слаженное предприятие во всей округе.

Всякий может догадаться, спали мы в ту ночь или нет. И Хигби и я в полночь легли в постель, но только для того, чтобы, не смыкая глаз, думать, мечтать, строить планы. Покосившаяся хижина с земляным полом превратилась в дворец, рваное серое одеяло — в крытый шелком пуховик, колченогие стулья и стол — в мебель красного дерева. Каждый раз, как новый предмет роскоши во всем блеске своем вспыхивал в моих грезах о будущем, меня крутило в постели или подбрасывало, как будто через меня пропускали электрический ток. Время от времени мы перебрасывались отрывочными возгласами.

— Когда ты уедешь домой, в Штаты? — спросил Хигби.

— Завтра! — выпалил я, два раза перевернувшись и садясь в постели. — Нет, не завтра, но самое позднее — через месяц.

— Мы поедем вместе, на одном пароходе.

— Отлично.

Пауза.

— На том, который отходит десятого?

— Да. Нет, первого.

— Ладно.

Снова пауза.

— Где ты думаешь поселиться? — спросил Хигби.

— В Сан-Франциско.

— И я.

Пауза.

— Слишком высоко, влезать трудно, — сказал Хигби.

— Куда?

— Да вот — Русская горка. Выстроить бы там домик!

— Влезать трудно? А экипаж на что?

— Верно. Я и позабыл.

Пауза.

— Кэл, а какой дом ты будешь строить?

— Я уже думал об этом. В три этажа, ну и чердак.

— Но какой?

— Еще не знаю. Кирпичный, пожалуй.

— Кирпич — гадость.

— Почему? А какой же, по-твоему?

— Фасад из темного песчаника, зеркальные окна до полу, бильярдная за столовой, статуи и картины, дорожки, обсаженные кустами, и лужайка в два акра, теплица, чугунная собака на парадном крыльце, серые в яблоках лошади, ландо и кучер с

пером на шляпе!

— Ах, черт!

Долгая пауза.

— Кэл, когда ты поедешь в Европу?

— Не знаю, об этом я еще не думал. А ты когда?

— Весной.

— И на все лето?

— Все лето! Я на три года там останусь.

— Что? Ты не шутишь?

— Нисколько.

— Я тоже поеду.

— Почему же нет?

— А в какую страну ты поедешь?

— Во все страны. Во Францию, Англию, Германию, Испанию, Италию, Швейцарию, Сирию, Грецию, Палестину, Аравию, Персию, Египет. Всюду побываю.

— И я.

— Отлично.

— Вот будет прогулочка!

— Еще бы! Пятьдесят тысяч долларов потратим на это дело.

Опять долгая пауза.

— Хигби, мы должны мяснику шесть долларов, и он грозится, что в долг больше не…

— К черту мясника!

— Аминь.

Так прошло полночи. К трем часам мы потеряли всякую надежду заснуть и, встав с постели, до рассвета играли в криббедж и попыхивали трубками. Эту неделю обязанности повара исполнял я. Стряпня всегда претила мне, а теперь я просто ненавидел ее.

Новость быстро распространилась. И раньше «Вольный Запад» был сенсацией, а в тот день общее возбуждение достигло предела. Я расхаживал по городу беззаботный и счастливый. Хигби сообщил мне, что десятнику предлагают двести тысяч долларов за его пай. Я сказал, что за такие гроши я и не подумал бы уступить свою долю. Я хватал высоко. Миллион — это еще куда ни шло! Впрочем, я искренне убежден, что, предложи мне кто-нибудь такую сумму, я не согласился бы, а запросил еще больше.

Мне очень нравилось быть богатым. Один человек предложил отдать мне свою трехсотдолларовую лошадь и взять с меня простую, никем не заверенную расписку. Это было первым и самым неопровержимым доказательством моего богатства. За дальнейшими примерами в том же духе дело не стало, — между прочим, мясник снабдил нас двойным запасом говядины и даже

не заикнулся о деньгах.

Согласно законам нашего округа, владельцы участка, полученного по заявке, обязаны были в течение десяти дней, считая со дня регистрации, добросовестно потрудиться на нем, иначе они теряли права на него и всякий, кому вздумается, мог его захватить. Мы решили приступить к работе на следующий день. Под вечер, выходя из здания почты, я встретил некоего мистера Гардинера, и он сообщил мне, что капитан Джон Най тяжело болен и лежит у него (на ранчо «Девятой Мили»), а ни он, ни его жена не могут ухаживать за больным так заботливо, как того требует его состояние. Я сказал, что, если он подождет меня две секунды, я сейчас же поеду вместе с ним. Я побежал домой, чтобы известить Хигби. Его я не застал, но оставил ему на столе записку и через пять минут выехал из города в фургоне Гардинера.

ГЛАВА XLI

Ревматик. — Сны наяву. — Неловкий шаг. — Внезапный уход. — Еще один больной. — Хигби в хижине. — Все лопнуло. — Сожаления и разъяснения.

Капитана Ная действительно жестоко мучили приступы ревматизма. Но он оставался верен себе, — я хочу сказать, что он был мил и добродушен, когда чувствовал себя хорошо, но превращался в разъяренного тигра, как только ему становилось хуже. Он мог спокойно лежать и мирно улыбаться — и вдруг, при очередном приступе болей, без всякого перехода начинал беситься.

Он стонал, вопил, выл, а промежутки между стонами и криками заполнял самой отборной бранью, какую только могут подсказать праведный гнев и богатое воображение. В благоприятных условиях он отлично богохульствовал и вполне разумно пользовался словами, но когда боль терзала его, то просто жалость брала — так нескладна становилась его речь. Однако я в свое время видел, как он сам ухаживал за больными и терпеливо переносил все тяготы этого дела, и потому считал, что он имеет полное право, в свою очередь, дать себе волю.

Впрочем, никакие его неистовства не мешали мне, я был занят другим, ибо мысль моя работала неустанно, день и ночь, независимо от того, трудились мои руки или отдыхали. Я вносил изменения и поправки в план моего дома, раздумывал, не лучше ли устроить бильярдную не рядом со столовой, а на чердаке; кроме того, я никак не мог решить, чем обить мебель в гостиной — зеленым или голубым, потому что предпочитал-то я голубой цвет, но знал, что голубой шелк боится солнца и пыли; и еще меня смущал вопрос о ливреях: я ничего не имел против скромной ливреи для кучера, но что касается лакея — а лакей, разумеется, нужен, и он непременно будет, — лучше бы он исполнял свои обязанности в обыкновенном платье: я немного страшился показной роскоши; вместе с тем, учитывая, что у моего покойного деда был и кучер и все что полагается, но без ливрей, я охотно утер бы ему нос — или если не ему, то его духу; кроме того, я детально разработал план моего путешествия в Старый Свет, и мне удалось точно установить все маршруты и время, которого они потребуют, — за одним только исключением, а именно: я еще не решил окончательно, пересечь ли мне пустыню

между Каиром и Иерусалимом на верблюде, или доехать морем до Бейрута и там присоединиться к каравану, направляющемуся в глубь страны. Домой я писал каждый день, ставя родных и знакомых в известность о всех моих планах и намерениях, и между прочим просил их подыскать уютное гнездышко для моей матери и в ожидании моего приезда сторговаться о цене; а также продать мою долю земельной собственности в Теннесси и вырученные деньги внести в фонд помощи вдовам и сиротам при союзе типографщиков, достойным членом которого я состоял много лет. (Эта земля в Теннесси уже давно принадлежала нашей семье и обещала в будущем принести нам богатство; она и доселе обещает это, но с меньшим пылом.)

Я ухаживал за капитаном уже девять дней, и ему как будто полегчало, но он все еще был очень слаб. Под вечер мы посадили его в кресло и устроили ему баню из паров спирта, после чего его опять нужно было уложить в постель. Это требовало величайшей осторожности, потому что малейший толчок причинял ему боль. Гардинер взял его за плечи, а я за ноги; к несчастью, я оступился, и больной тяжело упал на кровать, корчась от нестерпимой боли. В жизни я не слыхал, чтобы человек так сквернословил. Он бесновался как одержимый и даже протянул руку за лежавшим на столе револьвером, но я успел схватить его первым. Он выгнал меня из дому и поклялся страшной клятвой, что, когда встанет с постели, убьет меня, как только я ему попадусь. Конечно, это была лишь мимолетная, ничего не значащая вспышка. Я знал, что через час он все забудет и, вероятно, пожалеет о том, что наговорил; но в ту минуту я слегка обозлился. Даже, можно сказать, сильно обозлился и решил вернуться в Эсмеральду. Уж раз капитан вышел на тропу войны, то, на мой взгляд, он мог обойтись без моей помощи. Итак, после ужина, как только взошла луна, я отправился пешком в девятимильное путешествие. В те времена даже миллионеру не требовалось лошадей, чтобы без багажа покрыть девять миль.

Когда я поднялся на гору, возвышающуюся над городом, было без четверти двенадцать. Я глянул на склон по ту сторону лощины и в ярком свете луны увидел, что вокруг рудника «Вольный Запад» собралась по меньшей мере половина населения Эсмеральды. Сердце у меня екнуло от радости, и я сказал себе: «Еще что-нибудь открыли сегодня вечером — и уж такое, чего и не бывало». Сперва я хотел тоже пойти туда, но передумал. Открытие ведь никуда не денется, а с меня на сегодня хватит лазанья по горам. Я спустился в город, и когда я поравнялся с маленькой немецкой пекарней, из дверей выбежала женщина и стала умолять меня войти в дом и помочь ей. Она сказала, что с

ее мужем припадок. Я вошел и сразу увидел, что она права, — по-моему, с ним случился не один припадок, а целая сотня, спрессованная воедино. Два немца удерживали его, но без особенного успеха. Я выскочил на улицу, пробежал полквартала, поднял с постели сонного доктора, привел его, не дав ему времени одеться, и мы вчетвером больше часу провозились с бесноватым — вливали лекарство, пускали кровь, а бедная немка горько рыдала. Мало-помалу он угомонился, и мы с доктором ушли, оставив больного на попечении его друзей.

Был второй час. Войдя в нашу хижину, усталый, но довольный, я увидел в тусклом свете сальной свечи, что Хигби сидит у соснового стола и, держа в руках мою записку, тупо разглядывает ее, а сам бледный, старый, осунувшийся. Я замер на месте и посмотрел на него. Он поднял на меня потухший взгляд. Я спросил:

— Хигби, что такое? Что случилось?

— Все пропало, мы не работали, проморгали слепую жилу!

Большего не требовалось. Я упал на стул, несчастный, уничтоженный, сраженный горем. Минуту назад я был богачом — и тщеславие мое не знало границ; теперь я стал бедняком — и очень смиренным. Мы молча просидели целый час, погруженные в свои мысли, предаваясь запоздалому и бесполезному раскаянию, снова и снова спрашивая себя: «Почему я не сделал этого? Почему я не сделал того?» Но мы не обмолвились ни словом. Потом начались взаимные объяснения, и загадка быстро разрешилась. Оказалось, что Хигби понадеялся на меня, я — на него, а оба мы — на десятника. Какое безумие! Это был первый случай, когда положительный, степенный Хигби без должного внимания отнесся к важному делу или позабыл о взятой на себя ответственности.

Но он и в глаза не видал моей записки до этой минуты, и только в эту минуту впервые вошел в хижину со времени моего отъезда. Он тоже оставил мне записку в тот самый злополучный день: он подъехал к хижине верхом, заглянул в окно и, так как меня не было дома, а он очень спешил, бросил записку через разбитое стекло. Она и сейчас валялась на полу, где преспокойно пролежала все девять дней. Вот она:

> *Непременно поработай на заявке до истечения десятидневного срока. У. проехал через город и дал мне знать. Я должен догнать его на озере Моно, мы двинемся оттуда сегодня вечером. Он говорит, что на этот раз непременно найдет.*
>
> *Кэл.*

«У.», разумеется, значило — Уайтмен. Будь он трижды проклят, этот чертов цемент!

Все было ясно. Для такого заядлого старателя, как Хигби, в сказке о загадочном месторождении золотоносного цемента таился слишком большой соблазн — он не мог устоять перед ним, как не может изголодавшийся человек отказаться от пищи. Хигби месяцами мечтал о волшебной руде; и вот, вопреки здравому смыслу, он ускакал из города, препоручив мне заботу об участке и рискуя потерять заявку, сулившую большее богатство, чем миллион неоткрытых цементных жил. На этот раз никто не последовал за ними. Отъезд Хигби из города среди бела дня был столь обычным явлением, что никто не обратил на него внимания. Хигби рассказал, что они тщетно рыскали по горам в течение девяти дней — цемента они не нашли. И тут им овладел панический страх: а вдруг что-нибудь помешало работе, необходимой для удержания заявки на слепую жилу (хотя он и думал, что это вряд ли возможно), и он немедля помчался домой.

Он успел бы приехать в Эсмеральду к сроку, но конь его выбился из сил, и ему пришлось большой кусок пройти пешком. Так и получилось, что мы одновременно вошли в город — он по одной дороге, я по другой. Но он оказался энергичнее меня и прямо направился к «Вольному Западу», а не свернул в сторону, как я, — и явился туда с опозданием на пять или десять минут! Заявка была уже сделана, участки окончательно переданы новым владельцам, и толпа быстро расходилась. Прежде чем уйти, Хигби собрал кое-какие сведения. Десятник не показывался в городе с того самого вечера, когда мы зарегистрировали заявку; говорили, что его вызвали телеграммой в Калифорнию по чрезвычайно важному делу, — речь будто бы шла о жизни и смерти. Как бы то ни было, на участке он не работал, и зоркие глаза старателей не преминули отметить это. Все ждали полуночи рокового десятого дня, когда участок снова станет свободным, и к одиннадцати часам склон горы кишел старателями, готовыми сделать заявку. Это и была толпа, которую я видел, — а я-то, дурак, вообразил, что открыли новые богатства! (Каждый из нас троих имел такое же право сделать новую заявку, как и все остальные, лишь бы не прозевать время.) Ровно в полночь четырнадцать претендентов, готовые подкрепить свои притязания силой оружия, сделали заявки и провозгласили себя владельцами слепой жилы под новой фирмой — «Джонсон». Но тут неожиданно появился А.Д.Аллен, наш совладелец (десятник) и, держа в руках револьвер со взведенным курком, потребовал, чтобы к списку четырнадцати было добавлено его имя, иначе он «боится, как бы список не сократился наполовину». Все знали, что это человек бесстрашный,

решительный, у которого слово не расходится с делом, и потому компания «Джонсон» пошла на компромисс. Аллену уступили сто футов, остальные взяли себе, как обычно, по двести футов на брата. Таковы были события этой ночи, о которых Хигби узнал от приятеля по пути домой.

На другое утро мы с Хигби, ухватившись за очередное сенсационное открытие, покинули город, радуясь возможности уехать подальше от мест, где мы столько перестрадали, а через полтора месяца невзгод и разочарований опять вернулись в Эсмеральду. Там мы узнали, что «Вольный Запад» и «Джонсон» объединились в одну компанию; что общий капитал ее составили пять тысяч футов, то есть акций; что десятник, предвидя бесконечные тяжбы и считая такое обширное предприятие слишком громоздким, продал свою сотню футов за девяносто тысяч золотых долларов и уехал домой в Штаты наслаждаться жизнью. Раз стоимость руды достигла такой баснословной цифры при наличии пяти тысяч акций, то сколько бы она стоила, если бы футов было всего шестьсот, по нашей первоначальной заявке! При одной мысли об этом у меня кружилась голова. Это такая же разница, как если домом владеют пять тысяч хозяев или шестьсот. Мы стали бы миллионерами, поработай мы заступом и кайлом хоть один-единственный денек на нашем участке, чтобы утвердить свои права на него!

Это может показаться плодом буйного воображения, но, по свидетельствам многих очевидцев и официальным отчетам округа Эсмеральда, легко установить, что каждое слово моего рассказа — сущая правда. Я с полным основанием могу утверждать, что целых десять дней был бесспорным и несомненным обладателем миллионного состояния.

Год тому назад мой уважаемый и достойный всякого уважения компаньон, бывший миллионер Хигби, написал мне из глухого приискового поселка в Калифорнии, что после девятилетних трудов и усилий он наконец-то может располагать суммой в две тысячи пятьсот долларов и намерен на скромных началах открыть небольшую торговлю фруктами. Как оскорбился бы он таким предложением в ту ночь, когда мы лежали без сна в нашей хижине, мечтая о путешествиях в Европу и о домах из песчаника на Русской горке!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(Перевод Т.Литвиновой)

ГЛАВА I

Что же дальше? — Препятствия на жизненном пути. — «На все руки мастер». — Снова приписки. — Стрельба по мишени. — Я становлюсь репортером. — Наконец повезло!

Что же делать дальше?

Вопрос серьезный. С тринадцати лет я был предоставлен самому себе. (Дело в том, что мой отец имел обыкновение ставить свою подпись на векселях своих приятелей; и в результате мы получили от него в наследство память о доблестных виргинских предках и блистательной их славе, причем я со временем убедился в том, что фамильная слава тогда хороша, когда ее заедаешь куском хлеба.) Мне удавалось зарабатывать на жизнь различными способами, однако нельзя сказать, чтобы мои успехи производили ослепительное впечатление; все же передо мной открывалось широкое поле деятельности, было бы только желание работать, а его-то у меня, бывшего богача, как раз и не было. Когда-то я работал приказчиком в бакалейной лавке — в течение одного дня. За этот срок я успел поглотить такое количество сахара, что хозяин поспешил освободить меня от моих обязанностей, сказав, что я очень пригодился бы ему по ту сторону прилавка, в качестве покупателя. После этого я целую неделю штудировал право. Пришлось бросить — скучно! Затем я посвятил несколько дней изучению кузнечного дела, но у меня слишком много времени уходило на попытки укрепить мехи таким образом, чтобы они раздувались сами, без моей помощи. Я был выгнан с позором, и хозяин сказал, что я плохо кончу. Некоторое время я работал продавцом в книжном магазине. Назойливые покупатели мешали мне читать, и хозяин дал мне отпуск, позабыв указать срок его окончания. Часть лета я проработал в аптеке, но лекарства, которые я составлял, оказались не особенно удачны. В результате на слабительные был больший спрос, нежели на содовую воду, и мне пришлось уйти. Я кое-как наладился работать в типографии, в надежде когда-нибудь стать вторым Франклином[33]. Надежда эта пока еще не оправдалась. В газете «Юнион», которая издавалась в Эсмеральде, не было вакансий, к тому же я набирал так медленно, что успехи каких-нибудь учеников с двухлетним стажем вызывали у меня жгучую зависть; метранпажи, давая мне очередной «урок», говорили при этом, что он, «может быть, и понадобится — как-

нибудь, в течение года». Я считался неплохим лоцманом на участке от Сент-Луиса до Нового Орлеана, и уж тут, казалось бы, мне было нечего стыдиться. Платили лоцманам двести пятьдесят долларов в месяц, кормили бесплатно, и я был бы не прочь снова стать за штурвал и распроститься с бродячей жизнью. Но последнее время я так дурацки вел себя, посылал домой такие кичливые письма, расписывая в них и слепую жилу и предстоящую поездку по Европе, что мне оставалось лишь по примеру всех неудачливых золотоискателей сказать себе: «Я человек пропащий, и мне нельзя домой, где все меня будут жалеть и… презирать». Походил я в личных секретарях, побывал на серебряных приисках старателем, поработал на обогатительной фабрике — и нигде-то, ни на одном поприще, не добился толка, и вот… Что же делать дальше?

Вняв увещеваниям Хигби, я решился вновь попытать счастья на приисках. Мы забрались довольно высоко по склону горы и принялись разрабатывать принадлежавший нам маленький, никудышный участок, где у нас была шахта глубиной в восемь футов. Хигби в нее спустился и славно поработал киркой, а когда он расковырял порядочно породы и грязи, я пошел на его место, захватив совок на длинной ручке (одно из самых нелепых орудий, какие когда-либо изобрел ум человеческий), чтобы выгребать разрыхленную массу. Нужно было коленом подать совок вперед, набрать земли и ловким броском откинуть ее через левое плечо. Я так и сделал, и вся эта дрянь свалилась на самый край шахты, а оттуда угодила мне прямо на голову и за шиворот. Не говоря худого слова, я вылез из ямы и пошел домой. Я тут же дал себе зарок скорее умереть с голоду, нежели еще раз сделать себя мишенью для мусора, которым стреляют из совка с длинной ручкой. Дома я добросовестнейшим образом погрузился в уныние. Когда-то, в лучшие времена, я скуки ради пописывал в самую крупную газету Территории — вирджинскую «Дейли территориел энтерпрайз» — и неизменно удивлялся всякий раз, когда мои письма появлялись в печати. Мое уважение к редакторам заметно упало: неужели, думал я, они не могли найти материал получше, чем писанина, которую я им поставляю? И вот сейчас, возвращаясь домой, я завернул на почту и обнаружил там письмо на свое имя, которое в конце концов и вскрыл. Эврика! (Точного значения этого слова мне так и не удалось постичь, но им как будто можно пользоваться в тех случаях, когда требуется какое-нибудь благозвучное слово, а иного под рукой нет.) В письме меня без всяких обиняков приглашали в Вирджинию занять пост репортера газеты «Энтерпрайз» с жалованьем двадцать пять долларов в неделю!

В эпоху слепой жилы я бы вызвал издателя на дуэль за такое предложение, — теперь же я был готов пасть перед ним на колени и молиться на него. Двадцать пять долларов в неделю — да ведь это неслыханная роскошь, целое состояние, непозволительное, преступное расточительство! Впрочем, я несколько поумерил свой восторг, вспомнив, что никакого опыта не имею и, следовательно, не гожусь для этой работы. А тут еще, как нарочно, перед духовным моим взором возник длинный список всех моих былых неудач. Однако отказываться от этого места я тоже не мог, ибо тогда мне пришлось бы в самом скором времени перейти к кому-нибудь на иждивение, — подобный исход, разумеется, не мог улыбаться человеку, который с тринадцати лет ни разу не бывал в этом унизительном состоянии. Такая ранняя самостоятельность — явление настолько распространенное, что гордиться тут, собственно, было нечем, но вместе с тем это было единственное, чем я мог гордиться. Так вот я и сделался репортером — с перепугу. Иначе я бы, конечно, отказался. Нужда рождает отвагу. Я не сомневаюсь, что если бы мне в то время предложили перевести талмуд с древнееврейского, я бы взялся — не без некоторой робости и колебаний, конечно, — и при этом я бы постарался за те же деньги внести в него возможно больше выдумки.

Итак, я отправился в Вирджинию и приступил к своим обязанностям репортера. Вид у меня, надо сказать, был самый невзрачный — без сюртука, в шляпе с отвисшими полями, в синей шерстяной рубашке, штанах, заправленных в сапоги, с бородой до пояса и неизбежным флотским револьвером на боку. Впрочем, очень скоро я стал одеваться по-человечески, а от револьвера отказался. Мне ни разу не случалось убить кого-нибудь, даже желания такого я никогда не испытывал и носил эту штуку в угоду общественному мнению, а также для того, чтобы не иметь вызывающего вида и не привлекать к себе внимания. Остальные репортеры — о наборщиках я уже не говорю — не расставались с револьвером. Главный редактор, он же издатель газеты (назову его условно мистер Гудмен), в ответ на мою просьбу разъяснить мне мои обязанности сказал, что мне следует ходить по городу и задавать всевозможным людям всевозможные вопросы, записывать добытую таким образом информацию и затем перерабатывать материал для печати. При этом он добавил:

— Никогда не пишите: «Мы слыхали то-то и то-то», или: «Ходят слухи, что…», или: «Насколько нам известно», — но всегда отправляйтесь к первоисточнику, добывайте несомненные факты и говорите прямо: «Дело обстоит так-то и так-то». Иначе публика не будет вам верить. Только точные сведения дают газете

устойчивую и солидную репутацию.

В этом и заключалась вся премудрость; и по сей день, когда я читаю статью, которая начинается словами «Насколько нам известно», мне сдается, что репортер недостаточно добросовестно охотился за материалом. Рассуждать, впрочем, легко, на деле же в бытность мою репортером мне не всегда удавалось следовать правилу мистера Гудмена: слишком часто скудость истинных происшествий заставляла меня давать простор фантазии в ущерб фактам. Никогда не забуду первого дня своего репортерства. Я бродил по городу, всех расспрашивал, всем надоедал — и убедился лишь в том, что никто ничего не знает. Прошло пять часов, а моя записная книжка оставалась чистой. Я поговорил с мистером Гудменом. Он сказал:

— В периоды затишья, когда не случалось ни пожаров, ни убийств, Дэн отлично обходился сеном. Не прибыли ли обозы из-за Траки? Если прибыли, вы можете писать об оживлении и так далее в торговле сеном. Понимаете? Особой сенсации это не вызовет, но страницу заполнит и к тому же произведет впечатление деловитости.

Я снова пошел рыскать по городу и обнаружил один-единственный несчастный воз с сеном, который тащился из деревни. Зато я выжал его досуха. Я умножил его на шестнадцать, привел его в город из шестнадцати разных мест, размазал его на шестнадцать отдельных заметок и в результате поднял такую шумиху вокруг сена, какая Вирджинии никогда и не снилась.

Я воспрянул духом. Надо было заполнить два столбца нонпарелью, и дело у меня шло на лад. Затем, когда тучи снова начали было сгущаться, какой-то головорез убил кого-то в кабаке, и я снова обрел вкус к жизни. Никогда-то мне не доводилось так радоваться по пустякам! «Сэр, — сказал я убийце, — хоть мы с вами и незнакомы, но я ввек не забуду услуги, которую вы мне сегодня оказали. Если годы благодарности могут хоть в малой мере служить вам вознаграждением, считайте, что вы его получили. Вы великодушно выручили меня из беды — и это в тот самый момент, когда все, казалось, было погружено в уныние и мрак. Считайте меня своим другом отныне и на веки веков, ибо я не из тех, кто забывает добро».

Если я даже и не сказал ему всего этого на самом деле, то меня, во всяком случае, сильно подмывало высказаться в таком духе. Я описал убийство с жадным вниманием к каждой частности и, кончив свое описание, жалел лишь о том, что моего благодетеля не повесили тут же на месте, так чтобы я мог присовокупить еще и картину казни.

Затем я обнаружил несколько переселенческих фургонов,

направлявшихся к городской площади, чтобы расположиться там на ночлег; оказалось, что они недавно проезжали по землям враждебных индейцев и попали в передрягу. Я выжал все, что мог, из этого материала и, если бы присутствие репортеров из других газет не стесняло меня, добавил бы от себя кое-какие подробности, которые сделали бы статью много занимательней. Впрочем, я все же завел тактичный разговор с хозяином одного из фургонов, который держал путь в Калифорнию. В результате тщательного допроса я выяснил из его односложных и не слишком любезных ответов, что он никоим образом не задержится в городе на другой день, так что в случае чего можно было не опасаться скандала. Я опередил остальных газетчиков, записал себе фамилии всех спутников моего собеседника и включил всю группу в список убитых и раненых. Так как тут было где развернуться, я заставил его фургон участвовать в битве с индейцами, равной которой не знала история.

Два моих столбца были заполнены. Когда на следующее утро я перечел их, я понял, что наконец нашел свое истинное призвание. Новости, говорил я себе, и новости, способные всколыхнуть читателя, — вот что нужно газете; а я чувствовал, что создан, чтобы поставлять именно такие новости. Мистер Гудмен сказал, что как репортер я могу равняться с Дэном. Высшей похвалы я не мог желать. После такого поощрения я был готов взять в руки перо и, если понадобится и если этого потребуют интересы газеты, убить всех переселенцев на обширных равнинах Запада.

ГЛАВА II

Мой приятель Богз. — Школьный отчет. — Долг платежом красен. — Начало расцвета в Серебряном крае. — Вирджиния-Сити. — Воздух Невады.

По мере того как я вникал в дело и узнавал, куда следует обращаться за материалом, мне все реже приходилось прибегать к помощи фантазии, и я научился заполнять свои столбцы, не слишком заметно отдаляясь от фактов.

Я подружился с репортерами других газет, и мы в целях экономии энергии обменивались друг с другом «ежедневками». «Ежедневками» у нас назывались постоянные источники новостей, как-то: суд, добыча серебра, обогатительные фабрики и внезапные смерти, — дело в том, что все носили при себе оружие, вследствие чего «внезапные смерти» случались у нас чуть ли не каждый день, и их по справедливости причисляли к категории «ежедневок». В те дни газеты наши были довольно занимательны. Самым опасным моим конкурентом среди репортеров был некий Богз из «Юнион». Это был отличный репортер. Раз в три или четыре месяца он слегка нагружался, но, в общем, пил осторожно и осмотрительно, хотя и не прочь был схватиться с зеленым змием. У него было одно крупное преимущество передо мной: он получал ежемесячный отчет начальной школы, мне недоступный, так как директор школы ненавидел нашу «Энтерпрайз».

Однажды, снежным вечером, когда пришел срок для очередного отчета, я вышел на улицу в самом печальном расположении духа, ломая голову над тем, как бы заполучить этот отчет. Пройдя несколько шагов по пустынной улице, я наткнулся на Богза и спросил его, куда он держит путь.

— За школьным отчетом.

— Давайте я вас провожу!

— Нет уж, сэр, пожалуйста, не трудитесь.

— Как хотите.

В эту минуту мимо нас прошел мальчишка из кабака, неся в руках дымящийся кувшин горячего пунша, и Богз изящно повел носом. Он с нежностью посмотрел вслед удаляющемуся мальчику, который начал взбираться по лестнице, ведущей в редакцию «Энтерпрайз».

— Признаться, я рассчитывал на вас с этим школьным отчетом, — сказал я, — ну да что делать! Придется мне, видно,

заглянуть в редакцию «Юнион» — может, мне и удастся уломать их выдать мне гранки. А в общем-то вряд ли. Покойной ночи.

— Стойте! Я, пожалуй, не прочь поболтать с вашими ребятами, а вы тем временем можете списать мой отчет. Только тогда уж зайдите со мной к директору школы.

— Вот это другой разговор. Идемте.

Мы протопали по снегу несколько кварталов, достали отчет и вернулись в мою редакцию. Документ был не очень объемистый, и я быстро списал его. Богз между тем занялся пуншем. Я вернул ему его рукопись, и мы вместе отправились на убийство, так как где-то неподалеку раздались пистолетные выстрелы. Убийство оказалось плохонькое — обычная кабацкая ссора, из тех, что мало волнуют читателя. Богз и я наскоро собрали материал и расстались. А часа в три утра, когда мы уже сдали материал в набор и по своему обыкновению устроили небольшой концерт для отдыха (кое у кого из наборщиков был неплохой голос, другие хорошо играли на гитаре и на чудовищном инструменте, именуемом аккордеоном), к нам вошел владелец «Юнион» и спросил, не знает ли кто, куда делся Богз со своим школьным отчетом. Мы изложили ему обстоятельства дела и вышли всей компанией на поиски дезертира. Его нашли в кабаке. Взгромоздившись на стол и подняв в одной руке старый жестяной фонарь, а в другой школьный отчет, он держал речь перед группой пьяных рудокопов из Корнуэлла о преступном разбазаривании общественных денег, которые-де тратятся на образование, «в то время как сотни и тысячи честных тружеников буквально гибнут из-за недостатка виски». (Бурные аплодисменты.) Он уже несколько часов принимал деятельное участие в пирушке, устроенной этими молодцами с истинно королевским размахом. Мы его увели и уложили спать.

Само собой разумеется, «Юнион» вышла на другой день без школьного отчета, и Богз винил в том меня, хотя у меня и в мыслях не было лишить его газету отчета и я не меньше других жалел об этом несчастье.

Впрочем, мы оставались друзьями по-прежнему. В тот день, когда должен был появиться следующий школьный отчет, владелец шахты «Дженеси» прислал за нами лошадь и попросил нас тиснуть заметочку о его шахте — к нам довольно часто обращались с подобной просьбой, и мы никогда не отказывались, если только при этом нам давали лошадь, потому что мы такие же люди, как все, и не прочь покататься. Мы добрались до так называемой «шахты». Это была всего-навсего яма футов в девяносто глубиной; проникнуть в нее можно было, лишь спустившись по веревке, прикрепленной к вороту. Рабочих мы не

застали — они только что ушли обедать. Спустить грузную тушу Богза у меня не хватило бы сил, и я сам, взяв в зубы незажженную свечу, сделав на конце веревки петлю для ноги и заклиная Богза не заснуть ненароком и не выпустить ворота из рук, прыгнул в яму. Перепачкавшись в глине и слегка поотбив себе локти, я благополучно достиг дна. Я зажег свечку, внимательно осмотрел породу, набрал несколько образцов и крикнул Богзу, чтобы он меня поднимал. Никакого ответа! Затем высоко в светлом кружке появилась голова, и раздался голос:

— Готов?

— Да, да — поднимайте!

— Вам там удобно?

— Вполне.

— Вы можете немного обождать?

— Отчего же? Особой спешки нету.

— Ну что ж, до свидания!

— Как? Куда вы?

— За школьным отчетом!

И ушел. А через час рабочие вытянули веревку и очень удивились, обнаружив на другом ее конце вместо ведерка с породой — живого человека. Домой мне пришлось возвращаться пешком, пять миль в гору. В нашей газете на следующий день не было школьного отчета, зато «Юнион» вышла с отчетом.

Через полгода после того как я вступил на поприще журналистики, начался серебряный бум, который тянулся с неувядаемым великолепием три года. Время, когда мы не знали, чем заполнить отдел «местные новости», отошло в прошлое; теперь нам приходилось думать лишь о том, как вместить в уже и без того длинные столбцы всю ту тьму происшествий и новостей, которые ежедневно бились в наших литературных сетях. Изо всех молодых городков Америки Вирджиния оказалась самым бойким. Тротуары кишели народом, и порой бывало даже трудно двигаться среди этого человеческого моря. А мостовые были заполнены фургонами с породой, подводами с товаром и другими повозками. Они тянулись нескончаемой вереницей. Столько их было, что иной раз какой-нибудь одноколке приходилось полчаса выжидать возможности переехать главную улицу. Все лица людей сияли восторгом, в глазах у всех был тот радостный, напряженный, даже слегка свирепый блеск, который придавали им планы обогащения, занимавшие умы, и радужные надежды, переполнявшие сердца. Деньги текли, как песок; каждый ощущал себя богачом, не было ни одной унылой физиономии. Появились военные команды, пожарные команды, духовые оркестры, банки, гостиницы, театры, публичные дома, игорные притоны самого

низкого пошиба, политические клики, торжественные шествия, уличные драки, убийства, дознания, беспорядки, продажа виски через каждые пятнадцать шагов, муниципальный совет, мэр, городской землемер, главный инженер города, начальник пожарной охраны и его заместители — первый, второй и третий, начальник полиции, шериф и полицейские, два маклерских объединения, дюжина пивоварен, с полдюжины тюрем и полицейских участков, работающих в полную силу, и ко всему этому даже разговоры о постройке церкви. Бум в полном разгаре! Одно за другим воздвигались на главных улицах большие строения из огнеупорного кирпича, а от главных улиц во все стороны расползались деревянные предместья. Цены на городские участки достигли головокружительных цифр.

«Комстокская жила» щедро тянулась с севера на юг, прямо через город, и все рудники на ней старательно разрабатывались. Только на одном из этих рудников было занято шестьсот семьдесят пять рабочих, и выборы обычно шли под лозунгом: «Куда Гулд и Карри, туда и наш город». Рабочим платили от четырех до шести долларов в день, и они работали в три смены, так что круглые сутки люди копали, взрывали и долбили землю.

Город Вирджиния царственно восседал на крутом склоне горы Дейвидсон, на полпути от подножия к вершине, семь тысяч двести футов над уровнем моря, и в прозрачном воздухе Невады его было видно за пятьдесят миль. Он насчитывал от пятнадцати до восемнадцати тысяч жителей; весь день половина этой маленькой армии роилась на улицах, в то время как другая ее половина, под этими же улицами, роилась в туннелях и проходах Комстокской жилы, на глубине сотен футов под землей. Время от времени под нами начинали дрожать стулья и раздавался отдаленный гул взрыва, который происходил где-то в недрах земли, под самой нашей редакцией.

Расположенная на крутом склоне, Вирджиния походила на покатую крышу. Каждая уличка образовала собой род террасы и нависала на сорок или пятьдесят футов над другой. С фасада дома стояли как положено — начинаясь от уровня улицы, на которую они выходили; сзади же первый этаж опирался на высокие сваи: из заднего окна первого этажа дома, выходящего на улицу «С», можно было заглянуть в трубы домов, фасады которых выходили на улицу «Д». Подняться с улицы «Д» на улицу «А» в этом разреженном горном воздухе было делом нелегким, и к тому времени как человек туда добирался, он дышал, как паровоз; зато назад он летел, как из пушки. На этой высоте воздух был настолько разрежен, что у человека чуть что показывалась кровь, и поэтому какой-нибудь булавочный укол представлял

нешуточную угрозу: того и гляди могло получиться рожистое воспаление. Зато этот же воздух, по-видимому, обладал целительной силой против огнестрельных ран, и настоящего удовлетворения от того, что вы прострелите противнику оба легких, ждать не приходилось — у вас не было никакой уверенности, что через две — три недели он не явится разыскивать вас, — и уж, конечно, не с биноклем в руках.

С величавых высот Вирджинии открывается необъятная панорама горных хребтов и пустынь; и все равно — в погожий ли день или облачный, при восходе ли солнца или при его заходе, в палящий полдень или в лунную ночь — зрелище это всегда величественно и прекрасно. Прямо под вами Дейвидсон вздымает свою седую голову, а внизу, рассекая неровную горную цепь, зазубренное ущелье образует мрачные ворота, сквозь которые мягко светится пустынная равнина с серебристой змейкой реки, окаймленной деревьями, которые на таком расстоянии кажутся пушистой бахромой; еще дальше поднимаются снежные вершины, которые тянутся бесконечным барьером до самого горизонта, окутанного туманом; между горизонтом и вами, где-то далеко в пустыне, горит озеро, словно поверженное на землю солнце. Выгляните в окно: куда ни повернетесь, всюду вас встречает пленительная картина!

Редко, очень редко в нашем небе появлялись облака, и тогда заходящее солнце золотило и румянило весь этот величественный пейзаж, разливая по нему пышное великолепие красок, волшебными чарами околдовывая глаз и наполняя душу музыкой.

ГЛАВА III

Денег куры не клюют. — «Дикие» шахты. — Сколько угодно акций. — Услужливые репортеры. — Мне дарят акции. — «Присоленные» шахты. — Известный трагик в новой роли. — «Самородное серебро».

Мне дали прибавку, и теперь мое жалованье составляло сорок долларов в неделю. Но обычно я его даже и не брал, — у меня были другие источники дохода. Да и что такое две золотых монеты по двадцать долларов для человека, чьи карманы набиты ими, не говоря уже о блестящих пятидесятицентовиках, которых просто некуда девать! (Бумажные деньги так и не привились на побережье Тихого океана.) Репортерское дело было выгодно, а жители города не скупились ни на деньги, ни на «футы»: и сам город и весь склон, на котором он стоял, были изрешечены шахтами. Рудников было больше, чем рудокопов. Правда, среди этих рудников нельзя было насчитать больше десяти сколько-нибудь прибыльных, в большинстве из них добытую породу не стоило даже везти на фабрику, — однако люди говорили: «Погодите, вот мы дойдем до жилы — тогда увидите!» Так что никто не унывал. По большей части это все были бросовые шахты — совершенно безнадежные, но в те времена никто не хотел этому верить. В «Офире», «Гулд и Карри», «Мексиканце» и других крупных рудниках на Комстокской жиле в Вирджинии и Голд-Хилле ежедневно добывали горы ценной породы, — и каждый считал, что его маленький «дикий» участочек ничуть не уступал тем, что расположены на «главной залежи», и что каждый фут его со временем, «как только дойдешь до самой жилы», будет стоить не меньше тысячи долларов. Бедняги! Они и не подозревали, что этому времени не суждено наступить.

Итак, с каждым днем все углублялись эти тысячи диких шахт, и у людей голова шла кругом от счастья, от надежд. Как они трудились, как пророчествовали, как радовались! Уж, верно, с самого сотворения мира ничего подобного не бывало. Каждая из этих диких шахт — собственно, даже и не шахт, а всего лишь ям, которые копали над местом воображаемых залежей, — была зарегистрирована, каждая выпускала изящно гравированные «акцию», которые, кстати сказать, находили сбыт. Каждый день их покупали и продавали с лихорадочной жадностью. Всякий был волен, вскарабкавшись на гору и побродив по ней немного,

облюбовав себе участок (в них не было недостатка), прибить «заявку» с каким-нибудь высокопарным названием, начать копать, выпустить акции и без всякого сколько-нибудь убедительного доказательства прибыльности своего рудника предложить эти акции на продажу и выручить за них сотни, а то и тысячи долларов. Зашибить деньгу, и притом в наикратчайший срок, было так же просто, как пообедать. Не было человека, который не обладал бы «футами», разбросанными там и сям, в пятидесяти различных местах, и каждый считал себя миллионером. Представьте себе город, в котором нет ни одного бедняка! Проходили месяцы, а между тем ни одна из этих диких шахт (дикими я называю все те шахты, которые не расположены на основной Комстокской жиле) не дала и тонны породы, которую бы стоило обрабатывать, и, однако, никому не приходило в голову усомниться в будущем богатстве. Напротив, все по-прежнему копали землю, торговали акциями — словом, блаженствовали.

Каждый день открывались новые рудники, и по установившейся уже традиции люди шли прямо в редакцию газеты и дарили репортеру сорок или пятьдесят «футов» за то, чтобы он обследовал участок и напечатал о нем сообщение. Им было совершенно наплевать, что именно напишут об их руднике, — лишь бы писали. Поэтому мы обычно строчили несколько слов в том духе, что рудник имеет хорошие данные, что ширина жилы шесть футов, что порода «напоминает Комстокскую» (сходство, конечно, было, хотя нельзя сказать, чтобы разительное). Если порода казалась мало-мальски обещающей, мы, следуя американскому обычаю, неистовствовали, не жалея эпитетов, словно перед нами какое-то серебряное чудо. Если рудник был уже «разработан», а ценной руды не давал (а это было в порядке вещей), то мы расхваливали штольню, называя ее увлекательнейшей штольней в стране; мы исходили слюной и рассыпались в восторгах по поводу этой штольни — о самой же породе ни слова не говорили. Мы на полстолбца размазывали свое умиление устройством самого рудника, или какого-нибудь нового железного троса, или прекрасно обтесанного соснового ворота, или прелестного нагнетательного насоса и в заключение разражались восторженной тирадой о «любезном и способном руководителе» рудника, — но ни словом не позволяли себе обмолвиться о самой породе. И владелец оставался доволен. Время от времени мы освежали свою репутацию строгих знатоков и ценителей, поднимая такую шумиху вокруг какого-нибудь заброшенного старого участка, что его давно высохшие косточки, казалось, так и гремели; воспользовавшись мимолетной его

славой, кто-нибудь непременно прибирал к рукам тот участок и тут же его продавал.

Не было такого участка, который нельзя было бы продать. Каждый день мы получали в дар известное количество «футов». Если мы испытывали нужду в сотне-другой долларов, мы продавали эти «футы», а нет — сохраняли их, в твердой уверенности, что когда-нибудь они поднимутся в цене до тысячи долларов. Мой чемодан был до половины наполнен «акциями». Когда вокруг какого-нибудь рудника поднималась шумиха и акции соответственно поднимались в цене, я открывал чемодан и обычно находил у себя нужные акции.

Цены росли и падали; но колебания эти мало нас тревожили, так как только одна цена могла бы нас заинтересовать: тысяча долларов за фут, — и мы спокойно ее дожидались. Акции я получал не только от людей, которые хотели, чтобы их «пропечатали». Добрая половина их была подарена мне людьми без всякой задней мысли — так, за «спасибо», которого я к тому же имел юридическое право и не говорить. Если вы идете по улице с двумя корзинами яблок и встречаете приятеля, вы, само собой разумеется, захотите его угостить. Так именно и обстояло дело с акциями в Вирджинии во время бума: у каждого карманы оттопыривались от акций, и оделять ими друзей, не дожидаясь их просьбы, уже вошло в обычай. Опыт показал, что мешкать, когда тебе предлагают дружеский подарок в несколько акций, не следует, ибо дарящий чувствует себя связанным своим предложением лишь в тот момент, когда он его делает; если же, пока вы раздумывали, акция успевала подняться в цене, вам оставалось лишь пенять на свою нерешительность. Мистер Стюарт (ныне сенатор от Невады) как-то сказал, что даст мне двадцать футов своего рудника «Юстис», если я зайду к нему в контору. Акции его шли тогда по пять или десять долларов за фут. Я просил разрешения зайти за ними на другой день, так как еще не обедал. Он сказал, что его не будет в городе; я имел неосторожность предпочесть обед его акциям. Не прошло и недели, как они поднялись, сперва до семидесяти, а потом и до ста пятидесяти долларов, но теперь человек этот был непоколебим. По всей видимости, он продал эти мои акции, а неправедный барыш положил себе в карман. Как-то под вечер я встретил трех приятелей, и они сообщили мне, что приобрели на аукционе «Оверманские» акции по восемь долларов за фут. Один из них посулил мне пятнадцать футов, если я только зайду к нему; второй сказал, что добавит еще столько же футов от себя; третий обещал последовать примеру товарищей. Но я торопился — меня ждало убийство. А через несколько недель они продали

свои «Оверманские» акции, выручив по шестьсот долларов за фут, и благороднейшим образом пришли ко мне рассказать об этом, а также посоветовать мне не отказываться впредь от сорока пяти футов, если кто-нибудь ненароком станет мне их навязывать. Все это доподлинные факты, и я мог бы привести еще много подобных случаев без малейшего отступления от истины. Сколько раз друзья дарили нам акций на двадцать пять футов, которые шли по двадцать пять долларов фут, с такой же легкостью, с какой предлагают гостю сигару. Да, это был настоящий бум! Я думал, так будет продолжаться вечно, но мои пророчества почему-то никогда не сбываются.

В своем безумии наши искатели серебра дошли до того, что стали «столбить участки» уже и в погребах жилых домов; поковыряв ломом землю и обнаружив, как им казалось, кварцевую породу, они принимались печатать акции, которые тут же поступали на рынок. И это происходило не где-нибудь на окраине города, а в самой его сердцевине. Было совершенно безразлично, кому принадлежал погреб, — «жила» становилась собственностью того, кто ее открывал, и если только правительство Соединенных Штатов не вмешивалось (не знаю, как сейчас, а в те времена в Неваде правительство пользовалось преимущественным правом на разработку благородных металлов), право разрабатывать участок принадлежало ему. Вообразите, что к вам в сад является незнакомец и начинает «столбить» себе участок среди ваших драгоценных кустов, хладнокровнейшим образом разрушая ваши насаждения с помощью лома, лопаты и динамита! В Калифорнии такое случалось сплошь да рядом. Некто «застолбил» себе участок посреди одной из главных улиц Вирджинии и начал копать там шахту. Он дал мне акций на сто футов, которые я тут же обменял на хороший костюм, опасаясь, как бы кто-нибудь не провалился в шахту и не стал бы потом взыскивать с меня за причиненное увечье. Держал я акции и другого участка, помещавшегося посреди другой улицы; глупость человеческая была такова, что «Восточноиндийские» акции (так они назывались) прекрасно шли, несмотря на то, что под самым этим участком проходила заброшенная штольня, в которую всякий мог зайти и убедиться, что ни жилы, ни чего-нибудь отдаленно напоминающего ее там не было.

Один из способов мгновенного обогащения заключался в том, что «подсаливали» какой-нибудь дикий участок и тут же, воспользовавшись шумихой, сбывали его с рук. Процесс несложный. Хитрец столбил какой-нибудь бросовый участок, начинал копать шахту, покупал воз ценной комстокской руды,

часть которой сбрасывал в самую шахту, а остальную вываливал на ее краю. Затем он демонстрировал свою собственность какому-нибудь простаку и продавал ее за кругленькую сумму. Само собой разумеется, что никакой выгоды, если не считать первого воза ценной породы, жертва из этой махинации не извлекала. Самый замечательный случай «подсолки» произошел с рудником «Северный Офир». Утверждали, что это ответвление «Офира» — действительно богатой жилы на Комстокской залежи. Несколько дней только и было разговоров, что о богатых разработках на «Северном Офире». Говорили, что там найдено чистое серебро в маленьких самородках. Я отправился туда в сопровождении владельцев и увидел яму в шесть — восемь футов глубиной, на дне которой была раздробленная на мелкие кусочки желтоватая, матовая, малообещающая порода. С таким же успехом можно было бы надеяться обнаружить серебро в кремне. Мы набрали таз этого мусора и начали его промывать в лужице. И что же вы думаете? В осадке нам в самом деле попалось до полдюжины черных дробинок безукоризненного «самородного» серебра! Такого никогда не бывало; никакая наука не могла бы объяснить столь удивительное явление. Акции поднялись до шестидесяти пяти долларов за фут, и как только они достигли этой точки, Мак-Кин Бьюкенен, всемирно известный трагик, закупил большую часть акций и в очередной раз приготовился покинуть сцену — такая уж у него была привычка. Затем обнаружилось, что шахта была «подсолена», и отнюдь не обычным, заезженным способом, а исключительно смело, нагло и своеобразно. На одном куске «самородного» серебра оказалась чеканная надпись: «…нных Штатов Ам…», и тогда-то выяснилось, что «подсолили» шахту просто-напросто расплавленными полудолларовыми монетами! Полученные комочки затем чернили, чтобы придать им «самородный» вид, и смешивали с раздробленной породой на дне шахты. Только и всего. Нечего и говорить, что цены на акции упали до нуля, а трагик вконец разорился. Если бы не эта катастрофа, сцена бы лишилась Мак-Кина Бьюкенена.

ГЛАВА IV

Расцвет продолжается. — Фонд Санитарного комитета. — Санитарный Мешок Муки. — Мешок везут в Голд-Хилл и Дейтон. — Окончательная продажа в Вирджинии. — Результаты торгов. — Общий итог.

«Хорошим денькам» не предвиделось конца. Немногим больше двух лет назад два наборщика — мистер Гудмен и его товарищ, заняв сорок долларов, выехали из Сан-Франциско, чтобы попытать счастья в новом городе Вирджинии. Когда они туда прибыли, захудалая еженедельная газетка «Территориел энтерпрайз» находилась при последнем издыхании. За тысячу долларов, в рассрочку, они купили все предприятие — шрифт, машину, права. Кабинет редактора, репортерская, типография, спальня, гостиная и кухня — все размешалось в одной, и притом совсем небольшой, комнате. Редакторы и наборщики спали на полу, китаец-повар готовил на всех обед, который сервировался на верстальном реале. Но все это отошло в прошлое. Теперь это была крупная ежедневная газета. Ее машины работали на паровом приводе; она насчитывала в своем штате пять репортеров и двадцать три наборщика; подписная цена была шестнадцать долларов в год; за объявления взимались фантастические суммы; и полосы были полностью укомплектованы. Газета выручала от шести до десяти тысяч долларов в месяц и готовилась к переезду в «Дом Энтерпрайз» — величественное здание из огнеупорного кирпича. Часто приходилось отказываться от самых «срочных» объявлений — их в иной день оставалось столбцов на пять, а то и на все одиннадцать, — иногда их печатали в отдельных «приложениях», которые выходили в неопределенные сроки.

Компания «Гулд и Карри» строила гигантскую обогатительную фабрику в сто толчей, которая обошлась им без малого в миллион долларов. Эта компания выплачивала хороший дивиденд с акций — явление достаточно редкое и наблюдавшееся всего лишь на двенадцати или пятнадцати рудниках, расположенных на основной залежи — Комстокской. Управляющий рудниками «Гулд и Карри» жил в прекрасном доме, бесплатно предоставленном ему компанией вместе с обстановкой. Компания подарила ему также пару лошадей для разъездов и выплачивала двенадцать тысяч долларов в год жалованья. На другом крупном руднике управляющий имел великолепный

выезд, получал двадцать восемь тысяч долларов в год и впоследствии предъявил компании иск, утверждая, что ему был обещан один процент общей добычи серебра.

Денег было — море разливанное. Тут уже приходилось думать не о том, как их добыть, а о том, как получше истратить их, промотать, расшвырять. И вот в этот-то критический момент телеграф принес нам радостную весть о нарождении новой мощной организации — Санитарного комитета Соединенных Штатов, которая объявила сбор средств в пользу раненых солдат и матросов федеральных войск, прозябающих в лазаретах на Востоке. Следом за этим сообщением пришло и другое: Сан-Франциско щедро отозвался на этот призыв через несколько часов после получения телеграммы. Вирджиния поднялась как один человек! Наскоро сколотили местный Санитарный комитет. Председатель его, взобравшись на пустую тележку, стоявшую на улице «С», пытался успокоить разбушевавшихся сограждан, объясняя им, что члены комитета разрываются на части и работают не покладая рук и что не позже чем через час будет открыта контора и заведены книги для регистрации взносов, которые тут же и будут приниматься комитетом. Его голос потонул в несмолкающем реве оваций, никто не слушал оратора, и все требовали, чтобы деньги принимались немедленно, — они клялись, что не станут ждать ни минуты. Председатель умолял, объяснял, увещевал. Тщетно! Не слыша и не слушая его, люди протискивались сквозь толпу к тележке, сыпали в нее золото и спешили домой, чтобы принести еще денег. Там и сям из толпы высовывался кулак с зажатой в нем монетой, — отчаявшись пробиться силой, люди прибегали к помощи этого красноречивого жеста, чтобы проложить себе дорогу к тележке. Китайцы и индейцы и те поддались всеобщему азарту: не пытаясь даже вникнуть в смысл происходящего, они бросали свои монеты в тележку. Женщины, аккуратно одетые и причесанные, ныряли в толпу и, крепко зажав в руке деньги, проталкивались к тележке, а через некоторое время появлялись вновь, оборванные и растрепанные до неузнаваемости. Такой неистовой толпы, такой неукротимой и своевольной, Вирджиния еще не видала. Когда же страсти наконец утихли и толпа разошлась, ни у кого не осталось и гроша в кармане. Или, как тогда говорили, пришли «с начинкой», а ушли «без потрохов».

Вскоре комитет уже наладил систематическую работу, и взносы полились щедрым потоком, который не прекращался несколько недель. Частные граждане и всевозможные организации обложили себя, соразмерно с личными доходами каждого, добровольным еженедельным налогом в пользу

санитарного фонда. Другой такой вспышки общественного энтузиазма у нас не наблюдалось, пока до наших краев не докатился знаменитый Санитарный Мешок Муки. История этого мешка весьма своеобразна и занимательна. В городишке Остин, что стоит на реке Рис, проживал некто Ройел Гридли, человек, с которым я когда-то учился в школе; демократическая партия выдвинула его кандидатом на пост мэра города. Гридли и кандидат от республиканской партии договорились между собой, что победитель всенародно преподнесет побежденному пятьдесят фунтов муки в мешке, каковой подарок побежденный должен будет пронести на собственной спине до самого своего дома. Кандидатура Гридли провалилась. Получив от новоизбранного мэра мешок с мукой, Гридли взвалил его на спину и в сопровождении всего города и духового оркестра протащил его на себе две-три мили, отделявшие Нижний Остин от Верхнего, где он проживал. Добравшись до дому, он сказал, что мешок этот ему не нужен, и просил посоветовать, куда его девать.

— Продайте его тому, кто больше заплатит, а деньги пожертвуйте в санитарный фонд, — послышался чей-то голос.

Предложение это было встречено аплодисментами, и Гридли взобрался на ящик и принялся исполнять обязанности аукциониста. Ставки начали бурно расти, пионеры раскошелились, и в конце концов мешок достался одному заводчику за двести пятьдесят долларов. Он тут же выписал чек, и когда его спросили, куда доставить мешок, отвечал:

— А никуда, — продайте его еще раз.

Тут уже поднялась настоящая овация, и народ не на шутку увлекся этой затеей. А Гридли продолжал стоять на ящике, выкрикивая цену и обливаясь потом, до самого захода солнца; когда же толпа разошлась, оказалось, что ему удалось продать мешок триста раз и выручить за него восемь тысяч долларов золотом. Сам же мешок по-прежнему оставался его собственностью. Вести об этом дошли до Вирджинии, которая протелеграфировала в ответ: «Тащите мешок сюда!»

Тридцать шесть часов спустя в город прибыл Гридли, и в тот же день в помещении Оперы был организован митинг, закончившийся аукционом. Однако мешок прибыл раньше, чем его ожидали, народ еще не расшевелился, и торг шел вяло. К ночи удалось выручить всего пять тысяч долларов, и публика несколько приуныла. Однако никто не собирался на этом успокоиться и уступить пальму первенства какой-то деревушке Остин. Городские деятели просидели до глубокой ночи, разрабатывая план кампании следующего дня, и улеглись спать, уверенные в успехе. На следующий день, в одиннадцать часов

утра, по улице «С» двинулась в сопровождении духового оркестра процессия открытых экипажей, украшенных флагами. Экипажи двигались с трудом, тесня толпу ликующих граждан. В первой коляске сидел Гридли, выставив для всеобщего обозрения мешок, ярко разукрашенный и сияющий золотыми письменами. В той же коляске сидели еще мэр и судья. В других экипажах расположились члены муниципального совета, редакторы газет, репортеры и прочие влиятельные лица. Толпа двинулась к перекрестку улицы «С» и Тейлор-стрит, полагая, что там-то и начнется аукцион; однако ее ожидало разочарование, ибо вся процессия двинулась дальше, словно Вирджиния не представляла больше никакого интереса; перевалив через водораздел, экипажи направились к маленькому городку Голд-Хиллу. В Голд-Хилл, в Силвер-Сити и в Дейтон были заблаговременно посланы телеграммы, так что тамошнее население лихорадочно готовилось к предстоящей схватке. День выдался знойный и фантастически пыльный. Не прошло и получаса, как мы въехали в Голд-Хилл с барабанным боем, развевающимися знаменами, окутанные внушительным облаком пыли. Все население — мужчины, женщины, дети, индейцы и китайцы — высыпало на главную улицу, всюду были подняты флаги, и оглушающие звуки духовых инструментов тонули в ликующих кликах. Гридли встал во весь рост и спросил, кто первым назначит цену на Национальный Санитарный Мешок Муки.

— Серебряная компания «Оса» предлагает тысячу долларов наличными! — объявил генерал В.

Последовали бурные аплодисменты. Эта весть была послана по телеграфу в Вирджинию, и через пятнадцать минут все население города высыпало на улицы и с жадностью кинулось читать бюллетени, усиленное распространение которых было предусмотрено в плане кампании. Каждые десять минут в Вирджинию поступали свежие сообщения из Голд-Хилла, и волнение вирджинцев все возрастало. Вирджиния засыпала нас телеграммами, умоляя Гридли привезти мешок обратно, на это отнюдь не входило в программу. Аукцион продолжался меньше часа, и когда опубликовали бюллетень, в котором подводился итог поступлениям, собранным в малонаселенном городе Голд-Хилле, к Вирджиния-Сити окончательно вернулся ее боевой пыл.

Освежившись довольно обстоятельно молодым пивом, которое население подтаскивало к экипажам без счета, отряд Гридли проследовал дальше. А через три часа наша экспедиция, взяв штурмом Силвер-Сити и Дейтон, с триумфом возвращалась в Вирджинию. Каждый шаг ее отмечался в телеграммах и бюллетенях, так что когда в половине девятого вечера процессия

вступила в Вирджинию и направилась по улице «С», все население высыпало наружу, запрудив улицы; горели факелы, развевались флаги, играли трубы, гремели приветственные клики, и город был готов сдаться на милость победителя. Начался аукцион, каждая новая ставка встречалась взрывом аплодисментов, и к концу двух с половиной часов золотые монеты, которые население в пятнадцать тысяч душ заплатило за один мешок муки, весивший пятьдесят фунтов, составили сумму, равную сорока тысячам долларов ассигнациями! Если разложить эту сумму на всех мужчин, женщин и детей, составлявших население города, то на долю каждого приходилось по три доллара. Сумма эта была бы, вероятно, вдвое больше, если бы не узкие улицы; многие не могли подойти к аукциону ближе чем на квартал, откуда их голоса не доходили, так что они постояли-постояли, да и разошлись задолго до окончания. Это был едва ли не самый значительный день во всей истории Вирджинии.

Гридли возил мешок еще в Карсон-Сити и несколько других городов Калифорнии, включая и Сан-Франциско. Затем он повез его на Восток и продал его, кажется, в двух-трех городах на побережье Атлантического океана. За точность последних сведений не поручусь, но зато наверное знаю, что в конце концов он привез этот мешок в Сент-Луис, где был устроен чудовищных размеров базар в пользу санитарного фонда. Подогрев энтузиазм публики демонстрацией увесистых брусков серебра, отлитых на деньги, собранные в Неваде, Гридли в последний раз продал мешок за крупную сумму, после чего напек пирожков из той же муки и продал их в розницу, тоже по высокой цене.

Говорят, что в окончательном итоге этот мешок муки дал не меньше ста пятидесяти тысяч долларов ассигнациями! Вероятно, это единственный случай, когда самая обыкновенная мука поднялась до трех тысяч долларов за фунт на открытом рынке.

Воздадим должное памяти мистера Гридли: расходы по экспедиции Санитарного Мешка Муки, — а проделано было в оба конца пятнадцать тысяч миль, — он покрыл если не целиком, то в большой степени из своего кармана. Времени же она заняла у него целых три месяца. Мистер Гридли был солдатом в мексиканской войне и принадлежал к пионерам Калифорнии. Он умер в декабре 1870 года в Калифорнии, в городе Стоктоне, оплакиваемый всеми, кто его знал.

ГЛАВА V

Набобы той эпохи. — Джон Смит — путешественник. — Лошадь достоинством в шестьдесят тысяч долларов. — Ловкий телеграфист. — Набоб в Нью-Йорке. — «О плате не беспокойтесь».

Это было время набобов — я имею в виду годы бума. Всякий раз как где-нибудь обнаруживалась богатая жила, на поверхность всплывало два-три набоба. Кое-кого из них я запомнил. В основном это был народ беспечный и добродушный, и общество выигрывало от их личного обогащения не меньше, чем они сами, — а в иных случаях даже и больше.

Однажды два парня — двоюродные братья, — проработав некоторое время возчиками на прииске, были вынуждены взять вместо причитающихся им трехсот долларов небольшой изолированный участочек серебряных залежей. Пригласив компаньона со стороны, братья поручили ему разработку участка, а сами продолжали трудиться по-прежнему возчиками. Впрочем, это длилось недолго. Через десять месяцев, когда рудник очистился от долгов, он стал приносить каждому владельцу от восьми до десяти тысяч долларов в месяц, иначе говоря — около ста тысяч в год.

Один из первых набобов, порожденных Невадой, ходил увешанный драгоценностями на шесть тысяч долларов и божился, что чувствует себя глубоко несчастным, оттого что ему не удается тратить деньги с такой же быстротой, с какой он их наживает.

Другой набоб Невады, который мог похвалиться ежемесячным доходом в шестнадцать тысяч долларов, любил вспоминать о том, как он приехал сюда и работал на этом же руднике простым рабочим за пять долларов в день.

Страна серебра и полыни хранит память еще об одном баловне судьбы, который, превратившись из нищего в богача чуть ли не в одну ночь, уже подумывал о приобретении высокого государственного поста за сто тысяч долларов. Он, собственно, даже предложил эту сумму, но должность не получил, так как его политический багаж оказался несколько легковесней его кошелька.

Или взять Джона Смита. Это был человек доброй и чистой души, происхождения самого скромного и фантастически невежественный. У него была своя упряжка и небольшая ферма,

которая давала ему средства к вполне сносному существованию, — сена он, правда, собирал немного, но за то немногое, что у него было, он выручал двести пятьдесят — триста долларов золотом за тонну. Как-то Смит выменял несколько акров своего луга на небольшой неразработанный серебряный рудничок в Голд-Хилле. Он выкопал себе шахту и открыл скромную фабричку на десять толчей. А через полтора года он совсем бросил торговать сеном, так как доходы с рудника достигли довольно симпатичной цифры. Одни говорили, что она составляла тридцать тысяч долларов в месяц, другие называли шестьдесят тысяч. Так или иначе, но Смит стал очень богатым человеком.

Он отправился путешествовать по Европе. А возвратившись, без конца рассказывал о прекрасных свиньях, каких ему довелось увидеть в Англии, об изумительных баранах в Испании и великолепных коровах, пасущихся в окрестностях Рима. Он был переполнен впечатлениями от Старого Света и всем советовал проехаться туда. Только тот, кто путешествовал, говорил он, может иметь представление об удивительных вещах, которыми полон мир.

Как-то на пароходе, на котором находился Смит, пассажиры сложились и собрали пятьсот долларов; эти деньги предназначались тому, кто точнее всех определит количество миль, которое судно пройдет в ближайшие сутки. К двенадцати часам следующего дня каждый пассажир вручил судовому казначею свой ответ в запечатанном конверте. Смит был безмятежно-спокоен — он успел подкупить машиниста. Однако премия досталась другому!

— Эй, послушайте, этак не годится! — вскричал Смит. — Ведь я на целых две мили точнее угадал.

— Мистер Смит, — отвечал казначей, — изо всех догадок ваша самая неудачная. Мы вчера проделали двести восемь миль.

— Ну вот, сэр, вы и попались, — сказал Смит. — Ведь я как раз и написал двести девять. Если взглянете еще раз на мои цифры, вы увидите двойку и два нуля, а это значит «двести», — так? Ну вот, а затем идет девятка (2009), значит, всего двести девять. Так что воля ваша, а денежки я заберу.

Рудники «Гулд и Карри», насчитывавшие тысячу двести футов, носили имена двух своих первоначальных владельцев. Мистер Карри, которому принадлежало две трети рудников, рассказывал, что он уступил свою часть за две с половиной тысячи долларов наличными и старую клячу, которая за семьдесят суток поглотила ячменя и сена на сумму, равную ее собственной рыночной цене. Гулд же, как рассказывал Карри,

продал свою часть за пару подержанных казенных одеял и бутылку виски, в какие-нибудь три часа убившую девять человек, не говоря о безвинно пострадавшем гражданине, который остался инвалидом на всю жизнь оттого лишь, что понюхал пробку от бутылки. Через четыре года после того как Гулд и Карри разделались таким образом со своими рудниками, они уже котировались на сан-францискском рынке, в семь миллионов шестьсот тысяч долларов золотом.

Некий бедняк мексиканец на самой заре бума проживал в ущелье, расположенном позади Вирджинии. Маленький ручеек, толщиной с человеческую руку, протекал со склона горы через его участок. Компания «Офир» предложила ему за этот ручеек сто футов своих залежей. Эти сто футов оказались самой богатой частью всей Офирской жилы; через четыре года после сделки рыночная цена этого участка (вместе с фабрикой) равнялась полутора миллионам долларов.

Некто, владевший двадцатью футами в Офирских рудниках, когда еще их баснословное богатство не открылось миру, обменял свой участок на лошадь, и притом довольно жалкую. Примерно через год, когда акции Офирских рудников поднялись до трех тысяч долларов за фут, этот человек, оставшийся без единого цента, указывал на себя как на ярчайший пример человеческого величия и ничтожества в одном лице: с одной стороны, он ездил на лошади, которая стоила шестьдесят тысяч долларов, с другой — не мог наскрести денег, чтобы купить себе седло, так что приходилось либо просить у кого-нибудь седло, либо ездить без седла.

Еще один такой подарок судьбы, говорил он, вроде этой лошади стоимостью в шестьдесят тысяч долларов, и он был бы положительно разорен!

Один девятнадцатилетний юноша, который за сто долларов в месяц работал телеграфистом в Вирджинии и, между прочим, заменял неразборчивые немецкие фамилии в списках прибывающих в сан-францискский порт первыми попавшимися фамилиями из какой-то ветхой берлинской адресной книги, разбогател потому лишь, что следил за проходящими через его руки телеграммами с приисков и соответственно, при посредстве приятеля, проживавшего в Сан-Франциско, то покупал, то продавал акции. Некто по телеграфу извещал кого-то в Вирджинии об открытии богатой жилы и одновременно просил не разглашать этого, покуда не удастся заручиться большим количеством акций. Телеграфист тут же купил этих акций на сорок футов по двадцати долларов за фут, позднее продал половину их по восемьсот долларов, а через некоторое время и

вторую половину, взяв за нее вдвое больше. Через три месяца у него уже было сто пятьдесят тысяч долларов, и он распростился с телеграфом.

Другой телеграфист, уволенный компанией за разглашение служебной тайны, взялся известить некоего состоятельного человека в Сан-Франциско об исходе судебного дела, затеянного одной крупной вирджинской компанией, не позже чем через час после того, как решение суда будет передано по телеграфу в Сан-Франциско заинтересованным сторонам. В благодарность большой процент от барыша, вырученного в результате спекуляций на акциях, шел в карман телеграфиста. Итак, переодевшись возчиком, он отправился в маленькое захолустное телеграфное отделение, затерявшееся в горах, подружился с местным телеграфистом и стал просиживать там день за днем, покуривая трубку и жалуясь на то, что его лошади слишком утомлены, чтобы следовать дальше, — а сам между тем прислушивался к щелканью телеграфного аппарата, передававшего телеграммы из Вирджинии. Наконец по проводам прибыло сообщение об исходе тяжбы. Он тут же протелеграфировал своему приятелю в Сан-Франциско:

«Надоело ждать. Продаю лошадей и возвращаюсь».

Это был условный знак. Если бы слово «ждать» не фигурировало в телеграмме, это означало бы противоположное решение суда. Приятель мнимого возницы запасся пачкой акций по низкой цене, прежде чем решение суда сделалось общественным достоянием, и разбогател.

Владельцы ряда участков на одном крупном вирджинском прииске образовали акционерное общество. Не хватало лишь одной подписи — лица, владевшего пятьюдесятью футами первоначального участка. Со временем акции компании сильно поднялись в цене, но человека этого, как ни бились, не могли разыскать. Он словно в воду канул. Говорили, что видели его в Нью-Йорке, и один, а может, даже два дельца ринулись на Восток разыскивать его, но вернулись ни с чем. Кто-то сказал затем, что он на Бермудских островах, — и еще парочка дельцов тотчас устремилась на Восток и поплыла к островам, — его и там не оказалось. Наконец пронесся слух, что он в Мексике, и тогда его приятель, служащий бара, наскреб немного денег, разыскал его, купил все его футы за сто долларов, вернулся и продал их за семьдесят пять тысяч долларов.

Впрочем, стоит ли продолжать? Анналы Серебряного края хранят множество подобных случаев, и я бы не мог перечислить их все, даже если бы пожелал. Я хотел дать читателю какое-то представление о характерных чертах «благодатного времени» —

картина страны и эпохи была бы неполной без упоминания о них. Вот почему я и решил прибегнуть к помощи наглядных примеров.

Почти со всеми упомянутыми мной набобами я был знаком лично и, старой дружбы ради, намеренно перетасовал факты из их биографий таким образом, чтобы читающая публика Тихоокеанского побережья не могла узнать этих некогда знаменитых людей. Я говорю «некогда знаменитых», ибо большинство из них с тех пор снова впало в нищету и ничтожество.

Большим успехом пользовался в Неваде рассказ о забавном приключении двух ее набобов, — за достоверность я, впрочем, не ручаюсь. Передам его так, как слышал сам.

Полковник Джим был в некотором роде тертый калач и более или менее знал, что к чему; зато полковник Джек, родом из глухой провинции, где жизнь его проходила в суровом труде, ни разу не видел столичного города. Когда на этих молодцов неожиданно свалилось богатство, они решили наведаться в Нью-Йорк: полковник Джек желал познакомиться с его достопримечательностями, а полковник Джим взялся сопутствовать своему неискушенному другу, чтобы уберечь его от какой-нибудь беды. Добравшись ночью до Сан-Франциско, они на следующее же утро поплыли в Нью-Йорк. Только они туда прибыли, полковник Джек говорит:

— Всю жизнь я слышал о здешних каретах, и теперь я желаю прокатиться. За деньгами дело не станет. Идем!

Вышли они на улицу, и полковник Джим подзывает элегантную коляску.

— Ну нет, сударь, — говорил полковник Джек. — Я не желаю ехать в каком-нибудь дешевеньком драндулете. Я приехал сюда пользоваться жизнью и за ценой не постою. Ты мне подай самое что ни на есть шикарное. А, вот подъезжает какая-то штуковина, она-то мне и нужна! Ну-ка, останови этот желтый рыдван с картинками; да не бойся — я угощаю.

Полковник Джим останавливает пустой омнибус, и они взбираются в него.

— Здорово, а? — говорит полковник Джек. — Скажешь плохо? Куда ни плюнь — подушки, картинки, окна… Вот бы наши посмотрели, как мы тут в Нью-Йорке форс задаем! А жаль, черт возьми, что они не могут увидеть нас!

Затем он высунулся в окно и крикнул кучеру:

— Ей-богу, Джонни, это мне по душе! Я доволен, черт возьми! Мне эта колымага понадобится на весь день. Беру, беру, старина! Пусти-ка их вскачь! Дай разгуляться лошадкам! Да ты не бойся, сынок, в накладе не будешь!

Кучер между тем просунул руку в окошечко и постучал, требуя платы (в те времена звонок еще не вошел в употребление). Полковник Джек взял его руку и с чувством пожал ее.

— Ты, брат, не сомневайся! Как джентльмен с джентльменом! А вот ты это понюхай — неплохо пахнет, а?

А сам сует в руку кучеру золотую монету в двадцать долларов. Тот, подумав, отвечает, что у него нет сдачи.

— Да бог с ней, со сдачей! Мы наездим на все. Можешь положить ее себе в карман.

Тут он хлопает полковника Джима по ляжке.

— Живем, черт возьми, а? Пусть меня повесят, если я не найму эту штуковину на целую неделю.

Омнибус останавливается, и в него садится молодая дама. Полковник Джек глазеет на нее с минуту, а затем, подталкивая локтем полковника Джима, говорит ему шепотом:

— Ни слова! Пусть себе катается на здоровье. Места, слава богу, хватает.

Дама вынимает кошелек и протягивает деньги полковнику Джеку.

— Это еще зачем? — говорит он.

— Передайте, пожалуйста, кучеру.

— Спрячьте ваши деньги, сударыня. Мы не можем этого допустить. Катайтесь сколько угодно в этом рыдване, милости просим, только он уже абонирован, и мы ни цента с вас не можем взять.

Бедняжка забилась в уголок в совершенной растерянности. Затем в омнибус взобралась пожилая дама с корзиной и протянула деньги.

— Извините, — сказал полковник Джек. — Кататься — катайтесь, мы рады, но денег с вас не можем взять. Садитесь-ка вон туда, да не стесняйтесь, сударыня. Располагайтесь, как в собственной карете.

Проходят еще минуты две, и являются три джентльмена, две толстые женщины и парочка ребятишек.

— Заходите, заходите, друзья, — говорит им полковник Джек. — Вы на нас не смотрите. Вход свободный.

И шепотом полковнику Джиму:

— А компанейский, черт возьми, городишко, этот твой Нью-Йорк! В жизни своей ничего подобного не видывал!

Он пресекал все попытки пассажиров оплатить свой проезд и радушно приветствовал всех. Постепенно народ начал соображать, в чем тут дело; все попрятали свои деньги и предались тихому веселью. Появилось еще с полдюжины пассажиров.

— Места хватит! — кричал полковник Джек. — Заходите, заходите, будьте как дома. Что за кутеж без компании!

И шепотом полковнику Джиму:

— До чего же общительный народ эти нью-йоркцы! Да и хладнокровны же, черт возьми! Рядом с ними айсберг покажется кипятком. Они, пожалуй, и на похоронные дроги забрались бы, если бы им было по пути.

Сели еще пассажиры, за ними еще и еще. Все места по обеим сторонам были заняты, а между ними стояли в ряд мужчины, держась за перекладину. Свежая партия пассажиров с корзинами и узлами стала подниматься на крышу. Со всех сторон раздавался сдавленный смех.

— Нет, какова наглость! И притом — какое хладнокровие! Назовите меня индейцем, если я когда-либо видел подобное! — шипел полковник Джек.

Наконец в омнибус вошел китаец.

— Сдаюсь! — воскликнул полковник Джек. — Придержи, любезный! Сидите, сидите, леди и джентльмены. Не беспокойтесь, все оплачено. Ты, братец, уж покатай их, сколько им потребуется, — это все наши друзья, понимаешь. Вези, куда скажут, — а если нужно еще денег, заезжай к нам в гостиницу «Сент-Николас», и мы уладим это дело. Счастливого пути, леди и джентльмены! Катайтесь сколько влезет, вам это и цента не будет стоить!

С этими словами приятели сошли с омнибуса, и полковник Джек сказал:

— Джим, это самое компанейское местечко, какое мне приходилось видеть. Смотри, как этот китаец впорхнул к нам — и хоть бы что! Побудь мы там еще немного, того и гляди пришлось бы и с черномазыми ехать. Ей-богу, нам придется забаррикадировать двери на ночь, а то эти миляги, чего доброго, и спать с нами захотят.

ГЛАВА VI

Смерть Бака Феншоу. — Подготовка к похоронам. — Скотти Бригз и священник. — Гражданские доблести Бака Феншоу. — Похороны. — Скотти Бригз — преподаватель воскресной школы.

Кто-то заметил, что о нравах общества следует судить по тому, как оно хоронит своих покойников и кого из них хоронит с наибольшей торжественностью. Трудно сказать, кого мы хоронили с большей помпой в нашу «эпоху расцвета» — видного филантропа или видного головореза; пожалуй, эти две важнейшие группы, составляющие верхушку общества, воздавали равные почести своим славным покойникам. И надо думать, что философу, которому принадлежит приведенное мною изречение, следовало бы побывать по крайней мере дважды на похоронах в Вирджинии, прежде чем составить себе мнение о народе, населяющем этот город.

Блистательно прошли похороны Бака Феншоу. Это был выдающийся гражданин. У него был на совести «свой покойник» — причем убитый не был даже его личным врагом: просто-напросто Бак Феншоу вступился за незнакомца, увидев, что перевес на стороне его противников. Он держал доходный кабак и был счастливым обладателем ослепительной подруги жизни, с которой мог бы при желании расстаться, не прибегая к формальностям развода. Он занимал высокий пост в пожарном управлении и был совершеннейшим Варвиком в политике[34]. Смерть его оплакивал весь город, больше же всего — многочисленные представители самых глубинных, если можно так выразиться, слоев его населения.

Дознание показало, что в бреду тифозной горячки Бак Феншоу принял мышьяк, нанес себе сквозную огнестрельную рану, перерезал себе горло и выпрыгнул из окна с четвертого этажа, сломав при этом шею. Посовещавшись, присяжные заседатели, несмотря на то, что сердца их полнились печалью, а взор был отуманен слезами, не дали скорби омрачить рассудок и вынесли решение, согласно которому покойник был сражен «десницей божьей». Что бы мы делали без присяжных заседателей!

К похоронам готовились всерьез. Все экипажи были наняты, все кабаки погружены в траур, знамена городских учреждений и

пожарной команды приспущены, а пожарным приказано явиться в парадной форме, задрапировав свои машины черной материей.

Тут необходимо упомянуть, между прочим, о следующем обстоятельстве: Серебряный край вмещал в себя представителей всех концов земли, каждый искатель приключений привнес в язык Невады жаргон своих родных мест, и все эти жаргоны в совокупности создали богатейший, разнообразнейший и наиболее обширный жаргон, какой когда-либо процветал на свете, — один лишь калифорнийский жаргон «раннего периода» мог бы с ним потягаться. Собственно, жаргон и составлял язык Невады. Если проповедник хотел, чтобы паства поняла его проповедь, он прибегал к жаргону. Такие обороты, как «споришь!» (в значении «еще как!», «еще бы!», «о нет, конечно же, нет!!» (в смысле обратном, то есть утвердительном), «ирландцев просят не беспокоиться» (в значении «без вас обойдутся, отстаньте!») и сотни им подобных, вошли в обиход так прочно, что говорящий подчас ронял их, не замечая и по большей части безотносительно к теме разговора, так что они теряли всякий смысл.

Когда окончилось дознание по делу о смерти Бака Феншоу, уголовная братия созвала митинг, ибо на Тихоокеанском побережье нельзя и шагу ступить без митингов и публичного выражения чувств. Были вынесены скорбные резолюции и образованы всевозможные комитеты, среди них комитет в составе одного человека, которому поручалось вести переговоры со священником — весьма хрупким, едва оперившимся духовным птенцом, недавно залетевшим к нам из восточных штатов, где он окончил семинарию, и еще не освоившимся с приисковыми нравами. Итак, член комитета Скотти Бригз отправился выполнять возложенное на него поручение. Стоило послушать, как впоследствии священник рассказывал об этом визите! Скотти был здоровенный детина; отправляясь куда-нибудь по важному общественному делу, как, например, в данном случае, он облачался в пожарную каску и огненного цвета фланелевую рубашку, из-за лакированного пояса торчал револьвер и гаечный ключ, куртка перекинута через руку, брюки вправлены в голенища. Словом, наружностью своей он являл довольно резкий контраст с бледноликим богословом. Справедливость требует, однако, отметить, что он обладал при всем этом сердцем добрым, крепко любил своих друзей и в драку вступал только в случае крайней уже необходимости. В самом деле — и тут общественное мнение было единодушным, — все истории, в которых Скотти оказывался замешан, проистекали от благородства его натуры: он бросался в драку с одной-единственной целью — принять сторону слабейшего. Многолетняя дружба и многочисленные

приключения связывали его с Баком Феншоу. Раз, например, завидя какую-то свалку, они скинули куртки и встали на защиту слабей стороны; когда же они наконец добились нелегкой победы и огляделись вокруг, то обнаружили, что те, кого они защищали, давно уже дезертировали с поля боя и — больше того — прихватили с собой и куртки своих защитников! Но вернемся к Скотти и священнику. Скотти пришел по печальному делу, и физиономия у него была соответственно постная. Представ пред светлые очи священника, Скотти уселся напротив него, положил свою пожарную каску прямо на незаконченную проповедь, под самым носом у хозяина, извлек из каски красный шелковый платок, вытер им лоб и испустил глубокий, скорбный вздох, из которого должно было явствовать, зачем он пришел. Проглотив подкатившийся к горлу комок и пролив две-три слезы, он наконец с видимым усилием овладел собой и уныло проговорил:

— Вы, значит, и есть тот самый гусь, что ведает здешней евангельской лавочкой?

— Вы спрашиваете, являюсь ли я… Простите, я, должно быть, не совсем уловил точный смысл ваших слов?

Вздохнув еще раз и подавив рыдание, Скотти отвечал:

— Видите ли, мы тут влипли чуток, и вот наши ребята решили подъехать к вам и попросить, чтобы вы нас выручили, — если только я правильно обмозговал и вы в самом деле главный заправила аллилуйного заведения на углу.

— Я пастырь вверенного мне стада, и на углу этой улицы помещается священная обитель.

— Какой-такой пастырь?

— Духовный советчик небольшой общины верующих, чье святилище примыкает к стенам этого дома.

Скотти почесал затылок, подумал с минуту и сказал:

— Ваша взяла, приятель! Не та масть. Берите взятку, я пасую.

— Простите? Вы сказали…

— У вас фора. А может, у нас обоих фора, не знаю. Мы никак с вами не снюхаемся. Дело в том, что один из наших перекинулся, и мы хотим устроить ему крепкие проводы, и вот я печалюсь о том, как бы раздобыть типа, который бы завел свою шарманку да и отплясал бы нам всю эту музыку как следует.

— Друг мой, я все более и более теряюсь. Ваши замечания приводят меня в крайнее замешательство! Не можете ли вы изложить свои мысли несколько яснее? На краткий миг мне показалось, будто я улавливаю смысл ваших речей, но вот я опять брожу в потемках. Может быть, наша беседа была бы плодотворной, если бы вы постарались держаться строго фактической стороны дела, не прибегая к нагромождению

метафор и аллегорий?

Последовала еще одна пауза, затем Скотти произнес:

— Пожалуй, что я — пас.

— Как?

— Моя карта бита, приятель.

— Мне все еще темен смысл ваших слов.

— Да просто-напросто последним своим ходом вы меня начисто затюкали. Козырей не осталось, и в масть ходить нечем.

В полном недоумении священник откинулся на спинку кресла. Скотти, подперев голову рукой, погрузился в задумчивость. Вдруг он поднял голову, лицо его, по-прежнему печальное, оживилось.

— Сейчас вы все смекнете, — сказал он. — Нам нужен человек, который на библии собаку съел.

— Что такое?

— Мастак по библии, ну — поп!

— Ах, вот оно что! Так бы и сказали сразу. Я и есть священник. Поп.

— Вот это уже другой разговор! Вы поняли меня с полуслова, как настоящий мужчина. Ваших пять! — Тут он протянул свою заскорузлую лапищу, обхватил ею маленькую руку священника и стал трясти ее в знак братской симпатии и полного удовлетворения.

— Вот и ладно, приятель! Начнем сначала. Вы не смотрите, что я хлюпаю носом, — у нас, понимаешь, передряга. Один из наших, видишь ли, полетел с лотка.

— Откуда?

— Да с лотка же, дал дуба, понятно?

— Дуба?

— Ну да, загнулся…

— А!.. Отправился в ту таинственную сень, откуда нет возврата?

— Возврата? Хорошенькое дело! Я ж говорю, приятель: он умер.

— Да, да, я понял.

— Хорошо, коли понял. А то я думал, может опять запутались как-нибудь. Так что он опять, значит, умер…

— Как то есть опять? Разве он когда-нибудь раньше умирал?

— Он-то? Ну нет! Это вам не кошка — та, говорят умирает только с девятого раза. Нет уж, будьте покойны, он умер намертво, бедняга, и лучше б было мне не дожить до того дня! Лучшего друга, чем Бак Феншоу, дай — не возьму! Я ведь его знал как облупленного. А я уж такой: если кто полюбится — примерзаю накрепко, понятно? С какой стороны его ни взять,

приятель, второго такого на приисках не сыщешь. Бак Феншоу не выдаст — это всякий знал. Ну да что там размазывать — крышка ему, и все тут. Загребли парня.

— Загребли?!

— Ну да, смерть загребла! Что поделаешь, приходится расстаться. Так-то вот. Заковыристая штука жизнь, верно? Но и молодчина же то был, приятель! Как разойдется — держись! Да уж это мальчик такой — чистое стекло. Вы только плюньте ему в лицо да дайте развернуться, и уж он вам покажет. Другого такого сукина сына свет не видывал. Нет, не говорите, приятель, этот знал!

— Знал? В какой же области он был наиболее сведущ?

— Да уж он знал, что к чему. Ни в грош никого не ставил. Даже самого чч… пересамого, понимаете? Извините, любезный, я чуть было не чертыхнулся при вас, — ну да видите ли, мне до черта тяжело вести такой деликатный разговор — все себя придерживаю, понимаете ли, думаю, как помягче выстрелить. Ну а на нем пора крест поставить, тут уж ничего не попишешь. Значит так, если вы поможете пристукнуть крышку…

— Произнести надгробную проповедь? Совершить погребальный обряд?

— Эх, хорошо словечко — «обряд»! В самую точку попали! Сюда-то мы и метили. Мы это дельце решили провернуть, невзирая на расходы. У него все всегда было на широкую ногу, и будьте покойны — похороны будут что надо: пластинка цельного серебра на гробу, шесть плюмажей на дрогах, негр на козлах, при манишке и цилиндре — не шик, скажете? Вы тоже не останетесь в обиде, приятель! У вас будет свой экипаж; а если что не так, вы только свистните — мы все устроим. Мы вам состряпаем ящик на славу, вы с него будете говорить ваши слова в доме у самого — шикарно! Смотрите же, напутствуйте нашего Бака как-нибудь позагвоздистей, — всякий, кто его знал, скажет, что лучше него человека на приисках не найти. Если где что пережмете — не дрейфьте. Он терпеть не мог несправедливости. Из кожи лез, чтоб в городе все было тихо-мирно. Да я сам своими глазами видел, как он за одиннадцать минут расправился с четырьмя мексикашками! Он не таковский, чтобы тратить время и разыскивать типов, что наводят порядок, — он все сам. Католиком он никогда не был. Терпеть их не мог. «Ирландцев просят не беспокоиться», — такая у него была любимая поговорка. Но уж где увидит, что задеты права человека, он тут как тут — ни с чем не посчитается! Как-то наши молодчики заскочили на католическое кладбище и давай распределять между собой участки. Посмотрели бы вы на него тогда! И задал

же он им жару, приятель! Я-то видел…

— Что ж, это делает ему честь… Во всяком случае, чувство, коим он руководился… хоть, может быть, самый поступок, строго говоря, и не заслуживает одобрений. Скажите, усопший исповедовал какую-либо религиозную доктрину? Признавал ли он, так сказать, какую-либо зависимость от высшей силы, чувствовал ли духовную связь с нею?

Собеседнику снова пришлось задуматься.

— Ну вот, опять вы меня в тупик загнали, приятель! Попробуйте-ка повторить то, что вы сказали, да пореже, что ли?

— Хорошо, попробую выразить свою мысль в более доступной форме. Был ли покойный связан с какой-либо организацией, которая, отрешившись от мирских дел, посвятила себя бескорыстному служению нравственному началу?

— Аут, приятель! Попробуй бить по другой!

— Как вы сказали?

— Да нет уж, где мне с вами тягаться! Когда вы даете с левой, я носом землю рою. У вас что ни ход, то взятка. А мне нейдет карта, и все тут. Давайте-ка перетасуем!

— Вы хотите начать все сызнова?

— Во-во!

— Ну, хорошо. Я хочу знать, что за человек он был, был ли он добро…

— Стоп! Понял! Теперь повремените, покуда я взгляну на свои карты. Какой он был человек, вы спрашиваете? Что это был за человек, приятель! Днем с огнем такого не сыскать! Господи, да вы бы души в нем не чаяли — вот он какой был человек! По всей Америке пройдите — не найдете такого молодца, которого бы он не уложил на обе лопатки! А кто, по-вашему, прикончил волынку тот раз перед выборами? Только он! Да и никто бы — это вам всякий скажет, — никто б, кроме него, не справился. Он прямо врезался в толпу, в одной руке — ключ, в другой — труба, и вот не прошло и трех минут, как он отправил четырнадцать душ домой на носилках! Он их всех разогнал, так что никто не успел и сдачи дать. Он всегда стоял горой за порядок, любой ценой его добивался, он просто терпеть не мог беспорядка! Эх, приятель, не знаете вы, кого потерял город! Наши были бы очень даже довольны, если бы вы что-нибудь такое ввернули бы о нем позабористее, воздали бы ему должное, — понимаете? Когда ирландцы придумали бить стекла в воскресной школе методистов, Бак Феншоу сам, без подсказки, закрыл кабак, взял парочку пистолетов и стал на страже у воскресной школы. «Ирландцев просят не беспокоиться!» — вот он чего сказал. Они и отстали. Да это был самый шикарный парень в горах, приятель!

Бегал — быстрее всех, прыгал — выше всех, рука — тяжелее всех, а уж столько виски, сколько он мог в себя влить не проливая, ни в кого, приятель, не вольешь — и не мечтай! Хоть ты семнадцать округов обшарь! Да уж, приятель, не забудьте об этом сказать — ребята смерть как обрадуются. И еще, приятель, вы можете сказать, что он мамаше своей не дал пинка.

— Не дал пинка своей матушке?

— Ну да, спросите — всякий вам скажет.

— Помилуйте, зачем бы ему с ней так поступать?

— Вот и я говорю, а только иной ведь такого пинка даст — о-го-го!

— Не могу себе представить, чтобы уважающий себя человек и позволил себе такое!

— Еще как позволяют!

— По моему мнению, человек, который дерзает поднять руку на родную мать, достоин…

— Э, приятель, не туда загнул опять! Чистый аут. Я ведь о том, что он мамашу свою не бросил, — понятно? Не дал ей пинка. Ни-ни! И домик-то ей устроил, и участки в городе, и денег сколько душе угодно. А как он за ней ухаживал! Когда она оспой заболела, ведь ночей не спал, все с ней сидел, черт меня побери! Вы уж извините меня — так, знаете, вырвалось из глотки, ну ее к дьяволу! Вы со мной как джентльмен с джентльменом, приятель, я ведь ценю, не думайте, и, уж поверьте, не стал бы вас обижать нарочно. Вы молодчина. Правильный человек. Вы мне нравитесь, приятель, и я измордую всякого, кто вас невзлюбит. Я его так измордую, что он уже не разберет, где он, а где прошлогодний труп! Так и запишите! (Братское рукопожатие, и гость уходит.)

«Обряд» справили на славу, так что «наши» были довольны. Таких пышных похорон Вирджиния еще не видела. Погребальные дроги, плюмажи, душераздирающие вздохи духового оркестра, замки на дверях всех торговых предприятий, приспущенные флаги, длинная процессия тайных обществ — каждое в соответственной форме, военные отряды, пожарная команда с задрапированными машинами, чиновники в каретах и простые граждане в экипажах и пешком — все это привлекло толпы зрителей, которые льнули к окнам, заполонили тротуары и взгромоздились на крыши домов. И много лет после этого, когда требовалось определить степень торжественности той или иной общественной церемонии, похороны Бака Феншоу служили мерилом.

Скотти Бригз нес гроб, был главным плакальщиком и вообще играл видную роль на похоронах; по окончании проповеди, когда последние слова молитвы за упокой души усопшего вознеслись к

небу, Скотти произнес тихо и прочувствованно:

— Аминь. Ирландцев просят не беспокоиться.

Реплика эта во второй своей части, могла показаться кое-кому неуместной; скорее всего, тут была скромная попытка почтить память усопшего друга, ибо, как сказал тот же Скотти, это была «его поговорка».

Впоследствии Скотти прославился как единственный головорез в Вирджинии, которого удалось обратить в веру. Тому, кто инстинктивно, по врожденному благородству чувств, всякий раз принимает сторону слабого в драке, не так-то уж трудно, оказывается, воспринять учение Христа. При этом в нем не убавилось ни широты душевной, ни мужества — напротив, первое качество сделалось более целенаправленным, а для второго открылось еще более обширное поле деятельности. Следует ли удивляться, что группа, которую он вел в воскресной школе, успевала больше, чем остальные? Мне кажется, что нет! Он говорил с малолетними отпрысками пионеров на языке, который был им понятен! Мне посчастливилось за месяц до его смерти услышать, как он «своими словами» рассказывает трогательную историю об Иосифе и его братьях. Пусть читатель сам представит себе, как звучала она в изложении этого серьезного и вдохновенного учителя, пересыпавшего свое повествование приисковым жаргоном, и с каким увлечением слушали его маленькие ученики, которым (равно как и учителю) и в голову не приходило, что тут имеется некоторое нарушение священных устоев!

ГЛАВА VII

Первые двадцать шесть могил в Неваде. — Выдающиеся люди края. — Человек, совершивший дюжину убийств. — Частное кладбище.

Первые двадцать шесть могил на вирджинском кладбище достались людям, умершим насильственной смертью. По крайней мере так говорили, так думали, так всегда будут говорить и думать жители Вирджинии. Столь обильное кровопролитие объясняется тем, что во всяком приисковом районе преобладающий элемент составляли преступники и головорезы, среди которых уважением пользовался лишь тот, у кого был, по тогдашнему выражению, «свой покойник».

Когда здесь появлялся свежий человек, никому дела не было до его ума, честности, трудолюбия; интересовались одним: есть ли у него «свой покойник»? Если нет, его тут же списывали в разряд людей ничем не примечательных. В случае же положительного ответа степень радушия, с каким его принимали, определялась количеством покойников на его счету. Нелегко было завоевать себе положение тому, у кого руки не были обагрены кровью; зато человек, имевший с полдюжины убийств на совести, сразу завоевывал всеобщее признание, его знакомства искали.

Было время, когда в Неваде равным и притом самым почетным положением в обществе пользовались юрист, издатель газеты, банкир, отъявленный головорез, азартный игрок и кабатчик. Самый дешевый и простой способ приобрести вес в обществе и заслужить его уважение — это, воткнув в галстук алмазную булавку, встать за стойкой и торговать виски. Я даже склонен думать, что содержатель кабака пользовался большим почетом, чем кто бы то ни было. К его мнению прислушивались. От него зависел исход предстоящих выборов. Без одобрения и руководства кабатчика ни одно общественное начинание не могло увенчаться успехом.

Содержатель самого большого кабака в городе делал одолжение, если соглашался числиться в законодательных органах или в городском управлении. Юные честолюбцы в мечтах своих не столько стремились снискать себе славу на поприще юридическом или военном, сколько достигнуть высокого звания кабатчика. Держать кабак и иметь на совести хотя бы одно

убийство означало блестящую славу. Нет поэтому ничего удивительного в том, что в Неваде человека убивали подчас без всякого повода, — его убийце просто не терпелось завоевать себе репутацию и избавиться от невыносимого сознания своего ничтожества в глазах товарищей.

Я лично знал двух молодых людей, которые вот так, бескорыстно, пытались «завести своих покойников» и в результате добились лишь того, что сами погибли от руки убийцы. «Вот идет убийца Билла Адамса» — подобная фраза в ушах людей этого порядка звучала высшей похвалой и была для них слаще музыки.

Виновники смерти первых двадцати шести обитателей вирджинского кладбища так и остались безнаказанными. Почему? Да потому что Альфред Великий[35], придумавший институт присяжных заседателей и имевший все основания полагать, что он обеспечил этим справедливый суд для людей своей эпохи, не мог предвидеть того, что в девятнадцатом веке положение столь коренным образом изменится; он, верно, восстал бы из гроба и внес бы кое-какие поправки в свою систему, если бы знал, что в том виде, в каком он ее оставил, система эта обратится в хитроумнейший и вернейший механизм для борьбы с правосудием. В самом деле, мог ли он предвидеть, что простодушные потомки будут продолжать пользоваться его изобретением после того, как обстоятельства лишили эту систему какого бы то ни было смысла? Это было так же трудно, как вообразить, что человечество будет пользоваться его свечками для измерения времени, после того как будут изобретены современные хронометры. В его время, когда повести не распространялись с такой быстротой, как нынче, набрать нужное число честных и сообразительных присяжных, которые не слыхали бы ничего заранее о предстоящем к разбору деле, не составляло труда. В нашу же эпоху телеграфа и газет его система вынуждает нас приводить к присяге в качестве заседателей дураков и негодяев, ибо система эта абсолютно исключает людей честных и способных мыслить.

На моей памяти у нас в Вирджинии разыгрался один из этих печальных фарсов, именуемых судом присяжных. Известный головорез самым беспардонным и хладнокровным образом убил мистера Б., честного и скромного человека. Само собой разумеется, все газеты были полны этим убийством, и всякий грамотный человек читал о нем. И, конечно, все, кроме глухонемых и кретинов, о нем говорили. Был намечен список присяжных, в который, между прочим, включили мистера Л.Б., крупного банкира и почтенного человека. Его допросили по принятой в Америке схеме:

— Вы слышали что-нибудь об этом убийстве?

— Да.

— Имели ли вы с кем-либо беседы по этому поводу?

— Да.

— Составили ли вы для себя и высказывали ли вы где-либо свое мнение об этом деле?

— Да.

— Читали ли вы газетные отчеты об этом убийстве?

— Да.

— В таком случае вы нам не подходите.

Умный, всеми уважаемый священник; известный своей честностью купец; управляющий шахтой, человек светлого ума и безукоризненной репутации; владелец обогатительной фабрики, личность вполне достойная, — все были подвергнуты подобному допросу и отставлены. Все они заявили, что предварительное знакомство с делом, почерпнутое из частных разговоров и газетных сообщений, не настолько на них повлияло, чтобы свидетельские показания, данные под присягой, не могли поколебать сложившееся мнение и что они чувствуют себя в состоянии вынести справедливый приговор, вытекающий из обстоятельств дела. Но, разумеется, таким людям нельзя было доверить судьбу обвиняемого.

Безупречное правосудие способны творить одни невежды.

После того как всем этим гражданам был дан отвод, набрали двенадцать человек, которые как один присягнули в том, что они не слыхали, не читали и не говорили об убийстве, о котором знали все коровы в своих загонах, все индейцы в прерии и самый булыжник на улицах! Компания эта состояла из двух отчаянных головорезов, парочки политиканов из пивной, трех кабатчиков, двух неграмотных фермеров да трех тупых, совершенно безмозглых двуногих ослов! Один из этих последних, как выяснилось, не понимал даже толком разницы между кровосмесительством и поджогом.

Присяжные вынесли решение: «Не виновен». Да иначе и быть не могло.

Нынешняя система отбора присяжных исключает возможность участия в судопроизводстве людей умных и честных и, напротив, всячески поощряет невежд, глупцов и лжесвидетелей. Какая, однако, нелепость — придерживаться известного порядка лишь потому, что тысячу лет тому назад этот порядок был хорош!

В самом деле, когда в современном обществе человек незапятнанной репутации, умный и безукоризненно честный заявляет, что показания, данные свидетелями под присягой, будут

иметь для него больший вес, нежели уличные толки или основанные на тех же толках газетные сообщения, — неужели не ясно, что такой человек стоит сотни присяжных, готовых расписаться в собственной глупости и невежестве, и что от такого человека скорей можно ждать суда нелицеприятного, чем от них? Почему бы не преобразовать положение о присяжных таким образом, чтобы люди мыслящие и честные имели хотя бы равные шансы с олухами и мошенниками? Правильно ли давать поблажку одному разряду людей за счет другого, да еще в стране, которая хвалится свободой и равенством своих граждан? Я намерен пройти в наши законодательные органы. Я мечтаю изменить положение о присяжных. Я хотел бы изменить его таким образом, чтобы ум и честность были поощряемы, а идиоты, мошенники и люди, не читающие газет, не могли участвовать в судопроизводстве. Впрочем, я не сомневаюсь в том, что потерплю поражение, ибо все мои попытки спасти отечество неизменно дают осечку.

Приступая к настоящей главе, я собирался сказать несколько слов по поводу головорезов в Неваде в «эпоху расцвета». Ибо пытаться дать картину того времени и края, умолчав о кровопролитиях и побоищах, было бы так же нелепо, как, описывая царство мормонов, не упомянуть о многоженстве. Головорез шагал по улицам города с большим или меньшим форсом, в зависимости от количества трупов на его счету; смиренный его поклонник, удостоенный в ответ на приветствие хотя бы кивком, чувствовал себя счастливым целый день. Головореза с солидной репутацией, который, по тогдашнему выражению, «держал частное кладбище», окружали почетом и уважением. Он шествовал по тротуару в своем сюртуке с преувеличенно длинными полами, в сверкающих тупоносых башмаках, в изящной мягкой шляпе, надвинутой на левый глаз, — и мелюзга расступалась перед его величием; он появлялся в ресторане — и официанты, бросив банкиров и купцов, подобострастно мчались к нему; он плечами расталкивал всех, кто стоял на его пути к стойке, люди возмущенно оборачивались, узнавали его и… рассыпались в извинениях. Взгляд, который они получали в ответ, пронизывал их холодом до мозга костей, а между тем хозяин уже тряс своими кудряшками, сверкал алмазной булавкой, радушно улыбался и, щеголяя своей фамильярностью с гостем, приветствовал его следующими словами:

— А, Билл, как жизнь, старина? Рад тебя видеть. Чего прикажешь — того самого, что ли?

Под «тем самым», конечно, разумелся излюбленный напиток

клиента.

Наибольшей известностью на территории Невады пользовались эти долгополые рыцари револьвера. Ораторы, губернаторы, состоятельные люди и законодатели, конечно, тоже пользовались некоторой известностью, но она казалась жалкой, имеющей чисто местный характер, рядом с такими громкими именами, как Сэм Браун, Джек Уильямс, Билли Маллиган, Фермер Пиз, Майк Сахарная Ножка, Рябой Джейк, Джонни Эль-Дорадо, Джек Мак-Нэбб, Джо Мак-Джи, Джек Гаррис, Шестипалый Пит и т.д. и т.д. Список можно было бы и продолжить. Это был народ храбрый, отчаянный, привыкший жонглировать жизнью. Справедливость требует отметить, что убивали они в основном друг друга и лишь изредка беспокоили мирных граждан; они не желали вплетать в свой лавровый венок такую дешевую побрякушку, как, — выражаясь их языком, — человек «вне игры». Они убивали друг друга, придираясь к самому незначительному поводу, и каждый ожидал и даже надеялся быть убитым, — ибо смерть в постели, или, как они говорили, «без сапог», считалась у них чуть ли не позорной.

Мне припоминается один эпизод — из него явствует, что головорезы гнушались такой мелочью, как жизнь простого обывателя. Как-то поздно вечером я сидел в ресторане и ужинал в обществе двух репортеров и маленького наборщика по имени… ну, назовем его Брауном, что ли. Вдруг входит незнакомец в длиннополом сюртуке и, не заметив шляпы Брауна, которая лежала на стуле, садится прямо на нее. Маленький Браун вскочил и давай браниться. Незнакомец улыбнулся, расправил шляпу, протянул ее Брауну с пространными извинениями и с нескрываемой насмешкой умолял Брауна не губить его душу. Браун, скинув куртку, стал набиваться в драку — он ругал незнакомца, грозил ему, упрекал его в трусости, требовал и даже умолял, чтобы тот вступил с ним в драку; незнакомец же в ответ только улыбался и с притворным испугом просил у нас защиты. Под конец, однако, он сказал уже серьезным тоном:

— Что ж, господа, видно, придется драться. Но раз уж вы напрашиваетесь сами — чур, потом не говорить, что я вас не предупреждал. Ведь я, коли разойдусь, могу расправиться со всеми вами вместе взятыми. Позвольте же мне сперва представить вам некоторое подтверждение моих слов. Если мой друг и после этого будет упорствовать, тогда уж придется, видно, пойти ему навстречу.

Стол, за которым мы сидели, имел около пяти футов в длину и был необычайно громоздок и тяжел. Незнакомец попросил нас придержать посуду, стоявшую на столе (среди блюд находилось

одно большое, овальной формы, с увесистым куском ростбифа на нем). Затем он сел на стул, приподнял свой край стола, поставил две его ножки себе на колени, зубами ухватился за край, отвел руки и, сжимая зубами край стола, начал поднимать весь стол, так что и другие ножки оторвались от пола и весь стол со всем, что на нем находилось, пришел в положение, параллельное полу! Он заявил, что может зубами поднять ящик гвоздей. Затем он взял со стола бокал и выгрыз из него аккуратный полукруг. Потом обнажил свою грудь и показал нам целую паутину шрамов, произведенных ножом и пулями; такие же знаки покрывали его руки и лицо. В его теле, сказал он, столько пуль, что, если бы их все собрать воедино, получилась бы целая свинцовая чушка. Он был вооружен до зубов. Закончил же он свою речь сообщением, что его зовут мистером из Карибу, — при одном звуке этого имени у нас у всех душа ушла в пятки! Я только потому, собственно, и не привожу его здесь, что боюсь, как бы он не явился и не сделал из меня котлету. И наконец он спросил, все ли еще мистер Браун жаждет его крови? После минутного раздумья Браун пригласил его… отужинать с нами.

В следующей главе, с позволения читателя, я приведу несколько примеров из жизни нашего маленького горного городишки в эпоху головорезов. Я там был в то время. Читатель познакомится с некоторыми особенностями нашей общественной жизни; сверх того он убедится, что в молодом, только начинающем обживаться краю, одно убийство неминуемо влечет за собой ряд других.

ГЛАВА VIII

Роковая стычка. — Ограбление и отчаянная перестрелка. — Образцовый полицейский. — Спасенья нет. — Уличная баталия. — Как наказуется преступление.

Вот газетная выдержка того времени — фотография, не нуждающаяся в ретуши:

РОКОВАЯ СТЫЧКА.

Вчера вечером в бильярдном зале на улице «С» между помощником шерифа Джеком Уильямсом и Уил. Брауном произошла стычка, закончившаяся мгновенной смертью последнего. Стороны находились в натянутых отношениях уже несколько месяцев.

Тотчас же было произведено дознание и собраны следующие свидетельства:

Приведенный к присяге, полисмен Дж. Бэрдзолл, показывает: «Мне сказали, что Уил. Браун пьян и разыскивает Джека Уильямса; услышав об этом, я начал сам разыскивать их обоих, чтобы предотвратить драку; зашел в бильярдную, там увидел Билли Брауна, который носился по комнате и требовал, чтобы тот, кто имеет что-нибудь против него, высказался. Он был явно возбужден, и шериф Перри отозвал его в другой конец комнаты, чтобы поговорить с ним. Затем Браун подошел ко мне, сказал, что считает себя не хуже любого другого и что он может за себя и сам постоять, прошел мимо меня к стойке; не знаю, пил он или нет Уильямс находился возле того конца бильярдного стола, что ближе к лестнице. Браун, отойдя от стойки, вернулся и сказал, что он не хуже кого бы то ни было на свете, затем подошел к первому бильярдному столу от стойки; я подошел к ним ближе, предвидя драку; когда Браун вытащил револьвер, я тотчас схватил его за дуло; Браун все же успел выстрелить один раз по Уильямсу. Результат выстрела мне неизвестен; одной рукой я схватил самого Брауна, а другой — револьвер, повернув

его дулом вверх; уже после того как я схватил револьвер, если я не ошибаюсь, раздался еще один выстрел. Я вырвал револьвер у Брауна, прошел к другому концу бильярда и сказал, что револьвер Брауна у меня и чтоб прекратили стрельбу; кажется, всего было произведено четыре выстрела. М-р Фостер, выходя, отметил, что Браун убит наповал.

Как видите, никакого смятения, — он лишь «отметил» это незначительное обстоятельство!

Через четыре месяца после этого в той же газете («Энтерпрайз») появилось следующее сообщение. Имя полицейского, упомянутого в предыдущем сообщении (помощник шерифа Джек Уильямс), фигурирует и здесь.

ОГРАБЛЕНИЕ И ОТЧАЯННАЯ СТЫЧКА.

Во вторник вечером некий немец по имени Карл Хуртзаль, механик одной из фабрик Силвер-Сити, прибыл в наш город и посетил известное заведение на улице «В». Музыка, танцы и тевтонские девы вызвали у нашего немца воспоминания о «фатерланде» и совершенно вскружили ему голову. Он держал себя как человек при деньгах и тратил их не считая. Поздно вечером Джек Уильямс и Анди Блессингтон пригласили его вниз, на чашку кофе, Уильямс предложил сыграть в карты и поднялся за колодой на второй этаж; однако, не обнаружив там карт, спустился обратно. На лестнице он столкнулся с немцем, выхватил револьвер, сбил его с ног и извлек из его кармана семьдесят долларов. Хуртзаль не смел поднять тревогу, так как к его виску приставили револьвер и сказали, что, если он будет шуметь и донесет на них, ему вышибут мозги. Угроза эта так сильно подействовала на него, что и впоследствии он решился заявить в полицию только под давлением друзей. Вчера был выписан ордер на арест, но преступники скрылись.

Сей проворный полицейский чин Джек Уильямс славился как вор, разбойник и головорез. Рассказывали, что он имел обыкновение взимать подати с граждан, прогуливавшихся ночью по улицам Вирджинии, приставляя для этой цели к их груди заряженный револьвер.

Через пять месяцев после появления последней заметки, ночью, за карточным столом, был убит сам Уильямс: из щели в двери вдруг высунулось дуло револьвера, и Уильямс упал со стула, изрешеченный пулями. Поговаривали, что Уильямсу уже давно было известно о том, что некто, принадлежавший к тому же классу, что и он, то есть к классу головорезов, поклялся лишить его жизни. Публика надеялась, что друзья и враги Уильямса постараются превратить это убийство в знаменательное, а вместе с тем и общественно полезное событие, иначе говоря, что они поубивают друг дружку[36].

Этого не случилось, но все же последующие сутки нельзя было назвать скучными. За это время застрелили женщину, выбили мозги мужчине, а также произвели окончательный расчет с человеком по имени Ридер. Кое-что в рассказе об убийстве Ридера, помещенном в «Энтерпрайз», достойно внимания — в частности трогательная покладистость вирджинского судьи. Курсив в приведенном мною ниже сочинении мой.

ОПЯТЬ СТРЕЛЯЮТ И РЕЖУТ.

Снова дьявол бушует в нашем городе. На улицах гремят пистолетные и ружейные выстрелы, сверкают ножи — совсем как в доброе старое время! После длительного затишья люди неохотно обагряют руки в крови, зато стоит кому-нибудь пролить ее, и все снова начинают стрелять и резать с удивительной легкостью. Позавчера ночью убили Джека Уильямса; и на другой же день на той же улице снова была пролита кровь — уже в ответ на это убийство. Как выяснилось, Том Ридер, друг Уильямса, беседовал с Джорджем Гумбертом в мясной лавке последнего, обсуждая недавнее убийство Уильямса. Ридер сказал, что только трус мог так поступить — убить человека, не дав ему «показать себя». Гумберт, намекая на мартовское убийство, возразил, что Уильямс имел точно такую же возможность «показать себя», какую в свое время он, Уильямс, предоставил Билли Брауну. Ридер сказал, что это гнусная ложь и что Уильямсу вовсе не дали «показать себя». Тогда Гумберт выхватил нож и дважды полоснул Ридера по спине. Один удар ножа, взрезав рукав Ридеру, прошел сквозь материю и вонзился в тело чуть повыше поясницы; второй удар был точнее, и рана от него оказалась значительно

опасней. Гумберт сам отдал себя во власть блюстителей закона и вскоре был отпущен судьей Этуиллом на собственные поруки, так как сам поручился за свое появление перед судом в шесть часов вечера того же дня. Между тем Ридера отнесли к доктору Оуэнсу, где ему перевязали раны. Одна из ран оказалась очень серьезной, многие считали ее смертельной. Однако Ридер, находясь в то время во власти винных паров и не чувствуя боли так, как чувствовал бы ее человек в трезвом состоянии, поднялся и вышел на улицу. Он направился к мясной лавке и возобновил ссору с Гумбертом, угрожая убить последнего. Друзья пытались вмешаться, остановить ссору и растащить противников. Вкабаке «Элеганс» Ридер грозился лишить Гумберта жизни, говоря, что убьет его, и, как рассказывают, просил полицию не задерживать Гумберта, так как он собирается его убить. В ответ на эти угрозы Гумберт раздобыл себе двуствольное ружье, зарядил его — то ли дробью, то ли револьверными пулями — и отправился на розыски Ридера. Между тем Ридер шел по улице, поддерживаемый провожатыми, которые пытались отвести его домой; они приближались к магазину «Клопсток и Гаррис», когда Гумберт вдруг подошел к ним с противоположной стороны улицы, с ружьем в руках. В десяти или пятнадцати шагах от Ридера он закричал его провожатым: «Берегись! С дороги!» И едва успели они отскочить, как он выстрелил. Ридер между тем пытался спрятаться за большой бочкой, которая стояла перед навесом магазина «Клопсток и Гаррис»; несколько пуль, однако, попало ему в нижнюю часть грудной клетки — он качнулся вперед и упал плашмя возле бочки. Гумберт вторично прицелился и выпустил еще один заряд, который на этот раз пролетел мимо Ридера и зарылся в землю. Увидев, что Гумберт собирается снова стрелять, в толпе закричали: «Стой! Не стреляй!» Резня происходила в десять часов утра, стрельба — в двенадцать. Заслыша выстрелы, на улицу высыпало все население из близлежащих домов; народ был приятно возбужден и говорил со смехом, что все это совсем как в «славном шестидесятом году». Шериф Перри и офицер полиции Бэрдзолл оказались поблизости в момент стрельбы, и Гумберта удалось тут же задержать и увести в тюрьму. Большинство из тех, кого любопытство привело к месту кровавого

> происшествия, пребывали в полной растерянности, словно вопрошая — что же дальше? Они не знали, считать ли, что мания убийства уже достигла своего апогея, или, напротив, теперь следует ожидать, что они вступают в бурную полосу убийств, когда человек начинает стрелять направо и налево, во всех и всякого, кто придется не по нутру. Шепотом сообщали друг другу, что это еще не все и что до вечера должны прибрать еще пять или шесть человек. Ридера отнесли в гостиницу «Вирджиния-Сити», куда пригласили врачей для осмотра его ран. Две или три пули попали ему в правый бок; одна из них, по-видимому, пробила легкое навылет, другая застряла в печени. Еще две пули были обнаружены в ноге. Так как некоторые из пуль ударились в бочку, возможно, что в ногу они попали рикошетом; впрочем, они могли попасть туда в результате второго выстрела. Тут же после обстрела Ридер поднялся на ноги и с улыбкой произнес: «Не таким стрелком надо быть, чтобы меня одолеть». Врачи считают выздоровление почти невозможным, однако благодаря крепкому сложению он, может быть, и выживет, несмотря на количество и опасное свойство ран, ему нанесенных. В настоящее время город кажется совершенно спокойным, словно пронесшаяся буря очистила нашу нравственную атмосферу; но как знать — не собираются ли где-нибудь еще тучи, не замышляются ли новые убийства?

Ридер — вернее, то что от него осталось, — протянул еще двое суток! Гумберту же ничего не было.

Суд присяжных — палладиум наших гражданских свобод. Что такое палладиум, я не знаю, ибо никогда в глаза не видывал этого палладиума; надо, однако, полагать, что это вещь хорошая. В Неваде было убито не меньше ста человек, — я бы не согрешил, если бы сказал триста, — но, насколько мне известно, к смертной казни были приговорены всего двое. Правда, то ли четыре, то ли пять преступников, не имевших денег и политических связей, были приговорены к тюремному заключению и один из них протомился в тюрьме, если не ошибаюсь, целых восемь месяцев. Впрочем, буду осторожен — может быть, и не все восемь.

ГЛАВА IX

Капитан Нэд Блейкли. — Ходячая батарея. — Сперва казнь, суд потом. — Ноукс повешен.

Вся эта судебно-криминальная статистика напомнила мне одно несколько своеобразное судебное разбирательство и казнь, имевшие место двадцать лет тому назад; это страничка истории, хорошо известная старожилам Калифорнии и достойная того, чтобы с ней познакомились и прочие народы, населяющие землю, которые предпочитают, чтобы правосудие вершилось попросту, без дураков. Если бы эпизод, который я собираюсь поведать, не служил бы сам по себе извинением, мне пришлось бы просить у читателя прощения за то, что я еще раз отвлекаюсь. Ну да я ведь только и делаю, что отвлекаюсь. Поэтому, чтобы не показаться навязчивым, я, пожалуй, раз и навсегда перестану извиняться.

Капитан Нэд Блейкли (не все ли равно, как мы его назовем! Дело в том, что, по последним сведениям, он значился еще в живых и — как знать? — может, совсем не ищет известности) долгие годы водил суда, отбывающие из Сан-Франциско. Это был доблестный ветеран с золотым сердцем и орлиным взглядом; моряк, проплававший пятьдесят лет, моряк с самого детства. Грубоватый, честный, столь же простодушный, сколь отважный, он не признавал пустых условностей. Его лозунг был — «дело!» Как истинный моряк, он ненавидел все крючки и закорючки судопроизводства и был убежден, что первая и единственная цель, которую преследуют закон и законники, заключается в том, чтобы бороться с правосудием.

Как-то он отправился к островам Чинча на судне, перевозившем гуано. Экипаж у него был отличный, но особенной любовью и уважением у него пользовался его помощник, негр. Это был первый рейс капитана к островам Чинча. Слава его, однако, предшествовала ему — слава человека, с которым шутки плохи и у которого кулаки всегда наготове; слава, кстати сказать, вполне заслуженная. Сразу же по прибытии на острова Блейкли узнал о существовании некоего Билла Ноукса, помощника капитана одного торгового судна. Подвиги этого хулигана навязли у всех в зубах. Он установил на острове настоящий режим террора. В девять часов вечера, при свете звезд, капитан Нэд шагал в одиночестве по палубе своего судна. Какая-то фигура вскарабкалась по борту и подошла к капитану.

— Кто идет? — спросил капитан Нэд.

— Билл Ноукс, первый человек на островах.

— Что вам здесь нужно?

— Я слыхал о капитане Нэде Блейкли, и я не сойду на берег, пока не выясню, кого из нас считать первым номером.

— А, ну так вы угодили в самый раз — к вашим услугам. Я вас научу, как являться на корабль без приглашения.

Тут он схватил Ноукса, прислонил его к мачте, сделал из его физиономии котлету и бросил его за борт.

Эти доводы, однако, не показались Ноуксу убедительными. На следующий день он вновь явился, вновь его физиономия подверглась кулинарной обработке, и он вновь полетел за борт вверх тормашками. На этот раз он успокоился.

Прошла неделя. Как-то в полдень Ноукс кутил на берегу с группой матросов. Подошел черный помощник капитана Нэда, и Ноукс начал задирать его, пытаясь вызвать на драку. Негр не попался на удочку и ушел. Ноукс последовал за ним; негр побежал. Ноукс выстрелил из револьвера и убил негра. С полдюжины капитанов видели всю эту сцену. Ноукс с двумя товарищами укрылся в кормовой каюте своего корабля и объявил, что смерть будет наградой всякому, кто туда сунется. Никто не пытался следовать за негодяем, никто и подумать не мог о подобном предприятии. Ни суда, ни полиции на островах не было, правительства не было: острова принадлежали Перу, а Перу было далеко и не имело здесь своих представителей, от других стран представителей тоже не было.

Впрочем, капитан Нэд не слишком ломал себе голову по этому поводу. Ему до этого дела не было. Он кипел от бешенства и жаждал правосудия. В девять часов вечера он зарядил свою двустволку, достал пару наручников, захватил корабельный фонарь, вызвал боцмана и сошел на берег.

— Видите то судно у причала?

— Так точно, сэр.

— Это «Венера».

— Так точно, сэр.

— Вы… вы знаете меня?

— Так точно, сэр.

— Хорошо же. Возьмите фонарь. Держите его под самым подбородком. Я буду идти за вами; это самое ружье будет лежать у вас на плече дулом вперед… вот так. Держите фонарь повыше — так, чтобы мне было видно, что делается впереди. Я иду к Ноуксу, захвачу его, а тех молодчиков — под замок. Если вы сдрейфите… ну, да вы знаете меня!

— Так точно, сэр.

Двигаясь в таком порядке, они бесшумно вступили на судно Ноукса, подошли к его убежищу; боцман открыл дверь каюты, и свет его фонаря упал на трех головорезов, сидящих на полу.

— Я Нэд Блейкли, — сказал капитан Нэд. — Мое ружье направлено на вас. Без моей команды не двигаться никому! Вы двое становитесь на колени вон в том углу, лицом к стене, — ну! Билл Ноукс, наденьте-ка эти наручники. Теперь подойдите поближе. Закрепите их, боцман. Хорошо. Спокойно, сэр! Боцман, вставьте ключ с той стороны. Ну, вот вас двоих я запираю; если попытаетесь проломить дверь… ну, да вы слышали обо мне! Билл Ноукс, проходите вперед — марш! Готово. Боцман, заприте дверь.

Ноукс провел ночь на судне капитана Блейкли, под бдительной охраной. Рано утром капитан Нэд созвал капитанов со всех судов, стоящих в гавани, и пригласил их с соблюдением всего флотского церемониала явиться к нему на судно в девять часов, так как в этот час он намерен вздернуть Ноукса на нок-рее.

— Как? Без суда?

— Зачем же суд? Ведь он убил негра, ну?

— Это так. Но неужели вы собираетесь его повесить без суда?

— Дался вам этот суд! Чего же его судить, когда он убил негра?

— Послушайте, капитан Нэд, это никуда не годится. Вы только подумайте, как все это будет выглядеть.

— А черта ли в том, как это будет выглядеть! Убил он или не убил негра?

— Убить-то убил, капитан Нэд, что тут говорить…

— Ну, вот я и повешу его — и вся недолга. Чудаки вы, ей-богу! С кем ни заговори, всякий рассуждает на ваш манер. Ведь все знают, что Ноукс убил негра, все говорят, что Ноукс убил негра, а сами заладили: суд да суд… Не понимаю я ваших этих антимоний, хоть убей! Судить? Пожалуйста! Я разве против? Если, по-вашему, так надо, судите себе. Да я в случае чего и сам приду помочь, я разве отказываюсь? Я ведь только что говорю? Повременим с судом немного: вот я до обеда управлюсь с ним — как-никак возня ведь немалая… тут и закопай его и…

— Как? Что такое? Уж не думаете ли вы сперва повесить его, а потом только судить?

— А вы не слышали, что я сказал, что повешу его? В первый раз таких людей вижу! Вам-то не все ли равно? Вы попросили меня об одолжении, я что ж — пожалуйста! А вы все недовольны. До или после — какая разница? Ведь вы прекрасно знаете, чем кончится суд. Он убил негра… Э, да некогда мне тут с вами! Если вашему помощнику охота посмотреть на казнь, тащите его с собой. Он славный малый.

Все были взволнованы. Капитаны пришли гуртом отговаривать капитана Нэда от опрометчивого шага. Они обещали ему устроить суд, выделить для этой цели самых достойных капитанов из своей среды, набрать присяжных; они обязались повести дело со всей серьезностью, беспристрастно выслушать стороны и учинить справедливый суд над обвиняемым. Они говорили, что то, что задумал капитан Нэд, равносильно убийству и что если он будет упорствовать и повесит обвиняемого на своем корабле, он сам, согласно американским законам, попадет на скамью подсудимых. Они умоляли его одуматься. Капитан Нэд сказал:

— Джентльмены, я не упрям и не глух к доводам разума. Я всегда стремлюсь поступать по правилам, когда только это возможно. Много ли вам потребуется времени?

— Да не очень.

— А когда вы кончите, мне можно будет взять его на берег и тут же повесить?

— Если он будет признан виновным, его повесят без особых проволочек.

— Как то есть «если»? Во имя Нептуна, неужто он невиновен?! Ей-богу, не понимаю! Ведь вы все знаете, что он виновен!

Наконец им удалось убедить его в том, что они никакой каверзы не замышляют. Тогда он сказал:

— Ну, хорошо. Вы себе судите его, а я тем временем займусь его совестью и приготовлю его к отбытию — кто-кто, а он-то нуждается в подготовке, и я вовсе не хочу отправить его на тот свет без пропуска.

Еще одно осложнение! Наконец они растолковали ему, что присутствие обвиняемого необходимо на суде. Затем сообщили, что пришлют охрану, чтобы вести его на суд.

— Ну нет, сэр, я сам приведу его — уж я его не выпущу из своих рук, будьте покойны! К тому же мне все равно надо сходить к себе за веревкой.

Суд собрался с соответственными церемониями, присяжных привели к присяге, и капитан Нэд вошел, одной рукой ведя заключенного, в другой держа веревку и библию. Он сел рядом со своим пленником и велел суду «сняться с якоря и поднять паруса». Затем он обвел присяжных испытующим взором и, обнаружив среди них двух головорезов — друзей Ноукса, подошел к ним и этак по-дружески шепнул:

— Вы пришли сюда мешать, так ведь? Смотрите же, голосуйте как надо — а не то, чуть кончится суд, тут будет двуствольное следствие, и ваши останки отправятся домой в

корзиночках.

Предостережение это возымело действие. Присяжные единогласно вынесли решение: «Виновен».

Капитан Нэд вскочил и сказал:

— Ну, пошли, брат, теперь ты уж мой! Джентльмены, вы прекрасно справились со своей задачей. Пожалуйте за мной, и вы убедитесь, что и я свое дело знаю. Тут до ущелья одна миля ходу.

Суд объявил ему, что для казни назначено должностное лицо и что…

Но тут переполнилась чаша терпения капитана Нэда. Гнев его не имел границ. Вопрос о должностном лице тактично замяли.

Когда дошли до ущелья, капитан Нэд забрался на дерево, приладил петлю и накинул ее на шею приговоренного. Затем он раскрыл библию и снял шляпу. Выбрав наудачу какую-то главу, он прочел ее с начала до конца, глубоким басом и с непритворным чувством. Затем сказал:

— Ты, парень, сейчас снимешься с якоря и должен будешь рапортовать; чем короче у человека протокол его грехов, тем для него лучше. Вот ты и разгрузись, брат, чтобы не краснеть за свой судовой журнал. Признайся же, что ты убил негра!

Молчание. Долгая пауза.

Капитан прочел еще одну главу, делая время от времени остановку для вящей внушительности. Затем произнес горячую, убедительную проповедь и под конец повторил свой вопрос:

— Ты убил негра?

Злобный оскал — и молчание. Капитан проникновенным голосом прочел первую и вторую главы книги Бытия, помолчал с минуту, благоговейно закрыл библию и сказал с заметным удовлетворением:

— Ну вот. Четыре главы. Не всякий бы возился с тобой, как я.

Затем вздернул приговоренного, закрепил веревку на дереве; простоял возле него полчаса, следя за стрелкой часов, и наконец передал тело казненного судьям. Немного спустя он еще раз взглянул на неподвижный труп, и по его лицу пробежала тень сомнения: казалось, совесть в нем зашевелилась… какое-то недовольство собой… Он произнес со вздохом:

— А может быть, следовало его сжечь? Не знаю… я хотел как лучше.

Когда эта история стала известна в Калифорнии (дело было в «старое время»), она вызвала много разговоров, но ни в какой мере не повредила популярности капитана. Скорее наоборот. Калифорния того времени была страной самого простодушного и примитивного правосудия и умела ценить тех, кто руководствовался теми же принципами.

ГЛАВА X

«Западный еженедельник». — Находчивый редактор. — Роман. — Автор со слабостью. — Иона переплюнут. — Старый лоцман. — Шторм на канале. — Чудесное спасение.

В разгар нашего бума порок распустился пышным цветом. Кабаки ломились от клиентов, не говоря о полицейских участках, игорных притонах, публичных домах и тюрьмах — этих непременных спутниках процветания в приисковом районе (впрочем, не только в приисковом районе, но и всюду). В самом деле, разве это не так? Пухлая папка полицейских протоколов — самый верный признак того, что торговля процветает и что у публики много денег. Есть, правда, еще один признак; он обычно появляется последним, но зато его появление уже без всяких сомнений означает, что бум достиг своего апогея. Признак этот — рождение «литературного» журнала. И вот, в Вирджинии рождается «Западный еженедельник», посвященный литературе. Писать в этом журнале предлагалось всем литераторам. Редактором пригласили мистера Ф. Этот боец, искушенный в чернильных стычках, обладал счастливым даром лаконично и точно выражать свои мысли. Так, когда он был редактором «Юнион», какой-то из его недругов поместил в другой газете довольно косноязычную и неуклюжую ругательную статью, размазав ее на целых два столбца. Мистер Ф. блестяще сразил автора статьи с помощью одной-единственной строчки, которая на первый взгляд, казалось, заключала в себе искренний и в высшей степени лестный комплимент, ибо, написав: «Логика нашего противника напоминает нам мир божий», он положился на память читателя. В развернутом виде эта фраза из апостольского послания звучит так: «И мир божий, который превыше всякого ума…» Комплимент довольно двусмысленный.

Ему же принадлежит острота по адресу обитателей одного захолустного городишки, обреченных на полуголодное существование, так как единственную статью дохода составляли для них путники, следовавшие по почтовому тракту и иногда останавливавшиеся здесь на какие-нибудь сутки, то, по утверждению мистера Ф., соответственное место в «Отче наш» у них читали так: «Заезжего гостя даждь нам днесь».

Мы возлагали большие надежды на «еженедельник».

Все, конечно, понимали, что тут не обойтись без романа,

который бы печатался из номера в номер; было решено бросить все силы на это дело. Миссис Ф. была искусной сочинительницей рафинированной школы — не знаю, как еще назвать такую школу, где все герои изысканны и все совершенны. Она написала первую главу, где вывела блондинку столь же прекрасную, сколь простодушную, у которой жемчуга и поэзия не сходили с уст, а добродетель граничила с эксцентричностью. Кроме того, она вывела молодого французского герцога, невыносимо утонченного и влюбленного в блондинку. В следующем номере мистер Ф. подхватил ее рассказ: на сцене появились блестящий юрист, который занялся запутыванием дел герцога по имению, и ослепительная девица из высшего света, которая стала заманивать герцога в свои сети, лишая тем блондинку аппетита. Мистер Д., мрачный и кровожадный редактор одной из ежедневных газет, выступил в третьем номере с фигурой таинственного розенкрейцера[37], который переплавлял металлы, вел полночные беседы с сатаной в пещере и составлял гороскоп всех героев и героинь, суля им уйму неприятностей в будущем и вызывая у публики трепетный и благоговейный интерес к дальнейшему развитию романа. Еще он ввел наемного убийцу в плаще и маске и пустил его охотиться за герцогом по ночам, с отравленным кинжалом. С легкой руки мистера Д. в роман попал кучер-ирландец с великолепным ирландским говором; его он определил к великосветской деве — возить любовные записочки герцогу.

Примерно в эту пору в Вирджинии появился незнакомец не совсем трезвого поведения, но с литературными наклонностями; это был несколько потрепанный субъект, впрочем, тихий и безропотный, даже, можно сказать, скромный. Он был так мягок, манеры его — пьян ли он был, или трезв — так приятны, что всякий, с кем он приходил в соприкосновение, испытывал невольную симпатию к нему. Представив неопровержимые доказательства того, что владеет пером, он просил литературной работы, и мистер Ф. тотчас предложил ему участвовать в создании нашего романа. Его глава должна была следовать за главой мистера Д., а после него наступала моя очередь. Что же вы думаете — этот тип тут же напивается и затем, придя домой, дает простор своему воображению, пребывающему в этот момент в состоянии хаоса, и притом хаоса деятельного до чрезвычайности. Результат нетрудно себе представить. Пролистав предыдущие главы, он увидел, что героев и героинь набралось достаточно, остался ими вполне доволен и решил не вводить новых персонажей; со всей решительностью, навеянной виски, и с тем легким самодовольством, которое оно дарует своим ревностным

слугам, он любовно принялся за труд; чтобы эпатировать читателя, женил кучера на великосветской девице; герцога, сенсации ради, женил на мачехе блондинки; лишил наемного убийцу жалованья; заставил пробежать черную кошку между розенкрейцером и сатаной; предал имения герцога в руки злодея юриста, которого заставил под влиянием запоздалых упреков совести допиться до белой горячки с последующим самоубийством; кучеру сломал шею; вдову его обрек на общественное презрение, забвение, нищету и чахотку, блондинку утопил, причем она оставила свою одежду на берегу — конечно, с приложением записки, в которой прощала герцога и желала ему счастья в жизни; открыл герцогу, с помощью непременной родинки на левом плече, что он женился на своей собственной, тщетно разыскиваемой матери и погубил свою собственную, тщетно разыскиваемую сестру; во имя поэтического возмездия довел герцога и герцогиню до приличествующего им самоубийства; заставил землю разверзнуться и поглотить розенкрейцера, сопроводив этот процесс, как водится, громом, дымом и запахом серы; и в заключение обещал в следующей главе дать описание общего для всех накопившихся трупов дознания, а также заняться единственным персонажем, оставшимся в живых, — сатаной — и поведать о его дальнейшей судьбе!

Все это было изложено необычайно гладким слогом и в таком невозмутимо серьезном тоне, что мертвый задохнулся бы от смеха. Тем не менее рукопись вызвала бурю негодования. Остальные сочинители были взбешены. Благостный незнакомец, лишь вполовину протрезвевший, стоял под беспощадным огнем упреков и брани, растерянный и смиренный, переводя взгляд с одного из своих хулителей на другого, не понимая, каким образом он навлек на себя эту грозу. Когда его коллеги наконец немного поутихли, он мягко, подкупающим голосом отвечал им, что хотя и не помнит в точности, что именно написал, но знает, что старался писать как можно лучше и что целью своей поставил сделать роман не только приятным и правдоподобным, но также поучительным и…

Тут он вновь подвергся бомбардировке. Коллеги обрушились на его неудачные эпитеты, смяв их целой бурей насмешек и брани. Осада продолжалась долго. Всякий раз как новичок пытался смягчить неприятельский гнев, он лишь заново навлекал его на себя. Наконец он предложил переписать всю главу. Военные действия приостановились. Страсти постепенно улеглись, воцарился мир, и пострадавший отступил без потерь в направлении к своей цитадели.

Однако на пути туда он поддался дьявольскому искушению и снова напился. И снова предался своей бешеной фантазии. Он заставил своих героев и героинь выкидывать еще более лихие коленца, чем прежде; и при всем том в новом его творении ощущался все тот же покоряющий дух какой-то порядочности и искренности. Он поставил своих персонажей в невероятные положения, заставив их проделывать самые удивительные номера и произносить престранные речи! Впрочем, эту его главу невозможно описать. Чудовищная по композиции, художественно нелепая, она к тому же была снабжена примечаниями не менее изумительными, чем самый текст. Мне запомнилась одна из «ситуаций»; приведу ее, ибо по ней можно судить об остальном. Он изменил характер блестящего юриста, сделал его прекрасным, благородным человеком, снабдил его славой и богатством и определил его возраст в тридцать три года. Затем открыл блондинке — с помощью розенкрейцера и мелодраматического негодяя, — что в то время как герцог пылал неподдельной страстью к ее, блондинкиным, деньгам, он, с другой стороны, питал тайную склонность к великосветской девице. Задетая за живое, она отторгла свое сердце от обманщика и с удесятеренной страстью подарила это сердце юристу, который, в свою очередь, ответствовал ей со всем рвением. Однако родители блондинки и слышать об этом не хотели. Им в семью нужен был герцог, на этом они стояли твердо; правда, они сами признавали, что, если бы не герцог, кандидатура юриста была бы для них приемлема. У блондинки, как и следовало ожидать, открылась чахотка. Родители встревожились. Они умоляли ее выйти замуж за герцога, но блондинка упорствовала и продолжала чахнуть. Тогда они составили план действий. Блондинку попросили потерпеть еще год и один день, посулив, что, если она по истечении этого срока все еще не будет чувствовать себя в силах выйти за герцога, ей будет дано согласие на брак с юристом. Как они и предвидели, в результате этой меры к блондинке вернулись жизнерадостность и здоровье. Затем родители приступили к выполнению следующего пункта своего плана. Вызвали домашнего врача, который по их наущению предписал блондинке длительное морское и сухопутное путешествие для полного восстановления ее сил; герцога же пригласили принять участие в экскурсии. Они полагали, что постоянное присутствие герцога в сочетании с длительным отсутствием юриста сделает свое дело, ибо юрист не был в числе приглашенных.

Итак, они сели на пароход, отбывающий в Америку, а на третий день, когда морская болезнь дала им небольшую передышку и они были наконец в состоянии сесть за стол в кают-

компании, юрист оказался тут как тут! Герцогу и его друзьям пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Пароход между тем шел себе вперед и стал приближаться к берегам Америки. Но вот в каких-нибудь двухстах милях от Нью-Бедфорда на пароходе возник пожар, и он сгорел до самой ватерлинии; изо всего экипажа и пассажиров спаслось только тридцать человек. Полдня и целую ночь качались они на волнах. Среди уцелевших были также и наши друзья. Ценой сверхъестественного напряжения юристу удалось спасти и блондинку и родителей ее: он сновал по волнам взад и вперед, делая концы по двести ярдов зараз, и по очереди вытащил всех троих (начав с блондинки). Герцог был занят собственным спасением. Наутро появились два китобойных судна, которые спустили шлюпки, чтобы подобрать пострадавших. Бушевала буря, и посадка в шлюпки сопровождалась значительными трудностями и волнениями. Юрист мужественно исполнял свой долг: посадил в шлюпку свою блондинку, которая в изнеможении лишилась чувств, посадил также ее родителей и еще несколько человек (герцог был занят собственной посадкой). Но тут на другом конце плота произошло несчастье: чей-то ребенок упал в воду; подстрекаемый воплями несчастной матери, юрист ринулся выуживать младенца. Затем он побежал назад — оказалось, что поздно: шлюпка, в которой сидела блондинка, отчалила за несколько секунд до его возвращения. Ему пришлось сесть в другую, которая привезла его на второе судно. Шторм между тем усиливался, разогнал суда в разные стороны и помчал их бог весть куда. К концу третьего дня, когда буря улеглась, судно, на котором находилась блондинка, оказалось в семистах милях к северу от Бостона, между тем как второе судно отстояло от того же порта на семьсот миль к югу. Блондинкин капитан имел приказ бить китов в северных водах Атлантического океана; будучи дисциплинированным моряком, он не дерзнул сделать такой большой крюк, тем паче заворачивать в порт, не предусмотренный маршрутом. Судно же, на которое попал юрист, следовало на север Тихого океана, и его капитан также не смел завернуть в порт без особых распоряжений. Так как свои вещи и деньги юрист сложил в шлюпку блондинки, они оказались на другом судне, и капитан заставил его работать простым матросом в уплату за проезд. Проплавав без малого год, эти суда оказались — одно возле берегов Гренландии, другое в Беринговом проливе. Блондинку давно уже почти убедили в том, что ее юрист утонул в море в тот самый момент, когда к их плоту подплыло китобойное судно, и она начинала уже, под двойным давлением родителей и самого герцога, готовиться к ненавистному браку. Впрочем, она не

соглашалась уступить ни одного дня из назначенного срока. Неделя тащилась за неделей, срок все приближался, и было уже отдано распоряжение убрать судно по-праздничному — для свадьбы среди айсбергов и тюленей. Еще пять дней — и конец, говорила себе блондинка, вздыхая и смахивая слезу. Где же он, где ее суженый, почему он не идет, не спасает свою милую? Не шел же он оттого, что в эту самую минуту занес гарпун над китом в Беринговом проливе, на расстоянии пяти тысяч миль — если плыть Ледовитым океаном, и двадцати тысяч вокруг мыса Горн. Вот он пустил свой гарпун… промазал… потерял равновесие и… упал прямо в пасть к киту!

Пять дней он был без сознания. Затем пришел в себя и услышал человеческие голоса; дневной свет струился сквозь отверстие, сделанное в туше кита. Он вылез наружу и предстал перед изумленными матросами, которые втаскивали в это время китовый жир на борт. Он тотчас понял, что это за судно, мигом вскарабкался на палубу, застиг жениха с невестой у самого алтаря и вскричал:

— Остановите обряд — я здесь! Дорогая, приди в мои объятия!

Сей удивительнейший опус был оснащен комментарием, в котором автор пытался доказать, что вся эта история не выходит из границ правдоподобия; автор сообщал, что случай, когда кит в пять дней проделал пять тысяч миль от Берингова пролива до Гренландии, он вычитал у Чарльза Рида в его романе «Люби меня немножко, люби меня подольше» и на этом основании считал возможность такого путешествия доказанной; кроме того, он привел приключение Ионы — как доказательство того, что человек может жить в чреве у кита, и заключил свой комментарий рассуждением, что если проповедник выдержал три дня такой жизни, то законник может свободно выдержать пять.

Буря, которая разразилась после этого в редакции, была еще свирепее прежней, незнакомцу была дана решительная отставка, и рукопись полетела ему вслед. Но он так успел затянуть все дело, что уже не было времени переписать главу наново и следующий номер вышел вовсе без романа. Это был хиленький, робкий и глуповатый журнальчик, и отсутствие очередной главы романа окончательно подорвало доверие публики; как бы то ни было, в то самое время, как набиралась первая полоса следующего номера, «Западный еженедельник» тихо, как младенец, испустил дух.

Была сделана попытка возродить его, подобрав какое-нибудь броское новое название, и мистер Ф. предложил назвать его «Феникс» — в ознаменование его возрождения из пепла к новой,

неслыханной славе. Но какой-то дешевый остряк из одной из ежедневных газеток предложил нам назвать журнал «Лазарь»[38]; а так как публика была не очень сильна в священном писании и полагала, что воскрешенный Лазарь и оборванный нищий, который просил подаяния у ворот богача, — одно лицо, название это вызвало всеобщий смех и раз и навсегда убило журнал.

Я об этом сильно скорбел, ибо очень гордился своим участием в литературном журнале, — пожалуй, я во всю свою последующую жизнь ничем уже так не гордился. Я написал для журнала вирши — стихи, как я их называл, — и мне было чрезвычайно грустно, что это мое творение, набранное на первой странице незаконченного номера, так и не увидело света. Впрочем, время мстит за нас, — и вот я помещаю этот труд здесь; пусть же он служит прощальной слезой по безвременно погибшему «Западному еженедельнику»! Если память мне не изменяет, идея (собственно, не идея, а сосуд, в который она заключена) этой вещи была навеяна известной песней «Бушующий канал». Зато уж я точно помню, что тогда мои вирши казались мне самыми искусными стихами нашего времени.

СТАРЫЙ ЛОЦМАН[39]

Ах, на канале Эри
Тот случай летом был.
Я в край далекий Олбени
С родителями плыл.

Но в полдень страшный ураган
Подул из тучи вдруг.
Взметнул седые он валы
И нас поверг в испуг.

С порога дома человек
Взывал сквозь ветра вой:
«Скорей причальте ваш корабль,
Корабль причальте свой!»

Сказал наш капитан, взглянув
На нос и на корму:
«Жену, малюток дорогих,
Увы, не обниму!»

И рек наш лоцман Доллинджер

(Был тверд он в страшный час):
«Доверьтесь Доллинджеру — он
Спасти сумеет вас».

Корабль наш мулы все быстрей
Влекли сквозь грозный шквал:
Их не покинувший поста
Мальчишка погонял.

«На борт! Судьбы не искушай!» —
Воскликнул капитан.
Но мулов мальчик лишь быстрей
Погнал сквозь ураган.

Тут капитан сказал нам всем:
«Увы, наш жребий лих!
Опасность главная не там,
А здесь, средь волн морских.
Искать убежища решил
В ближайшем я порту,
А коль погибнем… Нет! Язык
Немеет мой во рту!»

И рек наш лоцман Доллинджер,
Услышав тот приказ:
«Доверьтесь Доллинджеру — он
Спасти сумеет вас!»

«По носу мост!» Пригнулись все.
Мы мчались по волнам —
Деревни, церкви, мельницы
Неслись по берегам.
Сбегались люди поглазеть,
Толпились у воды,
Крича: «Увы, стихии все
Сорвались вдруг с узды!
Ах, кораблю и морякам
Не избежать беды!»

А с палубы глядели мы
В испуге и с тоской
На гнущийся зеленый лес,
На пену за кормой,
На кур, что жались у домов

С подветренной стены,
На пойло пьющую свинью,
На брызги от волны.

«Эй, молодцы!
Трави концы!
Скорей готовь причал!
Ну, если здесь мы ляжем в дрейф,
Мы все… (И закричал:)
А ну, опять
Два рифа взять!
Концы вяжи!
Вяжи гужи!
Погонщик, мулов за хвосты держи!

Эй, груз за борт! Эй, к помпам все!
Эй, конюх, брось-ка лот!
Узнайте все, и стар и млад, —
Корабль погибель ждет.
Хоть я на Эри моряком
С младенческих годов,
Не видел бури я такой,
Не зрел таких валов!»

Мы гвозди бросили за борт
И заступов пять штук,
Сто фунтов клея, ящик книг,
Мешков для соли тюк,
Мешок пшеницы, ржи мешок,
Корову, два смычка,
Творенья лорда Байрона,
Две скрипки и бычка.

«Мель! Мель! Клади правей руля!
Клади левей, Дол! Та-ак держать!
Эй, мулы, но! Эй, мулы, тпру!
Нам гибели не избежать!»

«Три фута с третью… близко мель!
Три больше! Ровно три!
Три меньше!» Я вскричал: «Ужель
Погибнем на мели?!»

И рек наш лоцман Доллинджер,

Взирая на компас:
«Доверьтесь Доллинджеру — он
Спасти сумеет вас!»

Вдруг в ужасе постигли все —
Старик и молодой, —
Как здесь возникнуть мель могла:
На дне канала течь была!
Но буря нас вперед гнала,
И судно мчалось как стрела
Мелеющей водой!
«Руби буксир! А мулов режь!»
Но поздно!.. Скрежет… крик!..
. . . . . .
Ах! Шлюза мы могли б достичь,
Имей мы лишний миг!

Крушенье терпя, обнялись моряки
В последний самый раз,
И слезы отчаянья в три ручья
Текли из наших глаз.
О милых малютках думал один,
Которых ему не обнять,
Другой вспоминал дорогую жену,
А третий — милую мать.

И только один из нас страха не знал,
Из сердца он исторг
Надежды сладостной слова,
И меня охватил восторг.
То рек наш лоцман Доллинджер
(Чье сердце как алмаз):
«Доверьтесь Доллинджеру — он
Спасти сумеет вас!»

Исполненная верой речь
Едва лишь отзвучала,
Как тотчас чудо из чудес
Ту веру увенчало.

Вдруг фермер доску притащил
(По воле провиденья!)
И, положив на борт, ушел,
Исполненный смиренья.

Дивясь, страдальцы долгий миг
На лоцмана глядели,
Потом в молчанье по доске
Сошли на берег с мели.

ГЛАВА XI

Перевозка грузов в Калифорнию. — Серебряные слитки. — Подземный город. — Деревянные крепления. — Спуск в шахты. — Обвал. — Добыча серебра в 1863 году.

В этой главе я намерен сообщить кое-какие полезные сведения о серебряных приисках, о чем честно предупреждаю читателя, — он волен ее не читать.

В 1863 году бум, пожалуй, достиг своей высшей точки. Вирджиния кишела пешеходами и повозками, и если бы можно было проникнуть взглядом сквозь облака известковой пыли, окутывающие ее каждое лето, то она показалась бы похожей на пчелиный улей. Что касается этой пыли, то, пробежав сквозь нее десять миль, ваши лошади покрывались ровным желтоватым слоем в одну шестнадцатую дюйма, а с колес она попадала внутрь повозки и там оседала, достигая трех дюймов в толщину. Чуткие весы, которыми пользовались наши химики, содержались под стеклянным колпаком, который, казалось бы, не должен был пропускать ничего, и все же пыль эта была так тонка и невещественна, что неприметно просачивалась туда, нарушая точность прибора.

Кругом кипела бешеная спекуляция; были, однако, и вполне солидные предприятия. Товары доставлялись в Вирджинию из Калифорнии (сто пятьдесят миль) через горы либо вьюком, либо в колоссальных фургонах, запряженных таким огромным количеством мулов, что каждая такая упряжка составляла целую процессию, и один обоз, казалось, тянулся от самой Калифорнии до Вирджинии. Извилистая змейка пыли, проходящая через пустыни территории, отмечала его долгий путь. Перевозка грузов на эти сто пятьдесят миль в фургонах обходилась в двести долларов тонна за небольшие партии (такая же цена взималась за перевозку посылок в почтовых каретах) и в сто долларов за полную поклажу. Одна вирджинская фирма получала по сто тонн грузов в месяц и платила за перевозку их десять тысяч долларов. Зимой перевозка обходилась еще дороже. Слитки серебра доставлялись в Сан-Франциско почтовой каретой (ценность каждого слитка, величиной обычно с две свинцовых чушки, исчислялась в зависимости от примеси в нем золота и колебалась между 1500 и 3000 долларов). Стоимость перевозки (при больших грузах) составляла 1, 25 % стоимости самого груза. Таким

образом, перевозка каждого слитка обходилась примерно в двадцать пять долларов. С отправителей небольших партий взималось два процента. Каждый день в обоих направлениях курсировало по три дилижанса, и я сам бывал свидетелем тому, как на все три дилижанса, отбывающие из Вирджинии, грузили по трети тонны серебра в слитках; бывало и так, что эти три дилижанса увозили вместе до двух тонн серебра. Правда, такое случалось редко, как исключение[40]. Две тонны серебра — это примерно сорок слитков, и перевозка их стоила больше тысячи долларов. Кроме серебра, дилижанс брал и другие грузы, не говоря о пассажирах, которых набиралось человек по пятнадцать — двадцать каждый рейс; с них взималось двадцать пять — тридцать долларов с души. При шести непрерывно курсирующих дилижансах «Уэллс, Фарго и К°» был довольно богатым и солидным предприятием. На протяжении двух миль под Вирджинией и Голд-Хиллом пролегала знаменитая Комстокская серебряная жила; толщина руды, ограниченной с обеих сторон скалистой породой, доходила до пятидесяти, а местами и до восьмидесяти футов, и, таким образом, жила эта шириной своей не уступала иным из нью-йоркских улиц. Напомню читателю, что в Пенсильвании слой угля толщиной в восемь футов считается богатым.

Деятельная жизнь кипела в домах и на улицах Вирджинии, и не менее деятельная жизнь кипела в городе, что находился под этими домами и улицами, — в недрах земли, где огромное население сновало по сложному лабиринту штолен и штреков, мелькая там и сям в мерцающем свете фонарей; а над их головами высилась бесконечная паутина креплений, распирающих стенки разветвленной Комстокской жилы. Балки были толщиной с человека, и переплет этот тянулся ввысь и исчезал во мраке. Ощущение такое, словно вы находитесь внутри какого-то колоссального скелета и смотрите вверх сквозь его ребра. Представьте себе подобное крепление, тянущееся на две мили в длину, шестьдесят футов в ширину, а в высоту выше самого высокого церковного шпиля в Америке. Представьте себе, что стройный этот переплет тянется по всему Бродвею от гостиницы «Сент-Николас» до Уолл-стрит и что по верху его, выше колокольни Троицы, движется с развевающимися знаменами карликовая процессия в честь Четвертого июля!

Это, впрочем, легче себе представить, чем то, во что обошелся весь этот лес, — ведь его пришлось рубить в сосновых рощах за озером Уошо, везти его оттуда и переваливать через гору Дейвидсон — один транспорт чего стоил! — затем обтесать и спустить в огромную пасть шахты и там наконец возводить из

него крепь. Двадцати солидных состояний не хватило бы на крепление какого-нибудь одного из крупнейших серебряных рудников. Испанцы говорят, что, для того чтобы разрабатывать серебряный рудник, надобно иметь золотой. Справедливая пословица! Участь нищего владельца серебряного рудника воистину достойна жалости, если только ему не посчастливится этот рудник продать.

Я назвал подземную Вирджинию городом. Компании «Гулд и Карри» принадлежал всего один рудник из множества других, проходящих под улицами Вирджинии. Однако мрачные штреки и штольни его составляли в общей сложности пять миль, а «население» — пятьсот рудокопов. Если же взять весь подземный город, то протяженность его улиц составляла около тридцати миль, и населяли его пять или шесть тысяч человек. В настоящее время часть этого населения работает на глубине от тысячи двухсот до тысячи шестисот футов под Вирджинией и Голд-Хиллом и принимает сигналы от управляющего сверху по телеграфу, наподобие наших пожарных команд. Время от времени кто-нибудь проваливается в шахту глубиной в тысячу футов. В таких случаях оповещают наследников.

Чтобы попасть в один из этих рудников, нужно либо пройти штольней примерно полмили, либо, если вы предпочитаете более быстрый способ, стать на небольшую платформу и ринуться на ней в шахту, — ощущение такое, точно вы прыгнули в пролет колокольни. Спустившись на дно, вы берете в руки свечку и движетесь по штольням и штрекам, в которых копошатся люди, раскапывая и взрывая породу; вы смотрите, как они нагружают бадьи огромными глыбами камня и отправляют их наверх, — этот камень и есть серебряная руда; выбираете несколько приглянувшихся вам камешков на память; восхищаетесь удивительным деревянным креплением; постоянно напоминаете себе, что вы находитесь в недрах горы и что между вами и дневным светом тысяча футов земли; со дна шахты вы с «галереи» на «галерею» карабкаетесь по бесконечным отвесным лесенкам; и когда наконец ноги отказываются вам служить, вы валитесь на вагонетку, которая везет вас по тесной, как сточная труба, наклонной шахте к дневному свету, и вам кажется, будто ваше тело пропускают сквозь длинный узкий гроб, которому нет конца. Наверху вы видите людей, занятых приемом бадей и вагонеток, прибывающих снизу; рабочие сваливают породу в огромные лари, стоящие в ряд, емкостью в шесть тонн каждый; под ними стоят фургоны, в которые порода грузится из ларей через люки и желоба; затем фургоны тянутся со своей драгоценной поклажей по длинной улице — к фабрикам. Вот и вся ваша экскурсия.

Можете больше не спускаться в шахты, вы видели все, что можно видеть. Если же вы позабыли, как руда перерабатывается в серебряные слитки, то можете перечитать мои главы об Эсмеральде.

Конечно, в этих рудниках случаются иной раз обвалы, и тогда есть смысл рискнуть и спуститься в один из них, чтобы увидеть, какие разрушения способна произвести гора своим весом. Я как-то напечатал свои впечатления об этом в «Энтерпрайз»; приведу отрывок из своей статьи:

ЧАС В ОБВАЛИВШЕМСЯ РУДНИКЕ.

Вчера мы спустились в Офирский рудник — взглянуть на землетрясение. Мы не решились спуститься по наклонной шахте, так как она грозила дальнейшими обвалами. Поэтому мы прошли длинной штольней, которая берет начало над конторой «Офира», оттуда по нескольким высоким лесенкам мы спустились с первой галереи до четвертой. Затем дошли до Испанской линии, прошли пять уцелевших креплений и прибыли к месту землетрясения. Глазам нашим представился хаос совершеннейший — громадные массивы земли, беспорядочно перемешанной с щепками креплений; редко попадается просвет, в который могла бы протиснуться кошка. Сверху время от времени еще продолжала сыпаться порода, и одна балка, которая еще утром поддерживала соседние, теперь уже сдвинулась — признак того, что оседание еще продолжается. Мы находились и той части «Офира», которая носит название «Северные рудники». Вернувшись наверх, мы вошли в другую штольню, ведущую к основному Офирскому руднику. Пройдя по длинному спуску и миновав несколько штреков, мы дошли до глубокой шахты, спустились в нее и оттуда направились в пятую Офирскую галерею. Мы попали в один из боковых штреков, оттуда проползли сквозь узкую дыру и опять очутились посреди землетрясения — земля и обломки креплений были перемешаны без какого бы то ни было уважения к изяществу и симметрии. Большая часть второй, третьей и четвертой галерей обвалилась, превратившись в совершенные руины; в двух последних галереях обвал произошел накануне, в семь часов вечера.

Возле поворотного круга, у северного конца пятой галереи, две большие кучи породы провалились из четвертой галереи, и, судя по балкам, следовало ожидать дальнейших обвалов. Балки эти весьма добротны — восемнадцать квадратных дюймов в разрезе; сперва укладывается поперечная балка, на нее крепят стояки в восемь футов вышиной, они поддерживают следующую балку, и так далее, переплет над переплетом, как оконные рамы. Давление сверху оказалось столь сильным, что концы этих огромных стояков на три дюйма вмялись в горизонтальные перекладины, а сами стояки при этом изогнулись в дугу, как лук. До обвала на Испанской линии некоторые из этих двенадцатидюймовых балок расплющились настолько, что их толщина была всего пять дюймов! Какова же должна быть сила, чтобы сплющить таким образом плотное бревно! Кроме того, ряд стояков, тянущихся примерно на двадцать футов в длину, отклонился на шесть дюймов от вертикали под давлением обвалившихся верхних галерей. Кругом трещало и хрустело, и ощущение, что мир над вашей головой медленно и безмолвно обрушивается на вас, было не из приятных. Впрочем, рудокопы привыкли не обращать внимания на такие вещи.

Возвращаясь вдоль пятой галереи, мы попали в безопасный участок Офирского спуска и по нему проникли в шестую галерею; там мы обнаружили воду глубиной в десять дюймов и были вынуждены подняться. Пока происходил ремонт повреждений в спуске, пришлось выключить на два часа насос, и за это время вода поднялась на целый фут. Скоро, однако, насос снова заработал, и вода стала убывать. Поднявшись на пятую галерею, мы стали искать глубокую шахту, через которую надеялись проникнуть в какой-нибудь другой, незатопленный участок шестой галереи, но тут нас ждало разочарование, ибо рабочие ушли обедать, и некому было управлять воротом. Так что, посмотрев землетрясение, мы выбрались по спуску «Юнион» к штольне и, покрытые потом и воском от свечей, отправились в контору «Офира» завтракать.

В тот великолепный 1863 год Невада, как утверждают, произвела серебра на двадцать пять миллионов долларов, — таким образом, на каждую тысячу душ населения приходилось

чуть ли не по целому миллиону. Это для края, в котором не было ни сельского хозяйства, ни промышленности, весьма неплохо[41]. Единственное, что производила Невада, — это серебро.

ГЛАВА XII

Джим Блейн и баран его дедушки. — Старуха Вегнер и стеклянный глаз. — Гробовщик Джейкопс. — Смелый эксперимент с миссионером. — Удивительный памятник.

Наши мне все уши прожужжали своим Джимом Блейном. Они твердили, что я непременно должен послушать, как он рассказывает потрясающую историю про старого барана, принадлежащего его деду, и тут же оговаривались, чтобы я не вздумал поминать этого барана при Джиме, пока Джим не напьется как следует, то есть до состояния уютной общительности. Они довели мое любопытство до белого каления. Дошло до того, что я начал ходить по пятам за этим Джимом Блейном. Но все напрасно — всякий раз наши бывали недовольны его состоянием. Я его часто заставал навеселе, пьяным же, как следует пьяным, — никогда. В жизни я не следил за человеком с таким всепоглощающим интересом, с таким тревожным участием; никогда я так не жаждал увидеть безоговорочно пьяного человека. Наконец в один прекрасный вечер я стремглав бросился к его хижине, — меня известили, что состояние его таково, что самые строгие критики не могли бы ни к чему придраться: он был пьян, безмятежно, тихо и гармонично пьян, — речь его не прерывалась икотой, а туман, начавший обволакивать мозг, еще не коснулся памяти. Я застал его сидящим на бочонке из-под пороха, в одной руке он держал глиняную трубку, другую поднял вверх, призывая общество к молчанию. Лицо его было кругло, красно и чрезвычайно серьезно, ворот распахнут, волосы всклокочены; весь его облик и костюм были типичны для славных рудокопов того времени. На сосновом столе стояла свеча, тусклым своим светом озаряя «ребят», расположившихся на койках, ящиках из-под свечей, пороховых бочонках и т.д.

— Тсс!.. — зашикали они, — ни слова — он сейчас начнет.

ИСТОРИЯ ПРО СТАРОГО БАРАНА

Я тотчас уселся, и Блейн сказал:

— Вряд ли когда вернутся к нам те дни. Свет не видывал такого замечательного старого барана! Дед ездил за ним в Иллинойс… купил его у человека по имени Ейтс; Билл Ейтс —

небось слыхали, его отец был священником, из баптистов, — тоже парень не промах; да уж, раненько тому пришлось бы встать, кто захотел бы провести старика Ейтса! Это ведь он-то и посоветовал Гринам примкнуть к каравану моего деда, когда тот двинулся на Запад. И то сказать — второго такого, как Сэт Грин, не скоро найдешь; он взял себе в жены одну из уилкерсоновских девушек — Сарру Уилкерсон. То-то была женщина! Второй такой кобылки во всем старом Стоддарде ищи — не найдешь, — всякий, кто знал ее, подтвердит. Ей было нипочем, например, подбросить бочку с мукой — все равно что лепешку перевернуть на сковородке. А как пряла — не говорите! И язычок у нее — хо-хо! Когда Сайл Хокинс начал было охаживать ее, она ему живо дала понять, что, несмотря на его толстый кошелек, ему не удастся впрячься с ней в одну упряжку. Видите ли, Сайл Хокинс был… Постойте, я не о Сайле Хокинсе, а об одном типе по фамилии Филкинс… не помню его имени, — словом, это я о нем начал говорить… как-то вечером он ворвался пьяный в собрание верующих и давай кричать: «Да здравствует Никсон!» — думал, что тут происходят выборы; ну, старый поп Фергюсон, конечно, вскочил и выбросил его в окошко, а он возьми и упади прямо на голову этой несчастной старой кляче, мисс Джефферсон. Вот добрая была душа! У нее один глаз был стеклянный, и она его давала напрокат старухе Вегнер всякий раз, как у той собирались гости: у нее своего-то стеклянного глаза не было, а этот ей был мал, так что иной раз, когда она забывалась, он у нее перевертывался в глазнице и смотрел вверх, вбок или еще куда, а другой, настоящий то есть, в это время глядел прямо вперед — что твоя подзорная труба! Взрослые — те ничего, а детишки так непременно плакали: жутко им, вишь. Она пробовала обкладывать его ватой, но из этого как-то ничего не получалось — вата выскакивала и торчала, да так-то страшно, что детям уж совсем невмоготу становилось.

Вечно этот глаз выпадал у нее, и она уставляла на гостей свой пустой фонарь, а им делалось вроде неловко, потому что она-то не замечала — была слепая, так сказать, с того боку. Так что приходилось ее подталкивать и говорить: «Мисс Вегнер, миленькая, ведь ваш кривой глаз выпал», — и тогда гостям нужно было сидеть смирно, пока она его снова вправит — задом наперед обычно, и зеленый, как голубиное яйцо, — глаз-то, верно, скромненький был, все норовил спинкой к народу обернуться. В общем же, то, что он у ней шиворот-навыворот был, никому особенно не мешало, потому как собственный ее глаз был небесно-голубой, а стеклянный — желтенький спереди-то, так что, как она его ни ворочай, все не в масть. Старуха Вегнер

вообще много чего занимала у соседей. Когда у ней собирались кумушки стегать одеяла или шить для бедных, она обычно брала у мисс Хиггинс ее деревянную ногу, чтобы ковылять по комнате. Нога эта была чуть покороче, чем ее собственная подставка, а ей и горя мало. «Терпеть, говорит, не могу костыли, когда у меня гости, потому копотно с ними; когда гости, говорит, надо и то и се поделать, да поживей». Лысая она была, как горшок, так что ей приходилось занимать парик у мисс Джейкопс — мисс Джейкопс, что за гробовщиком была, — вот тоже старая крыса! Стоит кому захворать, он уже тут как тут — ждет, значит; сядет, старый стервятник, и сидит себе весь день где-нибудь в холодочке, прямо на гробу, который уж и подобрал — для клиента то есть; а если клиент начинал волынить или там неизвестно, как еще дело обернется, то Джейкопс запасется, бывало, провиантом, одеяло прихватит и по ночам в гробу этом спит.

Раз он таким манером пришвартовался к домику старика Роббинса, — а на дворе мороз, — да так три недели и сторожил его; а после так целых два года не разговаривал со стариком — обиделся, что тот, значит, обманул его. Отморозил ногу — это раз, да и деньги на нем потерял, потому у старика Роббинса кризис в его болезни получился и он пошел на поправку. Когда Роббинс вздумал заболеть другим разом, Джейкопс решил с ним помириться, покрыл все тот же гроб лаком и притащился с ним; ну да где ему со стариком Роббинсом тягаться!

Тот зазвал его к себе и прикинулся, будто совсем уж плох, купил гроб за десять долларов, с тем что, если гроб ему не подойдет, Джейкопс должен будет вернуть эти деньги да приплатить еще двадцать пять долларов.

Затем Роббинс умирает, а на похоронах вдруг поднимает крышку, встает в своем саване и говорит священнику, чтоб тот кончал музыку, потому в таком гробу он никак не согласен лежать. С ним, видите ли, когда он был еще молодой, случился раз такой транс, вот он и понадеялся, что это может повториться, а сам так и рассчитал: выйдет — хорошо, и денежки в кармане, а осечка — он все равно не в накладе. И уж будьте покойны, он свои гроши отсудил! А гроб поставил у себя в угловой комнатке и сказал: «Теперь уж меня никто торопить не станет». Джейкопс просто забыть не мог этот досадный случай. Вскоре после этого он переехал в Индиану, в Уэлсвилл, — Уэлсвилл, откуда Хогардоны родом. Славная семейка! Старой закваски, настоящей мэрилендской. Я не встречал человека, который мог бы выпить столько разной дряни, сколько выпивал старик Хогардон. И ругаться был мастер. Вторично он женился на вдовушке Биллингс — бывшая Бекки Мартин; а ее мамаша была первой женой

священника Дэнлапа. Ее старшая дочь, Мария, вышла за миссионера и умерла праведной смертью — ее съели дикари. Они и его, беднягу, съели — в вареном виде. Это у них, говорят, не принято, но, как они объяснили родственникам, когда те приехали за вещами, они перепробовали миссионеров во всяких других видах, и все невкусно получалось, — так что родственники даже обижались, что человек погиб ни за что, вроде как для эксперимента. Но я вам вот что скажу: ничего-то не бывает зря; иной раз кажется — ну какой от этого прок? А глядишь — все идет на пользу, надо только выдержку иметь. Нет, ребята, провидение — оно холостыми зарядами не стреляет! Так вот и сущность этого самого миссионера — без его ведома, она прямо-таки обратила в христианство всех язычников, кто пришел отведать того рагу. До этого, бывало, ничем их не проймешь. И не говорите мне, будто это случай, что его именно сварили. Я не признаю никаких случаев. Когда мой дядюшка Лем прислонился как-то к лесам одной стройки — ослаб ли, пьян ли был, или еще что, — какой-то ирландец с целой поклажей кирпичей свалился на него с третьего этажа и переломил старику хребет в двух местах. Все говорили, что это случай. А никакого тут случая не было. Он-то не знал, для чего там очутился, а цель была. Если бы он тут не подвернулся, ирландец бы расшибся насмерть. И никто не докажет мне, что это не так. Была же там собака дядюшки Лема. Почему же ирландец не упал на нее? Да потому, что собака бы увидела, что он на нее падает, и убежала бы. Потому-то собаку и не предназначили для этого. Нет, провидение не станет пользоваться собаками! Вы уж мне поверьте, тут все было подстроено. Нет, нет, ребята, случайностей не бывает. Собака дядюшки Лема — вы бы видели эту собаку! Чистокровная овчарка… то бишь, наполовину овчарка, наполовину бульдог — то-то был зверь! Она принадлежала священнику Хагару, прежде чем перешла к дядюшке Лему. Знаете Хагаров, из Западного заповедника[42]? Прекрасная семья! Его мать была урожденная Уотсон, одна сестра вышла замуж за Уилера. Они поселились в округе Морган, он попал в машину на ковровой фабрике, и машина обработала его в какие-нибудь пятнадцать секунд; его вдова купила кусок ковра, в который были вплетены его останки, и люди приходили за сто миль на его похороны. Четырнадцать ярдов было в куске. Она не разрешила свернуть его, и так и положила в гроб, во всю длину. Церковь, где его отпевали, была не так велика, и пришлось конец гроба высунуть в окошко. Его и закапывать не стали — укрепили один конец в земле и поставили стойком, вроде как бы памятник. И прибили дощечку… а на ней… на ней написали… незабвенной… па-па-мяти… четырнадцати фу-

футов… тройного ков… ра… заключающего… брен-бренные останки… Уи-уи-уи-и-и-лья… Уи…

Джима Блейна постепенно одолевала дремота… он клюнул носом раз, другой, третий… наконец тихо уронил голову на грудь и уснул. Слезы так и лились по щекам слушателей; они задыхались от смеха с самого начала рассказа, только я этого не заметил. Я понял, что меня «купили». Тут мне рассказали, что Джим Блейн славился тем, что, достигнув определенной степени опьянения, уже не знал никакого удержу, он с жаром и внушительно принимался рассказывать удивительное приключение со старым бараном своего деда, причем в его рассказе баран после первой фразы так больше и не появлялся. Джим всякий раз пускался в бесконечные блуждания, перескакивая с одного предмета на другой, пока виски не пересиливало его и он не засыпал. А что случилось со старым бараном его деда — этого и по сей день никто не знает.

ГЛАВА XIII

Китайцы в Вирджиния-Сити. — Счета за стирку. — Привычка к подражанию. — Китайская иммиграция. — Прогулка в китайский квартал. — Господа А Синг, Хонг Уо, Си Юп и др.

Как и во всех городах и городках близ побережья Тихого океана, в Вирджинии значительный процент населения составляли китайцы. Народ безобидный, если только белые оставляют их в покое или обращаются сними не хуже, чем с собаками; впрочем, китайцы вообще безобидны и, как правило, молча сносят даже гнуснейшие оскорбления и жесточайшие преследования. Они смирны, миролюбивы, покладисты, трезвого поведения и работают с утра до вечера. Буйный китаец — редкость, ленивый китаец просто не существует в природе.

Пока китайцу служат его руки, он не нуждается ни в чьей поддержке; от белого часто слышишь жалобу на безработицу, китаец же никогда не пожалуется на нее: у него всегда найдется занятие. Китаец представляет собой большое удобство для всех, даже для самых подонков белого населения, ибо несет на себе большую часть их грехов, подвергаясь штрафу за их мелкие кражи, тюремному заключению за их грабежи и смертной казни за совершенные ими убийства. Любой белый может выступить в суде против китайца и, присягнув на библии, лишить его жизни; зато китаец не имеет права свидетельствовать против белого. Мы живем в «стране свободы» — никто этого не оспаривает, никто не подвергает сомнению. (Может быть, потому, что мы не даем слова другим народам?) Вот и сейчас, пока я писал эти строки, мне сообщили, что какие-то мальчишки в Сан-Франциско среди бела дня насмерть побили камнями совершенно смирного китайца; несмотря на то, что позорное это дело происходило на глазах у толпы, никто не подумал вмешаться.

На побережье Тихого океана проживает семьдесят (если не все сто) тысяч китайцев. В Вирджинии их было около тысячи. Там их загнали в «китайский квартал» — мера, против которой они особенно и не ропщут, так как сами склонны держаться кучкой. Ютятся они в деревянных домиках, большей частью одноэтажных, построенных рядком и тянущихся вдоль узеньких улиц, по которым едва может пройти фургон. Китайский квартал отстоит несколько в стороне от прочей части города. Основное занятие здешних китайцев — стирка. Они всегда присылают счет,

приколотый к выстиранному белью. Но это лишь ритуал, так как клиент редко может что-нибудь разобрать в этом счете. За дюжину белья платили два с половиной доллара, — белая прачка умерла бы с голоду при такой оплате. На многих китайских домах красовались вывески, гласившие: «Си Юп, стирка и утюжка», «Конг Уо, стирка», «Сам Синг и А Хоп, стирка». Почти вся прислуга, повара и т.д. в Калифорнии и Неваде состояла из китайцев. Белой прислуги было мало, а китаянки в услужение не шли. Китайцы высоко ценятся как прислуга, так как они проворны, послушны, терпеливы, смышлены и неутомимые работники. Китайца обычно не приходится учить чему-либо дважды. Он очень переимчив. Если хозяину случилось бы при своем слуге китайце в порыве гнева разломать стол и бросить щепки в печку, то его слуга китаец в дальнейшем всегда стал бы топить печку мебелью.

Все китайцы умеют бегло читать, писать и считать — чего никак нельзя сказать обо всех наших избирателях, с которыми у нас так носятся. Китайцы, проживающие в Калифорнии, арендуют маленькие клочки земли, на которой усердно занимаются огородничеством. Урожай овощей, который они умудряются собрать с кучки песка, поразителен. У них ничего не пропадает зря. Что для христианина сор, то китаец бережно сохраняет и так или иначе использует. Он собирает старые банки из-под устриц и сардин, выброшенные белыми, расплавляет их и приготовляет годные к продаже олово и жесть. Он подбирает старые кости и превращает их в удобрение. В Калифорнии он находит средства к существованию на старых рудниках, совсем бросовых, по мнению белых, — и тогда раз в месяц на него обрушиваются чиновники, и он становится жертвой чудовищного мошенничества, которому закон дал обобщающее и всепокрывающее название «иностранного» налога на прииски; причем единственные иностранцы, которых облагают подобным налогом, — это китайцы. Мошенничество это практикуется иногда и дважды в течение одного месяца над одним и тем же объектом, — и надо полагать, что кто-кто, а казна от этого вторичного сбора не богатеет.

Китайцы питают большое уважение к своим покойникам, чуть ли не молятся на своих усопших предков. Поэтому у себя на родине китаец устраивает фамильный склеп тут же, под окнами своего дома или на заднем дворе, — словом где-нибудь на участке, поближе к дому, чтобы иметь возможность навещать свои могилки, когда ему вздумается. Таким образом, колоссальная эта империя представляет собой одно огромное кладбище — она вся, от середины до крайних своих пределов, бугрится могилами; а

так как при этом в Китае приходится использовать каждую пядь земли, чтобы многочисленное его население не погибло от голода, то и самые могилы там возделываются и приносят урожай, — народный обычай не видит в этом святотатства. Вместе с тем китаец так благоговеет перед своими покойниками, что всякое осквернение могил возмущает его до глубины души. Как утверждает мистер Берлингейм, Китай именно потому так упорно сопротивляется строительству железных дорог: во всей империи нельзя проложить железной дороги без того, чтобы не потревожить могилы предка или друга какого-нибудь китайца.

Китаец полагает, что дух его вкусит вечное блаженство лишь в том случае, если его тело после смерти будет покоиться в горячо любимой им китайской земле. К тому же ему хочется, чтобы после смерти его окружили таким же почетом, каким он при жизни окружал своих покойников. Поэтому, отправляясь на чужбину, он заранее договаривается, чтобы в случае смерти кости его были отвезены на родину; если он едет в чужую страну по контрактации, он непременно включает в договор пункт, по которому в случае смерти его останки должны быть отправлены на родину; если китайское правительство продает иностранцу партию кули на обычный пятилетний срок, то оно также ставит условием, чтобы в случае смерти их тела были возвращены в Китай. Все китайцы, проживающие на Тихоокеанском побережье, принадлежат к той или иной из нескольких крупных компаний или организаций; компании эти ведут счет своим членам, заносят их в списки и отправляют их останки на родину. Компания «Си Юп» считается самой крупной из всех. За ней идет компания «Синг Ен», которая объединяет восемнадцать тысяч членов на побережье. Штаб этой компании находится в Сан-Франциско, где у него имеется богатый храм, несколько высокопоставленных чиновников (один из которых пребывает в царственном уединении и недоступен для простых смертных) и многочисленное духовенство. Мне показывали список лиц, состоящих на учете компании: в нем были проставлены даты смертей и соответственной отправки останков умерших на родину. Каждое судно, отбывающее из Сан-Франциско, увозит целую партию китайских трупов — так по крайней мере было до нового закона, который с утонченной, чисто христианской жестокостью запрещает судам брать такой груз, — ловкий и подлый способ приостановить китайскую иммиграцию. Прошел ли этот закон, или нет, я не знаю, во всяком случае, в проекте он был. У меня такое впечатление, что прошел. Проектировался и другой закон — он-то, во всяком случае, был принят, — согласно которому всякий прибывающий в Калифорнию китаец

подвергался обязательной прививке тут же на пристани; прививку делал специально назначенный шарлатан (ибо порядочные врачи, конечно, гнушались участвовать в этом узаконенном грабеже), которому китаец должен был платить за это десять долларов. А так как те, кто занимался перевозкой китайцев, вряд ли захотели бы пойти на такой расход, законодатели рассчитывали этой мерой нанести еще один тяжелый удар по китайской иммиграции.

Что представлял, да и поныне представляет собой китайский квартал в Вирджинии (а впрочем, и в любом городе на Дальнем западе), можно видеть из следующей статейки, которую я поместил в «Энтерпрайз», когда работал в этой газете:

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ.

Вдвоем с товарищем, тоже репортером, мы как-то вечером предприняли путешествие по китайскому кварталу. Китайцы застроили эту часть города по своему вкусу; они не пользуются ни каретами, ни фургонами, и поэтому улицы их по большей части так узки, что экипажу там не проехать.

В десять часов вечера можно увидать китайца во всем его блеске. Сладковатое и удушливое благовоние тлеющего трута наполняет тесную и убогую лачугу китайца. При чахоточном свете оплывших сальных свечей еле различимы две-три фигуры с косичками: свернувшись клубком на коротких своих койках, эти желтолицые бездельники курят опиум. Они оцепенели от наслаждения, и матовые их глаза обращены куда-то вовнутрь. Так, впрочем, выглядит курильщик уже после того, как накурится и передаст трубку соседу, ибо сам процесс курения довольно безрадостен и требует напряженного внимания. На койке, в некотором отдалении от курильщика, который держит в руках длинную трубку, помещается лампа; курильщик берет на кончик проволочки лепешку опия, держит ее над огнем и затем начинает вмазывать в трубку, наподобие того, как вмазывают замазку в щели; затем, держа трубку над огнем, он начинает курить, и тут поднимается такое шипение и бурление в самой трубке, такое клокотание соков в длинном черенке, что камень стошнит. А Джону нравится; его это успокаивает; затянувшись раз двадцать,

он отваливается и видит сны. Что ему снится, один бог ведает, ибо мы, глядя на его обмякшее тело, не можем представить себе его сновидений. Как знать, быть может дух его, оторвавшись от нашего грубого мира и от грязного белья, витает где-нибудь в своем китайском рае, вкушая сочных крыс или птичьи гнезда.

Мистер А Синг держит бакалейную лавку в доме № 13 по улице Уанг. Он оказал нам самое радушное гостеприимство. У него были всевозможные сорта цветных и бесцветных вин и водок с замысловатыми названиями; все они прибыли из Китая в кувшинчиках из обожженной глины, и хозяин подавал их нам в хорошеньких фарфоровых полоскательницах. Предложил он нам блюдо из птичьих гнезд, а также маленькие аккуратненькие сосисочки; при желании мы могли бы проглотить несколько ярдов этих сосисок; однако, не имея полной уверенности, что в каждой из них не заключен труп мышонка, мы на всякий случай решили воздержаться. В лавке мистера А Синга было множество предметов самых диковинных и непонятных, которые мы даже не беремся описать.

Был, впрочем, у него и вполне понятный для нас товар: утки и яйца; утки эти потрошатся и расплющиваются еще в Китае, откуда они прибывают сюда совершенно плоскими, как камбала. Яйца же, вполне свежие и приятные на вкус, прекрасно переносят долгое путешествие благодаря какому-то особому составу, которым их смазывают перед отправкой.

Мистера Хонг Уо из дома № 37 по улице Чау-чау мы застали за составлением лотерейных таблиц; впрочем, повсюду, во всех углах китайского квартала можно было встретить людей, занятых тем же, ибо каждый третий китаец устраивает лотереи, в розыгрыше которых участвуют остальные две трети обитателей китайского квартала. Том, который в совершенстве владеет английским и который два года назад, когда «Территориел энтерпрайз» еще находилась на холостяцком положении, состоял ее старшим и единственным поваром, рассказывал, что «иногда китаец покупан билет один доллар, а поймай две-три сотни долларов, а иногда ничего он не получай; лотерея — как один человек против семьдесят: может он бей их, может они бей его; очень хорошо». Впрочем, при таком соотношении шансов — шестьдесят девять к одному —

чаще получается, что «они бей его». Никакой разницы между их лотереей и нашей мы не заметили, если не считать того, что они пишут цифры по-китайски, так что белому невежде не отличить одной цифры от другой; розыгрыш происходит так же, как у нас.

Мистер Си Юп держит магазин безделушек на улице Живых Лисиц. Мы купили у него великолепно расписанные веера из белых перьев, духи, пахнущие лимбургским сыром, китайские перья и брелоки, выделанные из камня, который не поддается даже стальным инструментам, и тем не менее обработанного под перламутр[43]. В знак уважения Си Юп преподнес нам по яркому плюмажу, сделанному из мишуры и павлиньих перьев.

Мы ели рагу палочками в ресторанах Небесной империи; мой приятель упрекал узкооких девиц у дверей дома в отсутствии девичьей стыдливости; хозяева снабдили нас в дорогу трутом, и на прощание мы выторговали себе парочку божков. А под конец нас поразил своим искусством китайский бухгалтер: он подсчитывал что-то, пользуясь тонкой решеткой, на перекладины которой были нанизаны пуговки; каждый ряд представлял соответственно единицы, десятки, сотни и тысячи. Он перебирал пуговки с невероятной быстротой — пальцы его летали по ним, как пальцы пианиста-виртуоза по клавишам рояля.

Народ безобидный и приветливый, китайцы повсеместно пользуются доброжелательством и уважением у образованных слоев общества, населяющего Тихоокеанское побережье. Ни один порядочный Калифорнией, ни одна порядочная калифорнийка никогда, ни при каких обстоятельствах не позволит себе обидеть или оскорбить китайца — факт, который полностью еще не дошел до сознания тех, кто живет в восточных штатах. Оскорбляют же и угнетают китайцев лишь подонки общества — подонки и дети подонков; а с ними заодно, конечно, политические деятели и полицейские, ибо в Калифорнии, как и повсюду в Америке, политические деятели и полицейские являются угодливыми рабами этих подонков.

ГЛАВА XIV

Мне надоела Вирджиния. — Встреча с однокашником. — Заем сроком на два года. — Я чуть не получаю выгодное предложение. — Три анекдота о пьянстве. — Прощальный взгляд на гору Дейвидсон. — Удивительный феномен.

Мне надоело сидеть так долго на одном месте. Ежегодные поездки в Карсон, где я должен был писать отчет о сессии законодательного собрания, меня уже не радовали; не занимали происходящие раз в три месяца скачки и выставки тыкв. (В долине Уошо начали разводить тыкву и картофель, и, само собой разумеется, местные власти первым делом постановили устраивать сельскохозяйственные выставки, которые обходились в десять тысяч долларов и на которых демонстрировались тыквы общей ценностью в сорок долларов, — недаром наши администрации называли богадельней!) Мне хотелось посмотреть Сан-Франциско. Мне хотелось уехать куда угодно. Мне хотелось… Впрочем, я сам не знал, чего мне хотелось. Мной овладела «весенняя лихорадка», и скорее всего мне просто хотелось чего-то нового.

А тут еще появился проект преобразования нашей территории в штат, и теперь девять человек из десяти мечтали о высоких постах; я предвидел, что сии джентльмены всеми правдами и неправдами сумеют убедить безденежную и безответственную часть населения принять этот проект, который неминуемо привел бы к полному разорению края. (Дело в том, что время самоуправления было нам не под силу, ибо в нашем крае обложить налогом было решительно нечего: большинство рудников не приносило доходов, прибыльных же было во всей территории не больше полсотни, недвижимого имущества почти не было, а такая, казалось бы, естественная мысль, как учреждение денежных штрафов за убийство, почему-то никому в голову не приходила.) Я чувствовал, что с новыми порядками придет конец «процветанию», и хотел бежать. Я рассчитывал, что мои акции в скором времени потянут на сто тысяч долларов и что если они достигнут этой цифры прежде, чем будет принята конституция, мне удастся вовремя продать их и таким образом оградить себя от последствий неминуемого краха, который принесет с собой смена управления.

С сотней тысяч долларов, рассуждал я, не стыдно и дома

показаться, хотя по сравнению с тем, что я некогда рассчитывал привезти домой, сумма эта довольно мизерная. Слов нет, я был несколько удручен, однако бодрился, говоря себе, что с такими деньгами можно, во всяком случае, не бояться нужды. Как раз в это время один мой школьный товарищ, с которым я не виделся с самого детства, притащился к нам пешком с реки Рис.

Мы увидели живую аллегорию бедности. Сын богатых родителей, он очутился на чужбине голодный, разутый, облаченный в какую-то ветхую попону, в шляпе с оборванными полями, — словом, в таком виде, что, по его собственному выражению, «мог бы дать сто очков вперед блудному сыну». Он просил сорок шесть долларов взаймы: двадцать шесть ему нужно было, чтобы добраться до Сан-Франциско, а остальные двадцать еще на что-то, — на мыло, надо полагать, ибо он в нем явно нуждался. У меня оказалось при себе лишь немногим больше той суммы, которую он просил; мне не хотелось идти в редакцию, где у меня хранились кое-какие деньги, и я зашел к одному банкиру, взял у него в долг сорок шесть долларов (на двадцатидневный срок, без всякой расписки) и дал их своему товарищу. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я расплачусь с банкиром не раньше чем через два года (от блудного сына я ничего не ждал и в этом не обманулся), я был бы очень недоволен. Да и банкир, думаю, тоже.

Я жаждал чего-то нового, какого-нибудь разнообразия в жизни. И вот я его дождался. Мистер Гудмен уехал на неделю, оставив меня главным редактором. Тут-то я и погиб. В первый день я написал передовую с утра. На другой день я никак не мог подыскать тему и отложил статью на после обеда. На третий день я до самого вечера ничего не делал и кончил тем, что переписал довольно замысловатую статью из «Американской энциклопедии» — этого верного друга редактора в нашей стране. Четвертый день я волынил до полуночи, после чего опять прибегнул к энциклопедии. Пятый день я до полуночи ломал голову, задержал типографию и разразился шестью яростными личными выпадами. На шестой день я мучился до глубокой ночи и… ничего не родил. На седьмой день газета вышла без передовой — и я вышел в отставку. А на восьмой вернулся мистер Гудмен. В редакции его ждали шесть картелей — плоды моей резвости.

Лишь тот, кто сам побывал в шкуре главного редактора, знает, что это такое. Нетрудно писать всякий вздор на местные темы, располагая фактами; нетрудно вырезать материал из других газет; нетрудно сочинять «письма в редакцию» из любой точки земного шара; невыразимо трудно — писать передовые. Вся загвоздка тут в теме — вернее сказать, в убийственном

отсутствии ее. Каждый день вас тянут, тянут, тянут — вы думаете, беспокоитесь, терзаетесь — мир для вас унылая пустыня, а между тем редакционные столбцы должны быть во что бы то ни стало заполнены. Дайте редактору тему, и полдела сделано — писать не составляет труда; но вы только представьте себе, каково это — все семь дней недели, все пятьдесят две недели года изо дня в день выкачивать свой мозг досуха! Одна мысль об этом вызывает уныние. Материала, поставляемого каждым редактором ежедневной газеты в Америке в год, хватило бы на четыре, а то и на все восемь томов, каждый объемом с эту книгу! Какую библиотеку можно было бы составить из трудов одного редактора, накопившихся за двадцать или тридцать лет! Принято удивляться тому, сколько книг написали Диккенс, Скотт, Бульвер, Дюма и т.д. Вот если бы эти писатели написали столько же, сколько редакторы газет, тогда можно было бы в самом деле изумиться. Как только могут редакторы выдерживать такое чудовищное напряжение, так неумеренно расходовать умственную энергию (ведь их работа — творческая, а не простое механическое нанизывание фактов, как у репортеров) изо дня в день, из года в год — просто непостижимо. Священники каждое лето берут двухмесячный отпуск, так как чувствуют, что систематическое составление двух проповедей в неделю их изнуряет. Оно и естественно. Тем более следует удивляться тому, что редактор умудряется находить десять, двадцать тем в неделю, строчить на эти темы от десяти до двадцати кропотливейших передовиц, — и так круглый год, без передышки. С тех пор как я походил неделю в редакторах, любая газета, какая бы мне ни подвернулась, способна доставить мне хотя бы одну радость: я восхищаюсь длинными столбцами передовой и дивлюсь тому, как только редактор сумел их заполнить!

С приездом мистера Гудмена я мог считать себя свободным. То есть ничто, конечно, не мешало мне вернуться к обязанностям репортера. Но это было исключено — разве можно служить рядовым после того, как побывал главнокомандующим? Так что я решил куда-нибудь уехать. А тут как раз Дэн, мой коллега по репортерству, невзначай обронил, что два каких-то субъекта пытались уговорить его ехать с ними в Нью-Йорк и помочь им продать прибыльный сереброносный участок, открытый ими в новом приисковом районе, неподалеку от нашего города. По словам Дэна, они брали на себя все дорожные расходы и сверх того обещали треть выручки. Дэн почему-то отказался с ними ехать. Для меня же такая поездка была манной небесной. Я выбранил его за то, что он не сказал мне об этом раньше. Он оправдывался тем, что никак не думал, что я соглашусь ехать. Он

даже советовал этим людям обратиться к Маршалу, репортеру другой газеты. Я спросил Дэна, точно ли этот прииск так богат, нет ли тут жульничества. Он сказал, что эти люди показали ему девять тонн руды, которую они специально вынули, чтобы повезти в Нью-Йорк, и что лично он может с чистой совестью подтвердить, что редко ему доводилось видеть в Неваде руду богаче этой. Более того, он сообщил, что они купили лес и участок для фабрики поблизости от рудника. Первой моей мыслью было убить Дэна. Однако, несмотря на свой гнев, я передумал, так как надеялся, что, может быть, не все еще потеряно. Дэн утверждал, что ничего не потеряно, что они сейчас опять отправились на свой участок, что их следует ждать в Вирджинии, откуда они отбудут в Нью-Йорк не раньше чем через десять дней; что переговоры с Маршалом поручены ему, Дэну; а он обещал за этот срок обеспечить им либо Маршала, либо еще кого-нибудь; теперь же он никому ничего не станет говорить до их возвращения, а затем выполнит свое обещание, представив им меня. Чего лучше! Я лег в тот день в лихорадочном возбуждении — из Невады до сих пор еще никто не ездил в Нью-Йорк торговать серебряным прииском, так что передо мной лежало невозделанное поле. Я не сомневался, что за прииск, описанный Дэном, в Нью-Йорке можно сорвать грандиозный куш и что произвести эту продажу удастся без всяких затруднений и проволочек. Я не мог заснуть — воображение мое бушевало в воздушных замках, им же воздвигнутых. Повторялась история со слепой жилой.

На следующий день я уехал в почтовой карете, сопровождаемый обычной свистопляской, которой у нас принято было обставлять отъезд из города всякого старожила. Если у вас всего с полдюжины друзей, они поднимут такой шум, словно их целая сотня, — а то как бы не подумали, что вас забыли и отпускают неоплаканным. Дэн же обещал мне не прозевать этих торговцев рудниками.

Путешествие мое ознаменовалось всего лишь одним незначительным событием, приключившимся в самый момент отъезда. Какой-то пассажир, сильно подержанный на вид, вышел на минутку из кареты, пока в нее укладывали обычный груз серебряных слитков. Он стоял на тротуаре, как вдруг какой-то неуклюжий рабочий, который нес стофунтовый брусок серебра, споткнулся и уронил его прямо на ногу этому балбесу. Пострадавший тотчас бросился на землю и поднял душераздирающий крик. Участливая толпа окружила его, и кто-то уже намеревался стащить с его ноги сапог. Но он закричал пуще прежнего, и его оставили в покое. Он стал задыхаться и с трудом

прохрипел: «Дайте мне бренди! Ради бога, бренди!» В него влили с полпинты бренди, отчего он мгновенно воспрянул духом и утешился. Затем он попросил подсадить его в карету, что и было сделано. Служащие конторы умоляли его пойти к врачу за счет компании, но он отказался, говоря, что, если бы ему дали с собой немного бренди, на случай особенно сильных приступов боли, он был бы не только благодарен, но и счастлив. Его тут же снабдили двумя бутылками, и мы отправились. Он так улыбался и казался таким довольным, что я не удержался и спросил его, возможно ли, чтобы человек, терпя такую боль, так прекрасно себя чувствовал?

— Видите ли, — отвечал он, — вот уже двенадцать часов, как я не пил, и к тому же у меня ни цента в кармане. Я прямо погибал, так что когда этот увалень обрушил на меня свою стофунтовую гирю, я не стал зевать. Нога-то, видите, ли, у меня пробковая.

В доказательство он задрал штанину.

Весь день он был пьян как сапожник и все посмеивался, вспоминая свою находчивость.

Вид пьяного непременно приводит на ум еще какую-нибудь историю с пьяным. Я вспомнил рассказ одного человека, который был очевидцем следующей сценки, разыгравшейся в одном из калифорнийских кабаков. Рассказ этот он озаглавил «Застенчивый клиент». Тут был важен не столько сам рассказ, сколько актерская игра, его сопровождающая; мне она показалась мастерской, достойной самого Тудлса. Застенчивый клиент, как следует нагрузившись пивом и кой-чем другим, входит в кабак (из тех, где за все берут двадцать пять центов и где бумажные деньги не принимаются), бросает на стойку монету в пятьдесят центов, требует виски, выпивает его тут же, не отходя; хозяин разменивает его монету и кладет сдачу на мокрую стойку; застенчивый клиент пытается сгрести деньги, но пальцы не слушаются его, и монетка липнет к поверхности стойки; он пристально глядит на нее и снова пытается поднять — результат прежний; заметив, что публика с интересом следит за его манипуляциями, краснеет, опять возит пальцами по стойке, краснеет еще пуще, затем, медленно и осторожно нацелившись, опускает указательный палец на монету, пододвигает ее к хозяину и говорит со вздохом:

— (Ик!) Дайте сигару!

Как водится, среди присутствующих нашелся джентльмен, который, в свою очередь, захотел рассказать анекдот о пьяном. Один пьяный, начал он, добирался, пошатываясь, до дому; час был поздний, он ошибся номером и вошел в чужие ворота; ему

почудилось, будто на крыльце стоит собака (так оно и было на самом деле — только собака-то была чугунная). Он остановился и задумался: дескать, не кусачая ли? Попробовал сказать ей: «Уй-(ик)-ди!» Собака не уходит. Тогда он осторожно подкрался к ней, решив действовать лаской. Вытянув губы, хотел было посвистеть — не вышло. Подошел еще ближе. Все еще дивясь на нее, стал приговаривать:

— Бедный пес! Песик, песик, песик! Бедный песик!

Продолжая нежно разговаривать с собакой, поднялся на крыльцо. Тут он осмелел и с криком: «Вон, ворюга!» — жестоко лягнул собаку в бок и, конечно, полетел сам вверх тормашками. Молчание, два-три слабых стона, и наконец голосом, полным задумчивости:

— Ужасно твердая собака. Чем она только питается? (Ик!) Камнями, что ли? Такие животные опасны. Именно что опасны. Если кому нравятся (ик!) кормить собак камнями, пусть себе кормят, я ничего не говорю. Но тогда уж держи ее дома, а не позволяй ей шляться где ни попало, а то (ик!) об нее недолго и споткнуться!

Не без сожаления взглянул я в последний раз на крохотный флаг (тридцать пять футов в длину и десять в ширину, трепетавший, как дамский носовой платочек, над пиком горы Дейвидсон, на высоте двух тысяч футов над крышами Вирджинии: я был уверен, что навсегда прощаюсь с городом, в котором я как нигде наслаждался жизнью. Кстати, мне тут припомнился один эпизод: — человеку с самой вялой памятью, если он был в то время в Вирджинии, и тому не забыть его до гроба! Однажды летом, к концу дня, у нас вдруг полил проливной дождь. Событие само по себе достаточно удивительное и вызвавшее большие толки, так как дожди в Неваде бывают только зимой в течение одной-двух недель, и то такие короткие, что нет расчета открывать торговлю зонтами. Но дождь это еще половина дела, он длился всего пять или десять минут. Люди были еще полны впечатлений от дождя, как вдруг густая полночная тьма заволокла все небо. Весь огромный восточный склон горы Дейвидсон, обращенный к городу, окрасился в такие погребальные тона, что, если бы гора сама находилась чуть подальше — так, чтобы не ощущалась ее огромная масса, — силуэт ее вовсе слился бы с матовой чернотой неба. Невиданное это зрелище приковало к себе взоры; и тут же среди полночной тьмы, на глазах у всех, над самой вершиной горы затрепетал яркий огненно-золотой язычок пламени! Через несколько минут все улицы были запружены народом, в безмолвии воззрившимся на сверкающую точку среди вселенского мрака. Она трепетала,

как пламя свечи, и по размеру казалась не больше его, но на темном фоне, как ни мало было это пламя, оно сияло удивительно ярко. Это был флаг! Никто, однако, не узнал его сначала, он казался каким-то сверхъестественным знамением, и многие видели в нем таинственного глашатая какой-то радостной вести. Это лучи заходящего солнца, скрытого от нас, так преобразили нашу национальную эмблему. Интересно, что сверкающий луч не коснулся ни одного другого предмета во всей необъятной панораме горной цепи и пустынных равнин. Даже флагшток, который и в обычное время на таком расстоянии казался не толще иголки, не был освещен и потому утонул в окружающем мраке. Целый час мерцал и горел в своем горнем одиночестве этот призрачный гость, и все это время тысячи глаз не отрываясь следили за ним. Как это всех взволновало! Всеми умами завладела суеверная мысль: будто горящий факел этот — таинственный посланец с какими-нибудь чрезвычайно важными вестями с театра военных действий; поэтичность этого предположения как бы оправдывала и подтверждала его — оно передавалось из уст в уста, от сердца к сердцу, охватывая одну улицу за другой; и наконец у всех стихийно возникла мысль: хорошо бы вызвать войска и приветствовать сверкающий призрак артиллерийским залпом!

А все это время в городе томился страшным томлением один человек — телеграфист, чьи уста были скованы присягой; среди всей этой массы изумленных, теряющихся в догадках людей он один знал о великих событиях, свидетелем которых заходящее солнце оказалось в то утро на востоке страны: Виксберг пал, и федеральные войска одержали победу под Геттисбергом[44]!

Если бы не газетная монополия, разрешавшая печатать известия из восточных штатов лишь через сутки после того, как они появлялись в калифорнийской печати, то ослепительный флаг на горе Дейвидсон был бы встречен в тот памятный вечер не одним залпом артиллерии: палили бы, покуда не извели бы всех запасов пороха. В городе зажглась бы иллюминация, и каждый уважающий себя гражданин, как у нас полагалось во всех торжественных случаях, напился бы пьян. Даже теперь, после многих лет, я не могу без сожаления вспоминать о столь великолепной и столь бессмысленно упущенной возможности. То-то повеселились бы!

ГЛАВА XV

Я еду в Сан-Франциско. — Пейзаж восточный и западный. — Город Сан-Франциско. — Форт Юма — самое жаркое место в мире. — Лето и зима.

Наша карета то катилась по долинам рек и равнинам, то забиралась в поднебесье Сьерры, откуда мы любовались Калифорнией в ее летнем убранстве. Замечу мимоходом, что, для того чтобы оценить по достоинству очарование калифорнийского пейзажа, необходимо расстояние. Хотя горы своей мощью, величием форм и высотой производят грандиозное впечатление, только даль придает плавность их очертаниям и глубину краскам. Леса Калифорнии также выигрывают на расстоянии. Потому, что леса эти сплошь хвойные — секвойя, сосна, ель, пихта, — вблизи вас начинает угнетать утомительная одинаковость этих простертых неподвижных рук — вниз и в стороны, — как бы постоянно и без устали умоляющих всех и вся: «Шш! Ни слова! Вы можете кого-нибудь потревожить!» Кроме того, в самом лесу вас преследует навязчивый, беспощадный запах смолы и скипидара, какая-то бесконечная грусть вечно вздыхающих и жалующихся безлиственных ветвей; вы ступаете по бесшумному ковру утрамбованной желтой коры и сухих игл, и вы сами себе начинаете казаться каким-то духом с бесплотной походкой; нескончаемые кисточки хвои надоедают вам, и вы начинаете тосковать по добротному изяществу обыкновенного зеленого листа; вы тщетно ищете под ногами траву или мшистое ложе, на котором можно было бы поваляться, ибо там, где землю не покрывает облупившаяся кора, — сплошная грязь да глина, враги элегической задумчивости и чистого платья. В Калифорнии иной раз попадаются настоящие зеленые луга, но по большей части и они нуждаются в облагораживающем расстоянии, ибо, хотя сама трава на них высока, каждая травинка держится с какой-то подчеркнутой и независимой прямотой, в недружелюбном отдалении от соседки, и промежутки между ними заполнены малопривлекательными песчаными пролысинами.

Самое удивительное, что мне доводилось когда-нибудь слышать, это рассказы туристов «из Штатов» о «вечноцветущей Калифорнии». А они неизменно впадают в этот восторженный тон. Верно, они бы умерили свои восторги, если бы видели, как, вспоминая пыльную и сомнительную «зелень» своих равнин,

старожилы Калифорнии останавливаются в немом восторге перед изобильным богатством, ослепительной зеленью, бесконечной свежестью и щедрым разнообразием флоры восточных штатов, которая придает пейзажу подлинно райский вид. Просто смешно — а впрочем, это даже трогательно, — что суровая и сухая природа Калифорнии вызывает восхищение у человека, знакомого с обширными лугами Новой Англии, ее кленами, дубами и раскидистыми вязами в их летнем убранстве, с роскошными опаловыми переливами осени в ее лесах. Да и не может страна с неизменным климатом быть особенно красивой. Тропики не красивы, несмотря на романтический ореол, которым их окружают. Вначале природа там кажется прелестной, но однообразие ее прелести скоро приедается. Изменчивость — вот волшебница, с помощью которой природа творит свои чудеса. Страна, в которой существует четыре резко разграниченных времени года, всегда прекрасна и никогда не прискучит. Зима и лето, осень и весна, каждое время года доставляет нам своеобразное наслаждение; с интересом следим мы за сменой их, подмечаем первые признаки нарождения нового, наблюдаем его постепенное, гармоническое развитие, восхищаемся зрелой его порой, — и не успеет одно время года наскучить нам, как оно уже проходит, наступает полная перемена, а с ней новое чудо, новое очарование. И я думаю, что истинный любитель природы приветствует каждое время года как самое прекрасное.

Сан-Франциско — город поистине очаровательный для тех, кто в нем живет, — кажется величественным и красивым, если смотреть на него с известного расстояния, однако вблизи он поражает своей устарелой архитектурой; многие улицы его состоят из обветшалых, почерневших от копоти деревянных домишек, к тому же голые песчаные холмы его окраин слишком бросаются в глаза. Что же касается его хваленого климата, то тут тоже — читать о нем подчас приятней, чем испытывать его воздействие на себе, ибо со временем радушие чудесного безоблачного неба приедается, а когда долгожданный дождь наконец приходит, он уже не торопится уходить. Даже милые шалости землетрясения приятнее наблюдать с рассто…

Впрочем, на этот счет мнения расходятся.

Климат Сан-Франциско мягок и чрезвычайно ровен. Круглый год термометр там показывает около семидесяти градусов. Зимой и летом вы обычно укрываетесь одним или двумя легкими одеялами, и вам никогда не приходится прибегать к сетке от комаров. Там нет того, что называется летней одеждой. Вы носите костюм из черного сукна (если таковой у вас имеется), как в августе, так и в январе. В том и в другом месяце температура

одинаковая. Ни пальто, ни веером пользоваться не приходится. Словом, как ни смотреть, лучшего климата не придумаешь, и уж во всяком случае такого ровного климата не сыскать во всем мире. В летние месяцы бывает довольно сильный ветер, но поезжайте за три-четыре мили, в Окленд, — там никакого ветра нет. За девятнадцать лет снег выпал всего дважды, да и то пролежал ровно столько времени, чтобы дети успели подивиться на него, гадая, что это за пушистая штука?

Восемь месяцев подряд стоит ясная, безоблачная погода, без единой капли дождя. Когда же наступят следующие четыре месяца, вам придется украсть где-нибудь зонт, ибо он вам окажется необходим. И не на один день, а на все сто двадцать дней почти беспрерывного дождя. Если вы собираетесь в гости, в церковь или в театр, вам незачем смотреть на небо, чтобы решить, будет ли дождь, — вы просто смотрите в календарь. Если зима — значит, будет дождь; лето — его не будет, и все тут. Громоотводы вам не нужны: здесь никогда не бывает ни грома, ни молнии. А когда вы шесть или восемь недель кряду, ночь за ночью, вслушиваетесь в унылое однообразие этих тихих дождей, вы начинаете в глубине души мечтать о том, чтобы хоть раз загремела, загрохотала гроза в этих сонных небесах, чтобы хоть раз молния вырвалась из плена и расколола бы эту скучную твердь, озарив ее своим ослепительным светом. Чего бы вы только не дали, чтобы услышать знакомые раскаты грома, чтобы увидеть, как кого-то шарахнула молния! Летом же, промаявшись месяца четыре под лучезарным, безжалостным солнцем, вы готовы на коленях молить о дожде, граде, снеге, громе и молнии — только бы нарушилось это однообразие, — на худой конец вы уже согласны на землетрясение. Не исключено, впрочем, что его-то вы как раз и дождетесь.

Сан-Франциско стоит на песчаных холмах, но холмы эти весьма плодородны и покрыты щедрой растительностью. Все эти редкие цветы, которые в Штатах с таким старанием выращивают в горшках и оранжереях, роскошнейшим образом цветут прямо на воздухе, круглый год. Калла, всевозможные сорта герани, пассифлора, розы центифолии — я не знаю названий и десятой части их. Я знаю только одно: вместо снежных сугробов Нью-Йорка в Калифорнии вы завалены сугробами цветов, нужно лишь оставить их в покое и не мешать им расти. Еще я слыхал, что там произрастает редчайший и удивительный цветок, Espiritu Santo, как его называют испанцы, иначе говоря — цветок святого духа, цветок, который, как я думал, водится лишь в Центральной Америке, в районе «перешейка». В чашечке этого цветка можно увидеть изящнейшее изображение белоснежного голубя в

миниатюре. Испанцы относятся к этому растению с суеверным обожанием. Его цветок, заключенный в банку с эфиром, пересылали в Штаты; луковицу тоже пытались ввозить, однако ни одна попытка заставить его прижиться там не увенчалась успехом.

Я как-то упоминал о бесконечной зиме в Моно, Калифорнии, и только что говорил о вечной весне Сан-Франциско. Если же мы проделаем отсюда сто миль по прямой, мы прибудем в Сакраменто — в обитель вечного лета. В Сан-Франциско, как я говорил, не увидишь летних одежд и комаров; в Сакраменто вы найдете и то и другое. Не стану утверждать, будто летняя одежда и комары — непременная принадлежность Сакраменто во всякое время, но все же из двенадцати лет сто сорок три месяца можно на них смело рассчитывать. Поэтому читатель без труда поверит мне, что цветы цветут там круглый год, а люди истекают потом и чертыхаются круглые сутки, растрачивая лучшие свои силы на то, чтобы обмахиваться веером. Там достаточно жарко, но если вы проедетесь к форту Юма, вы поймете, что бывает еще жарче. Форт Юма, по всей видимости, самое жаркое место на земле. Термометр показывает сто двадцать в тени неизменно — то есть исключая те дни, когда он показывает еще больше. Это один из военных постов Соединенных Штатов, и обитатели форта настолько привыкают к нестерпимой жаре, что уже всякий другой климат переносят с трудом. Легенда (автором которой называют Джона Феникса[45]) гласит, что некий многогрешный солдат из здешнего гарнизона после своей смерти, как и следовало ожидать, попал прямешенько в пекло, в самую его жаркую точку; он немедленно протелеграфировал оттуда, чтобы ему выслали парочку одеял! Достоверность этого факта не подлежит сомнению. Да и как тут сомневаться? Я побывал там, где жил этот солдат.

В любое время года Сакраменто переживает самый яростный разгар лета, так что в восемь-девять часов утра вы можете рвать розы и есть клубнику с мороженым, отдуваясь и обливаясь потом в белом полотняном костюме; затем вы садитесь в поезд, и в полдень, нацепив коньки и облачившись в меха, несетесь по замерзшему озеру Доннер, расположенному на высоте семи тысяч футов над долиной и окруженному сугробами в пятнадцать футов высотой; вы катаетесь в тени величественных горных вершин, снежные макушки которых красуются на высоте десяти тысяч футов над уровнем моря. Вот какой контраст! Подобного вы не найдете ни в одном другом месте Западного полушария. Тем же из нас, кому посчастливилось промчаться на высоте шести тысяч футов над уровнем моря по извилистой Тихоокеанской железной

дороге с ее снежными стенами и с птичьего полета взглянуть на бессмертное лето долины Сакраменто с ее плодородными полями, пушистой зеленью, серебристыми речками, погруженной в дремотную дымку, бесконечно одухотворенной и смягченной расстоянием, — казалось, что перед нами на миг мелькнуло какое-то сновидение, сказочная страна, очарование и впечатляющая сила которой были тем сильней, что ее удалось подсмотреть сквозь суровые ворота из снега и льда, диких скал и ущелий.

ГЛАВА XVI

Калифорния. — Женщина, увиденная впервые после долгого перерыва. — «Ей-богу, ребенок!». — Сто пятьдесят долларов за поцелуй. — В очередь!

Именно в долине Сакраменто и была обнаружена одна из первых и наиболее богатых золотых россыпей. До сих пор там можно видеть следы пятнадцати — и двадцатилетней давности, оставленные жадными хищниками, которые изрыли и изуродовали зеленые склоны и дно долины. По всей Калифорнии разбросаны эти безобразные следы; глядя на них, трудно поверить, что тут, среди этих пустынных полей и лесов, где кругом ни души, ни жилья, ни колышка, ни камня, ни каких-либо признаков хотя бы разрушенных строений, где ни единый звук, ни шепот даже не нарушает торжественной тишины, — трудно поверить, что когда-то здесь буйно процветал какой-то городишко с населением в две-три тысячи душ; что тут издавалась своя газета, была своя пожарная команда, духовой оркестр, добровольная милиция, банк, гостиницы, происходили шумные демонстрации и раздавались речи в честь Четвертого июля; что в игорных домах среди табачного дыма и ругани теснились бородатые личности всех мастей и национальностей, а на столах возвышались кучки золотого песка, которого хватило бы на бюджет какого-нибудь немецкого княжества; по улицам сновали озабоченные толпы людей, городские участки стоили чуть ли не четыреста долларов фут по фасаду, всюду кипела работа, раздавался смех, музыка, брань, люди плясали, ссорились, стреляли и резали друг друга, каждый день к завтраку газеты сервировали своим читателям свежий труп — убийство и дознание, — словом, здесь было все, что украшает жизнь, что придает ей остроту, все признаки, все непременные спутники процветающего, преуспевающего и многообещающего молодого города… И вот в итоге — безжизненная пустыня. Люди ушли, дома исчезли, и даже название города позабыто. Нигде, ни в одной стране, в наш век так решительно и бесповоротно не умирали города, как в старых приисковых районах Калифорнии.

Население этих городов было текучее, беспокойное и энергичное. Удивительный народ! Такого мир еще не видал и вряд ли когда снова увидит. Ибо, заметьте, здесь собрались двести тысяч молодых мужчин — не каких-нибудь слабонервных,

изящных и жеманных юнцов в белых перчатках, нет, — это все были крепкие, жилистые, бесстрашные молодцы, волевые и настойчивые, щедро наделенные качествами, без которых немыслим великолепный и несравненный идеал мужчины, это были избранники богов, цвет человечества. Ни женщин, ни детей, ни сгорбленных старцев, убеленных сединами, — одни стройные, ясноглазые, быстрые и сильные молодые великаны, удивительный народ, прекрасный народ! И вся эта славная армия ринулась на изумленные леса и луга, ничего, кроме одиночества, доселе не знавшие. А теперь? Развеянные по лицу земли, одни состарились и одряхлели преждевременно, другие погибли от пули или ножа в уличной потасовке, третьи просто умерли, не вынеся горечи обманутых надежд, — словом, все, или почти все, так или иначе исчезли — благороднейшие из жертв, сожженных на алтаре золотого тельца, чей священный дым когда-либо поднимался к небу. Грустно, грустно думать об этом!

Это был поистине великолепный народ! Ведь все вялые, сонные тугодумы и увальни остались дома, ибо таких не встретишь среди пионеров, из такого теста они не делаются. Именно благодаря этим людям Калифорния прославилась своими захватывающими дух затеями, своим натиском и безоглядной дерзостью в осуществлении их. Слава эта держится за Калифорнией и по сей день, и всякий раз, как она преподносит миру какой-нибудь новый сюрприз, степенные люди с улыбкой говорят: «Одно слово — Калифорния!»

Но и буйный же это был народ! Они, можно сказать, купались в золоте, упивались виски, драками и кутежами — и были несказанно счастливы при этом. Порядочный золотоискатель выручал со своего участка от ста до тысячи долларов в день и, если ему везло, умудрялся спускать их все до последнего цента в игорных и прочих домах. Он сам готовил себе, пришивал пуговицы, стирал свои синие шерстяные рубашки; когда же его одолевал воинственный пыл и он испытывал потребность тут же, без досадной проволочки, затеять с кем-нибудь драку, он облачался в белую рубаху или нахлобучивал на себя цилиндр и в таком виде выходил на люди. Ждать ему приходилось недолго, ибо тогдашнее общество не терпело в своей среде аристократов и пылало особой и жгучей ненавистью к «крахмальным манишкам».

А что это было за общество — дикое, своевольное, беспорядочное, чудовищное! Одни мужчины! Целая армия сильных, здоровых мужчин, и кругом ни ребенка, ни женщины!

Тогдашние старатели собирались толпами, чтобы взглянуть на такое редкое и благословенное явление, как женщина! Старожилы рассказывали, как в одном поселке рано утром

распространился слух, что там появилась женщина. Кто-то видел, что в недавно прибывшем фургоне висело легкое женское платье — знак, что фургон вез переселенцев с востока. Все тотчас направились туда и, увидав настоящее, подлинное платье, трепыхавшееся на ветру, огласили воздух громким криком. Из фургона показался переселенец.

— Тащите ее сюда! — закричали ему старатели.

— Джентльмены, — отвечал он, — это моя жена, она больна; индейцы напали на нас и отобрали все — деньги, провиант… мы хотим отдохнуть.

— Тащите ее сюда! Дайте на нее посмотреть!

— Но, джентльмены, бедняжка…

— ТАЩИТЕ ЕЕ СЮДА!

Он «вытащил» ее, все замахали шляпами, прокричали троекратное «ура», затем окружили ее и стали разглядывать, трогать ее платье, прислушиваясь к звукам ее голоса так, словно они не слушали, а вспоминали. Затем собрали две с половиной тысячи долларов золотом, вручили их ее мужу, еще раз взмахнули шляпами, еще раз крикнули троекратное «ура», и, довольные, разошлись по домам.

Как-то я обедал в Сан-Франциско в семье старого пионера и беседовал с его дочерью, молоденькой девушкой; по приезде в Сан-Франциско с этой девушкой случилось приключение, которого она, впрочем, сама не помнила, так как ей в то время было всего лишь два-три года. Отец же ее рассказал, как они все, сойдя на берег, шли по улице, причем няня шествовала впереди, с девочкой на руках. Навстречу им попался огромного роста старатель, бородатый, лихо подпоясанный, при шпорах, вооруженный до зубов, — видно, только что вернулся из длительного похода в горы. Он заступил им путь, остановил няню и стал глядеть во все глаза, и взгляд его выражал радостное изумление. Наконец он благоговейно произнес: — Ей-богу, ребенок!

И тут же, выхватив из кармана маленький кожаный мешочек, обратился к няне со следующими словами:

— Тут песку на сто пятьдесят долларов, и я вам его отдам весь, если вы позволите мне поцеловать вашего ребенка!

Самое интересное в этом анекдоте то, что он не анекдот, а факт.

Однако как время все меняет! Если бы мне, сидящему тут за столом и слушающему этот рассказ, пришло бы в голову предложить за право поцеловать этого же самого ребенка сумму вдвое большую, мне бы наверняка отказали. За эти семнадцать лет цена на поцелуй возросла значительно больше, чем вдвое.

Раз уж я заговорил на эту тему, расскажу, как однажды в Стар-Сити, что в горах Гумбольдт, я занял свое место в длинном, как очередь на почту, ряду старателей и терпеливо выжидал время, когда мне удастся заглянуть в щелочку хижины, чтобы на миг увидеть великолепное и невиданное зрелище — настоящую, живую женщину! Наконец, через полчаса наступила моя очередь, я приложил глаз к щелке и увидел ее: упершись одной рукой в бедро, другой она подкидывала оладьи на сковородке. Лет ей было ровно сто шестьдесят пять[46], во рту — ни единого зуба.

ГЛАВА XVII

Жизнь в Сан-Франциско. — Мое первое землетрясение. — Инстинкт репортера. — Курьезные случаи. — Постоялец и горничная. — Разумная мода.

Несколько месяцев я пребывал в необычном для себя состоянии — я был свободен, как мотылек: ничего не делал, ни перед кем не отчитывался и не испытывал никаких финансовых треволнений. Самый радушный и общительный город нашей страны овладел моим сердцем. После солончаков и полыни Невадских просторов — Сан-Франциско показался мне раем. Я жил в лучшей гостинице города, щеголял своими нарядами во всех фешенебельных местах, усиленно посещал оперу, где научился изображать из себя восторженного меломана, хотя музыка не столько радовала, сколько терзала мой слух, — просто у меня не хватало честности в том признаться. Впрочем, не думаю, чтобы в этом смысле я сильно отличался от большинства своих соотечественников. Наконец-то осуществилась моя мечта — сделаться мотыльком! Разрядившись в пух и прах, я порхал с одного раута на другой, любезничал и улыбался, как завзятый салонный шаркун, отплясывал польку и экосез, в которые вносил новые па, известные одному мне да еще, может быть, австралийскому кенгуру. Словом, я вел себя, как приличествовало обладателю ста тысяч долларов (в перспективе), которому к тому же предстоит достигнуть фантастического богатства, как только он продаст в восточных штатах серебряный прииск. Соря деньгами направо и налево, я с живым интересом следил за курсом акций на бирже и выжидал, чем кончится дело в Неваде.

А дело в Неваде приняло серьезный оборот. Несмотря на то, что крупные собственники голосовали там против введения конституции, большинству — то есть тем, кому терять было нечего, — удалось добиться своего через голову собственников. Все же положение тогда еще не представлялось таким катастрофическим, каким оно несомненно было. Я колебался, прикидывал, а в конце концов решил не продавать пока свои акции. Они же продолжали расти; спекуляция приняла бешеный размах: банкиры, торговцы, адвокаты, врачи, рабочие и поденщики, даже прачки и домашняя прислуга — все вкладывали свои сбережения в серебряные акции, и каждый вечер солнце

скрывалось за горизонтом, покидая мир разбогатевших бедняков и обнищавших богачей. То был настоящий разгул случая! Акции «Гулд и Карри» достигли шести тысяч с фута! И вдруг — в какой-то один миг — все лопнуло и полетело прахом! Разгром был полнейший. От мыльного пузыря не осталось даже микроскопически малого мокрого места. Я оказался среди тех, кто обнищал, и обнищание мое было полным. Кипа акций, оставшаяся у меня на руках, стоила меньше бумаги, на которой они были напечатаны. Я выбросил их все. И вот теперь, после того как я расплатился с долгами, у меня, беспечного дурака, еще недавно сорившего деньгами направо и налево и почему-то считавшего себя застрахованным от превратностей судьбы, еле набралось пятьдесят долларов! Из гостиницы я переехал в чрезвычайно скромный пансион. Я пошел в репортеры и принялся за работу. Я не вовсе пал духом, ибо еще уповал на нью-йоркскую сделку с серебряным рудником. Дэн, однако, все молчал. Либо мои письма не доходили до него, либо он не отвечал на них.

Случилось как-то, что я себя не совсем хорошо чувствовал и не пошел в редакцию. На следующий день, когда я отправился туда в свое обычное время, около полудня, я обнаружил на столе записку, оставленную там накануне. В правом нижнем углу записки красовалась подпись «Маршал». Это был тот самый вирджинский репортер. Он просил меня зайти в тот же вечер в гостиницу повидаться с ним и еще кое с кем из его друзей, так как на следующее утро они отплывают на восток. В постскриптуме говорилось, что едут они в связи с одной крупной спекуляцией серебряными рудниками! В жизни я так не досадовал, как тогда. Я ругал себя за то, что уехал из Вирджинии, поручив другому дело, за которым надо было проследить самому; я ругал себя за то, что изо всех дней в году я не пошел в редакцию именно в тот день, когда надлежало там быть. Так, кляня себя на чем свет стоит, я протрусил целую милю до пристани и, добежав, успел лишь убедиться в том, что опоздал! Судно как раз снялось с якоря и уходило.

Пытаясь утешиться мыслью, что спекуляция эта может еще кончиться ничем — слабое утешение! — я снова впрягся в работу и решил довольствоваться своими тридцатью пятью долларами в неделю, а все остальное забыть.

Через месяц после того мне довелось испытать свое первое землетрясение. Это было то самое землетрясение, которое долгое время называли «великим» и которое, несомненно, и до сей поры хранит это наименование. Началось все в один ясный октябрьский день, вскоре после полудня. Я шагал по Третьей улице. Позади меня кто-то ехал на двуколке, да еще, пересекая

улицу, медленно тащилась в гору конка. Больше во всем этом плотно застроенном и густонаселенном квартале не наблюдалось никакого движения. Кругом было пустынно, царила воскресная тишина. Поворачивая за угол у небольшого деревянного домика, я услышал страшный грохот и треск и подумал: «Вот материал для репортажа — не иначе в этом доме драка!» Но не успел я повернуть назад, чтобы разыскать дверь, как почувствовал воистину потрясающий толчок; земля подо мной заходила волнами, прерывающимися вертикальной тряской, и послышался какой-то тяжелый скрежет, точно два кирпичных дома терлись друг о друга боками. Меня отбросило к стене деревянного дома, и я сильно ушиб себе локоть. Теперь я уже понял, что происходит, и, подчиняясь инстинкту репортера, без всякой цели вынул часы и заметил время; в эту минуту последовал третий, еще более мощный толчок; пошатываясь и с трудом удерживая равновесие, я вдруг увидал необыкновенное зрелище: весь фасад высокого четырехэтажного здания на Третьей улице раскрылся, как дверь, и рассыпался по всей улице, вздымая неслыханные клубы пыли. В это же время подъехала та двуколка — человека выбросило из нее, и в одно мгновение, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать, повозка раскололась, усеяв своими останками улицу на триста ярдов. Могло показаться, что кому-то вздумалось зарядить пушку стульями и тряпками и выстрелить ими вдоль улицы. Конка остановилась, лошади вставали на дыбы и шарахались, пассажиры струились из обоих концов вагона, а один толстяк, протиснувшись наполовину в пробитое окно, застрял в нем и теперь визжал и извивался, как сумасшедший, которого посадили на кол. Двери во всех домах распахнулись, изрыгая из себя человеческую массу; и вот — вы бы и двух раз не успели мигнуть — все улицы, какие находились в поле моего зрения, оказались запружены людьми. Торжественная тишина сменилась кипучей жизнью, — такого мгновенного преображения я ни разу еще не наблюдал.

Вот все, что я лично видел из чудес «великого землетрясения»; рассказов же о фокусах, которые оно выкидывало в других местах, в разных концах города, хватило надолго. Домов, разрушенных до основания, было не так много, но почти каждый дом пострадал, и притом довольно основательно.

«Курьезы» землетрясения были неисчислимы. На центральных улицах, в самых удивительных одеяниях, а то и вовсе без оных, толпились дамы и джентльмены, которых землетрясение застигло в постели, — одни были больны, другие просто прилегли отдохнуть, третьи, провеселившись накануне до поздней ночи, пытались наверстать упущенный сон. Женщина,

купавшая ребенка, неслась по улице, держа его, голенького, за пятки, словно фаршированную индейку! Почтенные граждане, которым сам бог велел, казалось бы, помнить день субботний, выскочили из трактиров без сюртуков и с бильярдными киями в руках. Мужчины, подвязанные салфетками, покрытые мыльной пеной до самых глаз, а иные с одной выбритой щекой, целыми дюжинами повыбегали из парикмахерских. Лошади рвались из конюшен, и какая-то собака в панике поднялась по маленькой лесенке на чердак и оттуда на крышу; когда же испуг ее прошел, у нее не хватило духа спуститься тем же путем. Один известный редактор сбежал по лестнице лучшей гостиницы города в исподнем и, повстречав горничную, вскрикнул:

— О, что мне делать? Куда идти?!

На что та отвечала с безмятежным простодушием:

— Если вам так уж приспичило, попробуйте зайти в магазин готового платья.

Жена одного иностранного консула была признанной законодательницей мод; всякий раз, как она показывалась в чем-нибудь новом или необычном, все городские дамы начинали атаковать карманы своих мужей и шили такие же наряды. Какой-то господин, из числа этих не вовсе безропотных жертв моды, стоял у окна, когда начались подземные толчки; он увидал, как жена консула выскочила на улицу прямо из ванны; на этот раз единственное, чем она могла блеснуть в качестве туалета, было… полотенце! Не растерявшись перед лицом землетрясения, страдалец крикнул жене:

— Вот это я понимаю! Скорей доставай полотенце!

Штукатурки, обвалившейся в тот день с потолков Сан-Франциско, хватило бы, чтобы покрыть несколько акров земли. Еще долгое время после землетрясения можно было видеть, как возле какого-нибудь здания кучками собирались люди, глазея и указывая пальцем на извилистые трещины в стене, которые тянулись от крыши до самой земли. На одном доме с крыши сорвало три трубы и перевернуло их таким образом, что они совершенно закрыли дымоход. На какой-то улице в самой середине мостовой образовалась трещина в сто футов длиной и шесть дюймов шириною; она сейчас же захлопнулась с такой силой, что на месте ее возник узенький холмик, наподобие могильного. Некая дама, сидя в своей качающейся и содрогающейся гостиной, увидала, как потолок в одном месте отошел от стены, сомкнулся с ней, разомкнулся и еще раз сомкнулся, обронив при этом на пол кусок кирпича, словно зуб. Дама эта терпеть не могла никаких глупостей, она тут же встала и вышла из комнаты. Другая дама, спускаясь по лестнице, с

удивлением обнаружила, что бронзовый Геркулес наклонился вперед на своем пьедестале, как будто собираясь нанести ей удар своей палицей. Герой и дама достигли подножия лестницы одновременно, причем дама потеряла сознание от страха. Некоторое время спустя дама разрешилась от бремени. Предоставляю читателю судить, случайно или нет младенец оказался наделенным сверхъестественной физической силой и отличался несколько бронзовым цветом лица.

В одной из церквей после первого толчка обвалились три большие органные трубы. Священник только было воздел руки, заканчивая службу, но, взглянув наверх, задумчиво произнес:

— Однако на сей раз обойдемся без благословения!

В ту же минуту на том месте, где он стоял, образовалась пустота.

Другой священник после первого толчка сказал:

— Оставайтесь на местах! Если уж умирать, так лучшего места не найдешь…

А после третьего толчка прибавил:

— Впрочем, и на улице неплохо! — и выскочил через заднюю дверь.

Никогда еще Сан-Франциско не видел такого количества разбитых каминных безделушек и туалетных склянок. Во всем городе трудно было бы найти барышню или даму, которая бы не понесла такого рода убытков. Картины попадали со стен, а еще чаще — сейсмический гений причудлив! — они оказывались повернутыми лицом к стене. Вначале было много споров о маршруте, избранном землетрясением, но вода, которая выплескивалась из различных ведер и баков, вскоре внесла полную ясность в этот вопрос. У многих эта сухопутная качка вызвала сильную морскую болезнь, так что они в течение нескольких часов, а иные даже дней, не могли оправиться и лежали в постели. Чувство же тошноты в той или иной степени испытал каждый.

Забавные анекдоты, связанные с землетрясением, служили пищей для разговоров в Сан-Франциско целую неделю. Так как из них можно было бы составить книгу много толще той, что вы сейчас держите в руках, я решаюсь расстаться с этой темой.

В один прекрасный день попался мне на глаза номер «Энтерпрайз». Содержание его меня убило. Вот оно:

НЕВАДСКИЕ РУДНИКИ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Г.М.Маршал, Шеба Херст и Амос Х.Роуз, в июле отбывшие из Сан-Франциско в Нью-Йорк с образцами породы из рудников, расположенных в районе Пайн-Вуд, округ Гумбольдт, а также в горах над рекою Рис, продали рудник в шесть тысяч футов, именующийся «Пайн-Вуд Консолидейтед», за три миллиона долларов. Одних гербовых марок на договоре, который в настоящее время отправлен из Нью-Йорка в округ Гумбольдт для регистрации, было наклеено на три тысячи долларов. Говорят, это — рекордное количество марок для одного документа. В казначейство внесен один миллион оборотного капитала, уже закуплены машины для большой обогатительной фабрики, которая будет построена в ближайшее время. Акции компании полностью оплачены и свободны от обложения налогом.

Порода из этого рудника несколько напоминает породу с прииска «Шеба» в Гумбольдте. Открывший залежи Шеба Херст и его друзья захватили самые богатые жилы, а также всю землю и леса, какие им были нужны, прежде чем обнародовать местонахождение рудника. Как показали результаты лабораторного анализа, проведенного в нашем городе, образцы породы обладают высоким содержанием серебра и золота, преимущественно серебра. В районе много воды и леса. Мы приветствуем то обстоятельство, что Нью-Йорк вложил свой капитал в развитие нашего края. Познакомившись с образцами и результатами анализа, мы убедились, что упомянутые рудники представляют собой большую ценность и являются вполне солидным предприятием.

Снова меня погубил мой собственный идиотизм, и я потерял миллион! Это было точным повторением истории со слепой жилой.

Не будем, однако, задерживаться на этой печальной материи. Если бы я взялся сочинить что-нибудь подобное, я бы, верно, сумел подать это смешнее; но то, что я здесь рассказал, к сожалению, сущая правда, так что даже теперь, через столько лет, я не нахожу в себе сил смеяться[47]. Достаточно сказать, что я настолько пал духом и так предался тоске, вздохам и бесплодным сожалениям, что стал работать спустя рукава и никуда не годился как репортер ежедневной газеты. Кончилось тем, что один из владельцев газеты отвел меня как-то в сторонку и с великодушием, за которое я до сих пор не перестаю его

благодарить, предложил мне подать в отставку и тем спасти себя от позора увольнения.

ГЛАВА XVIII

Снова бедность. — Искусство увиливать. — Образцовый агент по сбору долгов. — Несчастье сближает. — Неожиданная удача. — Находка. — Богатство — вещь относительная. — Два сытных обеда.

Некоторое время я поставлял статейки в «Золотую эру». С.Х.Уэбб основал превосходный литературный еженедельник «Калифорниец». Однако достоинство не есть гарантия успеха — журнал стал чахнуть, и Уэбб продал его трем владельцам типографии. Брет Гарта пригласили в редакторы[48] за двадцать долларов в неделю, а я за двенадцать долларов подрядился давать им по статье в каждый номер. Тем не менее еженедельник продолжал чахнуть, и типографы перепродали его капитану Огдену. Это был состоятельный и во всех отношениях приятный человек, который мог себе позволить такую роскошную игрушку, не заботясь о том, во что она ему обойдется. Когда же прелесть новизны несколько померкла в его глазах, он вновь продал все предприятие типографам, журнал мирно скончался, и я снова оказался безработным. Я лишь оттого задерживаюсь на подобных мелочах, что они типичны для бурной жизни Тихоокеанского побережья с ее взлетами и спадами. Где еще, в какой другой стране, человек так подвержен превратностям судьбы?

Целых два месяца моим единственным занятием было избегать знакомых, ибо все это время я не заработал ни гроша, не купил ни одной вещи и не платил за квартиру и стол. Я изощрялся в искусстве увиливания. Я вилял из переулка в переулок, я увиливал от встреч с людьми, чьи лица мне казались знакомыми, крадучись шел к столу, где смиренно ел, что мне давали; проглатывая каждый кусок, я обращал немую мольбу о прощении к своей щедрой хозяйке, которую объедал, а по ночам, после бесконечных прогулок, которые являлись по существу увиливанием от света и радостей, проскользнув к себе в комнату, валился в постель. Я казался себе омерзительным, подлее и ничтожнее самого последнего червяка. Все это время у меня была всего лишь одна монета — серебряный десятицентовик. Я свято хранил ее и решил ни за что на свете не тратить: я боялся, как бы мысль, что у меня совсем нет денег, не довела меня в конце концов до самоубийства. Все, что я имел, если не считать одежды, которая была на мне, я уже заложил; я так судорожно держался за

свою монету, что она стала совершенно гладкой от моих пальцев.

Впрочем, я чуть не забыл: в довершение к моему основному занятию — увиливанию — было у меня и еще одно: время от времени ко мне наведывался агент вирджинского банкира, того самого, у которого я некогда взял в кредит сорок шесть долларов для своего приятеля, «блудного сына». Этого агента я должен был развлекать (не говоря о том, что и мне он доставлял некоторое развлечение). Раз в неделю, а то и чаще, он приходил надоедать мне с этим долгом. Собственно, ходил-то он ко мне больше по привычке — он прекрасно понимал, что получить ему с меня ничего не удастся. Придя ко мне, он всякий раз предъявлял мне вексель, подводил итог набежавшим за истекшее время процентам (из расчета пяти процентов в месяц) и самым убедительным образом доказывал мне, что в его подсчетах нет ни единой ошибки и ни тени жульничества; затем принимался уговаривать, убеждать и канючить, чтобы я хоть что-нибудь выплатил ему в счет долга — самую малую толику, доллар, ну полдоллара! Потом клал ноги на подоконник, доставал из кармана две сигары и протягивал одну из них мне, — с деловой частью визита было покончено: он выполнил свой долг, и совесть его чиста. Тут у нас начиналась сладостная, неторопливая беседа обо всем на свете; он извлекал из недр своей обширной памяти всевозможные диковинные приключения, случившиеся с ним на его поприще охотника за должниками. Уходя же, нахлобучивал шляпу, жал мне руку и решительно произносил:

— Однако служба есть служба — не век же мне с вами тут сидеть!

И исчезал.

Кто бы поверил, что можно тосковать по кредитору! Представьте себе — я жаждал его визита; и если ему случалось пропустить свой день, я начинал даже как-то по-матерински тревожиться о нем. Все же ему так и не пришлось получить с меня этот долг — ни целиком, ни частично. Я дожил до того дня, когда смог сам выплатить его банкиру.

Несчастье сближает. Ночью в глухих и темных закоулках мне то и дело стал попадаться такой же пасынок фортуны, как я. Он казался до того заброшенным и несчастным, до того бездомным, одиноким и необласканным, что меня потянуло к нему, как к брату. Мне захотелось породниться с ним, чтобы нам вместе бродить и упиваться нашими общими горестями. Надо полагать, что влечение это было взаимным; во всяком случае, мы сталкивались все чаще и чаще, хотя все еще как бы нечаянно, и пусть мы не заговаривали друг с другом, пусть не выказывали ничем своей взаимной симпатии, все же, я думаю, всякий раз, что

мы виделись, мы оба чувствовали, как тупая, гнетущая тоска словно отпускала нас на время; так, вместе, но держа дистанцию, мы могли шататься часами, из сумрака ночной улицы глядеть в освещенные окна, любуясь семейными группами вокруг камина и наслаждаясь немым общением друг с другом.

Наконец мы разговорились, и с той минуты сделались неразлучны. Ибо горести наши были сходны. Как и я, он был репортером и потерял место. Насколько я помню, вот какова его дальнейшая судьба. Потеряв место, он стал падать все ниже и ниже, и так — без остановки, от пансиона на Русской горке до пансиона на Карни-стрит, оттуда к Дюпонту; дальше — матросский притон самого низкого пошиба; и наконец — ящики из-под товаров и пустые бочки в порту. Некоторое время ему удавалось поддерживать полунищенское существование, зашивая на молу рваные мешки с зерном; когда эта работа кончилась, он питался там и сям чем бог пошлет. Он перестал показываться на улицах днем, так как репортер знаком со всеми — с богачами и бедняками, со сливками общества и подонками — и средь бела дня всегда рискует напороться на знакомых.

Этот нищенствующий Блюхер — назову его для удобства так — был славный человек. Он был исполнен надежды, мужества и философского спокойствия; он был начитан и обладал развитым вкусом; у него был живой ум и острый язык; его доброта и душевное благородство делали его аристократом в моих глазах, превращая каменную плиту тротуара, на которой он сидел, в трон, а его потрепанную шляпу в корону.

Одно из его приключений осталось в моей памяти навсегда — такое оно было нелепое, симпатичное и трогательное. Уже два месяца как у него не было ни гроша. Слоняться по глухим закоулкам с их благодатной полутьмой стало для него самым привычным занятием. Наконец он был вынужден выползти на свет божий. На то были веские причины: уже двое суток, как он ничего не брал в рот, и он не в силах был дальше терпеть муки голода в праздном одиночестве. Он шел каким-то переулком, глазея на хлеб в витринах булочной и чувствуя, что готов жизнь отдать за кусочек съестного. Вид хлеба удвоил его голод, и все-таки было приятно смотреть на хлеб и думать, что бы ты стал с ним делать, если б он был твой. Вдруг посередине улицы он увидел что-то блестящее… остановился… не поверил, не мог поверить своим глазам… отвернулся — не ослеп ли? — еще раз взглянул. Нет, это не сон… не пустой голодный мираж… это была серебряная монета, десять центов. Он сцапал ее… стал сладострастно разглядывать ее… надкусил… не фальшивая! Сердце подступило к самому горлу, он проглотил сердце, подавил

готовый вырваться крик «аллилуйя!», затем огляделся вокруг… убедился, что никого поблизости нет… бросил монету на прежнее место… отошел на несколько шагов, вновь приблизился к ней, притворяясь, что не знает об ее существовании, чтобы еще раз вкусить радость открытия. Он обошел ее кругом, глядя на нее с разных точек; прошелся, заложив руки в карманы, глазея на вывески и время от времени кидая взгляд на монету, чтобы вызвать в себе первоначальное волнение. Наконец он подобрал монету и пошел, нежно лаская ее пальцами в кармане. Он брел по малолюдным улицам и, останавливаясь в подъездах и на углах, вынимал монету и любовался ею. Добравшись в конце концов до своей квартиры — пустого бочонка, — он до самого вечера занимался тем, что придумывал, что купить на свои деньги. Это было нелегко. Выжать из них как можно больше — вот чего он хотел! В ресторане «Старатель», как он знал, за десять центов можно было получить тарелку бобов и кусок хлеба; или рыбную котлетку с гарниром, но тогда уже без хлеба. У Пита Француза на десять центов можно было заказать телячью котлетку без гарнира, несколько редисок и немного хлеба; или кружку кофе — целую пинту! — и кусок хлеба; но хлеб там резали очень тонко, в каждом куске не хватало восьмой части дюйма, а то и больше. К семи часам он испытывал волчий голод, а между тем он еще ничего не придумал. Он вышел на улицу и пошел вдоль Мерчант-стрит, все еще поглощенный расчетами и, по обычаю голодных людей, покусывая какую-то палочку. Миновав огни ресторана Мартина, самого аристократического в городе, он остановился. В былые времена он часто там обедал и был коротко знаком с Мартином. Став в сторонку, так, чтобы на него не падал свет, он стал молиться на дичь и бифштексы, выставленные в витрине. Как знать, думал он, может быть, не прошли еще сказочные времена и какой-нибудь переодетый принц вдруг подойдет к нему и прикажет ему войти и спросить, чего он только пожелает! Все больше увлекаясь этой мыслью, он продолжал с голодным любопытством жевать свою палочку. Вдруг ему показалось, будто кто-то стоит рядом с ним. Так оно и было: в следующую минуту чей-то палец прикоснулся к его плечу. Он оглянулся, и глазам его предстало видение — олицетворенный Голод! Это был человек шести футов ростом, худой, небритый, увешанный лохмотьями, с изможденным лицом, впалыми щеками и жалобной мольбой в глазах. Призрак произнес: — Пойдемте со мной… Пожалуйста!

Взяв Блюхера под руку, он отошел с ним в тот конец улицы, где прохожих было мало и свет менее ярок, затем, повернувшись и умоляюще сложив руки, сказал:

— Друг! Незнакомец! Взгляните на меня! У вас жизнь

легкая… вот вы идете, спокойный и счастливый, как некогда ходил и я… Вы только что оттуда, вы вкусили обильный ужин, поковыряли в зубах зубочисткой, промычали какую-то песенку, предались приятным размышлениям и сказали себе: «Хорошо жить на свете!» Но вы никогда не страдали! Вы не знаете ни забот, ни горя, ни… голода! Взгляните на меня! Сжальтесь над бедной, одинокой, бездомной собакой, о незнакомец! Разрази меня бог, если я что-нибудь ел за последние двое суток!.. Взгляните мне в глаза, вы увидите, лгу я или нет! Дайте мне самую малость, спасите меня от голодной смерти… самый пустяк… хотя бы двадцать пять центов! Пожалуйста, незнакомец, о пожалуйста! Для вас это ничего не составляет, для меня же это вопрос жизни и смерти. Помогите мне, и я стану перед вами на колени, паду перед вами в прах! Я буду целовать следы ваших ног… боготворить землю, по которой вы прошли! Всего лишь двадцать пять центов! Я голодаю… умираю от голода!.. Ради бога, не покидайте меня!

Блюхер был растерян, да и тронут тоже до глубины души. Он задумался. И задумался крепко. Потом его осенила одна мысль.

— Идемте со мной, — сказал он.

Взяв несчастного под руку, Блюхер повел его назад к ресторану, усадил за мраморный столик, положил перед ним меню и сказал:

— Заказывайте, что вам угодно, приятель. Запишите на мой счет, Мартин.

— Хорошо, мистер Блюхер, — отвечал Мартин.

Блюхер отошел на несколько шагов, прислонился к стойке и стал наблюдать, как этот человек уминал одну за другой гречневые оладьи по семидесяти пяти центов порция, как он пил чашку за чашкой кофе и уписывал один за другим бифштексы по два доллара штука; когда же еды таким образом было уничтожено на шесть с половиной долларов и незнакомец заморил червячка, Блюхер отправился к Питу Французу, заказал себе на свои десять центов телячью котлетку, кусочек хлеба и три редиски и пообедал в полное свое удовольствие.

Случай этот, с какой стороны на него ни взглянуть, можно рассматривать как один из несчастных курьезов, коими изобилует жизнь в Калифорнии.

ГЛАВА XIX

Старый знакомый. — Образованный старатель. — «Карманное» старательство. — Гримасы судьбы.

Неожиданно я повстречал одного знакомого, старателя из полузаброшенного приискового поселка Туоламни, Калифорния, и он увел меня к себе. Мы жили с ним в маленьком домике на склоне зеленой горы; нас окружали холмы и леса, и во всей этой необъятной панораме мы не могли насчитать и пяти домов. А между тем всего каких-нибудь двенадцать или пятнадцать лет назад, во времена бума, на месте этой безжизненной зеленой пустыни был город с двух — или трехтысячным населением, и там, где сейчас стоял наш домик, как раз находился центр города, самая, можно сказать, сердцевина этого деятельного улья. Но вот прииски иссякли, город начал хиреть, а через несколько лет он и вовсе исчез; улицы, дома, лавки — все пропало, не оставив следа. И поросшие травой склоны были так зелены, так целомудренно пустынны, что, казалось, они никогда и не ведали иной жизни. На глазах у ничтожной горсточки старателей, так и застрявших тут, город этот зародился, вырос, разросся и достиг величия, и на их же глазах он зачах, сгинул, растаял, как сон. Исчез город, унося с собой надежды, некогда окрылявшие его обитателей. Ныне эти люди уже потеряли вкус к жизни, уже давно примирились со своей добровольной ссылкой, перестали переписываться с родными и тосковать по далекой родине. Они приняли свое изгнание и предали забвению мир, который в свою очередь забыл об их существовании. Вдали от телеграфа и железных дорог, оторванные от всего, что волнует многочисленные народы, населяющие земной шар, поневоле глухие к интересам, общим всему человечеству, изолированные и отверженные от себе подобных, они как бы похоронили себя заживо в этой глуши. Трудно представить себе что-либо удивительней и вместе трогательнее и печальнее их судьбы. В течение двух или трех месяцев мне довелось тут общаться с человеком, некогда получившим университетское образование; последние восемнадцать лет он прозябал здесь и все больше и больше опускался; но даже теперь, обросший и обтрепанный, перепачканный в глине, он порой, незаметно для себя, пересыпал свои вздохи и монологи обрывками латинских и греческих фраз, — оказывается, мертвые, замшелые эти языки наилучшим

образом выражают чувства человека, чьи мысли сосредоточены на прошлом, чья жизнь не удалась; мысли усталого человека, которому настоящее в тягость, а будущее безразлично; человека, порвавшего последние связи с жизнью и живущего без надежд, без интересов, ищущего покоя, жаждущего конца. В этом уголке Калифорнии старатели прибегают к особому методу добывания золота; описание этого метода редко, а может и никогда не встречается в печати. Он получил название «карманного», и я не слыхал, чтобы он применялся где-либо в других местах. В отличие от обычных плацерных приисков, золото тут не перемешано с землей в верхнем слое почвы, а сосредоточено на маленьких участочках; расстояние между участками велико, найти их чрезвычайно трудно, зато, если уж попадешь на «карман», урожай бывает неожиданно богатым. В настоящее время во всем этом небольшом районе осталось не больше двадцати таких карманных старателей. Я знаю их, кажется, всех наперечет. Помню, как один из них в течение восьми месяцев каждый день терпеливо шарил по склонам и не мог набрать золота на одну табакерку, между тем как счет его у бакалейщика неуклонно рос; вдруг он напал на карман, копнул и в два приема извлек из него две тысячи долларов. Помню и другой случай, с ним же, когда он за два часа набрал три тысячи долларов, расплатился со всеми долгами до последнего цента, затем окунулся в умопомрачительный кутеж и к утру просадил все, что оставалось от его богатства. На следующий же день он снова набрал провизии в кредит, взял таз и лопатку и, веселый и довольный, отправился в горы — искать карманы. Изо всех способов добывать золото — этот наиболее увлекательный, чем, вероятно, и объясняется то обстоятельство, что карманные старатели поставляют такой большой процент клиентуры в психиатрические лечебницы.

Способ, которым ищут карманы, достаточно хитроумен. Копнув где-нибудь по склону горы лопатой, вы кидаете снятый пласт земли в большой жестяной таз и промываете землю, пока осадка у вас в тазу остается не больше, чем на чайную ложку. Все золото, какое заключалось в этом пласте, остается в тазу, так как частицы его, будучи тяжелее земли, оседают на дно. В осадке вы обнаруживаете с полдюжины желтеньких зернышек, не больше булавочной головки каждое. Вы в восторге. Вы снимаете пласт земли рядом и начинаете промывать его. Если и на этот раз в тазу остается золото, вы, двигаясь в том же направлении, берете третью пробу. Если же на этот раз вы не обнаруживаете золота, вы опять-таки в восторге, ибо это знак того, то вы напали на след. Вы составляете воображаемый план расположения россыпи в виде

веера, обращенного рукоятью вверх, — ибо там, рассуждаете вы, и должны быть сосредоточены богатые залежи золота, крупицы которого, отделившись, спустились затем по склону холма, расходясь все шире и шире. Так вы поднимаетесь шаг за шагом, промывая почву и сужая границы всякий раз, когда отсутствие золота в тазу указывает на то, что вы уклонились за пределы вашего веера. Наконец, пройдя двадцать ярдов вверх, вы достигаете точки, где сходятся ваши линии, — уже на расстоянии какого-нибудь фута от этой точки вы не найдете ни крупинки золота. У вас спирает дыхание, вы горите, как в лихорадке; пусть надрывается колокол, призывающий вас к обеду, — вы его не слышите. Пусть кругом умирают друзья, бушуют пожары, справляются свадьбы — вам дела нет; обливаясь потом, вы роете и роете, и вдруг — вот оно! У вас на лопате кучка земли и кварца, в котором так и сверкают комочки, пластинки и брызги золота! Может быть, дело так и ограничится одной этой лопатой в пятьсот долларов. А может, в гнезде этом золота на десять тысяч долларов, и вам придется затратить три-четыре дня на извлечение его. Старатели рассказывают о гнезде, из которого два человека за две недели извлекли шестьдесят тысяч долларов, после чего продали свой участок за десять тысяч еще кому-то; а тот не накопал там и на триста долларов.

Свиньи — прекрасные золотоискатели. Все лето они возятся вокруг кустов, подрывая корни и образуя возле них тысячи холмиков; старатели тогда с нетерпением ждут дождей, ибо дождь, падая на эти кучки и размывая их, часто обнажает золото, находящееся над самым карманом. Рассказывают, будто кто-то в течение одного только дня обнаружил таким образом два кармана. В первом оказалось пять, во втором — восемь тысяч долларов. Находка эта пришлась довольно кстати, ибо у него уже целый год как не было и цента за душой.

В Туоламни жили два старателя. Каждый день после обеда они ходили за хозяйственными покупками в соседний поселок и вечером возвращались к себе. Часть пути они шли тропинкой и почти всякий раз садились отдохнуть на крупный валун. За тринадцать лет ежедневного сидения на валуне они успели довольно основательно отполировать его поверхность. В один прекрасный день мимо валуна проходили два мексиканца. Они тоже присели отдохнуть, и один из них стал забавы ради скалывать киркой кусочки с валуна. Заинтересовавшись одним из осколков, эти бродяги обнаружили в нем богатое содержание золота. Валун впоследствии принес им восемьсот долларов. Самое же досадное было то, что мексиканцы, тут же сообразив, что где-то в том месте, откуда скатился валун, должно быть еще

золото, шаг за шагом поднимаясь от валуна в гору и исследуя почву, обнаружили в конце концов один из богатейших карманов во всем крае. Его исчерпали лишь через три месяца, дохода же он принес — сто двадцать тысяч долларов. А те два старателя, которые привыкли отдыхать на валуне — и по сей день бедняки; они по очереди встают с петухами, чтобы проклинать этих мексиканцев; и надо сказать, что чистокровный американец одарен свыше прочих сынов человеческих талантом сквернословить изящно и витиевато.

Я задержался на описании карманного золотоискательства по той причине, что тема эта редко освещается в печати, и я полагал, что она будет иметь для читателя некоторую прелесть новизны.

ГЛАВА XX

Дик Бейкер и его кот. — Особенности Тома Кварца. — Небольшая экскурсия. — Возвращение. — Кот с предрассудками. — Пустые карманы и бродячая жизнь.

Был у меня там один приятель — простодушный и положительный Дик Бейкер, карманный старатель в ущелье Дохлой Лошади, — еще одна жертва восемнадцатилетних напрасных усилий и несбывшихся надежд. Это была кроткая душа, терпеливо несущая свой крест в томительном изгнании. Сорока шести лет от роду, он был сед, как крыса, нрава серьезного и глубокомысленного, не слишком обширных познаний, одевался несколько небрежно и всегда бывал покрыт с ног до головы глиной; сердце же его было из самого чистого золота — такого ему никогда не удавалось видеть на своей лопате, да и вообще такого не сыщешь ни в россыпях, ни на монетном дворе.

Всякий раз, как его постигала неудача, он впадал в минорное настроение и принимался оплакивать гибель своего замечательного кота. (Там, где нет женщин и детей, мужчина с любвеобильным сердцем непременно заводит себе какое-нибудь домашнее животное — нужно же кого-нибудь любить!) Он так рассказывал об удивительной мудрости этого кота, словно в глубине души подозревал в нем какие-то человеческие, а то и сверхчеловеческие свойства.

Мне как-то довелось слышать его рассказ об этом коте. Вот что он рассказал:

— Джентльмены, был у меня некогда кот по имени Том Кварц, я думаю, что вам бы понравился этот кот, — да и кому бы он не понравился! Он у меня тут жил восемь лет, и более замечательного кота лично я не встречал в своей жизни. Это был большой серый кот, умнее любого старателя в нашем поселке; а уж важен был — сам губернатор Калифорнии не посмел бы с ним шутки шутить! В жизни он не поймал ни одной крысы — считал это ниже своего достоинства. Его интересовало только одно — золото. И уж в этом деле кот мой знал толк, как никто, — лично я, во всяком случае, не встречал ему равного среди людей. Он знал все, что можно знать о плацерной добыче, о карманной же и говорить нечего — он был создан для нее. Он копался в земле вместе со мной и Джимом, когда мы занимались разведкой на

горе, и отмахивал с нами по пять миль зараз, если нам случалось забираться так далеко. А насчет участков — это просто невозможно вообразить, какое у него было чутье! Мы, бывало, начнем работать, а он этак поведет глазом и, если ему не приглянется местечко, только посмотрит: как хотите, дескать, а мне тут некогда с вами — и, ни слова не говоря, задерет нос и — домой. Зато если уж ему понравится участок, затаится весь да помалкивает, покуда мы не промоем первый таз. А потом бочком-бочком к нам — взглянуть: если в тазу осталось хоть шесть-семь крупинок золота, с него довольно, такая проба его вполне устраивала; он укладывался на наши куртки и давай храпеть, как пароход; а если доберемся до самого кармана — тут он, конечно, встает и уже сам наблюдает за порядком. Наблюдать-то он был горазд. Ну вот, тут вдруг подходит вся эта кварцевая горячка. Все на нее поддались и давай долбить да взрывать землю, вместо того чтобы раскапывать верхний слой по склонам; шахты копать, вместо того, чтобы скрестись на поверхности. Джим, конечно, туда же — подавай ему жилу, и все. Занялись, значит, и мы этим делом. Начали мы копать шахту, а Том Кварц только диву дается — что, дескать, такое затевается? Ему, понимаете, никогда не приходилось видеть, чтобы золото добывали таким способом, — и он совсем расстроился, не принимает его душа этого, да и только, не по его это части, словом. Очень он был против этих шахт! Верно, считал это совсем уж никудышной затеей. Ну, да этот кот, понимаете, терпеть не мог никаких новшеств — такая натура. Да вы сами знаете, каково со старыми привычками расставаться. Ну все же со временем начинает наш Том Кварц мириться с новым положением дел, хотя, правду сказать, не одобрял он этого вечного копанья шахты без всяких промывок. Наконец он начал и сам спускаться в шахту — дай, мол, попробую разобраться, что у них там такое. А когда уж очень ему тошно сделается и на душе этак кошки заскребут, — он-то видел, что долги у нас растут, а мы между тем и цента не намываем! — возьмет да свернется где-нибудь на рогожке и спит себе. Ну вот, как-то, когда в шахте нашей было футов восемь глубины, порода дальше оказалась такой твердой, что нам пришлось ее взрывать, — это был наш первый взрыв, с тех пор как Том Кварц появился на свет. Зажгли мы фитиль, сами вылезли и отошли шагов на пятьдесят, а про Тома Кварца-то и позабыли — он крепко спал на своей рогожке. Примерно через минуту смотрим — из ямы нашей повалил дым, поднялся треск страшенный, этак с четыре миллиона тонн камня, земли, дыма и щебня поднялось на воздух мили на полторы, а в самой что ни на есть середке всей этой истории Том Кварц, черт его возьми, — и кувыркается-то он, и чихает, и сопит, и все

когтями норовит за что-нибудь зацепиться, чисто сумасшедший. Но толку-то, сами понимаете, никакого. Потом целых еще две с половиной минуты мы его вовсе не видели, и вдруг как посыпятся градом камни там и порода, и тут же, футах в десяти от меня, — хлоп! — падает Том. Можете мне поверить — вид у него был невзрачный. Одно ухо загнулось куда-то на спину, хвост торчком, веки повывернуты, сам аж почернел от дыма да пороха и весь с головы до кончика хвоста покрыт жидкой грязью. Что ж, сэр, извиняться, сами понимаете, уже поздно — сказать нам было нечего. Он как бы с отвращением окинул себя взглядом, затем посмотрел на нас, точь-в-точь словно хотел сказать: «Джентльмены, вам, может быть, кажется это остроумным — воспользоваться неопытностью кота в кварцевом способе добычи золота, однако позвольте мне иметь на этот счет свое особое мнение». И тут же повернулся на каблуках, марш домой, и ни слова больше!

Уж такой он был. Хотите верьте, хотите нет, а только такого убежденного врага кварцевых разработок, каким после этого сделался Том Кварц, вы никогда среди кошек не встретите! Со временем он снова стал спускаться в шахты, — вот когда вы подивились бы его уму! Только мы начнем взрывать, чуть фитилек затрещит, он уже на нас глядит — дескать, вы уж меня извините, я пойду, — и с невероятным проворством вон из шахты, да на дерево! Скажете, ум? Нет, не ум, а чистое вдохновение!

— Что и говорить, мистер Бейкер, — сказал я, — предубеждение вашего кота против кварцевой добычи поистине поразительно, в особенности если вспомнить, каким образом оно сложилось. Но неужели вам так и не удалось перебороть в нем этот предрассудок?

— Какое там! Уж коли Том Кварц на чем уперся — конец: вы его хоть три миллиона раз взрывайте на воздух — все равно уже не выбьешь у него этого злосчастного предубеждения против кварцевых разработок.

Никогда не забуду лица Бейкера, сиявшего гордостью и любовью, когда он распространялся о непреклонном характере своего смиренного друга давно минувших дней.

Прошло уже два месяца, а мы так и не напали на карман. Мы снимали пробы по всем склонам, и они уже стали походить на вспаханное поле; но даже если бы мы засеяли эти поля, у нас не было бы возможности доставить снятый урожай на рынок. Не раз наши пробы воодушевляли нас, но когда после промывки мы принимались с тоской и надеждой копать глубже, карман, который, по нашим расчетам, должен был там быть, оказывался таким же пустым, как наши собственные. Наконец, взвалив на

плечо кирку и таз, мы отправились дальше в горы, попытать новые места. Три недели мы копались в Анджеле-Камп, в округе Калаверас, но безуспешно. Затем мы бродили в горах, ночуя под деревьями; погода стояла теплая, но капиталы наши выдохлись, как осенние розы. Читатель извинит мое бедное остроумие: как бы то ни было, оно находится в трогательной гармонии с нашими тогдашними обстоятельствами, когда мы сами были так бедны. В соответствии с местным обычаем, дверь нашей хижины, когда мы вели оседлый образ жизни, никогда не закрывалась, и странствующие старатели всегда находили в ней кров и пищу — забредали же они чуть не каждый день, прислоняли свои лопаты к косяку двери и ели с нами что бог послал; зато и мы теперь всюду встречали самое радушное гостеприимство.

Куда только не забирались мы в наших странствиях! Я мог бы дать читателю красочное описание гигантских деревьев и всевозможных чудес Йосемитской долины, но читатель не причинил мне ни малейшего зла, за что же мне его мучить? Пусть менее щепетильные путешественники терзают его — тогда он, быть может, помянет меня добрым словом. За неимением прочих добродетелей, буду хотя бы милосерден.

ГЛАВА XXI

К Сандвичевым островам[49]. — Три капитана. — Старый адмирал. — Его режим дня. — Легкие победы. — Неожиданный противник. — Победитель провозглашен героем.

После трехмесячной отлучки я вновь оказался в Сан-Франциско без единого цента в кармане. Когда мне уже положительно негде стало занимать (в вечерних газетах не было вакансий, а я настолько уже опустился и обленился, что в утренней газете работать не хотел), я сделался сан-францискским корреспондентом газеты «Энтерпрайз» и к концу пятого месяца рассчитался с долгами, но зато к самой работе утратил всякий интерес, ибо корреспонденции приходилось поставлять ежедневно, без отдыха и передышки, что мне несказанно надоело. Я снова жаждал смены впечатлений. Бродяжнический инстинкт овладел мной. Судьба мне улыбнулась, и я получил новую и чрезвычайно заманчивую работу. Надлежало ехать на Сандвичевы острова и оттуда написать несколько корреспонденций в «Юнион», издаваемую в Сакраменто. Эта отличная газета славилась щедростью по отношению к своим работникам.

Мы отплыли на винтовом пароходе «Аякс» в середине зимы. Так, во всяком случае, называлось это время года в календаре. Если же судить по погоде, то это было нечто среднее между весной и летом. А через шесть дней после того, как мы покинули порт, наступило просто-напросто лето. Нас было около тридцати пассажиров, среди прочих — неунывающий малый по фамилии Уильямс и три старых, насквозь просоленных капитана, возвращавшихся на свои китобойные суда. Капитаны сутки напролет резались в карты в курительной, поглощали, ничуть не хмелея, умопомрачительное количество неразбавленного виски и казались мне самыми счастливыми людьми, каких довелось мне видеть на своем веку. И был там еще «старый адмирал», отставной капитан китобойного судна. Адмирал — взрывчатая смесь из ветра, грома, молнии и проникновеннейшего сквернословия — обладал вместе с тем душой нежной, как у семнадцатилетней девушки. Это был оглушительный, рвущий и мечущий, всеопустошающий тайфун, от которого трепетал океан, но где-то в самой сердцевине этого вихря было безмятежное пристанище, где всякий мог чувствовать себя в покое и безопасности. Знать адмирала — значило любить его; когда кто-

нибудь из его друзей попадал вдруг в беду, адмирал принимался ругать его на чем свет стоит; но адмиральская брань подчас доставляла бедняге больше облегчения, чем если бы кто другой — менее горячая душа — стал бы за него молиться.

Никто ни до, ни после него не носил звания адмирала с большим правом, чем он, ибо пожаловано оно ему было стихийно, без всякого участия бюрократической машины, доброй волей самого народа — народа Сандвичевых островов. В это звание народ вложил всю свою любовь и уважение к старому моряку, все свое восхищение его истинными достоинствами. В доказательство же того, что звание это — не звук пустой, было решено учредить особый вымпел, который поднимали лишь для него одного, когда он приезжал и уезжал с островов. И с той поры стоило появиться его судну близ гавани или, напротив, сняться с якоря, как над зданием парламента взвивался вымпел адмирала и люди почтительно обнажали голову.

И при всем том этот человек ни разу в своей жизни ни из одной пушки не выстрелил и ни в одном бою не сражался. Когда я с ним познакомился на борту «Аякса», ему было семьдесят два года, из них больше шестидесяти он бороздил соленые просторы морей. Шестнадцать лет он водил китобойное судно из гавани Гонолулу, еще шестнадцать — был капитаном пассажирского судна, курсировавшего между Сан-Франциско и Сандвичевыми островами. За все это время он ни разу не потерпел кораблекрушения и не потерял ни одного судна. Простодушные туземцы знали, что в его лице имеют друга, на которого можно положиться, и любили, его, как родного отца. И горе тому, кто вздумал бы обидеть их, если грозный адмирал находился где-нибудь поблизости.

За два года до нашего знакомства, скопив немного денег, он бросил работать и поклялся страшной девятиэтажной клятвой, что впредь «и нюхать соленую воду не станет до самой смерти». Клятву эту он добросовестно сдержал. То есть это он считал, что держит ее, и было бы более чем неосторожно хотя бы и в мягкой форме намекнуть ему, что те одиннадцать рейсов, которые он проделал в качестве пассажира за два года своей «отставки», больше вязались с духом, нежели с буквой его клятвы.

У адмирала была одна определенная и несколько узкая линия поведения во всех случаях, когда он набредал на драку, — он пробивался в самую гущу ее и, нимало не интересуясь, на чьей стороне правда, вставал на защиту более слабого противника. Поэтому-то он непременно присутствовал на процессах самых отпетых преступников, где терроризировал присяжных, жестами показывая, что он с ними сделает, если они попадутся ему вне

залы суда. По той же причине все затравленные кошки и подвергнувшиеся остракизму собаки доверчиво искали прибежища под его стулом в тяжелые минуты своей жизни. Вначале он был самым бешеным и кровожадным федералистом из всех, кого осеняло знамя Соединенных Штатов Америки. Но как только северные войска стали теснить южан, он встал под знамена последних и с той поры до самого конца оставался непреклонным и воинствующим конфедератом.

Ни один мужчина и ни одна женщина даже не питали такой яростной ненависти к зеленому змию, как адмирал, — он без устали громил пьянство, призывая всех, равно знакомых и незнакомых, пить с оглядкой. Горе, однако, тому, кто в простоте душевной осмелился бы намекнуть, что сам адмирал, проглотивший за наш рейс девять галлонов неразбавленного виски, несколько отступает от принципа строгого и полного воздержания, — шквальным ураганом адмиральского гнева его зашвырнуло бы на самый край света. Не подумайте, однако, что виски это когда-либо бросалось ему в голову или в ноги, — ничуть! Несмотря на всю свою емкость, он не мог вместить в себя столько виски, сколько было нужно ему, чтобы охмелеть. С утра, перед тем как одеться, он выпивал налитый до краев стакан виски, чтобы «прочистить трюм», как он выражался. Второй он выпивал уже почти одетый, «чтобы обрести равновесие и определиться». Затем он брился и надевал свежую сорочку, после чего с жаром читал «Отче наш» столь оглушительным басом, что сотрясалось все судно до самого кильсона, а в кают-компании приходилось на время прекращать разговор. На этой стадии он неминуемо оказывался либо «с дифферентом на нос», либо «с дифферентом на корму», либо «давал крен на левый (или на правый) борт» и выпивал еще стаканчик, дабы «поставить себя на ровный киль, чтоб слушаться руля и не ложиться на другой галс при каждом порыве ветра». Тут уже распахивалась дверь его покоев, и солнечный багровый диск его лица благодушно озарял мужчин, женщин и детей. Его громоподобное «здорово, братцы!» могло бы поднять мертвых из гроба и приблизить час их воскресения. Затем из каюты показывалась уже вся его живописная и представительная фигура. Крепкий и осанистый, без единого седого волоса, он появлялся в мягкой шляпе с очень широкими полями, в полуморяцком облачении из темно-синей фланели, широкого, просторного покроя, с солидной манишкой и огромнейшим черным шелковым галстуком, повязанным морским узлом, с тяжелой цепочкой с брелоками, свисающими из кармашка для часов; ноги его внушали священный трепет, а рука была подобна «деснице провидения», как говорили его братья-

китобойцы; рукава и манжеты, засученные по случаю теплой погоды до локтей, обнажали волосатые руки, испещренные красными и синими якорями, парусниками и богинями свободы, вытатуированными на них тушью. Все эти детали, впрочем, имеют лишь второстепенное значение; лицо его — вот что было магнитом, который притягивал к себе взоры. Это был знойный диск, который упорно сиял сквозь обветренную маску цвета красного дерева, усеянную бородавками, изборожденную шрамами и украшенную свежими следами порезов от бритья; веселые глаза под косматыми бровями глядели на свет божий из-за носа — огромного одинокого кряжа, от которого волнами расходились необъятные массивы щек. У ног его увивался кумир его холостяцкого сердца — терьер Фэн, ростом не больше белки. Значительную часть дня адмирал с материнской заботливостью ухаживал за собачкой и лечил ее от сотни недугов, существовавших лишь в воображении ее хозяина.

Газетами адмирал не интересовался, а если когда и читал их, не верил ни одному слову. Он ничего не читал и ничему не верил, кроме «Старой Гвардии» — журнала конфедератов, выходившего в Нью-Йорке. Он держал при себе с дюжину номеров этого журнала и всякий раз, когда требовалась какая-нибудь справка, обращался к ним. А если там не удавалось почерпнуть нужных сведений, прибегал к своей щедрой фантазии, изобретая факты, даты и все, что ему требовалось для подкрепления своих доводов, — поэтому спорить с ним бывало довольно сложно. Стоило ему лишь свернуть в сторону от фактов и заняться изобретением истории, как обезоруженному противнику приходилось сдаваться. Правда, каждый, выслушивая сии исторические арабески, невольно позволял себе хотя бы минутную вспышку негодования, — ну, да адмиралу только того и нужно было. Он был страстный охотник до политических споров и, если никто такого спора не затевал, брал инициативу в свои руки. Уже на третьей своей реплике он начинал воодушевляться, к концу пятой минуты поднимался ураган, а через пятнадцать минут никого из его аудитории уже не было и разбушевавшийся старик оставался один в курительной, стучал кулаком по столу, расшвыривал ногой стулья, изрыгал страшные проклятия своим трубным голосом. Дошло в конце концов до того, что пассажиры, еще издали приметив подозрительный огонек в глазах адмирала, молча и дружно расходились — только бы не встречаться с ним в этот момент; и старик разбивал свой одинокий бивуак на опустевшем поле битвы.

Но вот в один прекрасный день, при всем честном народе, он встретил достойный отпор. Каждый в свое время мерялся силами

с адмиралом, и всех-то по очереди адмирал разбил. Исключение составлял тихий пассажир Уильямс. Адмиралу никак не удавалось заставить его высказаться на политическую тему. На этот же раз, только адмирал появился в дверях и все приготовились улизнуть, как Уильямс сказал:

— Адмирал, вы настаиваете на достоверности того, что вы давеча рассказывали относительно священников?

Уильямс имел в виду очередной образец исторического творчества адмирала.

Все изумились опрометчивости Уильямса. Невозможно было поверить, чтобы человек сам, добровольно, пошел навстречу неминуемой гибели. Начавшееся было всеобщее отступление приостановилось, все вновь уселись, с интересом ожидая, чем все это кончится. Сам адмирал был удивлен не меньше других. Он так и замер в дверях, его рука с платком, которым он собирался утереть свое лоснящееся от пота лицо, повисла в воздухе, а взгляд устремился на дерзкое насекомое, примостившееся в углу.

— Вы сказали — достоверность? Настаиваю ли я на достоверности своих фактов? Вы хотите сказать, что я солгал? За кого, интересно, вы меня принимаете? Кто этого не знает, тот ничего не знает: всякому ребенку это известно. Вы забыли, чему вас учили в школе, вот что! Да, да, почитайте историю, чтоб вас… И не спрашивайте человека, уверен ли он в том, что составляет азбучную истину, которую последний негр на Юге и тот усвоил!

Адмирал начал закипать, атмосфера сгущалась, надвигалось очередное землетрясение, грянул гром, сверкнула молния. Через три минуты вулкан уже действовал, извергая пламень и пепел возмущения, выплевывая черные удушливые пары истории, изрыгая раскаленную лаву проклятий. Уильямс меж тем сидел и молчал и, казалось, с глубоким и непритворным интересом слушал все, что говорил старик. Наконец, воспользовавшись временным затишьем, он сказал почтительно, тоном человека, которому только что объяснили мучившую его доселе загадку:

— Наконец-то я понял! Я полагал, что достаточно знаком с этим разделом истории, и все же не был уверен в достоверности фактов, ибо мне тут не хватало той убедительной конкретности, которая так необходима для понимания истории. Когда же вы давеча назвали все имена и даты и все обстоятельства в их истинном порядке и последовательности, я сказал себе: вот это похоже на дело, это — история, это — по-настоящему убедительное изложение фактов; и еще я сказал себе: дай-ка я спрошу адмирала, уверен ли он в достоверности того, что он рассказал, и тогда поблагодарю его за то, что он так хорошо разъяснил мне все. Это-то я и хочу сделать сейчас, ибо до того

как вы внесли ясность, у меня в голове царил хаос без начала и конца.

Адмирал был умиротворен и доволен. Таким его никто еще не видел. До сих пор никому не приходило в голову принимать исторические домыслы адмирала за непреложные истины. Слушатели неизменно, кто словом, кто взглядом, выражали свое сомнение в достоверности этих фабрикаций. А тут вдруг нашелся человек, который не только проглотил все, что ему подали, но еще и спасибо сказал. Адмирал растерялся; он не мог подобрать слов, даже способность изрыгать хулу и та покинула его. Уильямс же продолжал, скромно и проникновенно:

— Однако, адмирал, говоря, что этот инцидент — первый брошенный камень и что именно он развязал войну, вы забыли упомянуть об обстоятельстве, прекрасно, конечно, вам известном, но которое, по всей вероятности, просто ускользнуло из вашей памяти. Все, что вы тут рассказали, совершенно точно, до малейших деталей, а именно: что шестнадцатого октября 1860 года два священника из Массачусетса, по фамилии Уэйт и Грейнджер, переоделись и ночью вошли в дом Джона Муди и Рокпорте, выволокли оттуда двух женщин-южанок с двумя их младенцами и, обмазав их дегтем и вываляв в перьях, повезли в Бостон, где заживо сожгли перед Капитолием штата; согласен я также с вами и в том, что именно этот поступок повел к отделению Южной Каролины, которое произошло двадцатого декабря того же года. Отлично.

(Тут слушатели были приятно удивлены, обнаружив, что Уильямс в дальнейшем употребил против адмирала его же собственное несокрушимое оружие — чистейшей воды вымысел.)

— Отлично, — говорю я. — Но, адмирал, почему бы не вспомнить также и дело Уиллиса и Моргана в Южной Каролине? Вы такой знающий человек, что вам оно, конечно, должно быть известно. Ваша аргументация и весь ваш разговор показывают, что вы досконально изучили все детали, касающиеся нашей междоусобицы. Судя по историческим проблемам, которые вы каждый раз поднимаете, ясно, что вы не дилетант, скользящий по поверхности исторических явлений, а человек, который исследовал все глубины и собрал весь материал, связанный с этим важным вопросом. Позвольте поэтому освежить в вашей памяти дело Уиллиса — Моргана, хоть я по вашему лицу вижу, что вы сами начинаете его припоминать.

Итак, двенадцатого августа 1860 года, то есть за два месяца до истории с Уэйтом и Грейнджером, два священника из Южной Каролины, методист Джон Г.Морган и Уинтроп Л.Уиллис, баптист старой школы, вошли переодетыми к Томпсону —

Арчибальду Ф.Томпсону (он был вице-президентом при Томасе Джефферсоне), — извлекли из его дома его тетку-вдову (северянку) и ее приемного сына — сироту по имени Мортимер Хайи, страдавшего эпилепсией, которая в момент происшествия еще отягчилась туберкулезного происхождения опухолью на ноге, вследствие чего он был вынужден ходить на костылях; эти два священника, несмотря на мольбы несчастных, втащили их в кусты, обмазали дегтем, вываляли в перьях и впоследствии сожгли на костре в Чарлстоне. Вы, вероятно, помните, какое тягостное впечатление произвело это на общество. Даже чарлстонский «Курьер» заклеймил этот поступок, как некрасивый, несправедливый и ничем не оправданный, и высказал предположение, что он, по всей вероятности, вызовет ответные действия. Вы, конечно, помните и то, что именно эта история и послужила прологом к массачусетским зверствам. Стоит только вспомнить, кем были эти два священника из Массачусетса. И кто были те две южанки, которых они сожгли. Вы столь превосходно знаете историю, адмирал, что я мог бы и не напоминать вам о том, что Уэйт приходился племянником женщине, сожженной в Чарлстоне, а Грейнджер был ее троюродным братом, в то время как одна из женщин, которых они сожгли в Бостоне, являлась женой Джона Г.Моргана, а другая — разведенной, но тем не менее горячо любимой женой Уинтропа Л.Уиллиса. Итак, адмирал, справедливость требует, чтобы вы признали, что обидчиками были именно южные священники, а северные священники захотели поквитаться с ними. До сих пор я ни разу не замечал у вас ни малейшего предрасположения уклоняться от произнесения справедливого приговора, даже в тех случаях, когда проверенные исторические факты опровергали прежде избранную вами позицию. Поэтому-то я без малейших колебаний и решаюсь просить вас переложить основную вину с массачусетских священников на священников Южной Каролины — вот кто заслуживает осуждения в первую голову!

Адмирал был сражен. Этот медоточивый субъект глотал вымышленную историю адмирала точно манну небесную; нежился, словно на солнышке, под градом его яростных проклятий; в его разнузданном фанатизме видел разумную, непредвзятую справедливость — и наконец закидал его самого вымышленными историческими сведениями, подавая их в густом сиропе лести и подобострастного почтения. Адмирал был прижат к стене. Он пролепетал несколько несвязных и не совсем литературных слов в том смысле, что такая-то и растакая-то история с Уиллисом и Морганом в самом деле выветрилась из его памяти, но что «теперь-то он ее припомнил», и, под предлогом

того, что Фэну требовалось дать лекарство от несуществующего кашля, ретировался, разбитый в пух. Вдогонку ему раздался смех и радостные возгласы, и Уильямс, всеобщий благодетель, сделался нашим героем. Слух о его победе разнесся по всему кораблю, — потребовали шампанского, в курительной на радостях устроили банкет, и все повалили туда, чтобы пожать руку победителю. Штурвальный впоследствии рассказывал, что адмирал в это время стоял позади рубки и «так разбушевался, что ослабли бурундук-тали, а грот повис, как тряпка».

Кончилось владычество адмирала. После того инцидента, как только он затевал спор, вызывали Уильямса; при одном его появлении старик сникал и тотчас сбавлял тон. И как только он кончал свою тираду, Уильямс вкрадчивым и сладким голосом начинал излагать очередное «историческое событие» (для вящей убедительности ссылаясь на великолепную память адмирала и на те номера «Старой Гвардии», которых, как Уильямс знал, у старика не имелось); роли решительно переменились, и каждая их встреча кончалась позорной капитуляцией адмирала. Вскоре он стал так бояться сладкогласного Уильямса, что умолкал при одном его приближении, а сам и вовсе перестал заговаривать на политические темы. Мир и согласие воцарились на корабле.

ГЛАВА XXII

Прибытие на острова. — Гонолулу. — Что я там увидел. — Наряды и нравы местных жителей. — Животное царство. — Фрукты и очаровательные свойства некоторых из них.

В одно прекрасное утро в пустынном море показались острова — еле заметные возвышения над водной гладью. Все высыпали на верхнюю палубу. Зрелище отрадное — после двух тысяч миль водной пустыни! По мере приближения к островам перед нашим взором из океана вырастала громада мыса Даймонд. Неровные его очертания были несколько сглажены дымкой дали. Постепенно стали вырисовываться отдельные детали побережья: полоска пляжа, затем веера кокосовых пальм, туземные хижины и наконец — совершенно плоский и белоснежный город Гонолулу, насчитывающий, как говорят, от двенадцати до пятнадцати тысяч жителей; улицы в этом городе имеют двадцать — тридцать футов в ширину, плотно утрамбованы и гладки, как паркет; почти все они прямые, как стрела, но есть и такие, что завиваются штопором.

Чем дальше я углублялся в город, тем больше он мне нравился. На каждом шагу я встречал что-то новое, резко отличающееся от того, к чему я привык. Вместо величественных грязновато-бурых фасадов Сан-Франциско я увидел тут дома, построенные из соломы, самана, из узких кремовых кирпичиков — смеси коралла с камешками и ракушками, — скрепленных цементом, а также просто аккуратненькие беленькие коттеджи с зелеными ставнями. Вместо наших палисадников, похожих на бильярдные столы с железной решеткой, здешние дома окружены просторными садами с густой зеленой травой и высокими деревьями, сквозь плотную листву которых с трудом пробивается солнце; вместо обычной герани, каллы и прочих растений, изнемогающих от пыли и бледной немочи, я увидел тут роскошные клумбы и заросли цветов — свежих, сверкающих великолепными красками, как луг после дождя; вместо унылого кошмара «Ивовой Рощи» — городского парка Сан-Франциско — я тут увидел огромные раскидистые лесные деревья с диковинными наименованиями и еще более диковинного вида — деревья, бросающие тень, подобную тени от грозовой тучи, деревья, которые не приходилось подвязывать к зеленым столбикам; вместо золотых рыбок, извивающихся в своих прозрачных

сферических тюрьмах, благодаря стеклянным стенам которых они беспрестанно теряют природный свой цвет и очертания, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размере, — вместо всего этого я видел кошек, кошек и котов: кошек длиннохвостых и куцых, слепых и кривых, лупоглазых и косых серых кошек, белых кошек, черных кошек, рыжих кошек, полосатых кошек, пятнистых кошек, ручных кошек, диких кошек, кошек-одиночек и целые группы кошек — взводы, роты, батальоны, армии, полчища — миллионы кошек, — и все до единой были гладки, упитанны, ленивы и сладко спали.

Я видел толпы людей — среди них много белокожих — в белых пиджаках, жилетах, штанах, причем обувь и та у них белая, — они носят парусиновые туфли, которые каждое утро с помощью мела доводят до белоснежного состояния; большинство обитателей, однако, очень смуглы, чуть светлее негров; у женщин приятные черты лица, великолепные черные глаза, округлые формы, тяготеющие к роскошной полноте; одеты они в красную или белую ткань, свободно ниспадающую с плеча до самых пят; длинные черные волосы, не стесненные прической, шляпы с большими полями, украшенные венками из ярко-алых живых цветов; смуглые мужчины в разнообразнейших костюмах, а то и вовсе без оных, если не считать цилиндра, надвинутого на самый нос, и чрезвычайно скромных размеров набедренной повязки; а их прокопченные детишки бегали по большей части в одежде, сотканной из солнца, — и надо сказать, что одежда эта сидела на них отлично и была весьма живописна.

Вместо головорезов и буянов, которые подстерегают вас в Сан-Франциско на каждом перекрестке, я видел длинноволосых коричневых дев Сандвичевых островов — они сидели на земле в тени домов и лениво взирали на все и вся, что проходило перед их глазами; вместо убогого булыжника я тут ступал по плотно утрамбованной коралловой мостовой, которую нелепое и упорное насекомое подняло из недр морских; поверх этого фундамента лежал легкий слой остывшей лавы и пепла, которые некогда, во дни оны, бездонная преисподняя изрыгнула из ныне высохшего и почерневшего жерла ставшего нестрашным покойника-вулкана; вместо наших тесных, переполненных конок мимо меня верхом на быстрых конях пролетали смуглые туземки, и пестрые их шарфы струились за ними, как знамена; вместо зловонного букета китайского квартала и боен на Брэннен-стрит я тут вдыхал аромат жасмина, олеандра и «индийской красавицы»; вместо спешки, суеты и шумного беспорядка Сан-Франциско тут царил летний покой, благодатный, как рассвет в райском саду; вместо песчаных холмов, окружающих Золотой Город, и сонного его

залива возле меня высились крутые горы, одетые в свежую зелень и изрезанные глубокими прохладными ущельями, а напротив расстилался во всем своем величии океан: сверкающая прозрачная зеленая полоска возле берега, окаймленная длинной лентой белой пены, которая билась о риф; за ней — густая синева глубоких морей, усеянная гребешками волн; а совсем далеко, на горизонте, виднелся одинокий парус, словно для того только, чтобы подчеркнуть дремотную тишь безмолвного и пустынного простора. Когда же садилось солнце, этот единственный гость из иного мира, настойчиво напоминающий о том, что мир этот все-таки существует, вы погружались в роскошное оцепенение, вдыхая благоуханный воздух и забывая, что на свете есть что-либо, кроме этих заколдованных островов.

Острая боль выведет вас наконец из состояния мечтательного экстаза — вас укусил скорпион. После этого вы должны встать с травы и убить скорпиона, приложить к месту укуса спирт или бренди и сверх того раз и навсегда решить не садиться больше на траву. Тут вы удаляетесь в спальню, где правой рукой заполняете дневник за истекший день, а левой уничтожаете москитов, одним ударом разделываясь с целым полчищем их.

Затем вы видите приближающегося неприятеля — косматого тарантула на костылях, — почему бы вам не накрыть его плевательницей? Сказано — сделано, и торчащие из-под плевательницы концы лап тарантула дают вам довольно ясное представление о возможном диапазоне его действий. Теперь — в постель, где вы превращаетесь в место прогулок для сколопендры с ее восемьюдесятью четырьмя ножками, из которых и одной довольно, чтобы прожечь воловью шкуру. Опять спиртовые примочки и решение впредь — раньше чем ложиться в постель, тщательно осматривать ее. Затем вы ждете и терзаетесь, покуда все окрестные москиты не вползут под полог, и, быстро вскочив, закрываете их там, а сами ложитесь на пол и мирно спите до утра. Если же вам случится проснуться ночью, можно для развлечения поругать тропики.

Само собой разумеется, в Гонолулу у нас был большой ассортимент фруктов: апельсины, ананасы, бананы, клубника, лимоны, померанцы, манго, гуава, дыни и роскошнейшая диковина, именуемая хиримоей, — чистый восторг! Не следует забывать и тамаринд. Первоначально я думал, что плоды тамаринда созданы для того, чтобы их есть, но, надо полагать, у них какое-то другое назначение. Отведав два-три тамаринда, я решил, что они еще не поспели в этом году. Мне так свело рот, что непонятно было, то ли я свистеть собрался, то ли тянусь целоваться, и целые сутки после этого я мог лишь всасывать в

себя пищу через трубочку. Я набил себе оскомину, и на зубах у меня появилась так называемая «железная полоска», — я боялся, что это так и останется, но какой-то местный житель утешил меня, сказав, что «она сойдет вместе с эмалью». Впоследствии я узнал, что тамаринды едят только приезжие, да и те один раз в жизни.

ГЛАВА XXIII

Экскурсия. — Капитан Филлипс и его выезд. — Прогулка верхом. — Норовистая лошадь. — Природа и искусство. — Замечательные развалины. — Честь и хвала миссионерам.

Приведу запись, сделанную мной в дневнике на третий день моего пребывания в Гонолулу:

«Сегодня на Гавайях не сыскать человека более деликатного, чем я, — никакие силы не заставят меня, например, сесть в присутствии начальства. За день я проделал то ли пятнадцать, то ли двадцать миль верхом, и, откровенно говоря, после этого я вообще не очень-то склонен садиться.

Итак, в четыре часа тридцать минут пополудни мы, шесть джентльменов и три дамы, собрались в экскурсию на мыс Даймонд и в Королевскую кокосовую рощу. Все выехали в условленный час, кроме меня. Я же ездил осматривать тюрьму (вместе с капитаном Фишем и еще одним шкипером китобойного судна, капитаном Филлипсом) и так увлекся, что не заметил, как прошло время. Опомнился я только тогда, когда кто-то обронил, что уже двадцать минут шестого. К счастью, капитан Филлипс приехал на собственном «выезде», как он называл тележку, привезенную сюда капитаном Куком в 1778 году, и лошадь, которую капитан Кук застал уже здесь по приезде. Капитан Филлипс справедливо гордился своим искусством править и резвостью своего коня, и только его страсти демонстрировать оба эти качества я обязан тем, что за шестнадцать минут проделал расстояние от тюрьмы до Американской гостиницы — как-никак, больше полумили. Езда была лихая! Удары кнута так и сыпались на спину нашей лошади, и всякий раз как кнут приходил в соприкосновение с лошадиной шкурой, пыль поднималась такая, что к концу нашего путешествия мы двигались в непроницаемом тумане и были вынуждены ориентироваться с помощью карманного компаса, который капитан Фиш держал в руке; Фиш имел за спиной двадцать шесть лет плавания на китобойных судах и на протяжении всего нашего опасного путешествия проявлял такое самообладание, словно находился у себя на капитанском мостике; он спокойно покрикивал: «Лево руля!», «Так держать!», «Круче — право руля — по ветру!» и т.д., ни на минуту не теряя присутствия духа и ни интонацией, ни манерой держаться не выражая какого-либо беспокойства. Когда мы

наконец бросили якорь и капитан Филлипс, поглядев на свои часы, произнес: «Шестнадцать минут — я говорил, что возьмет! Ведь это больше трех миль в час!» — я понял, что он ждет комплимента, и сказал, что молнию не сравнил бы с его конем. И в самом деле, такое сравнение было бы неуместным.

Хозяин гостиницы сообщил, что мои приятели отбыли чуть ли не час назад, и предложил мне взять любую лошадь из его конюшни и отправиться вдогонку. Я отвечал, чтобы он особенно не беспокоился, — что, дескать, смирный нрав в лошади ставлю выше резвости, что хотел бы иметь даже исключительно смирную лошадь — совсем без всякого норова, если можно, а лучше бы всего — хромую. Не прошло и пяти минут, как мне подвели лошадь. Я остался доволен ее видом; правда, ее можно было принять за овцу, но это оттого, что на ней нигде не было написано, что она — лошадь. Мне она нравилась, а это главное. Убедившись, что у моей лошади ровно столько статей, сколько положено, я повесил свою шляпу на ту из них, что помещается за седлом, отер пот с лица и отправился в путь. Я дал своему коню название острова, на котором мы находились, — Оаху. Он пытался завернуть в первые же ворота, которые мы проезжали. Ни хлыста, ни шпор у меня не было, и я попробовал просто поговорить с ним. Однако доводы мои на него не действовали, он понимал лишь оскорбления и брань. Повернув в конце концов от этих ворот, он тут же направился к другим, на противоположной стороне улицы. Прибегнув к тем же средствам — брани и оскорблениям, — я снова восторжествовал. На протяжении следующих шестисот ярдов конь четырнадцать раз пересекал улицу, толкаясь в тринадцать ворот, между тем как тропическое солнце отчаянно дубасило меня по голове, угрожая продолбить череп, а пот буквально струился с меня. Наконец моему коню ворота надоели, и он пошел дальше спокойно, но теперь меня стала смущать глубокая задумчивость, в которую он погрузился. «Не иначе как замышляет очередную каверзу, новый фортель какой-нибудь, — решил я, — зря лошадь не станет задумываться». Чем больше я размышлял об этом, тем беспокойнее становилось у меня на душе. Наконец я не выдержал и слез с лошади, чтобы заглянуть ей в глаза: нет ли в них подозрительного огонька, — я слыхал, что глаза этого благороднейшего из домашних животных обладают чрезвычайной выразительностью.

Не могу описать, какое я почувствовал облегчение, когда оказалось, что конь мой просто-напросто спит. Я его разбудил и пустил рысью, — и тут-то вновь проявилась его злодейская натура: он полез на каменную стену высотою в пять-шесть футов. Я понял наконец, что к этой лошади надо применять физические

меры воздействия, сломал внушительный прутик тамаринда, и конь незамедлительно сдался. Он пустился каким-то судорожным аллюром, в котором три коротких шага сменялись одним длинным, напоминая мне по очереди то толчки землетрясения, то крутую качку нашего «Аякса» в бурю.

Тут самое время помянуть добрым словом изобретателя американского седла. Собственно, седла-то никакого нет, можно с таким же успехом сидеть на лопате; что же касается стремян, то их роль чисто орнаментальная. Если бы я захотел перечислить все проклятия, какие я обрушил на эти стремена, то даже без иллюстраций получилась бы увесистая книжка. Иногда одна нога проходила так глубоко в стремя, что оно охватывало ее на манер запястья, иногда таким образом проскакивали обе ноги, и я оказывался как бы в кандалах; иногда же ноги вовсе не попадали в стремена, и тогда они бешено болтались, хлопая меня по голеням. Даже когда мне удавалось устроиться поудобнее, осторожно ступнями ног придерживая стремена, я все равно не мог чувствовать себя спокойно, ибо находился в постоянном страхе, как бы стремена куда-нибудь не ускользнули.

Впрочем, довольно, мне тяжело даже говорить на эту тему.

Отъехав от города на полторы мили, я увидел рощу высоких кокосовых пальм; гладкие стволы их, тянувшиеся вверх без всяких ответвлений на шестьдесят — семьдесят футов, были увенчаны кисточкой зеленой листвы, прикрывавшей гроздь кокосовых орехов, — зрелище не более живописное, чем, скажем, лес гигантских потрепанных зонтиков с гроздьями огромного винограда под ними. Некий больной и желчный житель севера высказался о кокосовой пальме следующим образом: «Говорят, что это дерево поэтично, — не стану спорить, а только уж очень оно похоже на веник из перьев, после того как в него ударила молния». Образ этот, на мой взгляд, вернее всякого рисунка дает представление о кокосовой пальме. И тем не менее есть в этом дереве что-то привлекательное, какое-то своеобразное изящество.

Там и сям в тени деревьев прикорнули бревенчатые срубы и травяные хижины. Травяные хижины строятся из сероватой местной травы, связанной в пучки, и по своим пропорциям напоминают наши коттеджи, только крыши у них более крутые и высокие. И стены и крыши этих хижин чрезвычайно толсты, в стенах вырезаны квадратные окна. Если смотреть на них с некоторого расстояния, они кажутся косматыми, словно сделанными из медвежьих шкур. Внутри хижины — приятная прохлада. Над крышей одного из коттеджей развевался королевский флаг, — вероятно, в знак того, что его величество дома. Вся эта местность — личные владения короля, и он много

времени проводит здесь, отдыхая от зноя. Местечко носит название Королевская роща.

Здесь поблизости имеются любопытные развалины — скудные остатки древнего храма. Некогда здесь приносились человеческие жертвы — в те далекие времена, когда простодушный сын природы, не устояв перед жгучим соблазном и совершив под горячую руку грех, мог, одумавшись в более трезвую минуту, с благородной прямотой признаться в содеянном и тут же искупить свой грех кровью собственной бабушки; в те благословенные времена, когда бедный грешник мог при случае очищать свою совесть и, покуда у него не иссякнет запас родственников, покупать себе душевный покой; задолго до того, как миссионеры, претерпевая несчетные лишения и невзгоды, прибыли сюда, чтобы сделать нашего безмятежного грешника навеки несчастным своими рассказами о радостях и блаженстве, ожидающих его в почти недосягаемом раю, и о мрачном унынии преисподней, куда он с такой ужасающей легкостью может угодить; чтобы объяснить бедному туземцу, что в своем невежестве он совершенно понапрасну, без всякой пользы для себя израсходовал всех своих родственников; чтобы открыть ему всю прелесть поденной работы; при которой на вырученные сегодня пятьдесят центов можно прокормиться весь завтрашний день, и доказать преимущество такого образа жизни перед тем, к которому он привык, когда ловил рыбу скуки ради, в продолжение нескончаемого тропического лета валялся на травке и вкушал пищу, уготованную ему природой и доставшуюся ему без труда.

Грустно думать о бесчисленных обитателях этого прекрасного острова, которые сошли в могилу, так и не узнав о том, что есть место, именуемое адом!

Древний этот храм сложен из неотесанных глыб лавы и представляет собой прямоугольник, обнесенный стенами, но без крыши, имеющий тридцать футов в ширину и семьдесят в длину. Голые стены — и ничего больше, — толстые, но не выше человеческого роста. Они могут продержаться еще века, если их не трогать. Три алтаря и прочие священные принадлежности храма давно уже осыпались, не оставив следа. Говорят, что в давние времена здесь, под завывание нагих дикарей, убивали людей тысячами. Если бы немые эти камни могли говорить, какие истории они поведали бы нам, какие картины открылись бы нашим взорам! Вот под ножом палача извиваются связанные жертвы, вот смутно виднеется плотная человеческая толпа, она вся подалась вперед, и пылающий жертвенник озаряет свирепые лица, выступающие из мрака, — все это на призрачном фоне

деревьев и сурового силуэта мыса Даймонд, который как бы сторожит это жуткое зрелище, в то время как месяц мирно взирает на него сквозь расщелины облаков!

Когда три четверти века назад Камехамеха Великий, своего рода Наполеон по искусству воевать и неизменному успеху всех своих предприятий, напал на Оаху, уничтожил местную армию и завладел островом окончательно и бесповоротно, он разыскал трупы короля Оаху и его полководцев и украсил стены храма их черепами. И дикое же это было время — эпоха процветания божественной бойни! Король и военачальники держали народ в железной узде; ему приходилось кормить своих хозяев, воздвигать дома и храмы, нести все расходы в стране, получать пинки и подзатыльники вместо благодарности, влачить более чем жалкое существование, за малейшие проступки расплачиваться жизнью, а если и не было проступков — приносить ее на священный алтарь в качестве жертвы, тем самым покупая у богов всевозможные блага для своих жестокосердных правителей. Миссионеры одели и воспитали дикарей, положили конец произволу их начальников и даровали всем свободу и право пользоваться плодами своего труда, они учредили общий закон для всех и одинаковое наказание для тех, кто его преступает. Контраст столь разителен, добро, которое миссионеры принесли этому народу, столь явно ощутимо и бесспорно, что мне остается лишь указать на состояние, в котором пребывали Сандвичевы острова во времена капитана Кука, и сопоставить его с условиями жизни на этих островах в наши дни. Такое сравнение убедительнее всяких слов».

ГЛАВА XXIV

Памятники и реликвии. — Старинная легенда о страшном прыжке. — Лошадь, чуткая к красотам природы. — Барышники и их братья. — Новый трюк. — Хорошее место для любителя лошадей.

После довольно крутого подъема мы наконец достигли вершины горы, откуда нам открылась широкая панорама. Заливая горы, долины и океан своим ровным сиянием, поднялась луна, а сквозь темные купы деревьев, словно там раскинулся сказочный лагерь светлячков, мерцали огни Гонолулу. Воздух полнился ароматом цветов. Отдыхали мы недолго. Весело смеясь и разговаривая, наш отряд помчался дальше вскачь, а я потрусил за ним, вцепившись обеими руками в луку седла. Мы подъехали к обширной равнине, — трава тут не росла, ноги вязли в глубоком песке. Нам сообщили, что это древнее поле битвы. Кругом чуть ли не на каждом шагу белели озаренные луной человеческие кости. Мы подобрали множество их на память. У меня накопилось изрядное количество берцовых и плечевых костей, — кто знает, может быть, они принадлежали каким-нибудь знаменитым военачальникам, сражавшимся в той страшной стародавней битве, когда кровь лилась, как вино, на том самом месте, где мы сейчас стоим? Перл всей коллекции я впоследствии разбил о спину Оаху, пытаясь заставить его сдвинуться с места. Тут можно было найти любую кость, кроме черепа; какой-то местный житель заметил вскользь, что за последнее время значительно увеличилось количество «охотников за черепами». Признаться, об этой разновидности спорта я доселе не имел представления.

О месте этом никто ничего толком не знает, и его история навсегда останется тайной. Даже старожилы не могут похвастать особенной осведомленностью. По их словам, кости эти лежали тут, когда они сами еще были детьми. Лежали они еще и тогда, когда деды их были детьми — о том же, как эти кости сюда попали, жители могут лишь строить догадки. Многие верят в общепринятую версию, будто место это было полем какой-то давней битвы. Верят также, что скелеты лежат тут испокон веков и в тех самых позах, в которых пали бойцы в той великой битве. Другие полагают, что именно здесь Камехамеха I дал свое первое сражение. По этому поводу рассказывают следующее — возможно, что сюжет заимствован из одной из многочисленных

книг, написанных об этих островах; не знаю, впрочем, какими именно источниками пользовался мой рассказчик. По его словам, Камехамеха (который первоначально был всего лишь каким-то второстепенным князьком на острове Гавайи) высадился здесь с большим войском и расположился лагерем в Ваикики. Оахийцы выступили в поход; они были настолько уверены в победе, что не задумываясь согласились на требование своих жрецов — провести черту на том месте, где ныне лежат кости, и поклясться, что ни в коем случае не отступят за эту черту. Жрецы уверяли, что всякого, кто нарушит клятву, постигнет смерть и вечные муки. Камехамеха теснил их шаг за шагом; жрецы, сражаясь в первых рядах, пытались вдохновить воинов, словом и личным примером напоминая им о клятве умереть, но не переступить роковой черты. Оахийцы мужественно бились, пока не пал их верховный жрец, сраженный неприятельским копьем. Его гибель произвела тягостное впечатление, и у славных воинов, стоявших за ним, дрогнули сердца. С торжествующими кликами неприятель ринулся вперед — черта была перейдена, оскорбленные боги покинули отчаявшееся войско; смирившись с роком, который они навлекли на себя своим клятвоотступничеством, оахийцы бросились врассыпную по равнине, на которой ныне расположен город Гонолулу, и побежали дальше, вверх по прелестной долине Нууану. С обеих сторон их обступили крутые горы, впереди ждал страшный обрыв Пали. Неприятель продолжал теснить их; они помедлили с минуту и ринулись вниз, с высоты шестисот футов!

Рассказ сам по себе довольно симпатичный, однако в прекрасном историческом труде мистера Джарвеса говорится, что оахийцы окопались в долине Нууану, что Камехамеха выбил их из укреплений и, загнав их в Горы, вынудил броситься с кручи. Наше усеянное костями поле нигде в его книге не упоминается.

Глубокая тишина и покой, царившие над великолепным пейзажем, произвели на меня сильное впечатление. Я находился, по своему обыкновению, в хвосте отряда, и мне захотелось высказаться.

— Какое чудесное видение дремлет в торжественном сиянии луны! Как четко вырисовываются зазубренные края потухшего вулкана на фоне ясного неба! Какая белоснежная пена окаймляет риф там, где об него разбивается прибой! Как безмятежно спит город, темнеющий далеко в низине! Как мягко стелются тени по величавым склонам гор, окружающим сонное царство долины Мауоа! Какая внушительная пирамида облаков громоздится над многоярусным Пали! Словно суровые воины прошлого собираются призрачными отрядами на древнее свое поле битвы — какие душераздирающие стоны жертв, которые…

В этом месте лошадь, именуемая Оаху, села на песок. Верно, ей так было удобнее слушать меня. Как бы то ни было, я тотчас остановил поток своего красноречия и доказал ей, что не потерплю неуважения к себе со стороны лошади. Тут-то я и сломал об ее круп кость неизвестного военачальника, после чего вскочил в седло и отправился догонять кавалькаду.

Порядком уставшие, мы вернулись в город к девяти часам вечера; на этот раз я возглавлял шествие, так как мой конь, поняв наконец, что мы направляемся домой и что идти не так далеко, бросил валять дурака. Тут нелишне будет перебить мой рассказ сведениями общего характера. В Гонолулу, как, впрочем, повсюду в Гавайском королевстве, никто не держит конюшен; поэтому, если только вы незнакомы с зажиточными резидентами (эти всегда держат добрых коней), вам приходится довольствоваться самыми жалкими клячами, которых вы нанимаете у канаков (то есть туземцев). Приличной лошади вы никогда не сможете нанять, даже у белого хозяина, ибо все лошади заняты на фермах и ведут жизнь самую изнурительную. Если туземец, у которого вы решили взять лошадь, и не заездил ее до полусмерти сам (они все страстные наездники), можете быть уверены, что ее заездили другие, ибо тайком от вас он дает ее напрокат. Так по крайней мере мне говорили. А в результате, лошади не успевают ни есть, ни пить, ни отдыхать, ни сил набраться, выглядят и чувствуют себя всегда отвратительно, а приезжая публика гарцует по островам на клячах, подобных той, что досталась сегодня мне.

Когда вы нанимаете лошадь у канака, вам нужно смотреть в оба, ибо можете ни минуты не сомневаться в том, что вы имеете дело с лукавым и бессовестным плутом. Оставьте вашу дверь раскрытой настежь, не запирайте вашего чемодана — это пожалуйста! Туземец не прикоснется к вашей собственности; у него нет никаких выдающихся пороков, и душа его не лежит к крупному грабежу; однако малейшую возможность надуть вас по лошадиной части он использует с неподдельным восторгом. Черта, присущая всем барышникам, не правда ли? Канак непременно постарается содрать с вас лишнее; предложит вам вечером великолепного коня (любого, хотя бы он принадлежал самому королю, если августейшие конюшни окажутся доступными для обозрения), а наутро приведет вам клячу, под стать моему Оаху, да еще побожится, что вы именно этого коня смотрели накануне. Если вы начнете скандалить, он вывернется, уверяя, что договаривался с вами не он, а его брат, «который, на беду, сегодня утром уехал в деревню». У них всегда имеется в запасе «брат», на которого они сваливают всю ответственность. Некто — очередная жертва подобного мошенничества —

попробовал было возразить одному из этих молодчиков:

— Но я знаю, что я договаривался именно с вами, потому что тогда же еще обратил внимание, что у вас на щеке шрам.

— О да, да, мой брат и я очень похожи: мы близнецы!

Вчера мой приятель Дж. Смит нанял лошадь. Канак, предлагавший ее, заверил Смита, будто лошадь в прекрасном состоянии; у Смита был свой потник и седло, и он велел туземцу переседлать коня. Канак сказал, что вполне доверяет джентльмену свое седло, но Смит все же отказался пользоваться им. Пришлось менять; Смит, однако, заметил, что канак сменил лишь седло, а потник оставил; канак сослался на свою рассеянность. Смиту надоела вся эта возня, он сел на коня и уехал. Не успели они отъехать от города на милю, как конь начал припадать на все четыре ноги, а затем стал откалывать и вовсе какие-то диковинные номера. Смит соскочил, снял седло и тогда только обнаружил, что потник накрепко прилип к спине лошади — вся ее спина представляла собой сплошную незаживающую рану. Загадочное поведение канака объяснилось.

На днях другой мой приятель купил у туземца довольно сносную лошадь, после того как подверг ее тщательному осмотру. А сегодня он обнаружил, что лошадь слепа на один глаз. Когда он покупал ее, он все хотел взглянуть на тот глаз, и ему даже казалось, что он так и сделал. Потом он вспомнил, что коварный туземец всякий раз умудрялся чем-нибудь отвлечь его внимание.

Еще один пример, и я покончу с этой темой.

Рассказывают, что когда некий мистер Л. посетил остров, он купил у туземца двух парных лошадей. Они помещались в небольшой конюшне с перегородкой посредине, каждая лошадь в своем стойле. Мистер Л. внимательно осмотрел через окно сперва одну лошадь («брат» канака уехал в деревню и увез ключ), затем, обойдя конюшню, заглянул в окошко, чтобы обследовать вторую. Он заявил, что в жизни не видывал более удачно подобранной пары, и тут же уплатил за них сполна. После чего канак отправился вдогонку за своим братом. Молодчик этот самым бессовестным образом надул Л. «Парная» лошадь была всего одна, в одно окно Л. обследовал ее левый борт, в другое — правый! Лично я не склонен верить этому анекдоту, но он служит несколько гиперболической иллюстрацией совершенно реального факта, а именно, что канак-барышник отличается творческой фантазией и гибкой совестью.

Приличного коня можно здесь приобрести за сорок или пятьдесят долларов, просто сносного — за два с половиной доллара. По моим расчетам, мой Оаху должен бы стоить примерно тридцать пять центов. Третьего дня тут кто-то купил

лошадь, в тысячу раз лучшую, чем мой Оаху, за один доллар семьдесят пять центов и перепродал ее сегодня за два доллара двадцать пять центов; а вчера Уильямс купил славненькую и чрезвычайно резвую лошадку за десять долларов; и вчера же одна из лучших непородистых лошадей на острове (она действительно очень и очень недурна) продавалась за семьдесят долларов вместе с мексиканским седлом и уздечкой; это был конь широко известный, пользующийся большим уважением за быстроногость, покладистый характер и выносливость. Местных лошадей принято кормить раз в день небольшим количеством овса; овес доставляется из Сан-Франциско и стоит около двух центов фунт; сена же им дают без ограничений; сено местное и не очень высокого качества, туземцы сами приносят его на рынок; его связывают в продолговатые тюки размером с рослого мужчину, затем по одному такому тюку накалывают с двух концов на жердь длиной в шесть футов, туземец взваливает ее на плечи и прогуливается в поисках покупателя. Жердь с тюками, таким образом, представляет собой гигантских размеров букву Н.

Один такой тюк стоит двадцать пять центов, и его хватает на день. Итак, коня вы приобретаете за сущие пустяки, недельный запас сена тоже за пустяки, и, кроме того, уже без всяких пустяков, вы пасете своего коня на роскошной траве, растущей на обширном участке вашего соседа, — нужно лишь выпустить коня в полночь и загнать в конюшню под утро. Покамест, как видите, вы ничего почти не тратите, но когда дойдет дело до седла и уздечки, вам придется выложить от двадцати до тридцати пяти долларов. Можно нанять лошадь на неделю вместе с седлом и уздечкой, заплатив от семи до десяти долларов, причем владелец лошади сам ее кормит.

Однако время закончить отчет за этот день — время ложиться спать. Я ложусь и слышу, как в ночной тиши раздается мягкий, прекрасный голос, — и вот, несмотря на то что эта скала, затерявшаяся посреди океана, находится чуть ли не на краю света, я узнаю родной напев. Слова, правда, звучат несколько странно:

Ваикики лантони э каа хули хули уаху.

Что в переводе должно обозначать: «Когда по Джорджии мы шли походом…»[50]

ГЛАВА XXV

После полудня в субботу. — Как резвятся девушки на Сандвичевых островах. — Торговец пои. — Субботний праздник в старину. — Туземный танец. — Влияние церкви. — Кошки и чиновники.

Нам посчастливилось видеть одну из достопримечательностей Гонолулу — базар во всем его субботнем великолепии; суббота считается праздником у туземцев. Девушки — по двое, по трое, дюжинами, целыми взводами и эскадронами — скакали по улицам на своих быстроногих, хоть и неказистых на вид лошадках. Пестрые их амазонки развевались, как знамена. Легкие наездницы, чувствующие себя в седле как дома, веселили глаз своим жизнерадостным и изящным видом. То, что я назвал амазонкой, на самом деле просто-напросто длинное широкое полотнище, наподобие пестрой и яркой скатерти; материю эту один раз обматывают вокруг бедер; концы, пропущенные назад, плещутся по обе стороны лошади, как два флага. Зацепив стремя большим пальцем ноги, расправив плечи и держась в седле прямо, по-генеральски, наездница вихрем несется вскачь.

В субботу после полудня девушки наряжаются кто во что горазд: одни надевают черный шелк, другие развевающиеся ткани ослепительного красного цвета, третьи обматываются белоснежной материей, четвертые же накрутят на себя такое, что радуга меркнет рядом с ними; волосы они все укладывают в сетку, нарядные шляпки украшают живыми цветами, самодельные ожерелья из карминово-красных цветов охайи обвивают их смуглые шеи; яркие эти красавицы заполняют базарные площади и примыкающие к ним улички и при этом так благоухают своим проклятым кокосовым маслом, что можно подумать, будто где-то поблизости горит склад тряпья.

Можно тут встретить и язычника, приехавшего с какого-нибудь знойного острова Южных морей; лицо и грудь его покрыты сплошной татуировкой, и он походит на обычного нашего бродягу-нищего из Невады — жертву взрыва на шахте. У иных татуировка цвета синьки покрывает всю верхнюю часть лица до самого рта — получается род полумаски, — нижняя же часть сохраняет характерную желтую окраску жителя Микронезии[51]; у других от висков к шее, на обеих щеках, нарисованы две широкие

полосы, а посредине оставлена полоса натуральной желтой кожи в два дюйма шириной, — и все это производит впечатление печной решетки с одной сломанной перекладиной. Встречаются и такие, у которых все лицо сплошь покрыто этой зловещей гангренозной краской, и только две-три тоненькие полоски желтой кожи змеятся по этому фону, пересекая лицо от уха до уха, а из-под полей шляпы мерцают глаза, как звезды среди сумрака лунной ночи.

Двигаясь среди толпы, кишащей на улицах, вы доходите до торговцев пои; они сидят в тени, на корточках по местному обычаю, окруженные покупателями. Пои внешним видом своим напоминает обыкновенное тесто. Хранят его в больших мисках, сделанных из выдолбленных плодов, похожих на наши тыквы; емкость этих мисок от трех до четырех галлонов. Пои — основная пища туземцев; приготовляют ее из клубней растения таро. Формой клубень походит на толстую — или, если угодно, пухленькую — картофелину, но в отличие от нее при варке приобретает светло-лиловую окраску. Вареные клубни таро — вполне удовлетворительная замена хлеба. Канаки пекут его в земле, затем разминают тяжелым пестиком, сделанным из лавы, смешивают с водой и оставляют бродить; таким образом, получается пои — смесь малоаппетитная, слишком пресная до того, как перебродит, и слишком кислая после брожения, при всем том питательна до чрезвычайности. Однако если, кроме пои, ничего другого не есть, в организме накапливаются ядовитые вещества, и — кто знает, — может, этим и объясняются некоторые особенности в характере канаков. Обращение с пои — такое же искусство, как еда палочками у китайцев. Указательный палец окунают в тесто, быстро накручивают на него порцию по вкусу, затем так же быстро вынимают; в результате палец весь облеплен этим тестом; затем едок откидывает голову, сует палец в рот, слизывает с него лакомство и медленно, зажмурившись, глотает его. Немало пальцев окунается в общую миску, и каждый из них вносит свою лепту грязи, разнообразя вкусовые и цветовые оттенки этого блюда.

Вокруг небольшой хижины собралась толпа туземцев, покупающих целебный корень ава. Некоторые утверждают, что благодаря употреблению этого корешка известные болезни, завезенные в свое время на остров, произвели меньше опустошений среди туземцев, чем следовало ожидать. Другие, впрочем, этого мнения не разделяют. Все сходятся на том, что пои способно полностью восстановить здоровье истощенного пьянством человека и что оно излечивает больных, которым никакие лекарства уже не помогают; но далеко не все верят в

целебные свойства, приписываемые корешку авы. Туземцы варят из него хмельной напиток, злоупотребление которым влечет за собой тяжелейшие последствия: кожа покрывается сухими белыми струпьями, глаза воспаляются, наступает преждевременная дряхлость. Хозяин заведения, возле которого мы остановились, выплачивает правительству восемьсот долларов в год за монопольное право торговать корешком ава и, несмотря на это, говорят, выручает ежегодно огромные деньги. Наши же кабатчики, которые платят тысячу долларов за право торговать в розницу виски и другими напитками, еле сводят концы с концами.

На рыбном базаре толпился народ. Туземцы обожают рыбу и едят ее не только сырьем, но и живьем! Впрочем, я предпочел бы не задерживаться на этой теме.

Во время оно суббота здесь справлялась торжественно, как настоящий праздник. Все туземное население города бросало работу, жители окрестностей присоединялись к горожанам. Белый человек в эти дни предпочитал отсиживаться дома, ибо наездники и наездницы неслись галопом по улицам и нельзя было пробиться сквозь эту кавалькаду без риска быть изувеченным.

По вечерам пировали, и девушки исполняли соблазнительнейший танец хула-хула, танец, как говорят, отличавшийся совершенством и слаженностью движений всех частей тела — ног, рук, кистей, головы и туловища, и удивительной четкостью ритма. Девушки, почти совсем нагие, становились в круг и проделывали бесчисленное количество движений и фигур без всякого дирижера, причем «счет» у них был так точен, движения столь дружны, что если бы их всех выстроить в ряд, то казалось бы, что все эти руки, кисти, туловища, ноги и головы двигались, колыхались, жестикулировали, кланялись, прикасались к земле, кружились, извивались, перекручивались и выпрямлялись как части единого целого; трудно было поверить, что ими не управляет какой-то тонкий скрытый механизм.

В последние годы, однако, суббота в значительной мере утратила свои былые праздничные черты. Слишком уж нарушали эти еженедельные сатурналии туземцев рабочий ритм и интересы белого человека, и он с помощью законов, проповедей и всевозможных других средств положил им известный предел.

Развратный танец хула-хула исполняют теперь лишь ночью, при закрытых дверях, в присутствии малочисленных зрителей, и то лишь по особому разрешению властей, которые к тому же взимают за это разрешение десять долларов. Нынче уже мало осталось девушек, владеющих в совершенстве искусством этого

древнего национального танца.

Миссионеры обучили грамоте и обратили в христианство всех туземцев. Все они приобщены к церкви, и всякий достигший восьмилетнего возраста умеет писать и бегло читать на своем родном языке. Это самый грамотный народ в мире, если не считать китайцев. Множество книг напечатано на канакском языке, и все туземцы страстные читатели. Все они регулярно и ревностно ходят в церковь. Смягчающее влияние культуры сказалось еще и в том, что у туземных женщин в конце концов появилось глубокое уважение к целомудрию (как к отвлеченному понятию). На эту тему, пожалуй, не следует особенно распространяться. Надо полагать, что национальный грех исчезнет со временем, когда вымрет сам народ. Никак не раньше. Впрочем, это очищение не за горами, как видно хотя бы из того, что, соприкоснувшись с цивилизацией белого человека, население, некогда (по подсчетам капитана Кука) составлявшее четыреста тысяч человек, за какие-нибудь восемьдесят лет сократилось до пятидесяти пяти тысяч!

Общество этого удивительного, миссионерски-китобойно-административного центра представляет собой довольно причудливую смесь. Если вы, разговорившись с каким-нибудь незнакомцем, испытываете столь естественное в таких случаях желание узнать, как вам следует держаться с ним, к какому разряду людей его отнести, смело величайте его капитаном. Затем приглядитесь и, если по выражению его лица вам покажется, что вы дали маху, тут же спросите его, в какой церкви он читает свои проповеди. Можно поручиться, что он либо миссионер, либо капитан китобойного судна. Сам я перезнакомился с семьюдесятью двумя капитанами и девяносто шестью миссионерами. Капитаны и священники составляют половину населения острова; четверть его приходится на туземцев и на купцов иностранного происхождения с женами и детьми, и последняя четверть — на высокопоставленных чиновников гаванского правительства. На каждого человека приходится по три кошки.

На днях какой-то степенного вида незнакомец остановил меня на окраине города и сказал:

— Доброе утро, ваше преподобие. Вы, верно, служите в той каменной церкви?

— Нет, не служу. Я не священник.

— Право? Извините, пожалуйста, капитан. Как улов в этом году? Много ли жира…

— Жира? За кого вы меня принимаете? Я не китобоец.

— Тысячу извинений, ваше превосходительство! Так вы

гвардии генерал-майор, не так ли? Или министр внутренних дел? Военный министр? Нет? Камергер его величества? Или комиссар королевской армии?

— Вздор! Я никакой не чиновник и вовсе не связан с правительством.

— Вот те и раз! Кто же вы, черт бы вас побрал? Что вы, черт возьми, тут делаете? Какой черт вас сюда занес? И откуда вы вообще взялись, черт вас побери?

— Я всего лишь частное лицо… скромный иностранец… недавно прибыл из Америки.

— Не может быть! Не миссионер! Не китобоец! Не член кабинета его величества! Даже не военно-морской министр! Боже мой! Я не верю своему счастью — увы, это, должно быть, сон! Впрочем, это открытое, благородное лицо, эти чуть раскосые простодушные глаза, эта массивная голова, не способная… ни на что… Руку! Дайте вашу руку, прекрасный скиталец! Извините мои слезы. Шестнадцать томительных лет ждал я этой минуты, и вот…

Не в силах вынести нахлынувших на него чувств он упал в обморок. Всем сердцем я сочувствовал бедняге. Я был растроган. Я уронил на него несколько слезинок и с материнской нежностью поцеловал его. Затем, освободив его карманы от мелочи, которую в них нашел, улизнул.

ГЛАВА XXVI

Законодательное учреждение на островах. — Что видел председатель на своем веку. — Права женщин. — Аборигены одеваются. — Но не по парижской моде. — Игра в империю. — Блеск и великолепие двора.

Продолжаю цитировать свой дневник:

«Национальный законодательный орган состоит, как я обнаружил, из десятка белых и тридцати-сорока туземцев. Общий колорит ассамблеи — темный. Вельможи и министры (вместе они составляют примерно двенадцать человек) занимают левый угол залы; их возглавляют Дэвид Калакауа (королевский канцлер) и принц Уильям. Председатель ассамблеи — его королевское величество Кекуанаоа[52] и вице-председатель (белый) восседают на кафедре, если можно так выразиться.

Председатель — отец короля. Это прямой, крепкий, смуглый и седовласый старец с крупными чертами лица, на вид лет восьмидесяти. Он просто, но хорошо одет: синий сюртук, белый жилет и белые штаны. Нигде ни пылинки, ни пятнышка. Держится со спокойным, несколько торжественным достоинством, осанка благородная. Более чем полвека назад он был молодым, доблестным воином под началом замечательного полководца Камехамехи I. Зная его биографию, я не мог не думать, глядя на него «Некогда, примерно два поколения назад, этот человек, нагой, как в первый день творенья, вооруженный дубинкой и копьем предводительствовал ордой дикарей, наступающей на другую орду таких же дикарей, упиваясь резней и бойней. Коленопреклоненный, он молился деревянным идолам. До того как миссионеры вступили на эту землю, сам он представления не имел о боге белого человека, он видел, как сотни его соотечественников приносились в жертву этим деревянным кумирам в языческих храмах. Он верил, что враг его может тайными молитвами навлечь на него смерть. Он помнил дни своего детства, когда человек, который сел за трапезу с собственной женой, подвергался смертной казни, и когда такая же участь постигала плебея, если дерзкая тень его случайно касалась короля. А теперь? Образованный христианин; аккуратно и красиво одетый; благородного образа мыслей изысканный джентльмен; человек который довольно много путешествовал и в качестве почетного гостя посетил не один двор Европы; опытный

и просвещенный правитель, разбирающийся в политических делах своей страны и обладающий также познаниями общего характера. Вот он председательствует в законодательном собрании, среди членов которого имеются и белые. Серьезный и почтенный государственный муж, он занимает свой пост с таким достоинством, словно родился сановником и всю жизнь сидел на этом месте. Если подумать о бурном жизненном пути этого старика, какими бледными покажутся все дешевые измышления беллетристики!»

Сам Кекуанаоа не является принцем крови. Высокий титул достался ему через жену — дочь Камехамехи Великого. В других монархиях принято вести род по мужской линии. Здесь же, напротив, предпочтение отдается линии женской. Доводы, которые туземцы приводят в оправдание такой системы, чрезвычайно разумны, и я бы даже порекомендовал европейской аристократии к ним прислушаться. Нетрудно, говорят они, установить, кто была мать, в то время как отец… и т.д. и т.д.

Обращение туземцев в христианство не только не уничтожило, но даже почти и не ослабило кое-какие из их варварских предрассудков. Я только что упомянул об одном из них. До сих пор принято считать, что если враг завладеет какой-нибудь вещью, вам принадлежащею, ему достаточно помолиться как следует над нею, чтобы вымолить себе вашу смерть. Поэтому бывает, что туземец, вообразив, что его недруг молится о его гибели, падает духом и умирает. На первый взгляд подобное вымаливание кому-нибудь смерти кажется нам чудовищной нелепостью, однако если вспомнить попытки, предпринимаемые в этом направлении кое-кем из наших священников, предрассудок этот перестает казаться таким уж диким.

В былые времена на островах наряду с многоженством было еще распространено и многомужество. Иная аристократка держала до шести мужей. Многомужняя жена обычно жила со своими мужьями по очереди, по нескольку месяцев с каждым. Когда один из мужей воцарялся у нее, на все время его пребывания над дверьми ее жилища вывешивался особый знак. Когда знак убирали, это означало: «Следующий!»

В те дни с женщины строго взыскивали, чтобы она «знала свое место». «Место» же ее сводилось к тому, чтобы она делала всю работу, молча сносила бы тычки и подзатыльники, поставляла бы пищу в дом, а сама довольствовалась бы объедками своего господина и повелителя. По древнему закону, под страхом смерти она не только не смела разделять трапезу с мужем или осквернять своим присутствием лодку — такая же казнь грозила ей, если бы она дерзнула съесть банан, ананас,

апельсин или любой из благородных плодов. Этого она не смела делать никогда, ни при каких обстоятельствах. Пои и тяжелый труд — вот чем она должна была довольствоваться. Несчастные невежественные язычники, очевидно, имели какое-то смутное представление об истории, приключившейся с женщиной, которая вкусила запретного плода в саду Эдема, и решили впредь с этим делом не шутить. Миссионеры нарушили этот удобный жизненный уклад. Они освободили женщину и уравняли ее в правах с мужчиной.

У туземцев был еще романтический обычай закапывать своих детей живьем в тех случаях, когда семья начинала непомерно разрастаться. Миссионеры и тут вмешались, положив конец этому обычаю.

И по сей день туземец не утратил способности лечь и умереть в расцвете сил и здоровья, когда бы он ни захотел. Если канак задумал умереть — конец: никому не отговорить его от этого намерения, и никакие доктора на свете его не спасут.

Пышные похороны — излюбленный вид роскоши у местного населения. Если вам нужно избавиться от надоедливого туземца, обещайте устроить ему богатые похороны, назначьте день и час — и он, вернее его останки, будет к вашим услугам минута в минуту.

Все туземцы приняли христианство, но многие из них до сих пор в трудный час становятся отступниками и временно ищут покровительства у Великого Бога Акулы. Очередное извержение вулкана Килауэа или землетрясение непременно вызывает прилив дотоле дремавшей лояльности Великому Богу Акуле. Говорят, что и король, несмотря на то, что он безусловно образованный, культурный и утонченный христианин, в тревожную минуту обращается за помощью к кумирам своих отцов. Рассказывают, что когда некий плантатор поймал акулу, кто-то из туземцев, обращенных в христианство, продемонстрировал свой разрыв с древними предрассудками тем, что стал потрошить рыбу способом, по его старой вере запрещенным. Однако вскоре его замучило раскаяние. Он сделался угрюм и нелюдим, неотступно размышлял о содеянном грехе, отказывался от пищи и наконец сказал, что умрет, что заслужил смерть, ибо согрешил против Великой Акулы, что ему теперь все равно не будет покоя. Ни уговоры, ни насмешки на него не действовали. Прошло два дня, он слег и умер, хотя ни малейших симптомов болезни у него не нашли.

Юная его дочь последовала его примеру и умерла в течение следующей недели. Суеверия вошли в плоть и кровь туземцев, и не удивительно, что в тяжелую пору они дают яркую вспышку.

Повсюду на островах, куда бы вы ни пошли, вы встретите кучки камней на обочинах дорог, и на камнях жертвенные растения, возложенные туземцами либо для того, чтобы ублажить злых духов, либо чтобы почтить местных богов древней мифологии.

В сельской местности путешественнику на каждом шагу попадаются то в речке, то в море небольшие группы смуглых купальщиц, которые, как правило, при виде посторонних не проявляют неумеренного рвения прикрыть свою наготу. Когда миссионеры с семьями только начали селиться в Гонолулу, туземки чуть ли не каждый день забегали к ним в гости нагишом, даже румянец не прикрывал их щек. Стоило большого труда растолковать им всю нескромность их поведения. Наконец миссионеры снабдили их длинными просторными ситцевыми платьями, что значительно упростило дело: женщины шли через весь город в чем мать родила, неся платье под мышкой, и уже придя в дом к миссионеру, начинали облачаться! Вскоре туземцы стали проявлять большой интерес к одежде, но тут же выяснилось, что видели они в ней лишь средство украсить себя. Миссионеры выписали большое количество шляп, капоров и других предметов одежды, мужских и женских, роздали их прихожанам и умоляли их в следующее воскресенье не приходить в церковь голыми. Прихожане оделись, но широта, свойственная канакской натуре, заставила их поделиться нарядами с теми из соседей, которые почему-либо не присутствовали во время раздачи. Бедным священникам стоило большого труда сохранить серьезную мину во время чтения воскресной проповеди. Когда пели гимн, смуглая статная дама вдруг важно прошла между рядов в одном цилиндре и перчатках; за ней следовала другая — ее туалет составляла мужская сорочка: третья вошла с шиком — рукава яркого ситцевого платьица были завязаны спереди на животе, остальная же часть облачения тянулась за ней, как опущенный павлиний хвост; тут же в церковь вплыл стройный франт в дамской шляпке, надетой задом наперед, — больше на нем ничего не было; товарищ же его нацепил брюки на шею, завязав штанины бантом, а за ним следовал и третий — в пламенном галстуке и полосатом жилете на голом теле. Бедняги так и сияли самодовольством — откуда им было знать, что они выглядят нелепо?

С радостным восхищением взирали они друг на друга, и молодые девушки, словно они всю жизнь провели в стране, где водятся библии, и знали, для чего люди ходят в церковь, поглядывали друг на друга, сличая наряды. Прямое доказательство зарождающейся цивилизации! Церковь в этот день представляла собой зрелище до того смехотворное и вместе с тем

трогательное, что миссионеры с трудом довели свою проповедь до конца; наконец, когда простодушные дети солнца начали тут же меняться своими нарядами, устраивая из них еще более чудовищные комбинации, священник поспешил благословить свою паству и распустить это фантастическое сборище.

Наши дети любят играть в «дочки-матери». Точно так же взрослые обитатели островов, с их жалкой площадью и ничтожным населением, играют в «империю». У них есть его королевское величество — король, получающий, как нью-йоркский сыщик, свои тридцать — тридцать пять тысяч долларов в год по «королевскому цивильному листу» и с «королевских имений». Двухэтажный дощатый домик служит ему дворцом.

Имеется также королевская фамилия — обычный улей августейших братьев, сестер, кузенов и кузин и других благородных трутней и прихлебателей, обязательных в любом монархическом государстве. Каждый из них держится за свой кусок народного пирога, каждый и каждая титулуются его или ее королевское высочество, принц или принцесса имярек, — правда, мало у кого придворная пышность простирается на собственный выезд, и они большей частью довольствуются экономичной канакской лошадкой или, как плебеи, шлепают пешком.

Есть и его превосходительство «королевский камергер» — чистая синекура, ибо его величество одевается всегда собственноручно, если не считать пребывания в летней резиденции Ваикики, когда он вовсе не одевается.

Затем идет его превосходительство главнокомандующий гвардией. Под его началом находится ровно столько солдат, сколько в других странах обычно вверяют капралу.

За ними следуют церемониймейстер его величества и старший стремянный — два высокопоставленных лица со скромным жалованьем и почти без всяких обязанностей.

Затем — его превосходительство королевский камердинер, чья должность столь же необременительна, сколь великолепна.

Затем идет его превосходительство премьер-министр — американец-ренегат из Нью-Гемпшира, тщеславный, напыщенный, невежественный болтун, типичный адвокат-крючкотвор, по самой природе своей шарлатан, подобострастный слуга короля, пресмыкающееся, которому никогда не надоест поносить свою родину и петь хвалу десятиакровому королевству, приютившему его, давшему ему четыре тысячи долларов годового дохода и огромную власть.

Имеется еще его превосходительство имперский министр финансов. Через его руки ежегодно проходит миллион долларов народных денег; он торжественно выступает с докладом о новом

«бюджете», бесконечно толкует о «финансах», предлагая различные планы для погашения «государственного долга» (сто пятьдесят тысяч долларов). Все это он проделывает ради четырех тысяч долларов в год и умопомрачительной славы.

Его превосходительство военный министр ведает Королевской армией, которая состоит из двухсот тридцати канаков, одетых в военную форму, — большинство из них имеет чин генерала, и мы, вероятно, услышим их славные имена, если королевству когда-нибудь случится завязать конфликт с какой-нибудь иностранной державой. Я когда-то был знаком с одним американцем, у которого на визитной карточке был выгравирован следующий внушительный титул: «Подполковник королевской пехоты». Сказать, что он гордился этим своим званием, — значит ничего не сказать. В ведении военного министра имеется также несколько заслуженных пушечек на горе Панч-Боул. Из пушек этих салютуют всякий раз, когда в гавань входят военные суда иностранных держав.

Дальше следует его превосходительство морской министр — набоб, ведающий «королевским флотом» (буксирный пароходик и шхуна водоизмещением в шестьдесят тонн).

Затем идет его преосвященство лорд епископ Гонолулу, высший чин «государственной церкви», ибо, после того как американским миссионерам-пресвитерианам удалось образовать из народа компактную христианскую массу, туземная монархия вмешалась и торжественно поставила над ними «государственную (епископальную) церковь», выписав для этой цели из Англии дешевенького и готовенького епископа[53]. Будучи стеснены в своем лексиконе, миссионеры так и не высказались до конца по этому поводу.

Затем идет его превосходительство министр народного образования. За ним — их превосходительства губернаторы Оаху, Гавайи и т.д., с соответствующей вереницей шерифов и других мелких чинов, — их столько, что и перечислить невозможно.

Затем — их превосходительства чрезвычайный и полномочный посланник его императорского величества императора Франции; посланник его величества королевы Великобритании; представитель Соединенных Штатов в ранге советника и еще шесть-семь представителей иностранных держав, — и у всех у них громкие титулы, все они важные, и все ведут жизнь одновременно пышную и экономную.

Теперь представьте себе все это великолепие в игрушечном королевстве, чье население даже не достигает шестидесяти тысяч душ!

Здешний народ так привык к вельможам и девятиэтажным

званиям, что какой-нибудь принц крови, прибыв в Гонолулу, производит впечатление не большее, чем наш конгрессмен из западных штатов — на жителей Нью-Йорка.

Не следует забывать и о том, что существует строго определенный придворный наряд, столь сногсшибательный, что рядом с ним клоун из цирка показался бы чрезвычайно скромно одетым джентльменом. Кроме того, каждому правительственному чиновнику на Гавайях полагается соответственно занимаемой им должности роскошный, яркий, расшитый золотом мундир, причем все они разные, и трудно сказать, который из них самый кричащий. Через определенные промежутки времени король, по примеру других монархов, устраивает приемы; и когда все эти разнообразные костюмы собираются вместе, человек со слабыми глазами не рискует смотреть на это зрелище иначе, как сквозь закопченное стекло. Каков контраст, однако: церковь, набитая полунагими дикарями, вырядившимися в только что полученные от миссионеров одежды, — и современное блистательное сборище, многие участники которого являются потомками тех самых первых прихожан! Утешительно, не правда ли? Что значит — религия и цивилизация!»

ГЛАВА XXVII

Королевские похороны. — Порядок церемонии. — Пышность и помпа. — Разительный контраст. — Болезнь монарха. — Человеческие жертвы после его смерти. — Оргии на тризне.

В Гонолулу мне довелось быть свидетелем торжественных похорон сестры короля, ее королевского высочества принцессы Виктории. В соответствии с придворным обычаем тело ее покоилось во дворце, под круглосуточной охраной почетного караула, в течение тридцати дней. И все это время туземцы со всех островов королевства не переставали толпиться на дворцовой площади. Ночью здесь царил сущий ад: туземцы выли и причитали, били в тамтам, полуобнаженные девушки плясали запрещенный (в обычное время) танец хула-хула под аккомпанемент песен сомнительной пристойности, которые исполнялись в честь усопшей. Я заинтересовался напечатанной для всеобщего сведения программой церемонии. Думаю, что и читателю будет небезынтересно с ней познакомиться, ибо она подтверждает то, что я уже говорил о пристрастии гавайцев к игре «в империю».

Читая пространный список чиновных и прочих лиц и вспоминал о малочисленности жителей, невольно начинаешь задумываться, откуда они черпают материал для той части процессии, которая у них именуется: «Население Гавайских островов».

Итак:

Представитель похоронного бюро.

Королевская школа. Школа Кавaиахао. Католическая школа. Школа Миэме.

Пожарная команда Гонолулу.

Общество механиков.

Врачи.

Конохики (надзиратели) королевских государственных земель. Конохики личных владений его величества, конохики личных владений ее высочества покойной принцессы.

Губернатор Оаху с чиновниками.

Хулуману (войска).

Гвардия.

Личные войска принца Гавайи.

Слуги короля.

Слуги покойной принцессы.

Протестантское духовенство. Католическое духовенство. Его преосвященство лорд Луи Мегрэт, епископ аратейский, апостольский викарий Гавайских островов.

Духовенство гавайской реформированной католической церкви.

Его преосвященство лорд епископ Гонолулу.

Конный конвой. Конный конвой.

Большие кахили[54]. Большие кахили.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ДРОГИ

Малые кахили. Малые кахили.

Сопровождающие гроб. Сопровождающие гроб.

Карета ее величества королевы Эммы.

Двор его величества.

Карета покойной принцессы.

Карета ее величества матери короля.

Канцлер его величества.

Министры.

Его превосходительство советник Соединенных Штатов.

Французский посланник.

Английский посланник.

Члены верховного суда.

Члены тайного совета.

Члены законодательного собрания.

Иностранные консулы.

Окружные судьи.

Чиновники правительственных департаментов.

Адвокаты.

Сборщик податей, таможенные чиновники.

Начальники полиции и шерифы островов.

Личная охрана короля.

Иностранные резиденты.

Ахакуи Каахуману.

Население Гавайских островов.

Гавайская кавалерия.

Полиция.

Открываю свой дневник на том месте, где описывается прибытие принцессы к королевскому мавзолею:

Когда процессия прошла ворота, войска ловко разделились на две части и выстроились по обе стороны, образуя род аллеи, по которой процессия прошествовала к могиле. Гроб пронесли в мавзолей, за гробом следовал король со своими начальниками, высокопоставленными чиновниками, иностранными консулами, посланниками и почетными гостями (Берлингейм и генерал Ван-Валькенбург). Несколько кахили привязали к перекладине перед самой могилой — там они и останутся, пока не сгниют и не рассыплются или пока не умрет еще какой-нибудь отпрыск королевской фамилии. Тут толпа провожающих подняла такой душераздирающий вопль, какого, я надеюсь, мне никогда больше не придется услышать. Солдаты дали три мушкетных залпа, — плакальщиков предварительно успокоили, а то бы никто не услышал выстрелов. Его высочество принц Уильям, одетый в нарядную военную форму (он «настоящий» принц — отпрыск династии, которую нынешняя свергла; он был помолвлен с принцессой, но на их брак не было дано согласия), занял место в почетном карауле, потом стал ходить взад и вперед по мавзолею. Избранные прошли внутрь и некоторое время оставались там, сам же король вскоре вышел и стал сбоку, возле дверей. Всякий сразу понял бы, что это король (хотя одет он был чрезвычайно просто и без претензий), по тем знакам глубокого почтения, которые ему все оказывали, по тому, как сановники, наклонив обнаженные головы, внимали приказам, которые он произносил вполголоса, по тому, как все выходящие из мавзолея осторожно обходили его, чтобы как-нибудь нечаянно не толкнуть (хотя в двери мавзолея могла бы свободно пройти карета), по той почтительности, с которой все пробирались бочком, задевая спиной стены, чтобы быть все время обращенными лицом к его величеству, и по тому, как никто не надевал шляпы, даже отойдя от него на достаточное расстояние.

Одет он был во все черное — фрак и цилиндр — и вид имел несколько демократический среди пышных мундиров, окружавших его. На груди у него висела большая золотая звезда, наполовину скрытая лацканом фрака. Он оставался у дверей около получаса, время от времени

приказывая что-то тем, кто устанавливал кахили. У него достало вкуса приказать одному из этих людей заменить веревку, которой тот готовился прикрепить кахили к перекладине, черной тканью. Наконец он сел в карету и отъехал. Вслед за ним двинулся и народ. Лишь один человек привлекал к себе еще больше внимания, чем король. Человек этот был Гаррис (премьер-министр янки). Ничтожная эта личность накрутила вокруг своего цилиндра столько крепу, что его хватило бы для выражения скорби целой нации. Как всегда, он не упустил случая покрасоваться перед народом и вызвать восхищение простодушных канаков. О, благородное честолюбие современного Ришелье!

Интересно сопоставить церемонию погребения принцессы Виктории с похоронами ее знаменитого предка Камехамехи Завоевателя, умершего на полвека раньше, в 1819 году, — за год до появления первых миссионеров:

Мая 8-го, 1819 года, достигнув шестидесятилетнего возраста, он умер, как и жил, — в вере своего народа. Ему не довелось прийти в соприкосновение с людьми, которые дали бы верное направление его религиозной мысли. Судя по его природным данным и сравнивая его с наиболее выдающимися соотечественниками, можно по справедливости сказать, что это был человек не только великий, но и добродетельный. Доныне его память согревает сердца гавайцев, вызывая в них могучее чувство патриотизма. Они гордятся своим старым королем-воином; они чтут его имя, его подвигами открывается начало истории народа; на энтузиазме, который он возбуждал у всех и который разделяли также и те из иностранцев, которые имели возможность оценить его по достоинству, зиждется трон основанной им династии.

Вместо человеческих жертв (обычай того времени) по случаю его погребения было убито триста собак — гекатомба нешуточная, что поймет всякий, кому известно, как высоко ценится собака в глазах народа. Кости Камехамехи, пролежав некоторое время на месте погребения, были впоследствии спрятаны так тщательно, что никто уже не знает об их последнем приюте. В простонародье существует поговорка, гласящая, что костей жестокого короля не спрячешь, из них делали рыболовные крючки и стрелы; и всякий раз, когда люди пользовались этими изделиями, они выкрикивали

страшные проклятия, изливая в них свою ненависть к памяти покойника.

Описание смерти Камехамехи, составленное местными историками, может быть и излишне обстоятельно, зато в нем нет ни одной строки, в которой не запечатлелся бы какой-нибудь уже исчезнувший народный обычай. В этом смысле я не встречал более исчерпывающего документа. Привожу его целиком:

Когда Камехамеха был уже смертельно болен и жрецы не знали, как его вылечить, они сказали: «Не падай духом, построй дом для бога (его собственного бога, идола), чтобы он тебя исцелил!» Военачальники поддержали жрецов, и в тот же вечер был воздвигнут алтарь, посвященный Кукаилимоку. Кроме того, они предложили королю, ради продления его жизни, принести человеческие жертвы его богу; большая часть населения, боясь смерти, бежала и пряталась во все время действия табу[55]. По всей вероятности, сам Камехамеха отнесся неодобрительно к этому предложению своих жрецов и военачальников, так как известно его изречение: «Люди священны для короля», то есть, что король должен беречь их для передачи своему преемнику. Сведения эти сообщены его сыном Лихолихо.

После этого болезнь его усилилась настолько, что он уже не мог самостоятельно переворачиваться с боку на бок. Когда снова наступило время молиться в новом храме (хеиаву), он сказал своему сыну Лихолихо: «Пойди и помолись своему богу; я не в состоянии идти и буду молиться дома». Когда он кончил молиться своему пернатому богу Кукаилимоку, какой-то благочестивый человек предложил королю покровительство своего бога. Его бога звали Пуа, и принимал он образ птицы, которую современные гавайцы употребляют в пищу; на их языке она называется алаэ. Камехамеха изъявил готовность испытать его бога, и для этой цели было воздвигнуто два дома; Камехамеху перенесли в один из них, но там он так ослаб, что не мог уже принимать пищи. Он пролежал там трое суток, после чего его жены, дети и военачальники, видя его слабость, перенесли его обратно, в собственное жилище. Вечером его перенесли в трапезную[56], где он взял в рот немного пищи, однако не смог ее проглотить и только выпил чашку воды. Военачальники приступили было к нему с расспросами, но он молчал, и его перенесли в спальню; вечером, часов в

десять, его снова перенесли в трапезную; как и прежде, он смог лишь попробовать еду. Тогда Каикиоэва обратился к нему со следующими словами: «Вот мы тут все собрались — твои младшие братья, твой сын Лихолихо и твой иностранец; поведай нам свою последнюю волю, чтобы слышали ее Лихолихо и Каахуману». Камехамеха переспросил: «Что вы говорите?» Каикиоэва повторил: «Завещание». Тогда он сказал: «Живите праведно, как я, и…» — Он не мог продолжать. Иностранец, мистер Юнг, обнял и поцеловал его. Хоапили также обнял его, шепнув ему при этом что-то на ухо, после чего умирающего снова перенесли в спальню. Около полуночи его перенесли еще раз в трапезную, вернее, просунули туда его голову, оставив туловище и ноги в спальне, смежной с трапезной. Необходимо тут отметить, что это беспрестанное перетаскивание больного из дома в дом объяснялось системой табу, тогда еще не отмененной. В те времена жилище туземца состояло из шести сообщающихся между собой хижинок — в одной молились, в другой размещалась мужская столовая, в третьей — женская, в четвертой спали, в пятой ткали капу (местное полотно), а в шестой пребывали женщины в известные периоды своей жизни.

Больного в последний раз перетащили в спальню, где он и умер, это произошло в два часа утра — обстоятельство, которому Леленохоку и обязан своим именем. Как только Камехамеха испустил дух, Калаимоку вошел в трапезную и стал всех гнать из нее. Там было два старика, один из них вышел, другой из любви к покойному королю, который его содержал, попросил разрешения остаться. Детей же заставили выйти. Калаимоку вошел в дом и собрал военачальников на совещание. Один из них сказал: «Вот мое мнение — нужно съесть его в сыром виде»[57]. На это Каахуману (одна из вдов покойного) возразила: «Мы, наверное, не имеем права распоряжаться его телом — оно, надо полагать, принадлежит его преемнику. То, что принадлежало нам — его дух, уже ушло. Пусть Лихолихо распоряжается его останками».

После этого разговора тело перенесли в святилище, с тем чтобы жрец и новый король исполнили над ним обряд, называющийся «уко». Зажарили священную свинью и предложили ее трупу, после чего он стал богом. Все это время король читал принятую в таких случаях молитву.

Затем жрец, обратившись к королю и военачальникам, сказал: «Прослушайте правила, которые надлежит соблюдать в отношении человеческих жертв при погребении. Если вам удастся схватить одного человека, пока тело находится еще здесь, — одного будет довольно; но как только тело покинет этот дом, понадобится четыре человеческих жертвы; если вы их не раздобудете до того, как мы понесем тело в могилу, понадобится десять человек; после же погребения их должно быть пятнадцать. С завтрашнего утра начинается табу, и если к тому времени не будет принесена жертва, придется убить сорок человек!» Затем верховный жрец Хевахева вопросил начальников. «Где будет резиденция короля Лихолихо?» Они отвечали: «Где? Это тебе лучше знать». Тогда жрец заметил, что есть два подходящих места — Кау и Кохала. Военачальники остановились на последнем, так как там население было гуще. «Любое из названных мной мест годится для королевской резиденции, — прибавил жрец, — но в Коне ему оставаться нельзя, она осквернена». Все согласились. Наступило утро. Короля понесли хоронить. Народ понял, что он умер, и поднялся громкий плач. Когда несли тело от дома до усыпальницы — расстояние в шестьдесят шесть футов, — навстречу процессии попался один человек, преданно любивший усопшего; он бросился на военачальников, которые несли тело мертвого короля. Он так его любил, что хотел сам умереть. Военачальники отогнали его. Он предпринял еще несколько попыток умереть, но безуспешно. Калаимоку тоже задумал умереть с ним, но Хукио помешал ему исполнить этот замысел.

Наутро после смерти Камехамехи — по совету жрецов — Лихолихо со свитой отправился в Кохалу, чтобы покинуть место, осквернённое смертью. По обычаям того времени, когда где-нибудь умирал большой начальник, вся земля считалась нечистой и наследники искали пристанища в другой части страны; только после того как труп умершего подвергался обработке и его кости зашивались в мешок, земля считалась очищенной от скверны. Если покойный не был начальником, осквернённым считалось лишь жилище его. После погребения в нем опять можно было жить. Таков был закон.

В то утро, когда Лихолихо отбыл на пироге в Кохалу,

военачальники и народ принялись оплакивать смерть своего короля и вели себя при этом, как безумцы и как дикие звери. Поведение их просто не поддается описанию. Жрецы между тем трудились над сооружением колдовского снаряда, чтобы с его помощью навлечь смерть на того человека, который вымолил смерть королю, ибо никто не верил, чтобы Камехамеха умер от болезни или старости. Когда жрецы установили перед горящим очагом шест с развевающейся полоской капы на нем, вошел военачальник Кееаумоку, брат Каахуману; он был пьян и сломал древко волшебного флага, из чего вывели, что Каахуману и ее родня виновны в смерти короля. На этом основании их всех подвергли оскорблениям.

Вот вам контраст, и контраст удивительный. Та самая королева Каахуману, которую «подвергли оскорблениям» во время чудовищных традиционных оргий по случаю смерти короля, впоследствии сделалась ревностной христианкой и верным и чрезвычайно полезным другом миссионеров.

В те времена (как, впрочем, и до сей поры) гавайцы специально разводили и откармливали собак на убой — отсюда упоминание об их ценности в приведенном мною тексте.

Сорок лет назад на островах после смерти какого-нибудь принца крови обычно наступал период страшнейшего беззакония и разнузданности. Представить себе эти ужасные сатурналии во всем их безобразии просто невозможно. Люди выбривали себе головы, выбивали зубы, иногда вырывали глаза, резали, били, уродовали и жгли себя, напивались, сжигали жилища, под горячую руку калечили и убивали друг друга, и все — мужчины и женщины — предавались самому необузданному и животному разврату. После этого наступало какое-то всеобщее отупение — растерянный и оглушенный народ начинал медленно приходить в себя, словно очнувшись после страшного, смутно вспоминающегося кошмара. Они не были солью земли, сии «мирные дети солнца».

До сих пор туземцы придерживаются старинного обычая, не слишком, надо полагать, утешительного для больных. Когда им начинает казаться, что больной умирает, вокруг его хижины собираются дюжины две соседей и дни и ночи напролет оглушительно вопят. Вопли эти прекращаются лишь тогда, когда больной либо умрет, либо выздоровеет. Обычай этот, вероятно, многих заставил несколько ускорить свое отбытие на тот свет. Такие же душераздирающие вопли раздаются у хижины туземца, возвратившегося домой из странствий. В представлении его

соотечественников удручающие эти звуки знаменуют собой радость встречи. Мы бы, пожалуй, предпочли обойтись без этой чести.

ГЛАВА XXVIII

«Снова на волнах». — Шумный пассажир. — Безмолвные пассажиры. — Сцена при луне. — Фрукты и плантации.

В один субботний вечер мы сели на славную шхуну «Бумеранг» и отчалили от Гонолулу. Мы взяли курс на остров Гавайи (от которого нас отделяло сто пятьдесят миль), где намеревались осмотреть знаменитый вулкан и прочие достопримечательности, отличающие этот остров от остальных островов группы.

«Бумеранг» наш был длиною в два вагона уличной конки, поставленные цугом, а шириною в один. Так мала была эта шхуна (хоть она и была больше обычных суденышек, курсирующих между островами), что, стоя на ее палубе, я чувствовал себя примерно так, как должен был чувствовать себя Колосс Родосский[58], когда у него под ногами проходил военный корабль. Всякий раз, что судно накренялось от порыва ветра, я рукой доставал до воды. Когда капитан, мой товарищ (некто Биллингс), я и еще четыре человека собирались на корме, в том конце палубы, куда допускалась только чистая публика — пассажиры, занимающие отдельные каюты, — там уже не было больше места. Другая часть палубы, вдвое больше нашей, была заполнена туземцами обоего пола — с их непременными собаками, циновками, одеялами, трубками, тыквенными сосудами с пои, блохами и прочими предметами роскоши, большими и малыми. Как только мы подняли паруса, все туземцы улеглись на палубе плотно один к одному, как негры-рабы в своем загоне, и курили, беседовали и поплевывали друг на друга с полнейшим дружелюбием.

Маленькая низенькая каютка под палубой была чуть побольше катафалка, и в ней было темно, как в склепе. У обоих стенок ее помещалось по два гроба, то бишь — по две койки. У передней переборки стоял небольшой стол, за которым одновременно могли обедать три человека; над столом висела лампа, заправленная китовым жиром. Это была самая тусклая лампа, какая когда-либо озаряла темницу, населяя ее толпой причудливых теней. Свободного пространства на полу было немного. Скажем так: яблоку не очень крупного сорта было бы где упасть. Трюм, смежный с каютой, был мало загружен, и в нем с утра и до ночи прохаживался старый петух, покрикивающий

головом Валаамовой ослицы[59] и, по-видимому, не менее словоохотливый, чем она. Обычно он обедал в шесть часов, затем забирался на бочку и кукарекал до глубокой ночи. С каждым возгласом он все больше хрипнул, но никакие соображения личного благополучия не могли помешать ему исполнять, свой долг, и он продолжал трудиться на своем поприще, рискуя схватить ангину.

Пока он стоял на вахте, о сне не могло быть и речи. Это был постоянный источник досады и раздражения. Кричать на него, обращать к нему бранные эпитеты было более чем бесполезно — наши крики, которые он воспринимал как овацию, заставляли его стараться пуще прежнего. Время от времени, в течение дня, я кидал в него картошкой через отверстие в переборке, — петух отскакивал в сторону и продолжал надрываться.

В первую ночь, лежа в своем гробу, лениво следя за мутной лампой, раскачивающейся в такт качки нашего суденышка, и вдыхая зловоние застоявшейся в трюме воды, я вдруг почувствовал, что кто-то скачет по моему телу. Я живо спрыгнул на пол. Убедившись в том, что это всего-навсего крыса, я снова улегся. Вдруг еще что-то проскакало по мне, и на этот раз не крыса. Я подумал, не сороконожка ли, потому что как раз сегодня капитан убил одну на палубе. Я вскочил. Взглянул на подушку: по обеим сторонам ее стояли отвратительные часовые — тараканы размером с лист персикового дерева, этакие здоровенные детины с трепещущими усиками и злобно сверкающими глазами. Они скрежетали зубами, как гусеница бражника, и казались чем-то недовольны. Я слыхал об их обычае обгрызать у спящих матросов ногти на ногах до самого мяса и не стал ложиться на койку. Лег на пол. Но и тут мне не было покоя: то крыса пристанет, то отряд тараканов расположится бивуаком у меня в волосах. Вскоре закукарекал с необычайным подъемом петух, и целое стадо блох стало проделывать на мне свои беспорядочные двойные сальто; приземляясь, акробатки не забывали куснуть меня. Я не на шутку обиделся, встал, оделся и вышел на палубу.

Мое описание — отнюдь не гипербола, а правдивая зарисовка из жизни на островной шхуне. Когда судно везет черную патоку и партию канаков, об изяществе жизни думать не приходится.

Зато я был полностью вознагражден за свои страдания, когда вышел на палубу и моим глазам предстала картина неожиданной красоты. После могильного мрака каюты я вдруг очутился в ярком сиянии луны; кругом меня сверкало море расплавленного серебра; паруса надулись на ветру, судно накренилось, яростная пена с шипением проносилась с подветренного борта.

Сверкающие фонтаны вздымались высоко над носом и тут же

падали дождем на палубу. Как хорошо было стоять вот так, напрягши каждый мускул и ухватившись за первый попавшийся предмет, — шляпа надвинута на самый лоб, полы сюртука развеваются по ветру, и вас охватывает тот особенный, неповторимый восторг, когда кажется, что волосы шевелятся на голове и по спине бегают мурашки — от сознания, что все паруса наполнены ветром и что судно режет волну на предельной скорости! Куда девался унылый, мутный сумрак? Все сияло. Распростертые фигуры туземцев, каждая бухта каната, каждый тыквенный сосуд с пои, каждый щенок, каждая щель в полу палубы, каждый винтик — все, до самого мелкого предмета, имело свой яркий, чеканный рисунок. Тень от широкого полотнища грот-марселя легла черным плащом на палубу, и белое запрокинутое лицо Биллингса сияло нестерпимым блеском, в то время как остальная часть его была совершенно поглощена этой тенью.

В понедельник утром мы уже подходили к острову Гавайи. Ясно виднелись две высокие его горы — Мауна-Лоа и Хуалаиаи. Последняя представляет собой довольно внушительную кручу, но, так как она поднимается всего на десять тысяч футов над уровнем моря, о ней редко кто упоминает и мало кто о ней слышал. Высота Мауна-Лоа, как говорят, шестнадцать тысяч футов. Изнывая под палящим солнцем, сладко было смотреть на ослепительную белизну льда и снега, словно птичьей лапой охвативших вершину горы. Если бы стать там (предварительно закутавшись в меха и одеяла), то оттуда можно было бы, посасывая сосульку или снег и скользя взглядом вдоль склона горы, увидеть последовательно растительность холодного севера, умеренного пояса и — у самого подножия — родину косматой кокосовой пальмы и прочей флоры знойных стран вечного лета. Единым взглядом можно было бы охватить все климатические зоны, и это на протяжении каких-нибудь четырех или пяти миль по прямой!

Мы сели в шлюпки и высадились на берег в Каилуа, с тем чтобы проехать верхом через благодатные апельсиновые и кофейные плантации Кона и снова сесть на судно в другом месте. Это путешествие стоит проделать. Дорога идет высоко — примерно тысяча футов над уровнем моря — и приблизительно в миле от берега, так что море почти все время видно. Подчас, однако, мы вдруг оказывались в гуще пышной тропической растительности, среди дремучего леса, где ветви деревьев нависали над дорогой, скрывая и солнце, и море, и весь мир, — и тогда казалось, что мы едем полутемным тенистым туннелем, наполненным пением невидимых птиц и благоуханием цветов.

Приятно было время от времени выезжать из этого туннеля на солнышко и услаждать свои взоры зрелищем беспрестанно меняющейся панорамы лесов (под нами и впереди нас) с их богатством красок, нежной светотенью и мягкими волнистыми переходами холмов к морю. А после этого было приятно расстаться со знойным солнцем и, вновь погрузившись в прохладную зелень леса, предаться сентиментальным размышлениям, которые навевал его задумчивый сумрак и вечно шепчущая листва.

Мы проезжали апельсиновой рощей, насчитывающей десять тысяч деревьев! Все они ломились под тяжестью плодов.

В одном месте нас угостили крупными персиками отличного вкуса. Впрочем, как правило, эти плоды не слишком хорошо приживаются на Сандвичевых островах. Обычно они здесь маленькие, миндалевидные по форме и горьковатые на вкус. Говорят, что персик любит мороз; если это так, местные персики обречены любить его всю жизнь без взаимности, ибо чего-чего, а морозов они не дождутся. Персиковые деревья, плодами которых нас угостили, пересаживали шестнадцать раз, и именно этому обстоятельству хозяин сада приписывал свою удачу.

Проехали мы несколько сахарных плантаций. Их развели недавно, и они не были обширны. В большинстве случаев с них снимали только четвертый урожай, или третий «раттун» (так называют урожай, снятый с тростника, растущего из старых корней, после того как один раз уже снимали урожай). Почти повсеместно на острове Гавайи для созревания сахарного тростника требуется двенадцать месяцев; снимать урожай полагается тотчас, как тростник заколосится, однако не страшно, если пройдет и четыре месяца после колошения. В Коне, как говорят, средний урожай с одного акра — две тонны сахара. Для островов — это скромный урожай, в Луизиане же и на большей части других сахарных плантаций мира такая цифра показалась бы фантастической. Так как плантации Кона расположены довольно высоко, в зоне частых дождей, никакого искусственного орошения не требуется.

ГЛАВА XXIX

Занятный тип. — Миссис Бизли и ее сын. — Размышления о репе. — Письмо от Хорэса Грили. — Негодующий ответ. — Письмо расшифровано, но — увы! — поздно.

На одной из этих плантаций мы остановились — покормить лошадей, а кстати отдохнуть и самим. Мы застали тут нескольких джентльменов и разговорились с ними. Однако один из них, пожилой человек с рассеянным выражением лица, не принимал участия в общей беседе. Окинув нас беглым взглядом, он поздоровался с нами и снова погрузился в размышления, которые наш приход, очевидно, прервал. Хозяева плантации шепнули нам, чтобы мы не смущались, так как он сумасшедший. Он приехал на острова лечиться; а был когда-то священником и проживал в Мичигане. Как только он выйдет из задумчивости, продолжали наши хозяева, он непременно заговорит о своей переписке с мистером Грили, возникшей по какому-то пустячному поводу, — и тогда уж нужно слушать его со вниманием и ни под каким видом не разубеждать в том, будто бы весь мир только и говорит, что об этой переписке.

Нетрудно было заметить, что мы имеем дело с человеком кротким и что мания его носит характер самый безобидный. Он был бледен и казался усталым; чувствовалось, что его гнетет какая-то постоянная забота. Он подолгу сидел потупившись, время от времени бормотал что-то себе под нос и то кивал одобрительно головой, то укоризненно покачивал ею: казалось, он весь был поглощен своими мыслями или воспоминаниями. Мы же продолжали болтать с хозяевами плантации, перескакивая с предмета на предмет. Наконец оброненное кем-то слово «обстоятельство» заставило его насторожиться. Лицо его оживилось, он обернулся к нам и сказал:

— Обстоятельство? Какое обстоятельство? Ах, я знаю, слишком хорошо знаю. Так, значит, и вы уже слыхали? (Вздох.) Ну да ладно, весь мир знает. Весь мир. Весь. А ведь мир велик, и вот на-поди — всюду уже говорят об этом! Да, да, переписка Грили с Эриксоном, к великому моему сожалению, породила ожесточеннейшие споры как в Америке, так и в Европе, — споры, которые не прекращаются и поныне! Правда, благодаря этой перепалке мы прославились, но какой ценой, какой ценой! Я был чрезвычайно огорчен, узнав, что наша переписка послужила

причиной этой страшной и кровопролитной войны в Италии. Что мне до того, что победители были на моей стороне, а побежденные — на стороне Грили? Меня это нимало не утешило. Равно как и то, что ответственность за битву при Садовой[60] падает на Хорэса Грили, а не на меня. Королева Виктория писала мне, что целиком разделяет мою точку зрения на происшедшее. Ей и самой, пишет она, противен Грили и, главное, весь тот дух, который сквозит в его письмах. Однако, продолжает она, пусть бы ее озолотили, пусть бы ей предложили сто долларов — она бы не дала своего согласия на Садовскую бойню! Да я, если интересуетесь, могу показать вам ее письмо. Вы, господа, верно, думаете, что вам и так все известно о нашей злосчастной переписке. Однако правильное освещение всей этой трагедии могу вам дать я, и только я. В газетах и даже в книгах по истории — да, да, подумайте — даже в книгах! — все несколько искажено, приглажено. Разрешите мне — ну пожалуйста! — изложить вам все дело так, как оно обстояло в действительности. Я не злоупотреблю вашим вниманием, вот увидите!

Тут он подался вперед — весь увлечение, весь порыв — и начал свой рассказ. Изложение его было трогательно и просто, без всяких вычур. Можно было подумать, что перед нами добросовестный свидетель, который только что принес присягу и дает свои показания в интересах справедливости. Вот его речь:

— Миссис Бизли, миссис Джексон Бизли, вдова, проживающая в деревне Кемблтон, штат Канзас, написала мне письмо по вопросу, который задевал ее за живое, — многим ее дело может показаться пустячным, но для нее самой оно представлялось чрезвычайно серьезным. Я был священником в ту пору. Миссис Бизли была и есть женщина, достойная всяческого уважения, женщина, для которой бедность и невзгоды служили лишь стимулом к прилежанию, а не поводом к унынию.

Единственным ее сокровищем был сын ее Уильям, юноша, стоявший на самом пороге зрелости, благочестивый, благонравный, искренне преданный сельскому хозяйству, утешение и гордость своей матери-вдовы. Итак, движимая любовью к нему, она написала мне об одном деле, которое, как я уже говорил, она принимала близко к сердцу, — ибо близко к сердцу принимал это дело ее сын. Она просила меня поговорить с мистером Грили о репе. Молодое честолюбие ее сына было сосредоточено на репе. В то время как его сверстники тратили драгоценные годы расцвета своих сил — годы, дарованные нам господом богом для приготовления к полезной деятельности, — на ветреные утехи, ее мальчик терпеливо обогащал свой ум сведениями, касающимися репы. Чувство, которое он испытывал к

репе, было сродни обожанию. Он не мог думать о ней без волнения, не мог говорить о ней без дрожи в голосе, не мог смотреть на нее без восторга, есть ее без слез. Вся поэзия его чувствительной души сосредоточилась на благодатном этом растении. Заря уже заставала его в поле, а когда падающая завеса почти гнала его домой, он запирался в своей комнате и штудировал материал о репе до тех пор, пока сон не смежал ему вежды. В дождливые дни он часами беседовал со своей матерью о репе. Когда приходили гости, он считал своим приятным долгом бросить все дела и целый день рассказывать им о том великом счастье, какое он постоянно черпает в репе. Но совершенное ли, полное ли это было счастье? Не было ли тут примеси горечи, ложки дегтя? Увы, она была! Тайный червь точил его сердце. Никак не удавалось ему осуществить заветную свою мечту, а именно — начать культивировать репу как ползучее растение. Так шли месяц за месяцем; румянец покинул его щеки, во взгляде уже не было прежнего огня, на смену улыбке и оживленному разговору пришла глубокая задумчивость, пришли тяжелые вздохи. Бдительное око матери вскоре заметило эту перемену, и материнское сердце дозналось до тайной причины ее. В результате — ее письмо ко мне. Она умоляла отнестись к ней со вниманием, — сын ее, писала она, чахнет день ото дня.

Я не был лично знаком с мистером Грили, но разве в этом суть? Дело не терпело отлагательства. Я написал ему, умоляя его по возможности разрешить трудную задачу и спасти жизнь молодого исследователя. Между тем собственное мое сочувствие, разгораясь все более, перешло все границы, так что я вскоре сам был весь охвачен материнской тревогой. Я нетерпеливо ждал ответа. Наконец он пришел.

Оказалось, что я почти не могу разобрать, что написано в письме, — почерк был незнакомый, и к тому же я был слишком взволнован. О вопросах, связанных с участью несчастного юноши, в письме говорилось как-то вскользь, в основном же оно было посвящено совершенно посторонним предметам: булыжнику, электричеству, устрицам, еще какому-то понятию, которое я читал то как «искупление», то как «ископаемые». Впрочем, слова эти, на мой взгляд, не имели решающего значения. Письмо, хоть и несколько бессвязное и поэтому не очень для наших целей полезное, было все же выдержано в доброжелательном тоне. Решив, что волнение мешает мне соображать как следует, я отложил письмо, с тем чтобы прочесть его утром. Наутро я его перечел, все еще с трудом и неуверенно, так как душевный покой был нарушен и сознание несколько затуманено. На этот раз в письме было больше связи, но все же оно не соответствовало

своему назначению — выручить человека из беды. Оно охватывало слишком много тем сразу. Читалось оно следующим образом (впрочем, мне не все слова удалось разобрать[61] до конца):

> *Полигамия подделывается под величие; экстракты восстанавливают полярность; причины существуют и поныне. Овации преследуют мудрость, или бородавки наследуют и проклинают, Бостон, ботаника, печенье, преступление предпринимает, но как смягчит? Мы не боимся.*
>
> *Вшпрнга*
> *Хрясь Эвилой*

О репе на этот раз ни слова, ни намека на то, как превратить ее в ползучее растение. Ни о матери, ни о сыне Бизли даже не упоминалось. Я отложил дальнейший разбор письма на следующий день. Лег без ужина и наутро даже не завтракал. Таким образом, со свежей головой и с новой надеждой я опять принялся за работу. Теперь письмо читалось совсем иначе, одна лишь подпись сохранилась в том же виде, — впрочем, я ее объяснял довольно безобидным желанием моего корреспондента подделаться под древнееврейский язык. Подпись, безусловно, принадлежала мистеру Грили, ибо письмо было написано на бланке газеты «Трибуна», а я там ни к кому, кроме Грили, не обращался. Письмо, как я уже сказал, приняло на этот раз совершенно другой вид, но на нем все еще лежала печать эксцентричности, и автор упорно уклонялся от основной темы. Вот каким оно мне показалось теперь:

> *Боливия импровизирует скумбрию; боракс уважает полигамию; колбасы вянут на востоке. Творение потеряно, кончено; горести врожденные остается лишь проклинать. Пуговицы, пуговицы, пробки, геология недооценивает, но мы смягчим. Пиво все.*
>
> *Вшпрнга*
> *Хрясь Эвилой*

Я переутомился. Это было ясно. Умственные способности мои были понижены. Поэтому я дал себе два дня на отдых и с новыми силами приступил к работе. Вот какой вид приняло письмо на этот раз.

> *Боровы подчас давятся отрубями; тюльпаны сокращают потомство; увеличивают сопротивление*

шкуры. Наши представления дают силу мудрости, позволим себе, пока можно. Масло и никаких печений, наполнит любого гробовщика, мы его отлучим от девицы. Нам жарко.

Вшпрнга
Хрясь Эвилой

Однако и этот вариант меня не удовлетворял. Все это были общие места, не решающие основной проблемы. Правда, формулировки, сжатые и энергичные, обладали даже известной убедительностью, но в такой момент, когда дело шло о жизни человеческой, они казались неуместны, легкомысленны и отдавали дурным тоном. Во всякое другое время я был бы не то что счастлив — я гордился бы тем, что такой человек, как Грили, прислал мне подобное письмо; я бы всерьез занялся изучением его и попытался бы извлечь из него максимум пользы для себя. Но тут, когда бедный этот мальчик сидит и ждет на далекой своей родине хоть какого-нибудь облегчения своим мукам, — судите сами, до самообразования ли мне было?

Прошло еще три дня, и я снова прочел письмо. Содержание его продолжало видоизменяться. Вот что мне довелось разобрать теперь:

Напитки подчас пробуждают вина; репа смягчает страсти, необходимо указать причины. Приставайте к несчастной вдове, имущество ее мужа будет аннулировано. Но грязь, купание и т.д. и т.д., употребляемые без меры, выбьют из него дурь — так что не сквернословьте.

Вшпрнга
Хрясь Эвилой

Это уже было ближе. Но я не мог продолжать. Я был слишком измучен. Слово «репа» вселило в меня кратковременную радость и бодрость; но я слишком ослабел, к тому же все это промедление могло бы повести к гибели мальчика, и вот я отказался продолжать свои изыскания и решился поступить так, как, собственно, нужно было поступить с самого начала. Я сел за стол и написал мистеру Грили следующее письмо:

Дорогой сэр! К сожалению, мне не удалось до конца разобрать Ваше любезное письмо. Мне трудно поверить, сэр, будто бы «репа смягчает страсти», — во всяком случае, изучение репы и наблюдения над нею не способствуют этому, ибо именно подобное занятие и

отравило сознание нашего юного друга, одновременно подточив и физические его силы. Если же верно, что репа смягчает страсти, не будете ли Вы так любезны и не сообщите ли, в каком виде ее следует принимать? Должен далее заметить, что Вы утверждаете, будто «необходимо указать причины», а между тем сами их не указываете.

Совершенно неосновательно Вы, по-видимому, приписываете мне корыстные — чтобы не сказать больше — мотивы в этом деле. Уверяю Вас, дорогой сэр, что если Вам и показалось, что я «пристаю к вдове», то это чистое недоразумение, которое, я надеюсь, мне удастся аннулировать в Ваших глазах. Я никоим образом не повинен в той роли, которую мне приходится сейчас играть. Она сама просила меня написать Вам. Я не думал приставать к ней, я, если хотите знать, почти и незнаком с ней. Да и вообще не имею обыкновения приставать к людям. Стремлюсь жить себе скромненько, по возможности праведно, никому не причинять вреда, и никогда не позволил бы себе, например, намеков на чужой счет. Что «до ее мужа и его имущества», у меня хватает своего имущества, во всяком случае обойдусь без чужого, — не в моих правилах вынюхивать, где чье имущество «аннулировано». Однако неужели Вам не ясно, что, поскольку женщина эта — вдова, у нее не может быть никакого «мужа»? Он умер или, во всяком случае, прикинулся мертвым на своих похоронах. Поэтому никакие «грязь, купанье и т.д. и т.д.» не «выбьют из него дури» — если быть покойником, по-Вашему, «дурь». Заключительное же Ваше замечание столь же невежливо, сколь несправедливо; и если верить слухам, сэр, Вы могли бы применить его к себе с большим успехом и основанием.

Искренне Ваш

Саймон Эриксон

Прошло несколько дней, и мистер Грили сделал то, что ему следовало бы сделать с самого начала. Тогда все эти неприятности, недоразумения, недуги — как душевные, так и физические — не имели бы места. Короче говоря, он прислал копию, или, вернее, перевод со своего первого письма, сделанный рукой секретаря, чей почерк оказался вполне вразумительным. Тайна рассеялась, и я убедился, что все это время имел дело с человеком прекрасной души. Повторяю вам окончательный текст письма, в новом, усовершенствованном его разночтении:

(Перевод)

Картофель иногда удается культивировать как ползучее растение; репа сохраняет пассивность; причины указывать незачем. Сообщите вдове, что все усилия ее сына напрасны. Впрочем, с помощью правильной диеты, морских купаний и т.д. и т.д. возможно исцелить его от этого вздора. Итак, не волнуйтесь.

Ваш покорный слуга

Хорэс Грили

Увы, джентльмены, было уже поздно. Да. Преступная халатность сделала свое дело — юного Бизли не стало. Душа его отлетела туда, где не царит тревога, где все желания исполняются, все цели достигаются. Беднягу похоронили, вложив ему по репе в каждую руку.

Так заключил свой рассказ Эриксон, после чего он снова впал в обычное свое состояние, принялся трясти головой, бормотать что-то себе под нос, позабыв об окружающем мире… Все стали расходиться, оставив его в одиночестве… Отчего же он все-таки сошел с ума, так никто и не сказал. Я как-то растерялся и позабыл спросить.

ГЛАВА XXX

Бухта Кеалакекуа. — Смерть капитана Кука. — Памятник Куку. — Как он сделан. — На шхуне.

В четыре часа пополудни мы завершали наше приятное путешествие, спускаясь к морю по унылому и пустынному склону горы, образованной застывшей лавой. Лава эта накопилась за много веков. Огненные потоки один за другим скатывались по склонам гор, поднимая остров все выше и выше над морем. Ноздреватая лава полна пещер. Копать колодцы в этой почве бессмысленно: вода бы в ней не удержалась, — не говоря уже о том, что и воды в ней не найти. Таким образом, плантаторы здесь целиком зависят от цистерн.

Последнее извержение лавы происходило так давно, что живых свидетелей его не встретишь и среди стариков. В одном месте лава хлынула на кокосовую рощу и выжгла ее всю; там, где проходили стволы деревьев, в лаве сохранились цилиндрические отверстия, стенки их хранят следы отпечатков древесной коры; на местах, где в огненный ручей попадали деревья, в лаве запечатлелся точный оттиск каждого сучка, веточки, листа, даже самих плодов, — словно для того, чтобы грядущий охотник до курьезов природы мог впоследствии любоваться этими оттисками.

Надо полагать, что во время извержения и тут стояли часовые, но, в отличие от римлян, охранявших Геркуланум и Помпею, канаки не оставили своих отпечатков в лаве. Жаль, конечно — подобные оттиски весьма любопытны, — да что делать — на нет суда нет! Они, верно, ушли со своего поста. Не стали ждать. Каждому — свое, впрочем. Поведение римлян свидетельствует об их храбрости, зато канаки проявили больше здравого смысла.

Вскоре показалась бухта, история которой известна школьникам всего мира, — бухта Кеалакекуа, где капитан Кук, знаменитый мореплаватель, почти сто лет тому назад был убит туземцами. Заходящее солнце пылало над бухтой, шел летний дождь, и две великолепные радуги перекинулись с одного края ее на другой. Два всадника оторвались от нашей группы и ехали впереди, в некотором отдалении от остальных. Вдруг на одном из них на какой-то короткий миг засияла божественным светом одежда — он въехал в радугу! Зачем у капитана Кука, когда он

сделал свое великое открытие, не хватило вкуса назвать эту землю Островами Радуги? Очаровательное зрелище, которое мы только что видели, попадается тут на каждом шагу. Это явление обычно для всех островов. Его можно видеть каждый день, а подчас и ночью, причем это совершенно непохоже на нашу серебристую дугу, раз в сто лет появляющуюся в Соединенных Штатах в лунную ночь, — здесь радуга является во всем великолепии ярких и прекрасных тонов, как подобает детищу солнца и дождя. Совсем недавно я сам наблюдал ночную радугу. Кусочки радуги, похожие на разноцветные витражи соборов, — то, что моряки называют «дождевыми собаками», — часто проплывают по небесам в здешних широтах.

Бухта Кеалакекуа представляет собой завиточек, подобный последнему завитку раковины. Она довольно глубоко врезается в берег, и расстояние от одного берега ее до другого кажется не больше мили. По одну сторону бухты, на том ее берегу, где было совершено убийство, — небольшой плоский клочок земли, на котором высится кокосовая роща и стоит несколько полуразвалившихся домиков; крутая стена лавы — в тысячу футов высотой в своей высшей точке и в триста или четыреста в низшей — спускается с горы и служит границей этой равнины. Своим названием — Кеалакекуа — бухта обязана именно этой стене. В переводе это слово означает: «дорога богов». Туземцы говорят (и, несмотря на свое христианское воспитание, до сих пор верят в это), что великий бог Лоно, который некогда жил на склоне горы, всегда пользовался этой дорогой, когда срочные дела, связанные с работой небесной канцелярии, требовали его присутствия на берегу.

Меж тем как багряное солнце смотрело на спокойный океан сквозь высокие гладкие стволы кокосовых пальм, словно краснорожий пьянчужка, выглядывающий из-за решетки городской тюрьмы, я подошел к воде и стал на плоскую скалу, на которой стоял в последний раз капитан Кук, когда роковой удар лишил его жизни. Я пытался представить себе мысленно, как обреченный капитан отбивался от яростной толпы дикарей, как матросы на судне, собравшись у борта, в тревоге и растерянности смотрели на берег, и… и не мог представить себе всего этого.

Начало темнеть, лил дождь, и мы видели, как вдали беспомощно застрял наш «Бумеранг» с повисшими парусами. Удалившись под сень маленькой унылой коробки — склада, я уселся покурить и подумать, мысленно подгоняя «Бумеранг» к берегу, — за последние десять часов мы почти ничего не ели и жестоко проголодались. Простое, неприкрашенное изложение фактов лишает убийство капитана Кука какого бы то ни было

романтического ореола и подсказывает приговор: справедливое возмездие. На всех островах население радушно приветствовало Кука и щедро снабжало его суда всевозможной провизией. В ответ на их любезность он оскорблял их и всячески помыкал ими. Обнаружив, что его принимают за давно исчезнувшего и всеми оплакиваемого бога Лоно, он поддерживал в туземцах это заблуждение ради неограниченной власти, которой он таким образом у них пользовался. И вот, во время знаменитого мятежа, вспыхнувшего на этом месте, когда он с товарищами стоял посреди пятнадцатитысячной толпы озверевших дикарей, кто-то из них его поранил, и он выдал свое земное происхождение, испустив стон. Тем самым он произнес свой смертный приговор. В ту же минуту поднялся крик: «Он стонет! Он — не бог!» Толпа бросилась на него и расправилась с ним.

Мясо его тут же счистили с костей и сожгли (кроме девяти фунтов, посланных на корабль). Сердце подвесили под потолком одной туземной хижины. Трое детей обнаружили его там, приняли за собачье и съели. Один из этих «сердцеедов» дожил до глубокой старости и умер в Гонолулу всего несколько лет назад. Офицеры капитана Кука подобрали несколько костей своего начальника и предали его морю.

Особенно осуждать туземцев за убийство Кука не следует. Они относились к нему хорошо. В ответ он обижал их. И сам он и его матросы не раз поднимали руку на туземцев и успели убить по крайней мере троих из них, прежде чем туземцы надумали отплатить им той же монетой.

На берегу мы обнаружили «памятник Куку» — пень кокосовой пальмы, четыре фута в вышину и примерно один фут в диаметре. Он был обложен валунами из лавы — они поддерживали памятник, который был весь, сверху донизу, обвешан грубыми, потемневшими щитами из меди — той самой меди, какой обшивают киль корабля. На щитах были нацарапаны — по всей видимости, гвоздем — какие-то каракули. Работа чрезвычайно грубая. В большей части надписей сообщалось о посещениях памятника различными офицерами английского флота, в одной же значилось:

Возле этого места пал

КАПИТАН ДЖЕМС КУК

Выдающийся Мореплаватель,

Когда убили Кука, его помощник, находившийся в это время на судне, открыл огонь по толпе туземцев, кишащей на берегу. Одно ядро попало в ствол этого дерева, и таким образом получился сей монументальный пень. В сумерках, под дождем, он показался нам унылым и одиноким. Как-никак, это единственный памятник капитану Куку. Правда, спускаясь с горы, мы набрели на какой-то довольно обширный участок, огороженный глыбами лавы и похожий на свиной загон, — на этом месте мясо капитана Кука было снято с костей и сожжено. Вряд ли, впрочем, можно это считать памятником, так как туземцы воздвигнули его не столько в честь знаменитого мореплавателя, сколько для того, чтобы зажарить его мясо. Род мемориальной доски был прикреплен к высокому шесту. Некогда на ней была надпись, повествующая о памятном событии, здесь происшедшем. Но солнце и ветер давно уже так обработали надпись, что теперь ни слова нельзя было разобрать.

Около полуночи поднялся хороший бриз; наша шхуна вошла в бухту и бросила якорь. К берегу за нами подъехала шлюпка, а через несколько минут туч и дождя как не бывало. Луна озаряла своим спокойным сиянием сушу и море, а мы легли на палубу и уснули. Это был здоровый сон, полный счастливых сновидений, какие выпадают лишь на долю усталых и невинных людей.

ГЛАВА XXXI

Молодые канаки в Новой Англии. — Храм, выстроенный призраками. — Купальщицы. — Я в роли сторожа. — Женщины и виски. — Священная война. — Миссионеры прибыли.

Утром, овеваемые ветерком, мы вышли на берег и посетили развалины храма последнего гавайского бога, Лоно. Верховный повар этого храма — жрец, в чьем ведении находился храм и который жарил человеческие жертвы, — доводился родным дядей Обоокии, который работал одно время под его началом. Обоокиа же был тот самый молодой и способный туземец, которого некий капитан китобойного судна увез вместе с тремя его соотечественниками в Новую Англию во времена Камехамехи. Эти-то юноши и привлекли внимание религиозных кругов к их родине. В результате туда были направлены миссионеры. Обоокиа прославился еще тем, что сел на церковную паперть и заплакал при мысли, что у его соотечественников нет библии. Инцидент этот описан весьма подробно в прелестных книжечках, издаваемых для учеников воскресных школ, и описан так трогательно, так нежно, что я сам, в бытность свою учеником воскресной школы, проливал над ним слезы. Плакал я тогда, впрочем, так, из принципа, ибо я мало что соображал в те времена вообще. В частности, я не мог понять, зачем народам Сандвичевых островов убиваться оттого, что у них нет библии, когда они даже не знают о существовании ее.

Обоокиа был обращен в христианскую веру и обучен грамоте. Он должен был возвратиться на родину вместе с первой партией миссионеров, но не дожил до этого часа. Зато юноши, привезенные одновременно с ним, вернулись, и двое из них ревностно служили вере в качестве священников. Третий же, Уильям Кануи, впоследствии на некоторое время сбился с пути. Когда в Калифорнии разразилась золотая лихорадка, он двинулся туда и сделался старателем, несмотря на свои пятьдесят лет. Он достиг неплохих результатов на этом поприще, но крах «Пейдж, Бекон и К°» облегчил его на шесть тысяч долларов, так что на старости лет он оказался банкротом. После этого он снова понес слово божие в мир и до самой смерти своей служил священником в Гонолулу, где и умер в 1864 году.

Прилегающий к храму участок — широкая полоса, идущая от самого моря и до вершины горы, — считался в древности

владением бога Лоно. Туземцу, случись ему ступить кощунственной ногой на священную эту почву, пришлось бы тотчас составить завещание, ибо песенка его была бы спета. Участок этот можно было объезжать водой, проходить по нему строго воспрещалось. Там и сям на участке были разбросаны храмы и торчали грубые, аляповатые идолы — обтесанные деревянные чурбаны. Был там и специальный храм, в котором молили о дожде. С мудрой предусмотрительностью его поместили почти на самой вершине горы, так что если бы вы молились о дожде двадцать четыре раза на дню, ваши мольбы были бы услышаны каждый раз. Пока вы дошли бы до слова «аминь», вам пришлось бы уже раскрыть зонт.

Неподалеку находился еще огромный храм, воздвигнутый за одну ночь, в бурю, грозу и дождь, призрачными руками мертвецов! Если верить преданию, при зловещем свете молнии можно было увидеть бесшумную толпу призраков. Высоко по склону горы, в глухую полночь, творили они свое диковинное дело — сновали вверх и вниз, держа огромные обломки лавы своими бесплотными пальцами, появляясь с бледным светом зарницы и с нею же исчезая во мраке. Говорят, что туземцы по сей день взирают на мрачное это строение со священным трепетом и избегают проходить мимо него по ночам.

В полдень я набрел на группу молодых и обнаженных дам, купавшихся в море, и уселся на берегу — сторожить их вещи. Я умолял купальщиц выйти из воды: начинался прилив, и мне казалось, что они рискуют жизнью. Они же бесстрашно продолжали свои игры. Плавали и ныряли они в совершенстве, и видно было, что купание составляет для них высшее блаженство. Они плавали взапуски, брызгались, окунали и перевертывали друг дружку в воде, и воздух звенел от их смеха. Говорят, что ребенок, родившийся на островах, первым делом обучается плавать. Искусство ходить, как второстепенное, постигается позднее. Рассказывают всевозможные случаи, когда туземец или туземка приплывали на берег с какого-нибудь судна, находящегося за много миль в море. При этом называют такие цифры, что я не только ручаться за них, но даже и приводить их не смею. Рассказывают также об одном туземце, который, нырнув на тридцать или сорок футов в глубину, вынырнул оттуда с наковальней! Если память мне не изменяет, наковальню он впоследствии проглотил. На этом обстоятельстве, я, впрочем, не настаиваю.

Я уже говорил тут о боге Лоно. Остается добавить к сказанному еще два слова.

Кумиром, представлявшим для туземцев этого бога, служил

тонкий гладкий шест в двенадцать футов высотой. Существует предание, что это был излюбленный бог жителей острова Гавайи, что был он первоначально их царем и за великие заслуги его произвели в боги, — совсем как наша система награждения героев, с той лишь разницей, что у нас его, вероятно, сделали бы не богом, а почтмейстером. Как-то под горячую руку он убил свою жену, богиню по имени Каикилани Аиии. Раскаяние и угрызения совести довели его до безумия; и предание рисует нам небывалую картину бога-бродяги: в безысходной тоске слонялся он с места на место, вступая в кулачный бой и борьбу со всяким, кто попадался ему на пути. Как и следовало ожидать, занятие это, едва только оно утеряло прелесть новизны, приелось богу, ибо само собой разумеется, что, когда столь мощное божество клало хилого смертного на обе лопатки, последний уже не вставал. Поэтому Лоно учредил нечто вроде олимпийских игр в свою честь, назвав их «макахики», а сам отплыл в чужие края на треугольном плоту, пообещав когда-нибудь вернуться. С тех пор никто никогда не видел Лоно. Скорее всего, плот его захлестнула волной. Однако народ продолжал его ждать — и потому-то с такой легкостью принял капитана Кука за воскресшего своего бога.

Кое-кто из стариков туземцев до самой своей смерти продолжал верить в то, что Кук был богом Лоно; большинство же не верило, ибо не допускало, чтобы бог мог умереть.

На расстоянии какой-нибудь мили от бухты Кеалакекуа находится еще одна достопримечательность — место, где произошла последняя битва за языческих кумиров. Мы не преминули посетить его и, как большинство людей, которые ходят смотреть на подобные памятники старины без соответствующего настроения, ровно ничего не вынесли из этой экскурсии.

В то время как первые миссионеры еще только огибали мыс Горн, туземцы вдруг отказались от языческих обычаев, царивших на острове с незапамятных времен. Старый Камехамеха I умер. Его сын и наследник Лихолихо, бонвиван, гуляка и пьянчужка, ненавидел строгости, налагаемые древним табу. Вдовствующая королева Каахуману, помогавшая ему править народом, женщина гордая и независимая, ненавидела табу, лишавшее ее пол каких-либо прав и низводившее женщину до положения бессловесных животных. С этого началось. Лихолихо стал задумываться о том, чтобы положить конец древнему обычаю. Каахуману, не задумываясь, подстрекала его к этому. Остальное довершило виски. Это был, вероятно, первый случай в истории, когда виски разительным образом послужило на пользу цивилизации.

Лихолихо прибыл в Каилуа на великий пир. Он был пьян, как сапожник. Бестрепетная королева раздула его хмельную храбрость до степени отчаянной отваги, и Лихолихо на глазах изумленной толпы соотечественников решительно выступил вперед и сел среди женщин. Народ в ужасе взирал на то, как он ел из одной посуды с ними. Грозные минуты медленно сменяли одна другую, а король все ел, все оставался живым, и оскорбленные боги не разили его молниями. Внезапно всех осенила истина, словно божественное откровение. Вековое суеверие растаяло, как облако, и толпа разразилась криками:

— Табу нарушено! Табу нарушено!

Так король Лихолихо, вместе со своим ужасным виски, прочел первую проповедь, проложив дорогу для новой веры, которая неслась к ним с севера по волнам Атлантики.

Когда табу было нарушено и никакого возмездия не последовало, туземцы со свойственной им детской непосредственностью тут же решили, что боги их — мелкое мошенничество и ничего больше, — точно так же, как до этого, услышав стон капитана Кука, они решили, что он не может быть богом, и убили его на месте. Они не дали себе даже времени задуматься, почему бы, собственно, богу и не постонать по-человечески, если ему так нравится? Теперь же, убедившись в том, что их кумиры не могут постоять за себя, они так же, не задумываясь, стащили их с пьедесталов, разрубили на части, поднесли к ним факелы и уничтожили их!

Языческие жрецы пришли в ярость. И недаром — ведь в их руках были самые доходные синекуры в стране. Низвержение кумиров грозило им нищетой. Могущественные жрецы, наделенные властью, которая превышала власть военачальников, они теперь оказались простыми бродягами. Они подняли мятеж, угрозами загнали под свои знамена довольно много народу и без труда уговорили Бекуокалани, честолюбивого отпрыска королевской семьи, возглавить это войско.

В первой стычке идолопоклонники одержали победу над королевской армией и, уверенные в своих силах, решили двинуться на Каилуа. Король выслал парламентера, в надежде смягчить своих врагов, но в результате этого шага в королевстве чуть не стало одним парламентером меньше. Язычники мало того, что отказались его выслушать, хотели еще и убить его. Тогда король выслал свои войска под началом генерал-майора Калаимоку, и враждующие армии встретились под Куамоо. Бились долго и жестоко, женщины плечом к плечу с мужчинами — таков был обычай, а когда кончился бой, оказалось, что мятежники в смятении и ужасе бегут куда глаза глядят.

Идолопоклонничеству и табу пришел конец!

Роялисты весело возвращались домой, в Каилуа, радуясь своему освобождению. «Боги бессильны, — говорили они. — Боги — ложь и суета. Армия, сражавшаяся под покровительством идолов, оказалась поверженной, армия без идолов — могучей и победоносной!»

Народ остался без религии.

Вскоре, однако, с точностью, достойной божественного промысла, корабль, везущий миссионеров, благополучно достиг здешних берегов, и христианство было посеяно на девственной, можно сказать, земле.

ГЛАВА XXXII

Развалины Хонаунау. — Туземные пироги. — Купание в прибой. — Город-убежище. — Заповедник. — Его устройство. — Скала королевы. — Достопримечательности. — Окаменелая Ниагара.

В полдень мы наняли канака лодочника, с тем чтобы он нас отвез на своем челне к древним развалинам Хонаунау. Он запросил два доллара — цена божеская для морского путешествия в восемь миль, считая оба конца.

Туземная пирога — сооружение довольно легкомысленное на вид. Не знаю даже, с чем сравнить его, — разве с выдолбленным полозом детских салазок, но и это не дает о ней абсолютно верного представления. Она имеет около пятнадцати футов в длину, оба конца ее заострены и сильно приподняты; высота бортов полтора-два фута, а узка она так, что если бы вам и удалось втиснуть в нее толстого человека, то вынуть его оттуда вы уже нипочем не сумели бы. Она, как утка, держится на поверхности воды, но снабжена специальным приспособлением — утлегарем, благодаря которому, если сидеть в ней смирно, она довольно устойчива. Утлегарь состоит из двух длинных перекладин, изогнутых, как ручки плуга; они прикрепляются с одной стороны лодки, а к наружным их концам привязывается, тоже изогнутый, брусок из чрезвычайно легкого сорта дерева. Брусок этот лежит на поверхности воды и служит, таким образом, противовесом, не давая лодке переваливаться ни на ту, ни на другую сторону. При всем этом человеку, не привыкшему плавать на лезвии ножа, может показаться, что для полного спокойствия было бы неплохо обзавестись еще одним утлегарем, с другой стороны пироги.

Я сидел на носу, Биллингс посредине, лицом к гребцу-канаку, сидящему на корме. С первым же ударом весла по воде легкая наша скорлупка стрелой понеслась от берега. Ничего особенного мы не видели кругом себя. Пока мы еще двигались по мелководью, можно было развлекаться, глядя сквозь прозрачную воду на крупные гроздья ветвистого коралла, этого удивительного морского кустарника. Но как только мы вышли в пронзительную синеву глубин, мы лишились этого развлечения. Зато мы могли теперь любоваться прибоем, который яростно бросался на каменистый берег, разбиваясь об него и пенистым

фонтаном взлетая на воздух. Пенная эта кайма была вся изломана причудливыми пещерами, арками и туннелями. Казалось, развалины древних башен и бойниц вздымаются со дна беспокойного моря. Вскоре, однако, это перестало нас занимать, и мы обратили свои взоры на самый берег. Продолговатая гора тянулась со своими пышными зелеными лесами навстречу нависшим облакам, вдали виднелись точечки домов; ставшая совсем уже миниатюрной, шхуна наша сонно колыхалась на якоре. Когда и это зрелище приелось, мы отважно врезались в косяк противных жирных дельфинов, занятых своей вечной игрой — выгнувшись дугой над волнами, исчезать в них, без устали повторяя этот маневр, и все в одну сторону, словно колесо, больше чем наполовину затопленное водой. Но вот и дельфины, укатились, предоставив нас самим себе. Не прошло и нескольких минут, как мы обнаружили, что солнце полыхает костром и что температура держится на точке плавления. Ужасно захотелось спать.

В одном месте мы повстречали большую группу обнаженных туземцев обоего пола и всевозможных возрастов; они предавались своему излюбленному занятию — купанию в волнах прибоя. У каждого язычника была короткая доска, он отплывал с ней на триста-четыреста ярдов в море и ждал, когда на него двинется особенно большая волна. Выждав подходящий момент, он закидывал доску на самый гребень волны, бросался на нее животом и летел, как бомба! Самый быстроходный экспресс не мчится с такой сногсшибательной скоростью! Впоследствии я сам пробовал было оседлать волну прибоя, но из этого ничего не вышло. Доску мне, правда, удалось накинуть на волну, и накинул-то я ее вовремя, но сам я как-то отстал от нее. В какие-нибудь три четверти секунды доска достигла берега, но без груза, я же достиг дна, нагруженный бочкой-другой воды. Чтобы в совершенстве овладеть искусством купания в прибой, надо, вероятно, родиться туземцем.

Мы прошли свои четыре мили чуть не за час и пристали к ровному берегу, где широко раскинулись старинные развалины и высились кокосовые пальмы. Это был древний Город Прибежища — большая территория, окруженная стенами в двадцать футов толщины у основания и в пятнадцать высоты. Самый город представляет собой четырехугольник в тысячу сорок футов в длину и чуть меньше семисот футов в ширину. В стародавние времена тут стояло три храма — примитивные сооружения в двести десять футов длиной, сто шириной и тринадцать высотой каждое.

В те времена, если один человек убивал другого,

родственники убитого имели право лишить убийцу жизни. Тут-то начиналась стремительная гонка, где у преступника, поставленного вне закона, ставкой были жизнь и свобода. Убийца летел через дремучие леса, горы и долы, устремив все свои надежды на мощные стены Города Прибежища, а по его горячему следу гнался мститель. Иногда бега эти продолжались до самых ворот города, и оба бегуна, тяжело дыша, пробегали сквозь длинный строй возбужденных туземцев, которые следили за состязанием, сверкая глазами и раздувая ноздри, подбадривая преследуемого отрывистыми громкими возгласами и издавая вопль восторга, когда спасительные ворота захлопывались за ним, а обманутый его преследователь опускался в изнеможении на землю. Бывало, однако, что преступник падал, сраженный рукой врага, у самого порога, в то время как еще шаг, какая-нибудь секунда времени — и его нога коснулась бы заповедной земли и он был бы спасен. Откуда могли эти оторванные от мира язычники почерпнуть идею Города Прибежища, известного лишь древнему Востоку?

Старинное святилище было священным для всех — вплоть до вооруженных мятежников и армий завоевателей. Побывав за стенами этого города, исповедавшись перед языческим жрецом и получив отпущение грехов, преступник, пусть даже за его голову назначена награда, мог отправляться безбоязненно и без всякого риска куда ему угодно. С этой минуты он становился табу, и всякого, кто бы вздумал ему повредить, ожидала смерть. Сюда-то и прибежали разгромленные мятежники, проиграв сражение за своих идолов; многие из них таким образом спаслись.

В одном из углов города стоит цилиндрическое строение семи-восьми футов в высоту, с плоской крышей, диаметром в двенадцать футов. Это было место казни. Высокий частокол из кокосовых стволов скрывал жестокие сцены от взоров пошлой толпы. Тут убивали преступников, срезали мясо с костей и сжигали его, а кости прятали в стене башни. Если же казненный обвинялся в очень тяжелом преступлении, его труп сжигали целиком.

Стены храма достойны изучения. Они дают такую же пищу для размышлений, как и египетские пирамиды, — как мог возвести их народ, не знакомый ни с наукой, ни с техникой? Туземцы не изобрели ни одного приспособления для подъема тяжестей, у них не было вьючных животных, и, судя по всему, они не были знакомы с функциями рычага. А вместе с тем некоторые из обломков лавы, которые пришлось в свое время вырубить из карьера, переправить по неровной, пересеченной местности и уложить в стене, возвышающейся на шесть-семь футов над

землей, так велики, что должны бы весить несколько тонн. Как же туземцы доставляли их на место, как поднимали их?

Стены, совершенно гладкие как с наружной, так и с внутренней стороны, могут служить образцом камнетесного искусства. Неправильной формы, неодинаковые по размеру куски лавы, составляющие стену, безукоризненно пригнаны один к другому. Постепенное сужение стены кверху также рассчитано с величайшей точностью.

Цемент в состав стены не входит, а между тем она прочна, плотна и способна противостоять бурям и разрушениям целые века. Кто строил храм, как и когда, — вероятно, так и останется неразгаданной тайной.

Снаружи, неподалеку от древних стен, лежит камень, формой своей напоминающий гроб. Длина его одиннадцать футов четыре дюйма, ширина, в более узком конце, три фута, — следовательно, весить он должен несколько тысяч фунтов. Некий военачальник, правивший в этих местах много столетий назад, притащил сюда этот камень на собственном горбу — чтобы лежать на нем! Достоверность этого обстоятельства основывается на самых точных преданиях. Развалясь на своем каменном ложе, он присматривал за верноподданными, которые работали на него, и следил, чтобы никто не ленился. Впрочем, вряд ли рабочие позволяли себе такое — телосложение, которым отличался начальник, должно быть, вдохновляло подчиненных трудиться добросовестно. Ростом он был четырнадцати или пятнадцати футов. Когда он вытягивался на своем ложе — ноги его свешивались, а когда храпел — просыпались мертвые. Все эти факты подтверждаются неопровержимой легендой.

По другую сторону храма стоит чудовищных размеров скала — весом в семь тонн, одиннадцати футов длиною, семи шириною и трех толщиной. С десяток небольших камней высотой в один или полтора фута поддерживают ее. Это все наш дюжий друг старался. Он притащил эту глыбу с горы смеха ради (у него было своеобразное чувство юмора) и установил ее в том положении, в каком мы ее застаем и в каком застанут ее через века другие, ибо, чтобы сдвинуть ее с места, пришлось бы впрячь в нее десятка два лошадей. Рассказывают, будто пятьдесят-шестьдесят лет назад гордая королева Каахуману, поссорившись со своим свирепым супругом, обычно спасалась от его гнева под этой скалой. Впрочем, канаки подчас завираются, и это последнее утверждение — блестящий образец их фантазии, ибо Каахуману была шести футов ростом, обладала мощными формами, была сложена, как буйвол, и с таким же успехом могла бы протиснуться под эту скалу, как и между жерновами сахарного пресса. Но допустим

даже, что ей удалось подползти под скалу, что она выиграла бы от этого? Как ни унизительно было для такой гордой женщины подвергаться оскорблениям и преследованиям грубого дикаря, все же это не могло идти ни в какое сравнение с тем чувством совершенной раздавленности, которое охватило бы ее, если бы она провела часок-другой под камнем.

Мы прошли милю по насыпи, выложенной каменными плитами. Дорога была ровная, всюду одинаковой ширины и свидетельствовала о довольно высоком уровне дорожно-строительного искусства. Одни утверждают, будто она была построена по проекту и по приказу старого мудреца-язычника Камехамехи I, другие же говорят, что она была выложена задолго до него, в незапамятные времена, так что имя ее строителя не сохранилось даже в преданиях. Так или иначе, самый факт, что темный, отсталый народ сумел построить такую дорогу, вызывает приятное изумление. Камни мостовой изношены и гладки, местами между ними образовались щели, и все это удивительно напоминает мощные дороги в окрестностях Рима, которые так часто изображаются на картинах.

Целью нашего похода на этот раз было взглянуть на великое чудо природы — застывший каскад лавы. Некогда, в давно забытые времена, тут произошло извержение. Широкий огненный поток хлынул вниз по склону горы и низвергся с крутого обрыва, нависшего над землей на высоте пятидесяти футов. Кипящая лава, остуженная морскими ветрами, так и сохранилась по сей день — волнистая, пенистая, бурлящая, окаменелая Ниагара! Зрелище очень живописное и притом настолько убедительное, что вам временами даже начинает чудиться, будто поток все еще продолжает свое бурное течение. Поодаль с утеса стекал ручеек поменьше, образовав отдельную пирамидку лавы высотой футов в тридцать. Пирамида походит на причудливое сплетение корявой и сучковатой лозы, корней и стеблей.

Обойдя эту пирамиду и очутившись под сводом неподвижного водопада, мы обнаружили в утесе множество ноздреватых туннелей, забрались в некоторые из них и долго следовали по их извилинам.

Мы набрели на два туннеля, которые могли бы служить доказательством того, что природа понимает толк в шахтерском деле. В этих туннелях пол был всюду ровен, ширина их — семь футов, потолок закругленный. Высота, впрочем, не всюду одинаковая. Мы прошли один туннель длиною в сто футов, — он начинается в отроге горы, а выходит высоко над морем, в отвесной стене утеса, подножие которого омывается волнами. Это был просторный туннель, за исключением нескольких мест, где

нам приходилось идти согнувшись. Своды его, само собой разумеется, образованы лавой и густо усеяны острыми застывшими сосульками до дюйма длиной. Сосульки эти расположены часто, как железные зубья молотилки, и если вы пройдете некоторое расстояние по туннелю, выпрямившись во весь рост, вам бесплатно расчешут волосы.

ГЛАВА XXXIII

Посещение вулкана Килауэа. — В павильоне. — Кратер. — Огненный столп. — Величественное зрелище. — Огненное озеро. — Книга посетителей.

Мы поспели на шхуну вовремя и тотчас поплыли к Кау, где сошли на берег и окончательно распростились с судном. На другой день мы купили лошадей и горными уступами, одетыми в летнюю зелень, направились к великому вулкану Килауэа. Ехали мы чуть ли не двое суток, но это оттого, что много прохлаждались в дороге. К концу второго дня, перед самым заходом солнца, мы достигли высоты четырех тысяч футов над уровнем моря, и теперь, осторожно продвигаясь по волнистой пустыне лавы, вот уже много поколений назад застывшей в яростном своем порыве, мы все чаще и чаще встречали на своем пути признаки, указывающие на близость вулкана, — расщелины с рваными краями, изрыгающие столбы сернистых паров, еще хранящих жар расплавленного океана, бушующего в горной утробе.

Вскоре показался и самый кратер. С тех пор я познакомился с Везувием — он оказался игрушкой, кукольным вулканчиком, кастрюлькой по сравнению с этим вулканом. Везувий представляет собой симметричный конус высотой в три тысячи шестьсот футов; кратер его — перевернутый конус глубиной всего лишь в триста футов, не более тысячи футов в диаметре, а может быть, и того меньше; пламя его скудное, скромное, смирное. Тут же мы глядели в огромный вертикальный погреб, глубина которого в иных местах достигала девятисот футов, а в других и тысячи трехсот, с ровным дном и окружностью в десять миль! Это была зияющая пропасть; если бы на дне ее разместить всю русскую армию, и то осталось бы сколько угодно свободного места!

На самом краю кратера, в противоположной его стороне, примерно в трех милях от нас, примостился павильон для наблюдений. Он помог нам путем сопоставления понять и оценить всю глубину кратера: павильон казался малюсеньким ласточкиным гнездышком, прилепившимся к карнизу собора. Отдохнув, оглядевшись и прикинув расстояния, мы поспешили в гостиницу.

От гостиницы «Вулкан» до павильона надо идти полмили тропинкой. Плотно поужинав, мы дождались темноты и

отправились к кратеру. Дикая красота открылась нашему взору. Над кратером навис тяжелый туман, ярко освещаемый огнями внизу. Вся эта иллюминация тянулась примерно на две мили в ширину и одну в высоту; тот, кому когда-либо приходилось темной ночью издали наблюдать, как горят тридцать или сорок городских кварталов одновременно, ярко отражаясь в нависших над ними тучах, может представить себе, как выглядел вулкан.

Прямо над кратером поднимался огромный облачный столб, и выпуклости его широких завитков были окрашены в роскошный багрянец, внутри переходящий в нежно-розовый. Он мерцал, как прикрытый фонарь, и тянулся вверх, в головокружительную высоту. Я подумал, что, верно, ничего подобного не бывало с тех пор, как сыны Израиля брели через пустыню, освещенную таинственным «огненным столпом». Тут я понял со всей силой божественного откровения, что именно так должен был выглядеть этот величавый «огненный столп».

Достигнув крытого соломой павильончика, мы облокотились о перила, поставленные впереди него, и стали глядеть: прямо перед нами широко раскинулся огромный кратер, в глубине, под самой кручей, бурлило пламя. Перед этим зрелищем померкли мои дневные впечатления. Я оглянулся, чтобы посмотреть, какое действие оно произвело на остальных, и увидал самых красноликих людей, каких когда-либо мне приходилось видеть. Ярко освещенные лица их были как раскаленное докрасна железо, а плечи горели багрянцем; сзади же они были охвачены тенью, которая увлекала их в бесформенный мрак. Котлован под нами казался геенной огненной, а люди, стоявшие над ним, — еще не остывшими от адского жара чертями, выскочившими на поверхность в краткосрочный отпуск.

Я снова обратил глаза на вулкан. «Погреб» был неплохо освещен. На протяжении полутора миль непосредственно перед нами и на полмили в обе стороны дно пропасти было залито светом; а дальше туман развесил свои прозрачные занавески, покрывая все таинственным мраком, благодаря которому мерцающие огоньки в дальних углах котлована казались бесконечно далекими, — они казались походными кострами великой армии, расположившейся на бивак где-то очень далеко. Вот где простор воображению! Можно было представить себе, что эти огни отстоят на целый материк от вас и что мрак, царящий между ними, скрывает горные хребты, извилистые речки, необозримые равнины и пустыни, а за ними пространство тянется еще дальше и дальше… до самых костров, и потом еще дальше! Его нельзя было охватить, это была сама бесконечность, ставшая вдруг осязаемой, и вместе с тем можно было невооруженным

глазом заглянуть в самый дальний конец ее!

Большая часть обширного дна пропасти, лежавшей перед нами, была черна, как тушь, и казалась ровной и гладкой; но участок площадью чуть больше одной квадратной мили был испещрен тысячами спиралей, полос и извилин жидкого и ослепительно-яркого пламени! Это напоминало гигантскую железнодорожную карту штата Массачусетс, выложенную перебегающими огнями на ночном небе. Представьте… представьте себе черное, как уголь, небо, превращенное в мерцающую и запутанную паутину яростных огней!

В темной корке там и сям зияли ямы в сто футов диаметром, наполненные жидкой бурлящей лавой ослепительно-белого цвета, с легчайшим оттенком желтизны; из этих ям, точно спицы в колесе, шли бесчисленные огненные потоки во всех направлениях; более или менее прямые вначале, они затем завихрялись радужными завитками или рассыпались на короткие острые зигзаги — совсем как маленькие злые молнии. Навстречу этим потокам неслись другие, они сливались друг с другом, пересекаясь вдоль и поперек, во всех направлениях, как следы конькобежцев на льду. Иной раз огненные ручьи в двадцать и тридцать футов шириной, выйдя из своей ямы, довольно долго не распадались на рукава, и тогда мы видели в бинокль, как они стекали огненным каскадом по склонам небольших, но крутых пригорков. Ослепительно-белые у истоков, в дальнейшем своем течении, остывая, они приобретали густой багровый оттенок, в который вкрапливались попеременно черные и золотые полоски. Время от времени большие куски темной корки обваливались и медленно уносились горящим потоком, как плоты на реке. Порой расплавленная лава, бурлящая под верхней коркой, прорывалась наружу, как внезапная молния, ослепительной лентой длиною в пятьсот или тысячу футов, а затем разламывалась на отдельные куски, которые вздымались, как льдины на вскрывшейся реке, стремительно падали вниз и пропадали в багровой глотке котлована. В обширной зоне «оттепели» на короткое время появлялось рыжеватое мерцание, но охлаждение наступало быстро, и там снова становилось гладко и черно. На время «оттепели» каждый отдельный кусок бывал окаймлен сверкающим белым контуром, который переходил в великолепное северное сияние, желто-оранжевое на стыке с белой каймой, поближе к середине — огненно-красное, и совсем уже в центре — пышно-розовое, переходящее в еле заметный румянец, который тут же гас и растворялся во мраке. Кое-где огненные потоки свивались в путаницу фантастических спиралей, и тогда они походили на беспорядочные связки канатов, какие видишь

обычно на палубе судна, только что убравшего паруса и бросившего якорь, — если при этом представить себе эти канаты горящими.

Мы любовались в бинокль разбросанными там и сям фонтанчиками. Они бурлили, кашляли, плевались, пуская вверх, футов на десять-пятнадцать, тоненькие струйки алого, вязкого, как тесто, огня. И тут же, рядом со струйками, взлетали сверкающие белые искры — странное, противоестественное сочетание крови и снега.

Переплетаясь друг с дружкой, свиваясь в венки и гирлянды, изгибаясь, змеясь и клубясь, огненные молнии беспрерывной чередой сверкали перед нами, покрывая собой площадь больше квадратной мили (разумеется, сама эта «площадь» не была квадратной!). Любуясь великолепным зрелищем, мы тихо ликовали — ведь за много лет мы были первыми путешественниками, кому довелось все это видеть. Да и вообще — что они видели, наши предшественники, кроме двух действующих «озер» — Южного и Северного? Нам эти два кратера казались жалкими и ничтожными. В гостинице мы проштудировали кипу старых гавайских газет, а также «Книгу посетителей», откуда и почерпнули сведения о всех наших предшественниках.

Далеко, на самом краю нашей панорамы, виднелось «Северное озеро»; оно выделялось на черном дне и соединялось с нашим кратером сетью огненных ручейков. Сам по себе этот бассейн вызывал не больше почтения к себе, чем, скажем, пожар в школе. Правда, он имел около девятисот футов в длину и двести-триста в ширину, но в данных условиях, конечно, выглядел довольно ничтожно, да к тому же он был так далеко!

Я забыл сказать, что шум, производимый бурлящей лавой, еле достигал наших ушей, — мы ведь расположились очень высоко. Тут можно было различить звуки трех родов: булькающие, шипящие и кашляющие или пыхтящие звуки. Встав на самый край пропасти и закрыв глаза, нетрудно себе представить, будто плывешь вниз по реке на пароходике и слышишь, как шипит пар вокруг его котлов, как он пыхтит в выхлопных клапанах, как хлюпает и булькает вода позади колеса. При этом довольно явственно пахнет серой, — ну да нашему брату, грешнику, не мешает понемножку к этому привыкать.

В десять часов вечера мы покинули павильон, после того как наполовину испеклись от жара, исходившего из печей Пеле[62]. Ночь, однако, была прохладная, и в гостиницу мы возвращались, закутавшись в одеяла.

ГЛАВА XXXIV

«Северное озеро». — Спуск на дно кратера. — Фонтаны пламени. — Мы шагаем по раскаленной лаве. — Ручьи горящей лавы. — Волны прибоя.

На следующий вечер мы задумали совершить еще одну экскурсию. Нам хотелось, спустившись на дно кратера, подойти поближе к «Северному озеру» (огненно-жидкой лаве), расположенному в двух милях от нашего берега, возле дальней стены кратера. Нас было шесть человек. Дождавшись темноты, мы вооружились фонарями и в сопровождении местных проводников благополучно спустились по головокружительной тропинке, уходящей на тысячу футов в глубину вдоль трещины, образовавшейся в стене кратера.

Вчерашнее извержение поутихло, и дно кратера казалось черным и холодным, однако ступать по нему было горячо; то и дело попадались трещины, сквозь которые зловеще просвечивало пламя. В соседнем котле что-то бурлило, грозясь убежать, и это несколько осложняло и без того непрочное наше положение. Местные проводники отказались следовать дальше, и все, кроме меня и незнакомца по фамилии Марлетт, повернули вспять. Марлетт заявил, что бывал не раз в этом кратере при дневном свете и поэтому думает, что не заблудится в нем и ночью. По его мнению, мы могли — без особого риска потерять подметки — пробежать самое горячее место, какие-нибудь триста ярдов, не больше. Его отвага вселила в меня бодрость. Мы взяли один из фонарей, поручив проводникам укрепить другой под навесом павильона, чтобы он служил нам маяком, на случай если мы заблудимся. Все, кроме нас с Марлеттом, отправились в обратный путь и начали карабкаться по той же отвесной тропе. Мы же пустились вприпрыжку по раскаленному грунту с его огненными щелями и благополучно, лишь слегка подогрев пятки, достигли остывшей лавы. Затем спокойно и не спеша мы принялись перепрыгивать через достаточно широкие и, по всей вероятности, бездонные пропасти, довольно смело лавируя между живописными нагромождениями лавы. Оставив позади себя котлы с кипящим пламенем, мы оказались в сумрачной пустыне, душной и темной. Стены кратера были еле видны, и казалось, они тянулись ввысь до самого неба. Единственное, что радовало глаз, — это звезды, мерцавшие высоко над головой. Марлетт

внезапно крикнул: «Стоп!» В жизни своей я не останавливался с такой поспешностью! Я спросил его, в чем дело. Он отвечал, что мы сбились с тропинки. Он сказал, что дальше двигаться не следует, пока мы не разыщем ее, так как рыхлая лава, окружавшая нас, могла подломиться в любой момент, и мы рисковали увязнуть в ней футов на тысячу. Я подумал, что с меня хватило бы и восьмисот, и только собрался поделиться с Марлеттом этой мыслью, как вдруг он частично доказал справедливость своего замечания, провалившись по самые подмышки. Он выбрался, и мы стали с помощью фонаря искать тропинку. По его словам, тут была всего лишь одна тропа, и та еле намечена. Мы никак не могли различить ее. При свете фонаря поверхность лавы казалась одинаковой повсюду. К счастью, спутник мой оказался человеком сметливым. Он рассудил так: о том, что мы сбились с пути, сигнализировал ему не фонарь, а его собственные ноги — он вдруг почувствовал под ногой легкий хруст, сообразил, что это, должно быть, хрустят острые шероховатости лавы, и тут же как-то инстинктивно вспомнил, что на дорожке все эти хрящи давным-давно стерлись; значит, решил он, следует довериться осязанию, а не зрению и, спрятав фонарь за спину, стал шарить ногами по поверхности лавы. Это оказалось мудрым решением. Как только под ногами перестало хрустеть, мы поняли, что снова обрели тропу. Теперь уже мы настороженно прислушивались — не раздастся ли где под ногой коварный хруст.

Поход был долгий, но и увлекательный. В одиннадцатом часу мы достигли «Северного озера» и, усталые и довольные, уселись на огромной полке, образованной лавой и нависшей над самым «озером». Зрелище, представшее нашим глазам, стоило того, чтобы проделать путь и вдвое больший. Под нами простиралось бескрайнее море жидкого огня. От него исходил такой ослепительный блеск, что мы сперва были даже не в состоянии глядеть на него. Это было все равно что смотреть на солнце в полдень, с той лишь разницей, что солнце пылает несколько более белым огнем. По берегам озера, на неравных расстояниях друг от друга, высились почти добела раскаленные трубы, или полые барабаны из лавы, высотой до четырех-пяти футов, а из них били великолепные фонтаны густой лавы и бриллиантовых блесток — белых, красных, золотых; это была какая-то безостановочная бомбардировка, чарующая глаз своим недосягаемым великолепием. Фонтаны, бьющие в некотором отдалении, сверкали сквозь паутинку тумана и казались страшно далеко; и чем дальше от нас загибалась линия огненных фонтанов, тем сказочней и прекрасней они нам представлялись.

Время от времени волнующаяся грудь «озера» под самым нашим носом зловеще успокаивалась, словно набираясь сил для какой-нибудь новой затеи; потом вдруг над ней воздушным шаром вздымался багровый купол расплавленной лавы размером с жилой дом; шар взрывался, и бледно-зеленое облачко вылетало из его сердцевины, подымалось вверх и исчезало, — без сомнения, это была душа праведника, возвращающаяся к себе наверх из случайного плена, куда она попала вместе с погибшими душами. Сам же разрушенный купол с шумом низвергался в озеро, и от места его крушения расходились кипящие волны, которые с силой бились о берег, отчего под нами все сотрясалось. Вдруг от нашей висячей скамьи отвалилась большая глыба и упала в озеро, и мы почувствовали толчок, подобный землетрясению. Был ли это тайный намек, или так только почудилось? Мы, впрочем, не стали это выяснять, а просто ушли.

На обратном пути мы снова заблудились и потратили более часа на поиски тропинки. С того места, где мы находились, был виден фонарь, но мы его приняли за звезду. Порядком измученные, добрались мы до гостиницы к двум часам ночи.

В огромном кратере Килауэа лава никогда не переливается через край, зато в поисках выхода она иной раз пробивает склон горы, производя ужасающие разрушения. Около 1840 года переполненное чрево вулкана вскрылось, и огонь широкой рекой помчался вниз к морю, смывая на своем пути леса, дома, плантации — все, что ни попадалось. Ширина этой реки местами доходила до пяти миль, глубина ее равнялась двумстам футам, а длина — сорока милям. Она срывала целые акры земли прямо со скалами и деревьями и мчала их на своей груди, как плоты. Ночью, отплыв на сто миль в море, можно было видеть багровое зарево потока, а в сорока милях от него, в полночь, можно было свободно читать мелкий шрифт. Воздух был отравлен сернистыми испарениями, наполнен падающей золой, осколками пемзы и пеплом; неисчислимые столбы дыма вздымались вверх, свиваясь в волнистый балдахин, алевший отраженным светом пламени, полыхающего в глубине; там и сям на сотни футов в высоту взлетали фонтаны лавы. Взрываясь фейерверками, они падали кровавым дождем на землю; между тем вулкан содрогался в мощных родовых схватках, изливая свою боль в стенаниях и заглушенном рокоте подземных громов.

В тех местах, где лава вливалась в море, за двадцать миль от берега погибла рыба. Были также и человеческие жертвы: огромная волна прибоя вторглась в сушу, сметая все на своем пути, и погребла под собой множество туземцев. Разрушения, произведенные лавой, были поистине опустошительны и

неисчислимы. Не хватало лишь Помпеи и Геркуланума у подножия Килауэа, чтобы сделать историю его извержения бессмертной.

ГЛАВА XXXV

Воспоминание. — Еще один лошадиный анекдот. — Поездка с бывшей лошадью молочника. — Пикник. — Потухший вулкан Халеакала. — Сравнение с Везувием. — Мы заглядываем вовнутрь.

Мы объездили верхом весь остров Гавайи (проделав в общей сложности двести миль) и получили большое наслаждение от этого путешествия. Оно заняло у нас более недели, потому что канакские лошадки непременно останавливались возле всякого дома и хижины — ни кнут, ни шпоры не могли заставить их изменить свои правила на этот счет, и в конце концов мы убедились, что, предоставив им свободу действий, мы теряем меньше времени. В результате расспросов объяснилось таинственное поведение лошадок. Туземцы, оказывается, прилежные сплетники. Они не могут проехать мимо дома, чтобы не остановиться и не обменяться новостями с его обитателями. И вот канакские лошадки видят единственное назначение человека в этих визитах и не мыслят себе его душевного спасения без них. Впрочем, я вспомнил один критический случай, имевший место в более раннюю пору моей жизни, когда я как-то пригласил одну аристократическую девицу покататься со мной в коляске. Лошадь, которая должна была нас везти, только что вышла в почетную отставку, прослужив много лет верой и правдой своему бывшему хозяину — молочнику. И поэтому теперь, вспомнив весь тот день, полный унижений и чувства собственной беспомощности, я вместо столь естественного, казалось бы, в нашем положении негодования испытывал всего лишь лирическую грусть, навеянную воспоминаниями юности. Как стыдно мне тогда было, что я дал зачем-то девушке понять, будто эта кляча всю жизнь мне принадлежало и что я вообще привык купаться в роскоши! Как старался я деланной непринужденностью и даже веселостью заглушить точившие меня страдания! Как улыбалась моя дама — спокойно, злорадно, не переставая! Какой яркий румянец горел, не сгорая, на моих щеках! Как виляла моя лошадь с одной стороны улицы на другую! С каким самодовольством останавливалась она у каждого третьего дома ровно на две минуты и пятнадцать секунд, в то время как я хлестал ее по спине, ругая ее в душе последними словами! Как безуспешно старался я помешать ей заворачивать за каждый угол! Как я из

кожи лез вон, тщетно пытаясь заставить ее вывезти нас из города! Как она провезла нас по всему поселку, доставляя воображаемое молоко в сто шестьдесят два дома! А закончив свой маршрут у молочного склада и уже намертво отказавшись двигаться, как окончательно и бесповоротно обнаружила она свое плебейское призвание! Как красноречиво молчал я, провожая после этого девушку домой пешком! Как опалили мою душу ее прощальные слова! Чувствуется, сказала она, что лошадь моя — животное смышленое и трудолюбивое и что я, должно быть, многим обязан ей в прошлом; но если бы я впредь брал с собой счета за молоко и делал вид, будто доставляю их клиентам во время вынужденных остановок, может быть, это и ускорило бы несколько наше продвижение. После этой прогулки в нашу дружбу вкрался известный холодок.

В одном месте острова Гавайи мы видели, как прозрачная, словно хрусталь, вода кружевной ажурной пеной низвергалась с отвесного обрыва высотою в полторы тысячи футов; впечатление от подобных пейзажей, впрочем, скорее арифметическое, нежели эстетическое. Для того чтобы упиться поэзией природы — ее живописными утесами, светлыми прогалинами, густой листвой деревьев, яркими красками, игрой светотени, шумом водопада, всей этой хватающей за душу, трогающей до слез гармонией, — не нужно уезжать из Америки. Назову хотя бы Радужный водопад в Уоткинс-Глен (штат Нью-Йорк), на Эрийской железной дороге. Если бы какой-нибудь бездушный турист вздумал тут применить арифметическое мерило, Радужный водопад тотчас бы, конечно, принял самый жалкий и незначительный вид; что же касается красоты и живописной прелести (я не говорю тут о картинах природы величавых, царственных, так сказать, божественных), то этот водопад мог бы состязаться с прославленными ландшафтами и Нового и Старого Света.

В одном месте мы видели лошадей, которые родились и выросли высоко в горах, где уже нет ручьев. Они в жизни своей не пили воды и утоляли жажду с помощью покрытых росой или смоченных дождем листьев. Можно было умереть со смеху, глядя, как они обращались с ведром воды: сначала долго и подозрительно принюхивались и затем, опустив морды в ведро, пытались зубами откусить кусочек жидкости. Когда же обнаруживались странные свойства воды, лошади резко вскидывали головой, принимались дрожать, храпеть и всячески выказывать страх. Наконец, убедившись в безобидности и доброжелательности этой влаги, они погружали морду до самых глаз в ведро, набирали полный рот воды и затем спокойно начинали ее жевать. Видели мы и такую сцену: человек чуть ли не

десять минут уговаривал, бил ногой и пришпоривал лошадь, пытаясь заставить ее перейти через бегущий ручей. Она раздувала ноздри, таращила глаза и дрожала всем телом, как это обычно делают лошади, завидя змею, — да и как знать, может, она и в самом деле приняла извивающийся ручеек за змею?

Через некоторое время мы закончили наше путешествие и прибыли в Каваихаэ. (Обычно произносится: «то-а-хи», — вспомним, однако, наше английское правописание и не будем бросать камень в чужое!) Все это путешествие я проделал верхом на муле. В Кау я заплатил за него десять долларов да еще четыре за подковы и, проездив на нем двести миль, продал его за пятнадцать долларов. За неимением мела отмечаю это обстоятельство белым камнем (кстати, я никогда не видел, чтобы кому-нибудь удалось что-нибудь отметить белым камнем, хоть я сам и пытался частенько это сделать из уважения к древним[63]) — за всю мою жизнь это была моя первая коммерческая удача. Возвратившись в Гонолулу, мы оттуда отправились на остров Мауи, где приятнейшим образом провели несколько недель. До сих пор вспоминаю ощущение роскошной неги, сопровождавшее нашу прогулку в живописном ущелье, которое называлось Долина Иао. Дорожка пролегала вдоль ворчливого ручейка, протекавшего по дну ущелья, путь был тенистый, ибо зеленые кроны деревьев образовали густой навес над нашими головами. Сквозь листву мелькали живописнейшие ландшафты; бесконечно разнообразясь, они чаровали нас новой прелестью на каждом шагу. Отвесные стены высотой от тысячи до трех тысяч футов, оперенные лиственными деревьями самых разнообразных видов и покрытые развевающимся на ветру папоротником, защищали нас с обеих сторон. По сверкающей этой растительности пятнами перебегали тени от проплывавших облаков; клубы белого тумана окутывали бойницы горных вершин, скрывая их от наших глаз, а где-то высоко над белой пеленой вырисовывались ярко-зеленые зазубренные скалы и пики, которые то появлялись, то исчезали в дымке, словно плавучие островки в туманном море. Иногда облачный занавес спускался вниз, заполоняя всю верхнюю часть ущелья, затем туман начинал рваться, приоткрывая местами поросшую папоротником стену, а потом вдруг завеса взвивалась, и ущелье снова представало перед нами во всем своем солнечном великолепии. Порою на нас из стены надвигались скалистые бастионы, напоминавшие развалины крепости с башнями и бойницами, поросшими мхом и увешанными колышущимися гирляндами вьющихся растений. Через несколько шагов они исчезали в густой листве. В одном месте тонкий, как игла, каменный столб, увитый зеленью, высотою в тысячу футов, вдруг

появился из-за угла и стал на часах — страж, караулящий тайны долины. Я подумал, что если нужен памятник капитану Куку, то вот он, готовенький, — почему бы в самом деле не водрузить тут надпись, а почтенный кокосовый пень продать?

Гордость Мауи, однако, составляет потухший вулкан Халеакала, что в переводе означает «дом солнца». Как-то после полудня мы вскарабкались на тысячу футов вверх по склону этого одинокого исполина; там устроили привал, а на другой день прошли оставшиеся девять тысяч футов, бросили якорь на вершине, разожгли костер и всю ночь поочередно то зябли, то, придвинувшись к костру, изнывали от его жара. Только лишь начало светать, мы встали и увидали то, чего никогда еще не видели. С нашей вышки мы наблюдали природу в тот момент, когда она творит свои безмолвные чудеса. Кругом расстилалось море, и бурная его поверхность, куда ни кинь взгляд, на расстоянии казалась лишь слегка измятой и шершавой. Широкая равнина под нами была как огромная шахматная доска с чередующимися квадратами бархатисто-зеленых плантаций сахарного тростника и бурых пустошей и рощ, которые с этой высоты производили впечатление плоских мшаников. Живописные хребты гор замыкали равнину. Но что всего удивительнее — нам все время казалось, будто мы смотрим на весь этот ландшафт не сверху вниз, а снизу вверх! Ощущение было такое, точно мы сидим на дне круглой чаши глубиной в десять тысяч футов, в то время как долина и окружающее ее море где-то наверху, на небе! Чувство странное, и более того — досадное: в самом деле, стоило ли так стараться, карабкаться под небеса десять тысяч футов, лишь для того, чтобы любоваться пейзажем, запрокинув голову вверх! Как бы то ни было, надо было довольствоваться тем, что есть, и не роптать, ибо никакие наши усилия не могли заставить ландшафт спуститься из облаков. Когда я читал у Эдгара По описание этого необычайного мошенничества, которое проделывает над нашим зрением высота, я принимал это за плод его фантазии.

До сих пор я говорил об окружающем нас пейзаже. Остывший кратер, зиявший под нами, был не менее интересен. Время от времени мы сталкивали в него камни размером с половину бочки, наблюдая их полет вдоль почти отвесных стен; камни пролетали по триста футов, не касаясь краев и вздымая густые облака пыли всякий раз, что ударялись о стену кратера; постепенно они уменьшались, делались вовсе невидимыми, так что лишь небольшие клубы пыли обозначали их путь, и наконец оседали на дне пропасти, в двух с половиной тысячах футов от нас! Великолепная игра! Мы играли в нее до совершенного

изнеможения.

Как я уже отмечал, кратер Везувия — скромная яма около трех тысяч футов в окружности; Килауэа несколько глубже, и окружность его — десять миль. Но чего стоят оба эти вулкана по сравнению с зияющим чревом Халеакалы? Не стану тут давать свои цифры, обращусь лучше к официальным данным, собранным капитаном флота США Уилксом, который производил измерения и утверждает, что окружность кратера составляет двадцать семь миль! Если бы дно кратера было гладким, на нем можно было бы построить город вроде Лондона. Какое, должно быть, эффектное зрелище представлял этот вулкан в старину, когда его печи работали на полную мощность!

Высоко над океаном и равниной стали появляться отдельные белые тучки; вскоре они уже приплывали по двое и группами, затем целыми полками, и наконец, соединивши свои силы, они сплотились в единую массу, в тысячах футов над нами, и совершенно скрыли от нас и сушу и море, — положительно ничего уже не было видно, если не считать края кратера возле того места, где мы сидели (ибо призрачная процессия странников, оторвавшись от армии туманов, окружающей нас, проникла сквозь щель в стене кратера и, кружась и сгущаясь, опускалась все ниже и ниже, пока пушистая мгла не наполнила кратер до самых его краев). Когда вся масса таким образом уплотнилась, кружение ее кончилось, и воцарился покой. И так, без просвета, миля за милей, до самого горизонта тянулся этот снежный пол — правда, не ровный, а волнистый, с неглубокими складками между волнами; время от времени в его безбрежности возникали величавые глыбы воздушной архитектуры — одни совсем близко, другие на втором плане, третьи в самых дальних пустынях, нарушая собой их однообразие. Говорили мы мало. Торжественность зрелища располагала к молчанию. Я почувствовал себя чем-то вроде Последнего Человека на земле, душой, которую не потрудились призвать к страшному суду и бросили где-то между небом и землей, словно забытую реликвию исчезнувшего мира.

Еще не кончилось владычество тишины, как на востоке начали появляться предвестники наступающего Воскресения. Теплый свет разлился по горизонту. Выглянуло солнце, перекинув через облачную пустыню ярко-алые стрелы лучей, выложив складки и гребни волнистых туч багрянцем, а впадины между ними лиловыми тенями, с каким-то щедрым, расточительным великолепием расцветив просторные дворцы и соборы тумана, соединяя и сочетая богатейшие и разнообразнейшие краски.

Мне не приходилось видеть более грандиозного зрелища, и

память о нем я, верно, сохраню до смертного часа.

ГЛАВА XXXVI

Своеобразная личность. — Серия анекдотов. — Печальная участь лгуна. — Признаки безумия.

На острове Мауи я набрел на довольно своеобразного человека. Он успел мне порядком надоесть впоследствии. Первое мое знакомство с ним состоялось в кафе в городе Лахаина. Он сидел в противоположном конце комнаты и уже несколько минут с интересом поглядывал в нашу сторону, внимательно вслушиваясь в разговор, словно мы обращались к нему и ждали его ответной реплики. Такая общительность в незнакомце меня несколько удивила. В ходе разговора я сделал какое-то замечание, чрезвычайно скромное и ничего особенного в себе не заключавшее: оно имело прямое отношение к предмету нашего разговора. Не успел я кончить, как человек этот вдруг заговорил, быстро и лихорадочно:

— То, что вы сказали, конечно, довольно удивительно, но вы бы видели мою трубу! Ах, сэр, хотел бы я, чтобы вы ее видели! Как она дымила! Пусть меня повесят, если… Мистер Джонс, вы-то помните эту трубу!.. Не может быть, чтобы вы ее забыли! Впрочем, что я? Вы ведь тогда еще не жили на нашей стороне острова. Но я вам говорю истинную правду, и пусть я умру на месте, если моя труба не додымилась до того, что дым в ней так и застрял — куском. Пришлось киркой его выбивать оттуда! Смейтесь, смейтесь, джентльмены! Однако у верховного шерифа до сих пор хранится осколок дыма, который я выковырнул из трубы у него на глазах, и нет ничего проще, как сходить к нему и проверить.

Это вторжение в наш разговор, который и так начинал было увядать, окончательно его прикончило. Вскоре, наняв туземцев и парочку пирог с утлегарями, мы отправились посмотреть большое состязание пловцов на волнах прибоя.

Через две недели после вышеописанного случая, беседуя с приятелями, как и в прошлый раз, я снова увидел этого человека. Он сверлил меня взглядом, и, как и тогда, я обратил внимание на характерное подергивание рта, свидетельствующее о его лихорадочном желании вступить в разговор.

— Извините, сэр, ради бога извините, но все это может казаться примечательным лишь в том случае, если вы будете рассматривать факт как изолированное явление. По сравнению

же с одним обстоятельством, которое произошло лично со мной, ваш случай сразу оказывается в ряду ординарнейших явлений. Простите, я обмолвился — я не хотел бы так невежливо выразиться о каком-нибудь событии в жизни незнакомца и джентльмена, однако я вынужден сказать, что вы никогда не назвали бы виденное вами дерево колоссальным, если бы вам, как мне, довелось увидеть огромное дерево якматак на острове Унаска, что в Камчатском море, — диаметр этого дерева, сэр, равен четыремстам пятнадцати футам, и ни дюйма меньше! И пусть я умру на месте, если это не так! Я вижу, вы сомневаетесь, джентльмены, — напрасно! Да вот старина капитан Солтмарш — он вам скажет, дело я говорю или нет? Я ему показывал это дерево.

Капитан Солтмарш. Послушай, парень, подымай якорь, уж больно трос натянут! Ты обещал показать мне это диво, это верно, и я продирался с тобой одиннадцать миль сквозь джунгли — будь они прокляты! — чтобы повидать твое дерево. А оно оказалось не толще пивной бочки, и ты это прекрасно знаешь сам, Маркисс.

— Вы только послушайте его! Ну конечно же, дерево стало потоньше, но разве я тебе не объяснил, почему так случилось? Отвечай же, объяснил или нет? Разве я не сказал, что жаль, что ты не видел его в первый раз вместе со мной? Помнишь, ты еще тогда взвился на дыбы и стал бранить меня последними словами, говоря, что я заставил тебя протащиться одиннадцать миль, чтобы взглянуть на какой-то прутик, а я тебе тут же пояснил, что все китобойные суда северных морей за последние двадцать семь лет были построены из этого дерева? Что же ты хочешь? Виданное ли дело, чтобы одно дерево выдержало такую нагрузку, черт бы его побрал? Не понимаю, зачем тебе понадобилось умалчивать об этих фактах и обижать человека, который комукому, а тебе-то во всяком случае не причинил никакого вреда!

Этот субъект начинал действовать мне на нервы, и я обрадовался приходу туземца, возвестившего, что Мукавау, самый общительный и гостеприимный из местных военачальников, зовет нас принять участие в пирушке: дело в том, что какой-то миссионер имел неосторожность нарушить границы его владений, и радушный дикарь хотел нас попотчевать им.

Прошло дней десять. Окруженный группой друзей и знакомых, я рассказывал им какой-то поучительный случай из своей жизни. Собственно, ничего особенного из ряда вон выходящего я не рассказывал. Не успел я кончить, как знакомый голос произнес:

— Друг мой, эта ваша лошадь гроша ломаного не стоит, да и вся эта история также ничтожна до последней степени! Не в

обиду вам будь сказано, сэр, вы ровнешенько ничего не понимаете в быстрой езде! Бог ты мой, если б вы только видели мою кобылу Маргаретту! Вот это была лошадь! Молния! Вы, может, думаете, она шла рысью? Сэр, она летела! И коляска за ней мчалась вихрем! Как-то, сэр, я — да вот полковник Билджуотер — вы-то уж, конечно, помните мою лошадку! — так вот, я как-то выехал с ней, а сзади, ярдов этак на тридцать — тридцать пять от нас, поднялась страшная буря — я такой в жизни не видел! Представьте себе, буря за нами мчалась целых восемнадцать миль! Ей-ей, клянусь вам вечными горами! И вот вам самая грубая, неприкрашенная истина — ни одна капля дождя не коснулась меня, ну ни капелюшечки, сэр! Клянусь! А между тем собаке моей пришлось буквально плыть за коляской!

Неделю, а может, две я отсиживался дома, потому что, куда бы я ни двинулся, этот человек непременно мне попадался. Он опротивел мне до последней степени. Как-то вечером, однако, я забрел к капитану Перкинсу и очень мило провел время в кругу его друзей. Около десяти часов вечера я начал рассказывать что-то об одном купце и невзначай упомянул о том, что купец мой был несколько скуповат в своих расчетах с работниками. В ту же минуту с противоположного конца комнаты, из-за клубов пара, поднимавшегося над чашей горячего пунша, послышался хорошо знакомый голос, — я с трудом удержался от произнесения не совсем принятых в обществе слов.

— Дорогой друг, вы, право, даже компрометируете себя, выдавая ваш случай за нечто феноменальное. Господи боже мой, да вы и азов скупости не знаете! Вы невежественны, как дитя во чреве матери! Как близнецы все в том же чреве! Ничегошеньки-то вы не знаете! Жалко смотреть, сэр, когда такой всесторонне развитый и представительный незнакомец, как вы, сэр, начинает разглагольствовать о вещах, в которых ничего не смыслит. Ваше невежество, сэр, достигает степени прямо-таки постыдной! Нет, вы меня послушайте, сэр! Джон Джеймс Годфри был сыном бедных, но честных родителей в штате Миссисипи, товарищ моих детских игр и ближайший друг в более зрелую пору жизни. Упокой, господи, его благородную душу, ибо его больше нет среди нас! Джон Джеймс Годфри нанялся на взрывные работы для горных промыслов компании «Хейблоссом» в Калифорнии — «Объединенная Компания Скупцов», так прозвали ее наши. Ну-с, пробурил он как-то дыру этак фута на четыре, заложил туда зверскую дозу пороха, а сам стоял тут же и уминал его железным ломом футов в девять длиною. Вдруг проклятущий этот лом высек искру из породы, порох вспыхнул, и — фьють! — Джон Годфри вместе со своим ломом ракетой взвивается под небеса!

Ну-с, сэр, летит он, летит, все выше и выше, вот уже кажется, что это мальчик, а не взрослый мужчина, — а он все летит! Вот он уже не больше куклы, — а все летит! Вот он уже совсем как малюсеньская пчелка — и вот его и вовсе не видно! Вскоре он снова появился — маленькая пчелка; стал падать ниже, ниже — вот он уже кукла; еще ниже — мальчик; ниже, ниже — и вот он снова взрослый мужчина, а потом — вззз! — и вместе с ломом он уже на месте — на том же месте, заметьте! — и давай долбить, долбить, долбить, как ни в чем не бывало! И что бы вы думали — бедняга и шестнадцати минут не пробыл в воздухе, а эта «Компания скупцов» вычла у него из жалованья за потерянное время.

Сославшись на головную боль, я извинился и пошел домой. В своем дневнике я записал: «Еще один загубленный вечер», — загубленный этим бездельником. Рядом с этой записью я симметрии ради записал еще жаркое проклятие, а на следующий день, потеряв всякое терпение, уложил свои вещи и покинул остров.

Почти с самой первой своей встречи с этим человеком я определил, что он лгунишка.

. . . . . .

Точки эти призваны изображать собой интервал в несколько лет. К концу этого времени мнение, высказанное мной в предыдущей строке, подтвердилось самым удовлетворительным и вместе с тем довольно замечательным образом, причем доказательства эти исходят от лиц совершенно незаинтересованных. В одно прекрасное утро этого Маркисса обнаружили в его комнате повесившимся на балке под потолком. Окна и двери были заперты изнутри. Он был мертв, и на груди у него красовалась бумажка, на которой его собственным почерком была изложена просьба к друзьям не винить никого в его смерти, которая, так гласила записка, была исключительно делом его рук. Как ни странно, присяжные все же вынесли решение, что покойный погиб от руки «неизвестного или неизвестных»! Репутация железной последовательности, укоренившаяся за Маркиссом за тридцать лет, служила колоссальной и неопровержимой уликой, перевешивавшей все прочие в глазах присяжных, которые считали, что всякое заявление, сделанное покойным, следовало безоговорочно квалифицировать как ложное. Самый факт его смерти даже брался под сомнение, причем приводили следующую вескую, хоть и косвенную улику: его собственное заявление о том, что он якобы мертв. Было решено на всякий случай отложить похороны на возможно более

далекий срок. И вот открытый гроб с телом Маркисса простоял в тропическом климате Лахаины семь суток, после чего даже эти сверхдобросовестные присяжные были вынуждены сдаться. Однако они собрались еще раз и вынесли новое определение: «Самоубийство в состоянии временного умопомешательства». Аргументация их делает честь их проницательности: «Он утверждал, что он мертв; на поверку оказалось, что он и в самом деле мертв. Неужели покойный, находясь в своем уме, стал бы говорить правду? Нет, нет и еще раз нет!»

ГЛАВА XXXVII

Возвращение в Сан-Франциско. — Пассажиры развлекаются. — Я готовлюсь к лекции. — Ценная помощь. — Первый опыт. — Аудитория покорена. — «Все хорошо, что хорошо кончается».

После шести месяцев роскошного бродяжничества на островах я сел на парусное судно и скрепя сердце поплыл в Сан-Франциско — путешествие, прелестное во всех отношениях, но лишенное каких бы то ни было событий, если не считать за событие две долгие недели полного штиля в открытом море на расстоянии тысячи восьмисот миль от ближайшей суши. Стаи китов сделались настолько ручными, что вместе с дельфинами и акулами резвились каждый день у самого борта, и мы, за неимением иных развлечений, кидали в них пустыми бутылками. Проходило двадцать четыре часа, и бутылки эти так и оставались на зеркальной поверхности воды, под самым нашим носом, свидетельствуя о том, что мы за все это время нисколько не продвинулись. Воздух был неподвижен, поверхность моря — без единой морщинки. Какое-то судно забрело в наши воды, и мы почти сутки простояли бок о бок с ним, беседуя с пассажирами, которых уже называли по имени. За несколько часов мы сошлись на короткую ногу с людьми, о существовании которых не имели прежде ни малейшего понятия и с которыми нам более не суждено было свидеться. Это был первый и последний раз за все время нашего одинокого плавания, что мы повстречали другое судно. Нас было пятнадцать пассажиров. Чтобы дать представление о томительной скуке, какую мы все испытывали, отмечу, что большую часть дня во время штиля джентльмены упражнялись в искусстве вдевать нитку в иголку, сидя на положенной на бок бутылке из-под шампанского и не касаясь палубы ногами; дамы же, расположившись в тени грота, с увлечением следили за успехами джентльменов. Мы провели в море пять воскресений; впрочем, если бы не календарь, мы бы даже не знали об этом, ибо воскресные дни ничем не отличались от будней.

И вот я вновь очутился в Сан-Франциско, в том же положении, что и раньше, — без средств к существованию и без работы. Я ломал голову, стараясь найти выход, как вдруг меня осенила мысль — прочитать публичную лекцию! Я тут же сел и с лихорадочной надеждой набросал ее текст. Показал его

нескольким друзьям, но все они качали головой. Говорили, что никто не придет меня слушать и что меня ожидает позорный провал, что я непременно сорвусь, так как никогда не выступал публично. Я был безутешен. Наконец один редактор хлопнул меня по спине и благословил меня. «Валяйте, — сказал он. — Наймите самый большой зал в городе и продавайте билеты по доллару штука».

Дерзость его проекта очаровала меня. Вместе с тем я чувствовал в нем бездну практической мудрости. Владелец всех театров Сан-Франциско поддержал эту затею и тут же предложил мне прекрасное новое помещение Оперы за полцены — пятьдесят долларов. Я принял его предложение от чистого отчаяния, но принял его, по вполне понятной причине, в кредит. За три последующих дня я задолжал сто пятьдесят долларов в типографию и за рекламу, и на всем побережье Тихого океана не было более испуганного и растерянного человека, чем я. Спать я не мог совершенно, — да и кто бы стал спать в моем положении? Посторонним последняя строка на моей афише могла показаться игривой, я же писал ее с неподдельной болью в сердце:

Двери раскрываются в 7.30.
Неприятности начнутся в 8.

Строчка эта впоследствии прочно вошла в рекламный фонд. Устроители публичных зрелищ стали широко пользоваться ею. Мне пришлось даже видеть ее в конце газетного объявления, напоминающего школьникам, распущенным на каникулы, о начале занятий. С каждым из этих трех томительных дней я становился все несчастней и несчастней. Двести билетов разобрали друзья, но я не был уверен в том, что они придут. Лекция, задуманная как «смешная», начинала казаться мне все более и более унылой, так что под конец я в ней не видел и крошки юмора и жалел только о том, что нельзя втащить на сцену гроб и превратить всю историю в похороны. Тут я впал в такое паническое настроение, что решил обратиться к трем старым приятелям. Все трое отличались гигантским ростом, отзывчивой душой и мощными голосовыми связками.

— Провал обеспечен, — сказал я им, — шутки мои так тонки, что никто их не заметит, и я бы очень просил вас выручить меня и сесть в первых рядах.

Они обещали помочь. Затем я пошел к супруге одного человека, пользующегося известностью в городе. Я просил ее, как о большом одолжении, сесть с мужем в первой ложе от сцены, на видном месте — так, чтобы весь зал мог их лицезреть. Я объяснил ей, что мне понадобится их помощь. Всякий раз, как я обернусь к

ним с улыбкой, она должна будет понимать это как сигнал, означающий, что я только что разразился очередной туманной остротой, «и тогда, — продолжал я, — действуйте немедленно, не ждите, пока суть моего остроумия дойдет до вашего сознания!»

Она обещала исполнить мою просьбу. Затем на улице мне повстречался совершенно незнакомый человек. Он был несколько навеселе, и лицо его сияло улыбкой и добродушием.

— Моя фамилия Сойер, — сказал он. — Вы меня не знаете, но не в этом суть. У меня нет ни цента, но если бы вы знали, до чего мне хочется посмеяться, вы бы подарили мне билет. Ну как, даете?

— А как у вас обстоит со смехом — он у вас на предохранителе или так? Я хочу сказать, вы легко смеетесь или с натугой?

Моя робкая речь и манера так подействовали на него, что он тут же продемонстрировал мне свою смешливость. Товар мне показался подходящим, и я выдал ему билет, наказав ему сесть в амфитеатре, в самом центре, с тем чтобы он отвечал за этот участок зала. Объяснив ему подробно, как распознавать самые непонятные остроты, я с ним расстался. Он был в восторге от нашей затеи и радостно похохатывал.

В последний из этих трех напряженных дней я не мог есть — я мог только страдать. В афише я объявил, что кассы будут в последний день продавать билеты на самые лучшие места. В четыре часа пополудни я потащился в театр — посмотреть, как идет продажа. Кассира не было, касса была закрыта. Сердце у меня подступило к самому горлу. «Итак, никто не берет билетов, — сказал я себе, — этого, собственно, следовало ожидать». Мысли о самоубийстве, симуляции болезни, бегстве теснились у меня в голове. Думал я обо всем этом всерьез, ибо на самом деле страдал и боялся несказанно. Но, конечно, ничего не оставалось, как отогнать все эти мысли и нести свой крест до конца. Я с нетерпением ждал назначенного часа, мне хотелось поскорее покончить с этим кошмаром. Должно быть, именно так чувствует себя человек, приговоренный к виселице. Побродив переулками на задах театра, я вошел в него в шесть часов вечера. Спотыкаясь в темноте о полотнища кулис, я пробрался на сцену. В зале царили мрак и молчание, пустота его действовала угнетающе. Я снова побрел в темноту за кулисы. На полтора часа я всецело предался ощущению ужаса, позабыв обо всем на свете. Затем я вдруг услыхал неясный гул; он становился все громче и громче, уже можно было различить нетерпеливые хлопки и выкрики. Волосы у меня встали дыбом — так близко, так громко все это было! Наступила пауза, потом опять началось. Еще одна

пауза — и опять. Не знаю, как я очутился на сцене, перед моими глазами поплыло море человеческих лиц, беспощадные огни рампы чуть не ослепили меня, и я весь дрожал от смертельного ужаса. Театр был набит битком, и даже в проходах не было свободного места.

Прошла минута, прежде чем я мог совладать с собой, — мысли и чувства мои были в смятенье, ноги подкашивались. Затем, когда я увидел, что на всех лицах написано доброжелательство и милосердие, страх мой поутих, и я начал говорить. На третьей или четвертой минуте я уже чувствовал себя вполне хорошо и даже был доволен. Три основных моих союзника привели с собой еще троих, и все шестеро сидели в первом ряду, держа наготове громы своего смеха, чтобы обрушить их при первом же намеке с моей стороны на шутку. Всякий раз как я выпускал заряд остроумия, гремели раскаты их хохота и лица давали трещину от уха до уха. Сойер, чья добродушная физиономия краснелась где-то в середине амфитеатра, сейчас же подхватывал, и зал дружно включался. Никогда еще второсортные шутки не имели такого потрясающего успеха. Наконец я дошел до серьезной и самой милой моему сердцу части лекции. Я говорил прочувствованно, задушевно, меня слушали затаив дыхание, и мне это было дороже самых восторженных оваций. На последних словах я невзначай повернул голову, встретил пытливый и напряженный взгляд миссис ***, вспомнил свои разговор с ней и не мог удержаться от улыбки. Она приняла мою улыбку за сигнал и тут же рассмеялась своим милым смехом. Вся аудитория так и прыснула вслед за ней. Этот взрыв был кульминацией всего вечера. Я боялся, что мой славный Сойер задохнется. Громовержцы мои тоже работали не за страх, а за совесть! Но жалкое мое поползновение на пафос погибло, едва появившись на свет. Его честно приняли за шутку, и притом самую острую во всей лекции. Я благоразумно решил не разуверять аудиторию.

Утренние газеты обошлись со мной в высшей степени по-христиански, я вновь обрел аппетит, у меня оказалась куча денег. Все хорошо, что хорошо кончается.

ГЛАВА XXXVIII

Разбойники. — Затруднительное положение. — Милая шутка. — Прощай, Калифорния! — В родном углу. — Большие перемены. — Конец семилетней увеселительной прогулки. — Мораль.

Я пустился во все тяжкие и стал заправским лектором. У меня почти не было конкурентов — на тихоокеанском рынке публичные лекции в то время были еще редким товаром. Теперь они уже как будто не в диковинку. Я взял одного старого приятеля в качестве агента, и две или три недели мы с ним — довольно весело, надо сказать — колесили по Неваде и Калифорнии. За два дня до того, как мне предстояло выступать в Вирджиния-Сити, в каких-нибудь двух милях от города подверглись нападению две почтовые кареты. Дерзкий этот поступок был совершен на рассвете шестью неизвестными в масках, которые внезапно выросли по обе стороны карет, приставили револьверы к вискам кучеров и пассажиров и велели всем выходить. Путники повиновались, грабители забрали у всех часы и деньги до последнего цента. Затем с помощью пороха взорвали ящик с казенными деньгами и забрали все его содержимое. В Вирджиния-Сити, когда мы туда прибыли, только и говорили, что о предводителе шайки, о его маленьком росте, раздражительном характере, решимости и отваге.

Вечером, просветив публику Вирджинии, я пешком переправился через пустынный водораздел в Голд-Хилл и повторил свою лекцию там. После лекций я задержался — встретил приятеля и заболтался с ним — и обратно пустился уже в одиннадцать часов. Водораздел представлял собой высокое незастроенное плоскогорье, повидавшее на своем веку до двадцати полуночных убийств и до сотни ограблений. Оставив огни Голд-Хилла позади, мы поднялись на плоскогорье, и черная безрадостная ночь обступила нас со всех сторон. Резкий ветер гулял по полю, обдавая наши вспотевшие тела пронизывающим холодом.

— Должен вам сказать, что мне тут совсем не нравится ночью, — сказал Майк, мой агент.

— Хорошо, но зачем так громко об этом говорить, — ответил я, — совсем не обязательно напоминать о своем присутствии.

В ту же минуту навстречу мне, со стороны Вирджиния-Сити,

поднялся неясный силуэт, по-видимому, мужчина. Он шел прямо на меня, и я подался в сторону, чтобы его пропустить; он тоже сделал шаг в сторону и снова предстал передо мной. Тут я увидел, что он в маске и держит что-то возле моего лица, потом услышал легкое «щелк-щелк». И глаз мой различил смутные очертания револьвера. Отстранив ствол рукой, я сказал:

— Не надо!

Он резко произнес:

— Часы! Деньги!

Я отвечал:

— Возьмите их себе на здоровье, но только, пожалуйста, уберите пистолет от моего лица. А то мне становится как-то неуютно.

— Без разговоров! Давайте деньги!

— Конечно… Но…

— Руки вверх! Не вздумайте вытаскивать оружие! Вверх, слышите? Выше!

Я поднял руки выше головы. Пауза. И опять:

— Ну, вы собираетесь отдать мне ваши деньги или нет?

Я опустил руки и полез было в карман, говоря:

— Конечно, только я…

— Я сказал: руки вверх! Вы что же, хотите, чтобы я прострелил вам череп? Выше!

Я снова поднял руки. Опять пауза.

— Ну-с, дадите вы мне деньги или нет? А-а, вы опять? Вверх руки, ну! Ей-богу, вы добьетесь того, что я разнесу вам череп!

— Послушайте, друг, ведь я иду вам навстречу во всем. Но вы требуете, чтобы я выдал вам деньги, а вместе с тем настаиваете на том, чтобы я держал руки над головой. Если бы вы… Что вы делаете? И все шестеро сразу! Вы же моего спутника упустите… Ну, пожалуйста, уберите хоть пару револьверчиков от моего лица, я вас очень прошу! Всякий раз, как я слышу щелканье курка, у меня печенка подымается прямо к горлу! Если у вас есть мать… У кого-нибудь из вас… или если хоть у одного из вас когда-нибудь была мать… или… бабушка… или…

— Довольно! Дадите вы нам деньги, или… Ну-ну-ну, нечего! Поднимите руки!

— Джентльмены… я вижу, что вы настоящие джентльмены, по вашим…

— Молчать! Молодой человек, шутить вы будете в другом месте. Мы тут заняты делом.

— Вы попали в самую точку, сэр. Все похороны, какие мне довелось видеть на своем веку, — чистая комедия по сравнению с тем, что происходит здесь. Мне лично кажется, что…

— Да замолчите вы наконец! Деньги! Деньги! Деньги! Стой! Руки!

— Внемлите же рассудку, джентльмены. Вы видите, в каком я положении. Ах ты господи, да уберите же вы ваши пистолеты — я сейчас начну чихать от пороха! Вы видите, в каком я положении. Если бы у меня, к примеру, было четыре руки… так, чтобы я мог две поднять, а остальными двумя…

— Задушить его! Заткнуть ему глотку! Убить его!

— Ну пожалуйста, джентльмены, не надо! Вы забыли про моего товарища. Почему никто из вас… Ф-фу! Уберите эту штуку, пожалуйста. Джентльмены, вы сами видите, что я вынужден держать руки вверх и поэтому не могу достать деньги… но если вы будете так любезны и сами извлечете их из моего кармана, то я когда-нибудь отплачу вам такой же ус…

— Обыщи его, Боргард… да заткни ему глотку пулей, если он будет еще болтать. Джексон[64] Каменная Стена, помоги Боргарду.

После этого трое из них, возглавляемые маленьким шустрым своим атаманом, обратились к Майку и стали обыскивать его. Я находился в каком-то странном возбуждении, и меня все время подмывало задать моим двум молодцам несколько игривых вопросов относительно их собратьев, генералов мятежной армии. Помня, однако, приказ, полученный ими, я благоразумно молчал. Когда карманы мои выпотрошили дочиста, забрав часы, деньги и даже всякие пустяки, не имеющие ценности, я решил, что теперь волен делать, что хочу, и, засунув озябшие руки в пустые карманы, стал самым безобидным образом отбивать чечетку. Я надеялся таким образом согреться и поднять свое настроение. Не тут-то было — несколько пистолетных дул тотчас направились на меня, и раздался грозный окрик:

— Смирно! Руки вверх! Так и стойте!

Рядом со мной поставили Майка, строго-настрого приказав и ему поднять руки. И тогда заговорил атаман:

— Боргард, спрячься вон за тот валун. Фил Шеридан[65], ты спрячься за второй. Джексон, пойди вон за тот куст полыни. Держите этих ребят под прицелом, и если они опустят руки или шелохнутся в ближайшие десять минут, всыпьте им горяченьких!

Названные атаманом разбойники растворились во мраке, разойдясь по засадам, остальные же трое исчезли в направлении Вирджинии.

Кругом царила гнетущая тишина и отвратительный холод. Надо вам сказать, что вся эта история была лишь милой шуткой. Разбойников изображали мои переодетые приятели, между тем как в десяти шагах от нас залегло еще человек двадцать, наблюдая за этой сценой. Майк был посвящен в заговор, я же

ничего о нем не знал. Для меня все это имело самый неприятный привкус реальности.

После того как мы, постепенно коченея, минут пять простояли, как идиоты, среди дороги с воздетыми к небу руками, Майк начал терять вкус ко всей затее. Он сказал:

— По-моему, срок истек, а?

— Нет, нет, стой смирно. С этими кровожадными дикарями шутки плохи.

Наконец Майк сказал:

— Теперь-то уж наверное пора. Я чертовски замерз.

— Ну и мерзни! Лучше замерзнуть, чем тащить свои мозги домой в корзиночке. Может быть, и пора, да нам откуда знать — часов-то нет! Дадим им побольше времени. Лично я намерен выстоять пятнадцать минут! Не шевелись же!

Так, сам того не подозревая, одного из шутников я заставил пожалеть о затеянной шутке. Когда мы наконец опустили руки, их нестерпимо ломило от напряжения и холода. Крадучись, мы стали пробираться дальше. Как ни велик был мой страх, — я боялся, что мы рано сдвинулись с места, и ждал с минуты на минуту, что свинец вонзится в нас обоих, — все же он не мог заглушить муки, терзавшей мое окоченевшее тело.

Шуточка наших друзей-разбойников обратилась против них самих. Во-первых, им пришлось битых два часа мерзнуть на косогоре, поджидая меня, что было не так-то уж весело — они до того озябли, что целых две недели после этого не могли согреться. Во-вторых, я все-таки ни минуты не думал, чтобы разбойники стали меня убивать ради денег, которые им так легко было у меня взять без всяких трудностей. Так что страх, который они мне внушили, не стоил тех неприятностей, которые им самим пришлось претерпеть. Единственное, чего я боялся, это что оружие у них может нечаянно выстрелить. Уже одно то, что их было так много, убеждало меня, что они не намерены пролить кровь. Нет, они неумно придумали. Надо было натравить на меня одного разбойника, вооруженного двустволкой, — вот тогда бы они, может быть, и увидели, как автор этой книги карабкается на дерево!

Впрочем, шутка эта в конечном счете дороже всего обошлась мне, — правда не в том смысле, в каком предполагали мои разбойники. Пребывание на холодном косогоре, да еще после того как я вспотел, вызвало у меня довольно серьезную болезнь. Целых три месяца я не мог писать, не говоря уже о счете, предъявленном мне докторами. С той поры я никогда никого не «разыгрываю» и прихожу в ярость, когда кто-нибудь пытается «разыграть» меня.

Когда я прибыл в Сан-Франциско, я затеял было увеселительную прогулку в Японию, откуда хотел плыть на запад, вокруг света. Но меня потянуло домой, и я раздумал, взял билет на пароход, простился с самым радушным краем и с самым общительным, живым и радушным народом на всем нашем континенте и поехал через «перешеек» в Нью-Йорк. Поездка оказалась не из веселых, так как во время пути разразилась холера и мы хоронили в море по два-три покойника в день. Дома мне показалось мрачновато после длительного отсутствия. Добрая половина детей, которых я знал до отъезда, отрастила бакенбарды или шиньоны, а из взрослых немногие вкушали безмятежное счастье у своего камелька — одни разбрелись, другие сидели в тюрьме, остальных же всех повесили. Задетый за живое всеми этими переменами, я присоединился к знаменитой экскурсии в Европу на пароходе «Квакер-Сити», с тем чтобы орошать своими слезами чужие земли.

Так закончилась после семи лет превратностей судьбы «увеселительная прогулка» к серебряным приискам Невады, рассчитанная на три месяца. Впрочем, я еще и не так просчитывался в жизни.

МОРАЛЬ

Напрасно думает читатель, что он отделался и что в этой книге нет никакой морали. Мораль есть, и вот какая: коли вы дельный человек — сидите дома и с помощью прилежания и настойчивости добивайтесь своего; а бездельник — так уезжайте, и тогда волей-неволей вам придется работать. Близкие благословят вас за то, что вы перестали сидеть у них на шее; ну, а если и конечном счете пострадают те, с кем сведет вас судьба, — что поделаешь!

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ МОРМОНОВ

С основания мормонской общины прошло не больше сорока лет, однако история их была бурной с самых первых шагов своих, и в дальнейшем своем шествии она обещает быть не менее волнующей. Мормоны подвергались преследованиям и гонениям по всей стране, отчего они на долгие годы возненавидели всеми силами души всех «язычников» без разбору. Джозеф Смит, нашедший пресловутую Книгу Мормона и считающийся основоположником их религии, вынужден был из штата в штат перетаскивать свои таинственные медные пластинки и чудодейственные камни, с помощью которых он разбирал письмена, на них начертанные. В конце концов он основал в штате Огайо «церковь», членом которой сделался некий Бригем Юнг. Начались гонения, а с ними и вероотступничество. Бригем твердо держался избранной им веры и работал не покладая рук. Ему удалось приостановить дезертирство. Более того — в самые тяжелые времена он умудрился многих обратить в свою веру. Постепенно он стал пользоваться все большим влиянием и доверием у братии. Вскоре он сделался одним из двенадцати «апостолов церкви», а затем завоевал еще более влиятельное и высокое положение, став президентом Двенадцати. После того как огайцы поднялись и изгнали мормонов из своего штата, мормоны осели в штате Миссури. Бригем сопровождал их. Миссурийцы прогнали их, и они отступили в Науву, штат Иллинойс. Там они начали процветать и воздвигли храм с притязанием на архитектурное изящество, — в краю, где кирпичное здание суда с куполом, возвышающимся над железной кровлей, вызывало почтительный трепет, этот храм обратил на себя внимание. Но и здесь мормонов продолжали теснить и преследовать. Не помогали прокламации, в которых Джозеф Смит клеймил и осуждал многоженство, как противоречащее правилам мормонов: обитатели обоих берегов Миссисипи утверждали, что среди мормонов процветает пышным цветом многоженство, да и многое другое. Бригем вернулся из поездки в Англию, где он основал мормонскую газету и откуда вывез несколько сотен новообращенных. С каждым шагом возрастало его влияние на братию. Затем «язычники» из Миссури и Иллинойса вторглись в Науву и убили Джозефа Смита. Некий мормон по имени Ригдон провозгласил было себя главой мормонской церкви и мормонской общины вместо покойного Смита; он попробовал даже свои силы в качестве пророка. Однако идущий за ним был сильнее его. Улучив момент, Бригем, все преимущество которого состояло в

обладании более острым умом и крепкой волей, свергнул Ригдона с его высокого поста и занял его сам. Больше того — он проклял Ригдона и его приверженцев сложным проклятием, объявил, что его «прорицания» исходили от дьявола, и в заключение предал «лжепророка Сатане на тысячу лет», — на такой срок еще никого не осуждали в Иллинойсе! Народ признал своего властелина. Тотчас подавляющим большинством голосов он избрал Юнга своим президентом и до сего дня относится к нему с беззаветной преданностью. Бригем умел заглядывать вперед — свойство, которым никто другой из видных мормонов как будто не обладал. Он понял, что лучше податься в пустыню своей волей, нежели ждать, когда их туда оттеснят. И вот по его приказу подданные его собрали свои скудные пожитки, обратили спины к домам своим, а лица к пустыне и морозной февральской ночью, при свете зарева от горящего со всей священной утварью храма, который они подожгли собственноручно, потянулись печальной чередой через Миссисипи. А через несколько дней они расположились лагерем на западной границе штата Айова, и бедность, лишения, голод, холод, недуги, тоска и травля сделали свое дело: многие, не выдержав всех этих невзгод, погибли. Что бы там ни говорили, это были настоящие мученики! Те, кто выжил, задержались там еще на два года, в то время как Бригем с небольшим отрядом пересек пустыню и основал город Грейт-Солт-Лейк-Сити (Город Великого Соленого Озера), нарочно для этого избрав место, которое не являлось собственностью ненавистного американского правительства и находилось вне его юрисдикции. Этот факт не следует забывать. Описанные события относятся к 1847 году. Не успел Бригем со своим народом поселиться в новом городе, как их постигло еще одно бедствие — кончилась война, и Мексика передала убежище Бригема неприятелю — Соединенным Штатам Америки. В 1849 году мормоны образовали «свободное и независимое» правительство и объявили себя «Штатом Дезерт», а Бригема Юнга своим президентом. Однако на следующий год конгресс Соединенных Штатов дал щелчок по их самолюбию, и то же самое сочетание гор, полыни, солончаков и всеобщего запустения превратил в «территорию Юта», но при этом все же назначил Бригема Юнга ее губернатором. В течение последующих лет переселенцы волна за волной тянулись через пустыни и земли мормонов в Калифорнию, но, несмотря на это, церковь оставалась незыблема и верна своему повелителю и господину. Голод, жажда, нужда и горе, ненависть, презрение и преследования со стороны окружающих не пошатнули мормонов в их вере и преданности своему вождю. Они устояли даже против соблазна золота, — а

ведь у скольких народов загубило оно цвет молодежи, выкачало последние соки! Из всех возможных испытаний испытание золотом — самое суровое, и в народе, его выдержавшем, должно быть заложено нечто весьма основательное.

Территория Юта и Грейт-Солт-Лейк-Сити процветали. Перед тем как покинуть Айову, Бригем Юнг напоследок явился в церковь, облачившись в одежды всеми оплакиваемого пророка Смита, и совершил от его лица торжественное рукоположение «президента Бригема Юнга»! Народ с восторгом проглотил это благочестивое мошенничество, и власть Бригема окончательно укрепилась. А затем — и пяти лет не прошло! — он объявил многоженство одним из основных догматов церкви, сославшись на «откровение», которое якобы еще девять лет назад сошло на Джозефа Смита, хотя всем известно, что Джозеф Смит до самой смерти своей боролся с многоженством.

Бригем по скромному началу своей карьеры и постепенному продвижению к великолепию и славе мог равняться с самим Эндрю Джонсоном[66]. Последовательно прошел он все ступени: рядовой мормон, миссионер на родине, миссионер за границей, издатель и редактор, апостол, президент апостольского департамента, глава мормонской общины, наделенный духовной и светской властью; волею неба — преемник Смита, «пророк», «прорицатель», «провидец». Оставалась одна лишь ступень, и он смиренно взошел на нее — объявил себя господом богом!

Ему уготован, так утверждает он, собственный рай после смерти, где он будет богом, жены его — богинями, а дети — князьями и княжнами небесными. Все верные мормоны будут допущены в этот рай вместе со своими семьями и займут там положение соответственно количеству жен и детей, которыми они успели обзавестись. Если кто из верных умрет, не успев нажить жен и детей в количестве, необходимом для того, чтобы пользоваться уважением в загробном мире, кто-нибудь из друзей может взять себе несколько жен во имя покойника и вырастить ему недостающее потомство; все они будут зачтены покойнику и соответственно повысят его в ранге.

Не следует забывать, что мормоны по большей части вербуются среди людей невежественных, наивных, малоразвитых, обладающих ограниченным кругозором; не следует также забывать, что жены мормонов стоят на том же уровне и что дети, рожденные от их союза, вряд ли сильно отличаются от своих родителей; не следует упускать из виду и того, что в течение сорока лет этих несчастных травили — травили без устали, без жалости! Толпа улюлюкала им вслед, избивала их и стреляла по ним; их подвергали проклятиям, презрению и изгнанию; они

бежали в глушь, в пустыню, уже изможденные болезнями и голодом, стенаниями нарушая вековую тишину и усеивая долгий путь свой могилами. И все это они претерпели за то лишь, что пожелали жить и верить так, как велела им их совесть. Все это необходимо помнить, и тогда станет понятна та неумирающая ненависть, которую мормоны питают к нашему народу и правительству.

Ненависть эта стала подниматься на дрожжах древней обиды с той самой поры, как мормонский край Юта начал процветать, а церковь богатеть и крепнуть. Бригем в качестве губернатора территории недвусмысленно дал всем понять, что Мормония существует для мормонов. Соединенные Штаты пытались поправить дело назначением правительственных чиновников из Новой Англии и других антимормонских областей, но Бригем значительно осложнил въезд этих чиновников в территорию, находящуюся под его управлением. Соединенным Штатам пришлось прогнать трехтысячное войско через пустыню, чтобы водворить своих чиновников на предназначенные для них посты. Однако, когда сии джентльмены были водворены, толку от них было не больше, чем от каменных идолов. Они издавали законы, на которые никто не обращал внимания и которые не могли быть проведены в жизнь. В стране, где преступления и насилие над личностью совершались на каждом шагу, федеральные судьи заседали лишь на потеху дерзкой толпе, что собиралась поглазеть на них в свободное время, ибо судить было некого, делать было нечего, да и дел-то никаких не велось. Если истцом был «язычник», мормонские присяжные выносили решение, какое им было угодно, с приговором же федерального суда мормоны не считались, и привести его в исполнение не было никакой возможности. Наши президенты слали в Юту одну партию чиновников за другой, и всякий раз результат был один — они мрачно отсиживали какое-то время, день за днем глотая оскорбления, видя кругом угрюмые физиономии и при всякой попытке выполнять свой долг нарываясь на косые взгляды и прямые угрозы, — и наконец либо сдавались и становились жалким орудием мормонов, либо, не выдержав, запуганные вконец, покидали территорию. Если же случайно чиновник оказывался человеком неробкого десятка и ему удавалось показать свою храбрость, тотчас какой-нибудь покладистый президент, вроде Бьюкенена или Пирса, смещал его с должности и на его место ставил очередное бревно. В 1857 году, в том самом, когда Крэдлбо был судьей, губернатором Юты чуть было не назначили генерала Харни; слово «страх» в сознании этих двоих имело смысл самый абстрактный. Хотя бы потому, что они

внесли бы разнообразие в несколько монотонную историю угодливости и беспомощности федеральных властей, приходится пожалеть, что этим двум не суждено было служить одновременно в территории Юта.

Такое положение дел мы застали, когда нам довелось побывать в Юте. Управление территорией проявляло позорную беспомощность, и единственной реальной силой там был Бригем Юнг. Это был абсолютный монарх — монарх, который не считался с нашим президентом, смеялся над нашей армией, когда она осаждала его столицу, и, без малейшего смущения выслушав весть о том, что августейший конгресс Соединенных Штатов торжественно объявил многоженство противозаконным, преспокойно завел себе еще двадцать пять или тридцать жен.

Б. РЕЗНЯ НА ГОРНОМ ЛУГУ

Мормоны мстили и мстят за преследования, коим подвергались и — как они считают — продолжают подвергаться по сей день, ибо самоуправления им так и не дали. Почти забытая ныне «резня на Горном лугу» была делом их рук. История эта в свое время нашумела порядком — по всей стране только и разговоров было, что об этом зверстве. Освежим ее в памяти читателя в общих чертах. Однажды большой обоз переселенцев из Миссури и Арканзаса проследовал через Солт-Лейк-Сити; к обозу присоединилось несколько мормонов из недовольных в надежде под его прикрытием совершить побег. Этого одного было бы достаточно, чтобы воспламенить гнев мормонских главарей. Но сюда еще присоединилось то обстоятельство, что переселенцы — сто сорок пять или полтораста ничего не подозревающих душ — ехали из Арканзаса, где незадолго до описываемых событий был убит крупный мормонский миссионер, и из Миссури — штата, о котором мормоны вспоминали как о самом рьяном гонителе первых «святых» в эпоху, когда мормонская община была малочисленна, бедна и не имела друзей. Таким образом, путники не внушали к себе симпатий. И, наконец, в обозе были большие богатства — скот, лошади, мулы и всякое другое имущество, — как же было мормонам, которые во всем стремились подражать древнему израильскому племени, как же было им не схватить «добычу» у неприятеля, когда сам господь бог «предал ее им в руки»?

Итак, говоря словами миссис С.В.Уэйт в ее любопытной книге «Мормонский пророк», случилось, что «Бригему Юнгу, Великому и Верховному Государю, иначе говоря — Богу, было „откровение“, на основании которого он приказал президенту Дж.С.Хейту, епископу Хигби и Джону Д.Ли (приемный сын Бригема) собрать побольше людей из тех, на кого можно положиться, одеть их индейцами, напасть на проклятых язычников (так говорилось в „откровении“) и сразить всех до единого стрелами Всевышнего, чтобы никто не мог поведать миру, как обстояло дело; если понадобится, привлечь настоящих индейцев в качестве союзников, посулив им часть добычи. Долг свой выполнить точно и без промедления, скот пригнать до наступления зимы, ибо такова воля Всемогущего Господа Бога».

Задание, заключенное в «откровении», было добросовестно выполнено. Большой отряд мормонов, нарядившись индейцами и разрисовав себе лица, нагнал обоз примерно в трехстах милях к югу от Солт-Лейк-Сити и там на него напал. Переселенцы тотчас

окопались, превратили свои фургоны в редуты и мужественно и успешно отбивались целых пять дней. Миссурийцев и арканзасцев не очень-то запугаешь жалкой пародией на «свирепых индейцев», прозябающих в Юте! Каждый переселенец готов был сражаться с пятьюстами из них.

На шестой день мормоны решили прибегнуть к военной хитрости. Отступив к верхнему краю «Луга», они переоделись, смыли с себя краску и, вооруженные до зубов, подъехали в фургонах к осажденным переселенцам, поднявши белый флаг парламентеров. Увидев белых людей, переселенцы побросали ружья и приветствовали их радостными криками. В ответ на белый флаг, вряд ли даже подозревая всю патетичность своего жеста, они подняли на воздух младенца, одетого в белое.

Во главе этих неожиданных белых «избавителей» стояли президент Хейт и епископ мормонской Церкви Джон Д.Ли. О дальнейших действиях этих предводителей мистер Крэдлбо (исполнявший в то время обязанности федерального судьи в Юте, а впоследствии — сенатор от Невады) рассказал в своей речи, произнесенной в конгрессе:

«Заявив, что находятся в хороших отношениях с индейцами и что последние настроены весьма свирепо, они предложили свое посредничество, обещав переселенцам походатайствовать за них перед индейцами. Переговоры длились несколько часов, и после (мнимого) совещания с индейцами парламентеры предъявили ультиматум, якобы продиктованный дикарями, согласно которому переселенцам предписывалось всем до единого покинуть лагерь, оставив в нем все, вплоть до оружия. Мормонские же вожди обещали привести военные отряды и конвоировать переселенцев до ближайших поселений. Ради спасения своих семей переселенцы условия приняли. Мормоны удалились, а затем вернулись с вооруженным отрядом в тридцать или сорок человек. Переселенцы выстроились в колонну: впереди шли женщины и дети, за ними мужчины, и наконец шествие замыкала мормонская охрана. Когда в таком порядке они прошли примерно с милю, был дан сигнал — и началось избиение. Почти все мужчины были убиты на месте выстрелом в спину. Только двоим удалось убежать на сто пятьдесят миль в пустыню, но их там нагнали и убили. Женщины и дети, пробежав ярдов двести, были добиты „охраной“ и индейцами. Из всего обоза уцелели семнадцать душ — дети, из которых самому старшему не было восьми лет. Так, сентября 10-го в год 1857 совершилось одно из самых жестоких, подлых и кровожадных убийств во всей истории нашей родины».

В этой бойне мормоны уничтожили сто двадцать человек.

С неслыханным мужеством открыл судья Крэдлбо заседание суда и призвал Мормонию к ответу за массовое убийство. Какая картина! Суровый ветеран, одинокий, гордый и мужественный, гневно взирающий на мормонских присяжных и аудиторию, состоящую сплошь из мормонов, — он то издевается над ними, то обрушивает на них молнии своей ярости!

Вот что писала «Территориел энтерпрайз» в передовой, посвященной этому событию: «он говорил и действовал с неустрашимостью и решительностью, достойной Джексона; но присяжные отказались признать состав преступления и не захотели даже высказаться по отдельным пунктам обвинительного акта; со всех сторон неслись угрозы в адрес судьи и правительственных войск, имеющие целью заставить его отступиться от взятого им курса.

Убедившись в полной бесполезности присяжных, судья распустил их, облив их ядом своего сарказма. Затем, будучи облечен исполнительной властью, он один, без всякой посторонней помощи, принялся за дело. Он допрашивал свидетелей, производил повсеместно аресты и тем внес такое расстройство в ряды «святых», какого они не знали со дня основания мормонской общины. Перепуганные старшины и епископы, по последним сведениям, бежали, спасая шкуру; последовали удивительные разоблачения, и выяснилось, что самые высокие служители церкви замешаны в многочисленных убийствах и ограблениях «язычников», имевших место в последние восемь лет».

Если бы в ту пору губернатором Юты был Харни, Крэдлбо нашел бы у него поддержку, и тогда приведенные им доказательства виновности мормонов в последней бойне, а также во многих ранее совершенных убийствах доставили бы кое-кому из граждан бесплатный гроб и в придачу — случай им воспользоваться. Но в ту пору пост федерального губернатора занимал некий Камминг, который из странного желания щегольнуть объективностью всячески ограждал мормонов от посягательств правосудия. В одном случае он даже выступил в печати с протестом по поводу того, что судья Крэдлбо привлек правительственные войска для выполнения своих задач.

Миссис Уэйт заключает свой в высшей степени интересный отчет о зверской бойне следующим замечанием и кратким обзором улик, отличающимся точностью, достоверностью и четкими формулировками:

«Для тех, кто склонен еще сомневаться в причастности Юнга и его мормонов к этому делу, предлагается настоящий свод улик и обстоятельств, которые не просто указывают на возможность их

виновности, но и доказывают эту виновность с полнейшей достоверностью:

1. Показания самих мормонов — участников дела, снятые судьей Крэдлбо в присутствии помощника шерифа Соединенных Штатов Роджерса.

2. Отсутствие какого бы то ни было упоминания об этом деле в отчете, представленном Бригемом Юнгом в качестве инспектора по делам индейцев. Также полное молчание обо всем в церкви, которое было нарушено лишь спустя несколько лет после упомянутых событий.

3. Бегство в горы высокопоставленных представителей как духовной, так и мирской власти мормонов в самом начале следствия, предпринятого по этому делу.

4. Замалчивание всей истории церковным органом «Дезерет ньюс» — единственной газетой, выходившей в ту пору в Юте; когда же газета через несколько месяцев и высказалась по этому поводу, то лишь затем, чтобы отрицать причастность мормонов к совершенным преступлениям.

5. Показания детей, уцелевших после бойни.

6. Тот факт, что на следующий день после резни в ряде мормонских семей появились как дети, так и имущество, принадлежавшее убитым.

7. Показания индейцев, находившихся неподалеку от места резни; показания эти приводятся не только Крэдлбо и Роджерсом, но подтверждаются также и рядом офицеров, а также Дж. Форнеем, который в 1859 году занимал пост инспектора по делам индейцев в территории Юта. Свои показания упомянутым лицам индейцы давали добровольно и неоднократно.

8. Показания капитана 2-го драгунского полка Р.П.Кембелла, откомандированного весною 1859 года в Санта-Клара для охраны путешественников по дороге в Калифорнию, а также для расследования случаев нападения на них индейцев».

В. О НЕКОЕМ СТРАШНОМ УБИЙСТВЕ, КОТОРОЕ ТАК И НЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО

На всем белом свете не сыскать существа безобиднее Конрада Виганда из Голд-Хилла, Невада. Овечка, возомнившая себя пороховым складом, готовым взорваться в любую минуту, — вот кто такой Конрад Виганд. Устрица, возомнившая себя кашалотом, болотная гнилушка, возомнившая себя сияющей звездой с орбитой в биллионы миль, летний зефир, возомнивший себя ураганом, — вот что такое Конрад Виганд! Следует ли удивляться после этого, что он воображал, будто весь мир, затаив дыхание, ждет его слов, следит за его поступками и что при виде его страданий содрогается вся природа! Когда я с ним познакомился, он был «инспектором голдхиллской пробирной конторы» и одновременно составлял весь ее штат. Кроме того, он был уличным проповедником и предлагал миру духовное обновление через посредство несколько ублюдочной религии, которую он сам изобрел. Впоследствии он сделался журналистом, и журналистика его была именно такой, какой от него следовало ожидать: оглушительной для уха и почти не видимой для глаза. Все его трескучее велеречие помешалось в газетке величиной с двойной листок почтовой бумаги. Нет сомнения, что он в своем лице совмещает редактора, метранпажа и наборщиков, но при этом любит говорить о своем предприятии, словно помещение, которое оно занимает, раскинулось на целый квартал, а штат его насчитывает по крайней мере тысячу человек.

Немногим меньше двух лет назад Конрад на столбцах своего убогого «Народного трибуна» достаточно бесцеремонно расправился с рядом граждан, вследствие чего имел кое-какие неприятности. Тотчас он выносит всю историю на страницы «Территориел энтерпрайз», и я намерен ее привести здесь в том виде, в каком он ее подает, во всем блеске своего простодушия и редкостной откровенности. Как она ни растянута, все же читатель не прогадает, ознакомившись с ней, ибо она является едва ли не ярчайшим образцом американской журналистики на протяжении всей ее истории.

«Территориел энтерпрайз», янв. 20, 1870 г .

НЕСОМНЕННЫЙ СЛУЧАЙ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ УБИЙСТВА

Редактору «Энтерпрайз». Несколько месяцев назад, когда мистер Сутро имел случай разоблачить действия правления Комстокских приисков и хотел подвигнуть меня, среди прочих, на протест против подобного рода действия, Вы были так добры, что пытались предостеречь меня, говоря, что всякая попытка поднять кампанию против порочной практики, принятой на приисках округа Стори — в печати ли, на собраниях либо путем апелляции к властям, — неизбежно привела бы к тому, что я: а) потерпел бы крах как деловой человек; б) был бы вынужден нести все расходы, связанные с кампанией; в) в случае если стал бы упорствовать, подвергнулся бы насилию, а впоследствии даже и г) полному физическому уничтожению, — и при всем том, так бы ничего и не добился.

ВАШЕ ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ

Ваши пророчества в большей своей части сбылись, ибо: а) Пробы, с которыми до сей поры прекрасно справлялась голдхиллская пробирная контора (инспектором которой являюсь я), в результате моих выступлений в печати стали производиться в другом месте, — так по крайней мере заверяет меня президент одной из компаний. Другая работа без всякой явной причины также у меня отобрана. Не считая одного-двух, впрочем довольно значительных, исключений, нашей конторе приходится отныне довольствоваться жалкими остатками местных заказов. б) В то время как собственный мой вклад в газету «Народный трибун» уже превысил 1500 долл., мы получили от подписчиков сумму, меньшую, чем 300 долларов. в) В прошлый четверг, около полудня, на главной улице Голд-Хилла, без всякого предупреждения и объяснения причин, я был сбит с ног мощным ударом кулака, и покуда я лежал на земле, какой-то человек, которого уверили, будто я пренебрежительно о нем отзывался, стал пинать меня ногами. Личность того, кто потрудился уверить его в этом, до сих пор мною не установлена. В прошлую субботу я вторично подвергся нападению и последующему избиению, причем на этот раз нападающий предварительно довел до моего сознания причину, побудившую его действовать подобным образом; но, несмотря на неоднократные с моей стороны попытки разъяснить ему истинное положение вещей, он своих действий не прекращал. Затем тот же самый человек, убедившись в том, что путем угроз ему не удается заставить меня назвать истинные имена лиц, писавших в моей газете, ибо я был связан обещанием, до полного собственного изнеможения исхлестал меня с помощью сыромятного ремня — при совершенном отсутствии какого бы то ни было сопротивления с моей стороны, — после чего, доведя себя до одышки, стал грозить, что искалечит меня навеки, если я дерзну еще раз упомянуть его имя в печати, между тем как за минуту до своего на меня нападения этот же человек пытался меня уверить, будто в прошлую среду вечером (день, в который выходит «Трибун») меня «отпустили» домой живым лишь оттого, что считают помешанным; при всем том не следует упускать из виду тот факт, что на следующее же утро после того меня сбил с ног и избил ногами человек, по всей видимости, задумавший скрыться при помощи бегства.[67]

КОГДА ЖЕ ЗАМКНЕТСЯ КРУГ

Не берусь утверждать, скоро ли сбудутся остальные Ваши предсказания, или нет, однако, видя, как точно и скоро сбылась первая часть пророчества, и столкнувшись лицом к лицу с угрозами, исходящими от человека, являющегося одним из выдающихся представителей приисковой клики Сан-Франциско, угрозами, которые дерзко направлены против меня, являются вызовом обществу и чреваты осуществлением Ваших пророчеств полностью, — стоит ли после этого удивляться тому, что я склонен воспринимать это мое письмо как последнее свое выступление в печати, тем паче что чувство собственного достоинства, а также долга по отношению к нашему задавленному капиталом и подавленному страхом обществу, а также моя чисто американская преданность духу подлинной Свободы, перевесив соображения личной безопасности, заставляют меня привести полностью имя вышеупомянутого деятеля? Итак, это Джон Б.Уинтерс, президент компании «Оса», человек, претендующий на политическое влияние, и притом военный генерал. Имя же его частично введенного в обман соучастника и помощника в последнем поистине удивительном нападении, коему я подвергся, — Филип Линч, издатель и редактор голдхиллских «Новостей».

Несмотря на нанесенные мне Джоном Б.Уинтерсом в субботу вечером оскорбления и обиду, с которыми я познакомил читателя лишь в самых общих чертах, я настолько не люблю привлекать внимание публики к чужим ошибкам, как бы серьезны они ни были и кто бы их ни совершал, будь то мужчина или женщина — безразлично, если только совершивший их находился под влиянием неподдельной страсти, и учитывая крайнюю степень возбуждения, в которое в данном случае пришел мой обидчик, а также принимая во внимание отсутствие какой бы то ни было публичности в момент совершения им нападения, я бы, по всей вероятности, дал ему время раскаяться в своем проступке, прежде чем предавать его гласности, если бы сам он не сделал этот случай общественным достоянием, дав всему городу повод говорить, будто он меня выпорол ремнем. А раз факт этот сделался повсеместно известным, то я нахожу нужным довести до сведения публики и прочие факты, с ним связанные, иначе молчание мое могло бы кое-кому показаться более чем странным и быть истолковано как доказательство того, что я преследую неблаговидные цели, публикуя данную статью, или что позиция «противника насилия» является для меня всего-навсего удобной

ширмой, за которой скрывается малодушие как нравственное, так и физическое. Поэтому я попытаюсь дать яркую и вместе с тем правдивую картину всего происшествия, но воздержусь притом от комментариев, полагая, что наши сотрудники во всяком случае захотят сказать свое слово в следующем номере «Народного трибуна», который выйдет независимо от того, буду ли я к тому времени числиться в живых, или нет, ибо смерть моя, возможно, задержит, но никак не прекратит выход газеты.[68]

ЛОВУШКА РАССТАВЛЕНА

В субботу утром Джон Б.Уинтерс устно оповестил меня, послав своего человека в голдхиллскую пробирную контору, о том, что желает повидаться со мной в конторе «Осы». Хотя таковое предложение показалось мне несколько дерзким, тем более что там со мной незадолго до этого обошлись довольно бестактно — и как с издателем газеты и как с акционером компании «Оса», — и хотя такая форма более напоминала приказ, нежели любезное приглашение, посылаемое одним джентльменом другому, в надежде, что это свидание даст мне возможность переговорить с Шароном об упорядочении ведения дел на Невадских приисках, я решил не придавать особого значения тому, что, возможно, было не более как проявлением некоторой невоспитанности. Поскольку, однако, едва минуло двое суток с того дня, как меня — вследствие чрезмерной поспешности и недостаточного внимания к фактам — избили, я испытывал известную потребность в осторожности. Кроме того, я был слишком чувствителен, чтобы забыть его пренебрежительный тон со мной в последнее мое посещение его конторы. Поэтому я почел за лучшее взять с собой товарища — человека, с которым он не позволил бы себе грубость и чье присутствие оградило бы меня от оскорблений. Я обратился к одному из соседей с просьбой меня сопровождать.

ЛОВУШКА ПОЧТИ ОБНАРУЖЕНА

Хоть я тогда и не знал этого, но, оказывается, еще до того как я обратился со своей просьбой к соседу, последний слышал, как доктор Забриский всенародно рассказывал в кабаке, будто мистер Уинтерс говорил ему о своем намерении меня убить либо выпороть ремнем, — он еще сам якобы окончательно не решил, на котором из вариантов остановиться. Поэтому сосед мой соглашался сопровождать меня туда не прежде, чем сам переговорит с мистером Уинтерсом. Итак, он посетил мистера Уинтерса и вынес из этого визита впечатление, что меня там не ожидают никакие неприятности, причем мистер Уинтерс сообщил ему, что намерен сам посетить мою контору в четыре часа пополудни.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Так как в тот день шериф Каммингс оказался в Голд-Хилле и так как мне хотелось обсудить с ним покушение, которому я подвергался на днях, я пригласил его к себе в контору, куда он и явился. В половине пятого мистера Уинтерса еще не было, и мы оба решили идти по домам. Тут вдруг входит Филип Линч, издатель голдхиллских «Новостей», и говорит весело и как ни в чем не бывало, словно сообщает добрые вести:

— Здрасте. Джон Б.Уинтерс ждет вас к себе.

Я ответил:

— Вот как! Да ведь он передавал, что пожалует ко мне в четыре часа пополудни!

— Э, что там церемонии разводить! Он сейчас у меня в редакции — не все ли равно? Идемте же, Уинтерс хочет поговорить с вами наедине. Он что-то хочет вам сказать.

Хоть мне и не совсем понравилась такая перемена программы, все же, полагая, что в доме у журналиста я вправе считать себя в безопасности и что в случае чего всегда можно крикнуть в окошко, я торопливо и не вдаваясь в частности шепотом поделился своими опасениями с мистером Каммингсом, попросив его держаться поближе к дому — на случай, если мне придется звать на помощь. Он согласился, тем более что поджидал товарищей и обещался прийти по первому моему зову или даже не дожидаясь его, в случае если ему самому почему-либо покажется, что я в нем нуждаюсь.

В той части здания, куда я вошел и где помещалась редакция «Новостей», выходящие на улицу окна не были освещены; мистера Уинтерса не было видно, и прежнее мое беспокойство вернулось ко мне. Если бы я успел подумать, я бы попросил мистера Каммингса сопутствовать мне, но Линч, спускаясь со мной по лестнице, бросил на ходу:

— Сюда, Виганд; чем меньше свидетелей, тем лучше.

Впрочем, темных слов его я не помню. [69]

Я последовал за ним без мистера Каммингса и без оружия, которое я никогда не ношу при себе — и никогда не стану носить, разве что судьба бросит меня на поле битвы, либо сделает неизбежным мое участие в дуэли, либо поставит во главе отряда комитета виджилантов — если бы в таковом действительно имелась надобность. Однако, последовав за ним, я совершил роковую ошибку. Следовать за ним означало вступить в ловушку, а всякое животное, позволившее себя поймать, неминуемо испытывает участь крысы, попавшей в ловушку, что, к сожалению,

и докажут последующие события. Ловушки редко расставляются из добрых побуждений. [70]

В ЛОВУШКЕ

Я последовал за Линчем вниз. На нижней площадке, по левую руку, находилась дверь, ведущая в небольшую комнатку. Из этой комнатки дверь вела в другую; я в нее вошел и, как всякому теперь уже будет ясно, попал в настоящий подземный голдхиллский притон, отлично приспособленный — в руках умелого мастера — для совершения убийств как тайных, так и явных, ибо, сколько бы я ни кричал, если бы обе двери, или пусть даже одна, были закрыты, шериф Каммингс меня бы не мог услыхать; больше того — с помощью грубого насилия мне помешали мирно покинуть помещение, когда я увидел, что преднамеренной целью этой «беседы» было лишение меня жизни, а привлечением мистера Линча в качестве свидетеля достигалось то, что, когда человек (я), чья вспыльчивость сделалась притчей во языцех, будет доведен до такого состояния, что будет вынужден кинуться на мистера Уинтерса, мистер Линч, подстрекаемый совестью и всем известной расположенностью к богатым и власть имущим, должен будет показать, будто генерал Джон Б.Уинтерс убил Конрада Виганда в порядке «самозащиты». Впрочем, я забегаю вперед.

НАШ ХОЗЯИН

Мистер Линч почти все время — то есть немногим меньше часа — находился с нами, но раза три все же выходил из комнаты. Поэтому его показания рисуют описываемое мною происшествие не точно. Когда я вошел в этот устланный коврами притон, мне тотчас указали, где сесть, — в одном из углов. Мистер Линч уселся возле окна, мистер Уинтерс сидел (вначале) подле двери и повел разговор в следующем духе:

— Я пришел сюда, чтобы потребовать от вас печатного отречения от гнусных клеветнических измышлений, опубликованных вами в такой-то и такой-то вашей омерзительной газетенке. Я требую, чтобы вы открыто признали себя автором этих обвинений и заявили бы, что печатали заведомо ложные сведения, исходя из самых низменных побуждений.

— Стойте, мистер Уинтерс! Слова ваши столь же оскорбительны, сколь чудовищно требование, которое вы предъявляете мне. Я полагаю, что меня сюда призвали не затем, чтобы оскорблять либо оказывать на меня давление. Я прибыл сюда по приглашению мистера Линча, который передал мне ваше желание меня видеть.

— Я и не намереваюсь оскорблять вас. Я уже сказал вам, чего я от вас хочу.

— Однако тон ваш был оскорбителен, да и сейчас вы находитесь в крайнем возбуждении. Если вы и дальше станете меня обижать, я либо уйду, либо позову сюда шерифа Каммингса, которого я попросил поджидать меня у дверей.

— Это вам не удастся, сэр. Давайте поймем друг друга раз и навсегда. Сейчас вы в моих руках, и вот почему: несколько месяцев назад вы похвастались, что перевели свое имущество на чужое имя, для того чтобы не понести материального ущерба, в случае если против вас возбудят дело о клевете.

— Это верно. Все свое недвижимое имущество я перевел на людей, которым могу доверять, и сделал это главным образом для того, чтобы избежать разорения от возможных тяжб.

— Отлично, сэр. Вы сами поставили себя вне закона, так помоги вам бог, если вы не напишете в точности такое опровержение, какого я от вас требую! Вы у меня в руках и клянусь… вы знаете кем! — вы покинете эту комнату не прежде, чем напишете и подпишете опровержение, какого я требую от вас, а не то я тебе, подонку такому-то и еще такому-то, лгунишке несчастному, покажу, что такое правосудие вне закона! И клянусь таким-то, что ни шериф Каммингс, ни все твои друзья вместе

взятые не спасут тебя, такой-то, такой-то и такой-то! Нет, сэр! Вот я тут один, как есть, и пусть меня застрелят на месте, если я позволю позорить свое имя и отпущу вас так, после того как вы напечатали свои гнусные обвинения, — ведь их могут прочесть не только здесь, где все меня знают и, следовательно, уважают, но и там, где меня никто не знает лично и где это может сильно повредить моей репутации.

Признаюсь, эта речь со страшной и отнюдь недвусмысленной угрозой убить меня в случае моего отказа подписать данный документ внушила мне ужас, тем более что я видел, что он взвинчивает себя и вот-вот придет в настоящее неистовство; поняв инстинктом, что всякий ответ, кроме видимого согласия удовлетворить его требованиям, оказал бы действие, подобное действию масла на огонь, я отвечал:

— Что ж, если так уж необходимо, чтобы я подписал… — Тут я выдержал небольшую паузу. — Впрочем, мистер Уинтерс, я вижу, вы слишком возбуждены. Кроме того, вы во власти недоразумения. Вам следует не взвинчивать себя, а, напротив, попробовать успокоиться. Я готов доказать вам, если только вы укажете мне, какую именно статью имеете вы в виду, что то, что вы называете «обвинениями», ни один человек, способный рассуждать хладнокровно и логично, за таковые не посчитал бы. Покажите мне эти обвинения, и я во всяком случае попытаюсь разубедить вас; и если окажется, что в самом деле никаких обвинений предъявлено не было, тем самым отпадет и необходимость в опровержении их, и никто не стал бы советовать вам требовать от меня такового. Я хотел бы удержать вас от совершения столь серьезной ошибки, ибо всякий человек, как бы честен он ни был, может ошибаться. Кроме того, вы утверждаете, будто я являюсь автором статьи, которую, кстати сказать, даже не назвали мне. Не слишком ли это с вашей стороны поспешный вывод?

В ответ он указал мне отчеркнутые места в статье, помещенной в «Трибуне» под заглавием «Что же происходит в „Осе?“, говоря: „Вот что я имел в виду“.

Я взял в руки газету, с тем чтобы выиграть время, обдумать свое положение и выработать дальнейшую линию действия; он между тем молчал, и я надеялся, что он понемногу остынет.

— Я так и думал! — произнес я наконец. — Я не признаю себя автором данной статьи, и вы не вправе решать столь серьезные вопросы без всяких на то оснований и тем более предпринимать столь серьезные по своим последствиям действия. Как бы вам не пришлось о них пожалеть! В опубликованном мною «Обращении к народу» я оповестил весь мир, что без согласия

автора его имя оглашаться не будет. Поэтому, как честный человек, я не могу сообщить вам, кто написал эту статью, и вы не должны на этом настаивать.

— Если вы не являетесь автором статьи, то я требую, чтобы вы назвали его!

— Я не могу согласиться с вашим требованием.

— Тогда, клянусь таким-то, я буду действовать так, как будто вы и есть автор.

— Оставив этот аспект проблемы в стороне, я должен обратить ваше внимание на еще более существенное недоразумение, в плену которого вы находитесь, воспринимая отчеркнутые здесь места как «обвинения», в то время как, если взять их в контексте, то есть прочитать статью с начала и до конца, они таковыми, конечно, не являются. Вот, например, вступительное предложение: «Подобное расследование (упомянутое выше), по нашему мнению, может быть привело бы к тому, что обнаружились бы нижеследующие явления». Тут следуют одиннадцать пунктов, после которых говорится, что предлагаемое расследование могло бы «очистить от подозрений тех, кого до сих пор считали виновными». Итак, из контекста явствует, что упомянутые пункты никоим образом нельзя воспринимать как обвинения, — факт, ускользнувший от вашего внимания.

Все время, что я занимался разъяснениями, мистер Уинтерс порывался меня перебивать, и я видел, что он вовсе не расположен беспристрастно вдуматься в существо высказываемых мною мыслей. Он продолжал настаивать на том, что в статье были выдвинуты именно обвинения и что он — такой-то его возьми! — заставит меня от них отказаться; тут он обратился к Филипу Линчу; я, впрочем, тоже пытался к нему апеллировать как к литератору, человеку, способному логически мыслить, и издателю, предлагая его вниманию прежде всего только что приведенную мной вступительную фразу.

Он сказал:

— Если это и не прямое обвинение, то во всяком случае инсинуация.

После чего мистер Уинтерс стал снова настаивать на том, чтобы я написал опровержение; впрочем, он соглашался снять это требование, в случае, если я назову автора, раз я сам отказываюсь от авторства, причем на этот раз он уже потрясал кулаком под самым моим носом, произнося всевозможные эпитеты и проклятия.

Когда он начал грозить мне кулаком, я инстинктивно привстал с места, но Уинтерс силой удержал меня в сидячем

положении — и так всякий раз (по крайней мере семь или восемь), когда мне угрожала непосредственная опасность получить кровоподтек от его кулака (а как знать, может нечто и похуже кровоподтека — после первого оглушительного удара?). Надо сказать, что в таком положении, то есть стоя надо мной, сидячим, он мог обрушивать свои удары с легкостью и полной безопасностью для себя.

Этот последний факт более прочих убедил меня в наличии заранее составленного плана, соответственно которому меня было задумано привести в беспомощное состояние, не давая встать на ноги. Кроме того, я убедился, что Филип Линч, по причинам для меня непостижимым, пальцем не шевельнет в мою защиту, хоть я и находился под его кровом. Я до конца сознавал свое положение. Я убедился в совершенной бесполезности возражений и споров и не был столь малодушен, чтобы просить о пощаде, а тем паче о прощении. Вместе с тем мне совсем недвусмысленно дали понять, что самая жизнь моя в опасности. Физической силой я не обладал. Я был безоружен. Я был беспомощен и не мог встать на ноги, а Уинтерс не только стоял во весь рост, но был, по всей видимости, также и вооружен. Единственный «свидетель» — Линч. Если бы я дал соответствующее заявление, не снабдив его примечаниями, я бы потерял право на собственное уважение, уронил бы себя безнадежно в глазах близких и всего общества. С другой стороны, если бы я назвал имя настоящего автора, разве не потерял бы я право на доверие публики, и разве жизнь автора статьи была менее дорога его родным, чем моя — моим? И все же жизнь казалась очень заманчивой, и каждая оставшаяся минута — не только драгоценной, но и торжественной. Я искреннейшим образом надеюсь, что ни Вам, ни Вашим читателям, в особенности семейным, никогда не доведется очутиться в подобном положении — почти непосредственной близости смерти и с необходимостью притом решить вопрос, который стоял передо мной, а именно: как поступить мне, человеку семейному, в противоположность мистеру Уинтерсу, который не был обременен?[71]

СТРАТЕГИЯ И МЕСМЕРИЗМ

Чтобы выгадать время на размышление и в надежде мнимой покорностью обрести личную свободу, чтобы хотя бы иметь возможность кликнуть на помощь или, обманув бдительность Уинтерса, не прибегая к малодушному бегству, ускользнуть из его рук, я решил написать подобие опровержения, предварительно про себя положивши:

во-первых — старательно избегать действий, которые могут быть истолкованы как попытка достать оружие, каким бы оскорблениям в дальнейшем этот человек, по собственной вине впавший в бешенство, меня ни подвергал, ибо в этом сочетании сквернословия, богохульства и бранных эпитетов я видел не одну распущенность, а совершенно определенную, хорошо обдуманную цель. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть»[72]. Поэтому, как, впрочем, и до того, как я принял данное решение, — но тогда это было бессознательно, а теперь намеренно, — я держал руки подальше от карманов, все время на виду, по большей части обхватив ими колени;

во-вторых — не производить руками никаких движений, которые могли быть истолкованы как агрессивные с моей стороны;

в-третьих — в совершенстве овладеть собой и не давать своему негодованию вырваться наружу. Для этого прежде всего следовало овладеть своим духом. А для того чтобы овладеть духом, я усилием воли, подобно актеру на подмостках, вызвал у себя несвойственное мне обычно состояние и смотрел на все глазами вымышленного персонажа;

в-четвертых — испробовать на Уинтерсе, тихо и незаметно для него, месмерическую силу, которой я обладаю над известным типом людей и которая, как я имел случай убедиться, простирается и на низшие организмы, и притом даже в темноте.

Может быть, последние два пункта вызовут у иного читателя улыбку? Не дай вам бог очутиться в таком положении, когда до зарезу нужно выиграть шахматную партию, где ставкой — ваша собственная жизнь, — притом что у вас всего четыре фигуры на поле, считая и пешки, а противник сохранил все свои силы нетронутыми. Если же вы в такое положение когда-нибудь попадете и если притом обладаете сильной и всеобъемлющей волей — не отчаивайтесь! Даже если месмерическая сила не спасет вас до конца, она во всяком случае может помочь, — попробуйте! В данном случае я почувствовал, как в меня вливается сила, а значит — ибо таков закон равновесия в

природе, — Уинтерс соответственно ослаб. Будь у меня больше времени, я уверен, что он ни разу не ударил бы меня даже.

Для того чтобы принять такое решение, требуется время, так же как для того, чтобы писать о нем. Впрочем, я время это выгадал, пока сидел над своим опровержением, набросав его для начала карандашом и исправляя до тех пор, покуда не остался им доволен; я добивался того, чтобы оно, сохраняя видимость уступки, в то же время представило бы мистеру Уинтерсу правду в неприкрашенном виде. Сделавши черновик, я его переписал чернилами, и вот его окончательной вид (изменения, которые я внес, переписывая его, незначительны).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Филипу Линчу,

редактору голдхиллских «Новостей»

До моего сведения дошло, будто генерал Джон Б.Уинтерс усмотрел в нижеследующей заметке (вклейка), помещенной в январском номере «Народного трибуна», прямые обвинения, якобы предъявленные мною лично ему лично, и что он желает, чтобы я от них отрекся.

Во уважение к его просьбе сообщаю, что, хотя мы с мистером Уинтерсом по-разному смотрим на вещи, однако, приняв во внимание его болезненную чувствительность к вышеупомянутому вопросу, я настоящим заявляю, что не убежден в обоснованности этих так называемых «обвинений» и надеюсь, что тщательное расследование окончательно их опровергнет.

Конрад Виганд, Голд-Хилл, января 15-го, 1870 г.

Затем я прочитал вслух свое заявление и передал его мистеру Линчу, на что мистер Уинтерс сказал:

— Это не годится и никак меня не устраивает. — И, обернувшись к мистеру Линчу, спросил: — Что вы скажете?

— Признаться, я не вижу тут никакого опровержения.

— Я тоже, — сказал Уинтерс. — Собственно говоря, это еще один плевок в лицо. Мистер Виганд, вам придется еще поработать! Неужели вы думаете, что такому человеку, как вы, удастся провести такого человека, как я?

— Сэр, я только в такой форме могу написать опровержение.

— Сэр, вы ошибаетесь! И если вы осмелитесь еще раз повторить то, что вы сказали, вы сделаете это на свой риск, потому что, клянусь таким-то, сэр, я изобью вас до полусмерти, а может, и более того! Итак, соизвольте понять, что я требую, чтобы вы подписали заявление, составленное совсем не так!

— Мистер Уинтерс, я отнюдь не хочу вас раздражать, но вместе с тем мне совершенно невозможно написать его иначе. Если вы намерены принудить меня подписать какой-либо документ, то извольте продиктовать его Филипу Линчу, и тогда я, если только найду возможным, подпишусь под вашими словами, однако такого заявления, какое вы от меня требуете, я подписать не в силах. Уверяю вас, сэр, что не шучу.

— Вот что, сэр. Пора кончать волынку — я и так порядком провозился тут с вами! Я поставлю вопрос несколько иначе. Вам известно, что эти обвинения (указывая на газету) ложны?

— Нет.

— Вам известно, что они основаны на фактах?

— Лично я не имел возможности убедиться в том.

— Почему ж вы их у себя напечатали в таком случае?

— Потому что, если воспринимать их правильно, в контексте, то окажется, что то, что вы принимаете за обвинения, на самом деле суть серьезные и дельные предложения, высказанные в ответ на запрос корреспондента, собравшего ряд загадочных фактов.

— Разве вам не известно, что мне известно, что все это не более чем клевета?

— Если так, то почему бы вам не опровергнуть ее и самому не потребовать расследования?

— По-вашему, вы имеете право заставлять меня заниматься опровержением всякой чуши, какую вам угодно у себя пропечатать?

Насколько я помню, я оставил этот вопрос без ответа.

— Довольно болтовни, однако, — продолжал он. — Я требую окончательного ответа: вы автор этой статьи или нет?

— Честь не дозволяет мне назвать истинного ее автора.

— Но вы ее видели, прежде чем она пошла в набор?

— О да, сэр.

— И вы сочли возможным ее печатать?

— Разумеется, сэр, иначе я бы ее не пропустил. Об авторстве я ничего не могу сказать, что же касается публикации, то тут я целиком и полностью признаю себя ответственным.

— Так вы отказываетесь от нее или нет?

— Мистер Уинтерс, если мой отказ подписать такой документ и в самом деле повлечет за собой все, на что вы тут

намекали, я попросил бы у вас несколько минут, чтобы помолиться.

— Молиться?! Так-то вас и так! Молиться надо было раньше — тогда, когда вы писали ваши такие-то и такие-то лживые донесения. Так подпишете или нет?

— Я уже сказал.

— То есть вы продолжаете упорствовать?

— Да, сэр.

— Так получайте же!

Тут, к великому моему изумлению и немалому облегчению, он извлек не дубинку и не пистолет, а сыромятный ремень. Этим ремнем он хлестнул меня по левому уху сверху вниз, чуть не оборвав его, следующий удар пришелся по боковой части черепа. Затем он отошел, чтобы лучше нацелиться, и я этим воспользовался, чтобы наконец встать на ноги, всей душой сожалея, что человек, рожденный достойным, сильным и благородным, вследствие соблазнов, осаждающих всякого в нашем штате, неудачных знакомств и неправильного направления мыслей может так низко пасть, чтобы испытывать своеобразное удовлетворение от применения грубой физической силы, — впрочем, остается уповать на прогресс и развитие, и я надеюсь, что придет пора, когда Джон Б.Уинтерс будет в состоянии оценить мои чувства.

Он продолжал наносить мне удары изо всех своих могучих сил, пока не дошел до полного изнеможения и одышки. Я продолжал придерживаться своей системы пассивной обороны, действуя руками лишь настолько, насколько этого требовала необходимость защитить голову и лицо от дальнейшего увечья. Сама боль, причиняемая ударами хлыста, была, конечно, преходяща, к тому же одежда в тон же степени притупляла остроту ударов, в какой в настоящее время скрывает следы, которые последние оставили на моем теле.

Я уже думал, что он совсем кончил, как вдруг, потрясая под самым моим носом рукоятью орудия моего избиения, он стал заверять меня, если я правильно его понял, что это еще не все, прибавив, что, если я посмею упомянуть его фамилию в печати, в своей ли газете, или другом каком периодическом издании, он отрежет мне левое ухо (мне кажется, он не шутил!) и в таком виде отпустит меня к родным, дабы я служил живым предостережением всем несчастным щенкам, имеющим охоту шантажировать джентльменов и портить им репутацию. Причем, прибавил он, на этот раз он уже изберет не ремень, а нож.

С этими словами он покинул комнату, а мистер Линч, кажется, еще в ней оставался, так как я помню, как опустился на

стул рядом с ним и воскликнул:

— Это сумасшедший, совершенно сумасшедший… Этот шаг его погубит… это ошибка, и с моей стороны было бы неблагородно, несмотря на то, что он со мной столь дурно обошелся, выставлять его на публичный позор, не дав одуматься. Я не стану торопиться.

— Уинтерс в самом деле вне себя сейчас, — подтвердил мистер Линч, — в обычном же своем состоянии это превосходный человек. Он, например, сообщил мне, что не вышел вам навстречу, желая избавить вас от лишнего унижения — быть подвергнутым порке на людях.

Полагаю, что неосторожное замечание Филипа Линча говорит о том, что мистер Уинтерс предварительно ознакомил его со своими намерениями, каковы бы они ни были, — во всяком случае, с намерением оказать на меня физическое воздействие; представляю, впрочем, другим судить, сколь достоин порицания журналист, согласившийся заманить слабого, миролюбивого человека, противника насилия и притом такого же издателя, как он сам, к себе в дом, где его должны были подвергнуть в лучшем случае ударам ремня, — и все это только за то, что он опубликовал факты, буквально навязшие на зубах у девяти человек из десяти, включая сюда и женщин.

В процессе составления данного отчета мне в голову пришли две возможные теории, объясняющие примечательное сие покушение:

Первая. Не исключено, что он просто-напросто хотел получить от меня признания, которые по характеру своему дали бы ему возможность, имея при этом деньги и общественное влияние, засадить меня в тюрьму по обвинению в клевете. Впрочем, это не очень вероятно, ибо заявление, сделанное под влиянием угроз либо насилия, законом во внимание не принимается и, во всяком случае, может быть в суде удовлетворительным образом разъяснено. Надо полагать, что заявление, которого от меня так упорно добивались, предназначалось для каких-нибудь иных целей.

Вторая. Эта теория отдает ужасом преднамеренного убийства настолько, что я даже с радостью отказался бы излагать ее, если бы не считал, что, поскольку со мной решено покончить в наикратчайший срок, моя прямая обязанность сделать все от меня зависящее, прежде чем пробьет мой час, хотя бы для того, чтобы указать тем, кто останется после меня, способ подорвать власть аристократов и той клики, чьими стараниями граждане Невады лишились не только свободы, но и своего гражданского достоинства. Не выдвигая данную гипотезу в качестве

официального «иска», я все же полагаю, что, будучи американским гражданином — даже в стране, находящейся во власти Шаронов и Уинтерсов, — я имею право мыслить и высказывать свои мысли как по поводу зверского нападения (тем более что лично являлся объектом его), так и любого другого уродливого явления нашей жизни. Излагаю нижеследующее как предположение, которое может объяснить соответственным властям и народу, представителем которых упомянутые власти должны бы являться, достоверно доказанный и тем не менее исполненный мрачной таинственности факт. Вот предположительный план покушения: во-первых — терроризировать меня, доказав мне мою беспомощность, с помощью угроз, которые закон, возможно, и не счел бы за таковые; во-вторых — внушить мне, что я могу сохранить свою жизнь, лишь написав или подписав определенное заявление, которое — если не предпослать ему особого комментария — меня лично заклеймило бы пожизненным позором, а семью обрекло бы на нужду, бесславие и унизительную необходимость прибегнуть к покровительству богачей; в-третьих — размозжить мне череп, как только я подпишу заявление, дабы воспрепятствовать мне в даче последующих разъяснений, которые могли бы избавить меня от позора; в-четвертых — вынудить Филипа Линча присягнуть в том, что Джон Б.Уинтерс якобы убил меня в порядке самозащиты, ибо в случае признания Джона Б.Уинтерса виновным Линча привлекли бы к суду как соучастника. Если в самом деле замысел Джона Б.Уинтерса был таков, как я его представляю, то единственно, что спасло меня от неминуемой гибели, — это упорный отказ дать свою подпись, хотя я искренне тогда думал, — что своим отказом санкционирую свой смертный приговор.

Знаменательное утверждение мистера Уинтерса, будто он из одной лишь жалости пощадил меня в предыдущую среду, доказывает, что первоначально он не был намерен выпустить меня из комнаты живым; и я не знаю, чему приписать свое чудесное избавление: месмеризму либо другим невидимым влияниям? Чем я более размышляю об этом, тем вероятнее кажется мне приведенное мной тут чудовищное предположение.

Я бы охотно избавил как мистера Уинтерса, так и читающую публику от вышеприведенных сообщений, если бы сам мистер Уинтерс хранил молчание, но так как он лично высказывался по этому поводу и, кроме того, повинен в том, что факты — в сильно искаженном виде — просочились в голдхиллские «Новости», мой долг — прежде всего по отношению к себе, а затем и к обществу и ко всей независимой и свободной прессе Америки и

Великобритании — представить правдивый отчет о том, что даже голдхиллские «Новости» и те назвали «безобразным делом», выражая при этом глубокое сожаление по поводу некоторых ошибок в изложении фактов, происшедших якобы по вине телеграфа (любопытно бы узнать, кто принимал эти телеграммы?).

Даже если генерал Уинтерс в силу ряда соображений не посчитает благоразумным лишить меня жизни в ближайшее время, после появления настоящей статьи в печати, я не сомневаюсь ни на минуту (учитывая своеобразные его взгляды на мое право — которое он отрицает — критиковать его действия) в том, что он в конце концов решит предать меня насильственной смерти, хотя до осуществления его намерения, может быть, пройдет еще много лет. Несмотря на это, лично я не питаю к нему какого бы то ни было недоброжелательства. И надо полагать, что если У.К.Ралстон, Уильям Шарон и прочие заправилы сан-францисской клики горнопромышленников решат, что изо всех людей в нашем штате вместе с Калифорнией ген. Джон Б.Уинтерс — наиболее подходящая кандидатура для того, чтобы вершить дела «Осы», он безусловно — покуда больше половины акций этой компании не будет в моих руках — останется на своем теперешнем посту.

При всем том я искренне призываю всех, кто имеет сведения о злоупотреблениях, которые возможно устранить путем гласности (и желали бы предать эти злоупотребления гласности, если бы могли чувствовать себя уверенными в том, что имена их сохранятся в тайне при любом давлении), связаться с «Народным трибуном», — ибо, покуда я жив и покуда у меня хватит средств, чтобы выпускать газету, я не намерен прекращать своих попыток воскресить свободы в нашем штате, противостоять угнетению и работать на благо общества и нашей богом созданной планеты.

Конрад Виганд[73]

notes

Примечания

1

«Перешеек» — Панамский, между Центральной и Южной Америкой. При морском переезде из западной в восточную часть США и обратно этот перешеек до 1914 года, когда был открыт Панамский канал, составлял отдельный, сухопутный участок пути, и притом небезопасный, потому что там свирепствовали холера и лихорадка.

2

Фриско — сокращенное наименование Сан-Франциско.

3

Эта трава растет на открытых ветрам горных склонах Невады и соседних территорий, она является отличным кормом для скота, и добывать ее можно даже глубокой зимой, когда ветер сдувает со склонов снег; невзирая на то, что растет она на каменистой почве, она служит, по словам скотоводов, более питательным кормом для рогатого скота и лошадей, чем большинство известных видов кормовых трав или злаков. (Прим. автора.)

4

Гребень… принадлежал еще Исаву и Самсону. — Твен выбрал этих двух библейских персонажей не случайно: Исав, по преданию, родился «косматым», а у Самсона в густых волосах, которых ни разу не коснулась бритва, заключалась его сверхъестественная физическая сила.

5

Дельмонико — владелец одного из самых дорогих ресторанов в Нью-Йорке, на фешенебельной Пятой авеню.

6

Полифем — одноглазый великан в древнегреческом эпосе об Одиссее.

7

«Виджиланты [74]] Монтаны», проф. Томаса Дж. Димсдейла. (Прим. автора.)

8

Вирджиния-Сити, территория Монтана. — Этот город не следует смешивать с одноименным городом в Неваде, который часто упоминается в книге. Самая же Монтана, оформленная как «территория» в 1864 году, не соответствует нынешнему штату Монтана. Она включала в себя районы нынешних штатов Миссури, Небраска. Дакота, Айдахо, Орегон и Вашингтон и, таким образом, граничила с Невадой, которая, в свою очередь, лишь в 1861 году была отделена как самостоятельная «территория» от Юты, а в 1864 году получила права штата.

9

Гора Вашингтон — высшая точка Северных Аппалачей, на северо-востоке США.

10

Герб… изображает двух… медведей… — На гербе штата Миссури изображены два медведя, с двух сторон поддерживающие круглый щит. Девиз «Объединенные мы выстоим, разъединенные падем» Твен иронически переосмысляет.

11

Краткую историю мормонов и заметку о «Резне на Горном лугу» см. в приложениях А и Б. (Прим. автора.)

12

Парли Пратт (1807-1857) — один из первых мормонских миссионеров. Он сманил чужую жену и был убит разъяренным мужем.

13

Аман (библ.) — приближенный царя Артаксеркса, за свои злодеяния повешенный на дереве «вышиною в пятьдесят локтей».

14

Килкеннийские кошки — намек на бытующую в англо-саксонских странах легенду о двух кошках из ирландского городка Килкенни, которые дрались так яростно, что от них остались только хвосты.

15

…по приказу короля Якова. — Английский текст библии, изданный по приказу короля Якова I английского в 1611 году, до настоящего времени считается каноническим в странах английского языка.

16

Люди сорок девятого года. — так называли переселенцев из восточных штатов, хлынувших в Калифорнию после того, как там в 1848 году было открыто золото.

17

«На золото наводит позолоту» и т.д. — строки из исторической хроники Шекспира «Король Иоанн», акт IV, сцена 2.

18

Эмерсон Беннет (1822-1905) — автор мелодраматических приключенческих книг, главным образом о подвигах американских пионеров. Написал свыше пятидесяти романов и сотни рассказов.

19

Хорэс Грили (1811-1872) — политический деятель и журналист, основатель и редактор нью-йоркской газеты «Трибуна».

20

…о юном Джордже Вашингтоне и его топорике. — Имеется в виду хрестоматийный рассказ о детстве Джорджа Вашингтона, первого президента США. Мальчик был необычайно правдив: когда отец подарил ему топорик, он срубил вишню, но тут же признался в этом отцу, хотя и знал, что его ждет наказание.

21

…Байард Тейлор, Ричардсон, Джонс, Смит, Джонсон Росс Браун — ныне забытые современники Твена, второстепенные писатели и журналисты.

22

Этот затасканный анекдот плох еще и тем, что происшествия, о котором в нем говорится, никогда и не было. Для хорошего анекдота такой мнимый изъян обернулся бы главным достоинством, ибо без творческого воображения нет подлинного величия; но чего заслуживает человек, который сочинил такую плоскую бессмыслицу? Если бы спросили мое мнение на этот счет, то все решили бы, что я хватил через край, — но что сказано в шестнадцатой главе книги Даниила[75]…? То-то же! (Прим. автора.)

23

Шест свободы — шест, на котором укреплен флаг республики.

24

…*«откуда он приходит»* — фраза из евангельского текста: «Дух дышит где хочет; и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит».

25

Невадцы люди обидчивые и не прощают шуток, поэтому я должен оговориться, что мое описание касается только общего правила, в Карсон-Сити было много достойных исключений из этого правила — выбеленные потолки и не плохо обставленные дома. (Прим. автора.)

26

…как выражается историк Иосиф Флавий и т.д. — шутка Твена: Иосиф Флавий (37 — после 100 г . н.э.) — автор «Истории иудейских войн».

27

Кожаные чехлы на стременах (исп.).

28

…ценился в триста — четыреста долларов за фут. — Ценность на фут — содержание металла по пробе, рассчитанное на один фут участка (стандартный, то есть имеющий установленную ширину).

29

Зальбанд — окраина горной жилы, отличающаяся по своему строению от средней части ее.

30

Голконда — город в Индии; в древности — центр торговли алмазами.

31

Хусакский туннель прорыт в 1855-1870 годах в Хусакских горах на востоке США. По нему проходит железная дорога, соединяющая Бостон с городом Олбени, столицей штата Нью-Йорк.

32

90° — здесь и ниже температура дана по Фаренгейту. 90° — около +32° по Цельсию, 44° — около +7° по Цельсию.

33

…стать вторым Франклином. — Бенджамин Франклин (1706-1790), знаменитый американский ученый, писатель, философ и дипломат, с двенадцати лет работал типографским учеником, а впоследствии имел свою типографию и вел обширную издательскую деятельность.

34

…был совершеннейшим Варвиком в политике. — Могущественный английский феодал граф Варвик был прозван «создателем королей». Во время междоусобной войны «Алой и Белой розы» (1455-1485) благодаря его поддержке был свергнут Генрих VI (Ланкастерский) и возведен на престол Эдуард IV (Йоркский). Позже, поссорившись с Эдуардом, Варвик сумел на короткое время снова возвести на престол Генриха.

35

Альфред Великий — король Южной Англии в 871-901 годах, действительно внес кое-какой порядок в судопроизводство своей страны. Однако суд с присяжными был введен в Англии много позже, в XII веке. По преданию, король Альфред измерял время при помощи свечи с делениями, обозначающими часть ее, сгоравшую за один час.

36

Кое-каким пророчествам, впрочем, было суждено сбыться. Так, головорезы утверждали, что на одного из них (а именно чрезвычайного агента полиции Мак-Джи) пал жребий убить Уильямса. При этом они говорили, будто им известно, что и сам Мак-Джи человек конченный и что умерщвлен он будет тем же способом, который применил для убийства Уильямса. Ровно через год пророчество это сбылось. После мучительнейших двенадцати месяцев (ибо в каждом, кто к нему приближался, несчастному чудился убийца) Мак-Джи сделал последнюю из многочисленных своих попыток выбраться из этих мест незамеченным. Он отправился в Карсон-Сити и зашел в кабачок в ожидании дилижанса, который должен был отправиться в четыре часа утра. Но когда ночь пошла на убыль и публика начала расходиться, ему сделалось не по себе, и он сообщил хозяину, что его преследуют убийцы. Хозяин велел ему держаться середины комнаты и не подходить ни к дверям, ни к печке, которая стояла возле окна. Однако по какому-то непреодолимому влечению он то и дело подходил к печке, и хозяину тогда приходилось вести его назад, на середину комнаты, и повторять свой наказ — не покидать этого места. Но это оказалось свыше его сил. В три часа ночи он снова направился к печке и сел рядом с каким-то незнакомцем. Прежде чем хозяин успел подойти к нему и шепотом предостеречь его, из окна раздался выстрел, множество пуль вонзилось в грудь Мак-Джи, и он почти в то же мгновение умер. Случайный его сосед также не остался без внимания и через два-три дня скончался от ран. (Прим. автора.)

37

Розенкрейцер — член тайного мистико-философского ордена, возникшего в XVII веке в Германии.

38

…назвать журнал «Лазарь». — В евангелии есть легенда о Лазаре, которого Христос воскресил из мертвых, а кроме того, есть притча о богаче и о нищем «именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях».

39

Перевод И.Гуровой.

40

«В течение многих месяцев все серебро, перевозкой которого ведала Вирджинская контора, проходило через руки мистера Валентайна, агента компании „Уэллс-Фарго“. Его отличной памяти мы и обязаны следующими сведениями, касающимися дел *** компании с Вирджинской конторой с 1 января 1862 года: с 1 января по 1 апреля через упомянутую контору прошло серебра на 270000 долл.; в следующем квартале — на 570000 долл.; в следующем — на 800000 долл.; в следующем — на 956000 долл., затем на 1275000 долл.; и, наконец, в квартале, закончившемся 30 июня 1863 года, — примерно на 1600000 долл. Таким образом, за полтора года одна только Вирджинская контора вывезла серебра на 5330000 долл. За 1862 год она вывезла 2615000 долл., — иначе говоря, за последние полгода вывоз серебра увеличился более чем вдвое. Можно поэтому ожидать, что в 1863 году Вирджинская контора будет вывозить серебра на 500 000 долл. в месяц (впрочем, судя по все возрастающей добыче, цифра, названная нами, чересчур скромна). Итого, за этот год она перевезет серебра на 6000000 долл. Голд-Хилл и Сильвер-Сити, вместе взятые, нас обгонят — у них наберется, скажем, на 10000000 долл. Будем считать, что у Дейтона, Эмпайр-Сити, Офира и Карсон-Сити вместе наберется на 8000000 долл., а вернее, что и больше. На Эсмеральду положим 4000000 долл., Реке Рис и Гумбольдту дадим 2000000 долл., — такая цифра может показаться чересчур высокой сейчас, однако к концу года, вероятно, будет оправданной. Таким образом, мы предсказываем, что добыча серебра в этом году достигнет примерно 30 000 000 долларов. Если считать, что в территории имеется сто обогатительных фабрик, то каждой из них надлежит за двенадцать месяцев произвести слитков серебра на 300 000 долл. Исходя из того, что каждая работает триста дней в году (больше этого не работает ни одна фабрика), можно вывести, что в среднем они производят на 1000 долл. в день. Предположим, что фабрика в среднем перерабатывает двадцать тонн породы в день и что каждая тонна породы дает серебра примерно на 50 долларов, — тогда и получается, чтокаждая из ста обогатительных фабрик вырабатывает в день на 1000 долларов, а все они вместе за год — на 30000000 долларов» («Энтерпрайз»). Сильно преувеличенные цифры (Прим. автора.)

41

После того как моя книга пошла в набор, я узнал из официальных источников, что цифра, приведенная мной, преувеличена и что добыча в 1863 году не превышала двадцати миллионов долларов. Однако время астрономических цифр не за горами; на глубине двух тысяч футов будет проложена штольня вдоль всей Комстокской жилы, и тогда процесс добычи серебра облегчится и станет относительно дешевым; к тому же отпадут трудности, связанные с такими серьезными вопросами, как откачка воды и доставка руды на поверхность. Эта огромная работа потребует многих лет и миллионы долларов; но прибыль она начнет приносить очень скоро, ибо желанная пора наступит, как только обнажится один конец всей жилы. Штольня будет иметь восемь миль в длину и будет роскошно оснащена. Машины будут доставлять руду по штольне и прямо на фабрики, и, таким образом, будет положен конец нынешней системе двойной погрузки и перевозки руды на мулах. Напор воды, отведенной из штольни, будет использован на фабриках. Мистер Сутро, затеявший это колоссальное предприятие, принадлежит к тому чрезвычайно немногочисленному разряду людей, у которых хватает мужества и упорства, чтобы довести подобного размаха дело до конца. Ему удалось добиться благосклонного отношения к своему ценному начинанию у нескольких упрямых конгрессов и заручиться необходимым капиталом в Европе, которую он с этой целью исколесил вдоль и поперек. (Прим. автора).

42

Западный заповедник — обширная территория возле озера Эри, ныне входящая в штат Огайо.

43

Вид яшмы, особенно ценимой китайцами. (Прим. автора.)

44

Виксберг пал, и федеральные войска одержали победу под Геттисбергом. — Победа под Геттисбергом (3 июля 1863 года) явилась переломным моментом в Гражданской войне 1861-1865 годов, закончившейся, как известно, победой федеральной («северной») армии.

45

С полсотни писак, не способных по бездарности выдумать что-нибудь свое, но без стеснения присваивающих чужое, напечатали эту легенду за своей подписью. (Прим. автора.)

46

Теперь, когда я несколько успокоился, я готов сбавить ей сотню лет. (Прим. автора.)

Возможно, однако, что в названных суммах была допущена некоторая неточность. Встретив Маршала через несколько месяцев, я узнал, что хоть у него было много денег, все же он не утверждал, что имеет целый миллион. Насколько я понял, у него к тому времени не было даже полных пятидесяти тысяч. Все, что он имел сверх этой суммы, можно было скорее отнести к категории журавлей в небе, нежели синиц в руках. Как бы то ни было, когда статья эта появилась в печати, я безоговорочно поверил ей и под ее воздействием стал безудержно хиреть и чахнуть. (Прим. автора.)

48

Брет Гарта пригласили в редакторы. — В середине 60-х годов Брет Гарт (1836-1902) был уже хорошо известен в литературном мире Сан-Франциско как журналист, редактор и автор блестящих очерков и пародий. В конце 60-х годов он возглавил толстый журнал «Оверлендский ежемесячник» («Оверленд мансли»), сменивший «Калифорнийца». В этом журнале был» напечатаны прославившие его рассказы о калифорнийских золотоискателях.

49

Сандвичевы (Гавайские) острова во второй половине XIX века были конституционной монархией. В 1893 году там была провозглашена «республика», а в 1897 году ее временное правительство подписало соглашение о присоединении Гавайев к США на правах «территории». В марте 1959 года Гавайи превращены в 50-й штат.

50

«Когда по Джорджии мы шли походом» — песня северян во время Гражданской войны. Поход через Джорджию (ноябрь — декабрь 1864 года) под командованием генерала Шермана закончился у моря в Саванне и сильно ослабил южан, разрезав их территорию надвое.

51

Микронезия — старое название части Тихого океана, охватывающей Каролинские, Марианские, Маршалловы и некоторые другие острова.

Ныне покойный. (Прим. автора.)

53

…дешевенького и готовенького епископа. — Пресвитерианская церковь не признает епископов.

54

Длинные шесты, увенчанные пучком перьев; их втыкают вокруг могилы покойника королевской крови. (Прим. автора.)

55

Табу означает «запретный» или «священный». Табу могло носить постоянный или временный характер; человек или предмет, на которых простиралось табу, на все время его действия считались священными, то есть предназначенными для определенной цели. В приведенном выше случае избранные жертвы табу предназначались к смерти. (Прим. автора.)

56

Считалось неприличным есть в помещении, где спишь, и нарушить строгий этикет нельзя было даже для умирающего. (Прим. автора.)

Последнее сомнительно, ибо все историки Сандвичевых островов, и белые и черные, единодушно отрицают, что в этих краях когда-либо существовал каннибализм. Впрочем, поскольку они намеревались «съесть его в сыром виде», не будем ставить им этого в счет. Если бы они задумали сварить его, вот это был бы каннибализм! (Прим. автора.)

58

Колосс Родосский — огромная (около 35 метров высотой) бронзовая статуя Аполлона работы скульптора Хареса, воздвигнутая в 280 г . до н.э. на острове Родос. Существует легенда (не подтвержденная историками), что эта статуя опиралась ногами на два противоположных берега у входа в Родосскую гавань и между ногами ее мог пройти корабль с поднятыми парусами.

59

Валаамова ослица — согласно библейскому мифу, ослица месопотамского волхва Валаама. Когда Валаам ехал к моавитскому царю Валаку, ослица вдруг заговорила человеческим голосом.

60

Битва при Садовой (3 июля 1866 года) — решающая битва в «семинедельной» австро-прусской войне, спровоцированном Бисмарком и приведшей к выходу Австрии из Германского союза и образованию нового Северогерманского союза под верховенством Пруссии.

61

…не все слова удалось разобрать. — В английских изданиях печатается факсимиле письма Грили, написанного совершенно неразборчивым почерком.

Печи Пеле. — Пеле, по поверьям гавайцев, грозная богиня, владычица вулкана Килауэа. В старину ей приносили человеческие жертвы, сбрасывая людей в огненный кратер.

63

…хоть я сам и пытался частенько это сделать из уважения к древним. — В древнем Риме особо счастливые дни отмечали в календаре «белым камнем» (вероятно, тем же мелом).

64

Боргард Пьер Густав (1818-1893) и **Джексон Томас Джонатан**, прозванный «Каменная Стена» (1824-1863) генералы армии южан в Гражданской войне США.

65

Шеридан Филипп Генри (1831-1888) — генерал армии северян.

66

Эндрю Джонсон (1808-1875) — президент США в 1865-1868 голах; в юности — портновский подмастерье, был затем последовательно членом муниципалитета города Гринвилла в штате Теннесси, мэром этого города, членом палаты представителей штата Теннесси, членом сената штата, членом палаты представителей в конгрессе США, губернатором штата, членом сената. США и наконец — вице-президентом. В 1865 году, после убийства президента Линкольна, занял его пост и стал проводить политику поддержки разгромленных рабовладельцев.

67

Конрад предчувствует роковую развязку.

68

Наш «противник насилия» остается верным своим принципам, хотя и старается заручиться помощью друзей, этих принципов не разделяющих.

69

Я не хочу, конечно, насиловать воображение читателя, но все же попросил бы его попытаться представить себе этого агнца на поле битвы, на дуэли или командующим отрядом комитета виджилантов. — М.Т.

70

Телохранителя в дом не впустили.

71

Просьба к читателю — читать без пропусков! — М.Т.

72

«В глазах всех птиц напрасно расставляет сеть» — стих из «Притчей Соломоновых» (библ.).

73

Право, жаль, что шерифа так и не впустили, ибо здравый смысл должен был бы подсказать генералу милиции и редактору крупной газеты, что заслуженное наказание, которому они подвергли этого тщедушного, слабоумного младенца, необходимо было произвести именно на улице, чтобы дать бедняге шанс улизнуть. Когда газетчик клевещет на гражданина или марает его имя на основании непроверенных слухов, он заслуживает порки, даже если он «противник насилия» и замухрышка. Все же благородный человек, на месте его врагов, дал бы возможность этому агнцу убраться подобру-поздорову. — М.Т.

Виджиланты («Бдительные») — так назывались члены «комитетов общественной безопасности», возникших в середине прошлого века в Калифорнии и в западноамериканских «территориях», где еще не было тогда регулярной полиции и сколько-нибудь упорядоченной системы правосудия. В последующие времена виджилантами называли себя в США разные террористические организации, вплоть до фашистских, занимавшиеся расправами над «нежелательными» элементами общества.

75

…в шестнадцатой главе Данишла. — шутка Твена: в «Книге пророка Даниила» (библ.) всего четырнадцать глав.